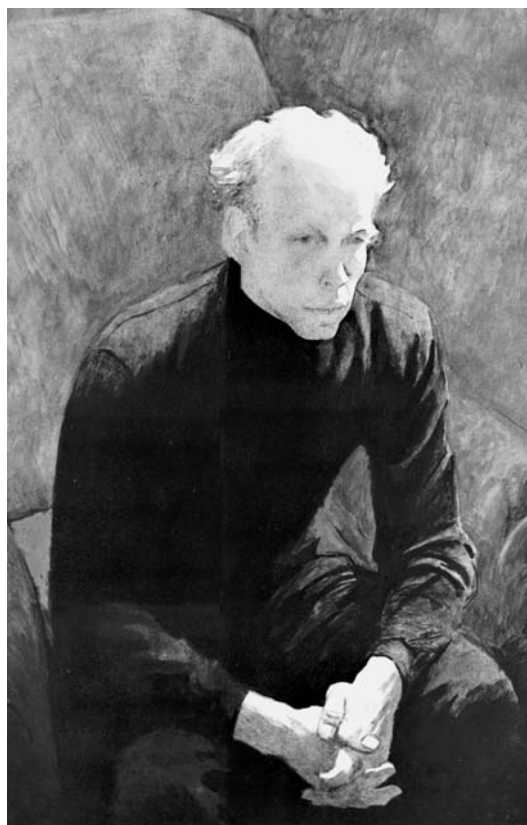


# ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА





*Мисецкий*

**1923—1984**

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

**Владимир Тендряков**

**НОЧЬ ПОСЛЕ  
ВЫПУСКА**

Повести

*Иллюстрации Н. Сапуновой*

МОСКВА  
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
2006

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
ТЗЗ

Текст повестей «Ночь после выпуска», «Шестьдесят свечей», «Расплата» печатается по изданию: Т е н д р я к о в В. Расплата: Повести. М.: Сов. писатель, 1982.

Вступительная статья  
Е. СИДОРОВА

Портрет В. Ф. ТЕНДРЯКОВА  
работы О. ВЕРЕЙСКОГО

**Тендряков В. Ф.**  
ТЗЗ Ночь после выпуска: Повести / Вступ. ст. Е. Сидорова; Худож. Н. Сапунова. — М.: Дет. лит., 2006. — 512 с.: ил. — (Школьная б-ка).

ISBN 5-08-004185-4

В книгу вошли повести «Весенние перевертыши», «Ночь после выпуска», «Шестьдесят свечей», «Расплата».

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Издательство «Детская литература».  
Оформление серии, составление, 2006  
© В. Ф. Тендряков. Текст, наследники  
© Е. Сидоров. Вступительная статья, 1987  
© Н. Сапунова. Иллюстрации, 2006  
© О. Верейский. Портрет В. Ф. Тендрякова,  
наследники

ISBN 5-08-004185-4

## О ПРОЗЕ ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА<sup>1</sup>

Владимир Федорович Тендряков был личностью огромного общественного темперамента. Он проработал в литературе тридцать пять лет, и каждое новое его произведение вызывало интерес читателей и критики, встречало признание, несогласие, будило мысль и совесть. Мало можно назвать современных прозаиков, кто бы с таким постоянством, с такой упорной страстью отстаивал право на постановку острейших социально-нравственных проблем нашего общества, кто бы день за днем напрямую задавал вопрос о смысле человеческого существования себе и своему читателю. В творчестве В. Тендрякова неумолчно звенела туго натянутая струна гражданского беспокойства. В этом смысле он был очень целен и последователен. Его книги вызваны к жизни жадной художественного познания действительности, стремлением писателя вынести свое суждение о ней, воззвать к нашему сознанию, воспитать или пробудить в читателе общественное равнодушие.

Поэтому разговор о повестях и романах Тендрякова сразу вступает в зону самой действительности, мы начинаем спорить о жизни, окружающей нас, о сложных духовных, экономических, моральных процессах, затронутых прозаиком. Но при этом критика, поддержи-

---

<sup>1</sup> Текст статьи печатается по изданию: Тендряков В. Ф. Собр. соч.: В 5 т. М.: Худож. лит., 1987—1989. Т. 1. (Статья печатается в сокращении и с изменениями.)

вая писателя за его пафос, бесстрашие и прямоту в постановке вопросов, иногда с сожалением констатирует несовпадение «проблем» и «прозы» в некоторых тендряковских произведениях: «Безусловно, существует логика решения проблем. Но существует и логика построения художественной прозы. Проблема, введенная в прозу, должна держать собою художественную конструкцию вещи, а не наваливаться на нее сразу, иначе плохо и для проблемы и для прозы»<sup>1</sup>. Да и те критики, которым «перевес» проблемности не кажется слабостью прозаика, а лишь ярко выраженным свойством его писательской природы, непременно считают своим долгом помянуть о художественных «прóторах и убытках», сторицей окупающихся, впрочем, «значительностью, серьезностью и современностью его слова, общественной значимостью и остротой социальных конфликтов и нравственных проблем его творчества»<sup>2</sup>.

Вот, по существу, два крыла критического осознания прозы Владимира Тендрякова:

граждански отзывчивый социолог и моралист, но порой «недостаточно» художник, от чего мелеет глубина и самой его проблематики;

«недостаточно» художник? Может быть. Но зато все сторицей окупается остротой и общественной значимостью конфликтов и проблем его творчества.

Оба суждения, хотя и в неодинаковой степени, признают художественную неполноту тендряковского мира. Не могу согласиться с этим. Стоит перечитать сегодня одну за другой все книги писателя, вызвавшие в свое время обильную критику, в том числе и заведомо недобросовестную, прямо отрицающую как раз правомерность проблематики и конфликтов некоторых произведений прозаика, чтобы убедиться в цельности именно проблемно-художественного мира этого писателя. Можно спорить, не соглашаться с его активно проповеднической манерой, со стремлением высказать наиболее не столько в объективно-пластической образной

---

<sup>1</sup> С о л о вье в а И. Проблемы и проза: Заметки о творчестве Владимира Тендрякова // Новый мир. 1962. № 7. С. 249.

<sup>2</sup> К у з н е ц о в Ф. Переключка эпох: Очерки, статьи, портреты. М.: Современник, 1976. С. 276.

форме, сколько в прямом напоре рассуждений героев, где всегда явственно слышен и авторский голос. Можно отрицать действенность и универсальность притчеобразных ситуаций, весьма характерных для повестей Тендрякова. Но при этом нельзя, на мой взгляд, не видеть резко очерченную художественную оригинальность этого пера. Логика решения жизненно важных проблем для Тендрякова и художественная логика слитны, нераздельны, питают друг друга. Искусство для него начинается с идеи и живет идейностью. Мысль разворачивается в образах, проверяет себя в художественных аргументах на площадке повести или романа и, как правило, разрешается в финале, ставя перед нами и героями новые вопросы, новые проблемы.

Нельзя забывать также, что В. Тендряков сформировался как писатель в активной полемике против так называемой теории бесконфликтности, имевшей достаточно широкое распространение в нашей послевоенной беллетристике. Острая конфликтность, предельный драматизм ситуаций, особенно нравственных коллизий, — самая характерная черта тендряковского стиля. Он ощущает правду как поиск равнодушной, активной мысли и открыто, без обиняков, стремится поведать эту правду людям, отнюдь не претендуя на всю ее объективную полноту, на собственное всеведение. Мужество и откровенность правды — тот нравственный фундамент, на котором держится художественный мир Тендрякова, и стоит он прочно и простоит долго, до тех пор, пока жизненные противоречия, его питающие, не будут исчерпаны самой действительностью.

Владимир Федорович Тендряков родился в 1923 году в деревне Макаровской Вологодской области, в семье сельского служащего. После окончания средней школы ушел на фронт и служил радистом стрелкового полка. В боях за Харьков получил тяжелое ранение, демобилизовался, учительствовал в сельской школе, был избран секретарем райкома комсомола. Первой мирной осенью поступил на художественный факультет ВГИКа, а затем перешел в Литературный институт, который окончил в 1951 году. Работал корреспондентом

журнала «Огонек», писал сельские очерки, в 1948 году опубликовал свой первый рассказ в альманахе «Молодая гвардия».

Но в нашем читательском сознании Тендряков заявил о себе сразу, крупно и заметно, в начале 1950-х годов, словно бы миновав пору литературного ученичества. Время, общественная ситуация способствовали появлению целой плеяды писателей, устами которых правдиво заговорила доселе почти молчаливая послевоенная деревня. Вслед за очерками и рассказами Валентина Овечкина, Гавриила Тропопольского в ранних произведениях В. Тендрякова были публично обнажены серьезные противоречия колхозной жизни тех лет, ставшие впоследствии предметом пристального общественного внимания.

<...>

Всю жизнь Тендрякова волновали проблемы выбора и долга, веры и скепсиса. И до последних своих дней он тревожно размышлял над вопросом: «Куда движется человеческая история?» Свидетельство тому — роман «Покушение на миражи» (1978—1980) — наиболее глубокое и сильное произведение Тендрякова, его духовное завещание нам и будущему.

Но о чем бы ни писал Тендряков, какую бы жизненную ситуацию ни выбирал, рассмотрение, художественный анализ действительности всегда протекают у него при свете нравственных требований совести.

Совесть в этическом кодексе Владимира Тендрякова — основополагающее понятие, только она способна осветить человеку глубокую правду о нем самом и окружающем мире.

<...>

Воспитание высокой души — область неустанных художественных забот писателя. Он нередко обращается к школе, пишет о жизни подростков, и здесь, в отличие от характеров взрослых, его очень интересуют психологические детали, нюансы, переливы неустоявшегося духовного мира. Таков, например, Дюшка Тягунов из самой светлой, поэтической повести Тендрякова «Весенние перевертыши» (1973).

Огромный, сложный мир открывается тринадцатилетнему мальчишке. Мир, где есть любовь, святое



чувство товарищества, и тут же рядом — злоба и жестокость, унижение человека и горе.

Душа подростка растет, впервые постигая противоречия жизни, постигая с а м о в р е м я. Отлично пишет Тендряков это состояние — щедро, тонко, влюбленно в своего маленького героя:

«В р е м я! Оно крадется.

Дюшка его увидел! Пусть не само, пусть его следы.

Вчера на березе не было дымки, вчера еще не распустились почки — сегодня есть! Это след пробежавшего времени!

Были грачи — нет их! Опять время — его след, его шевеление! Оно унесло вдаль рычащую машину, оно скоро заполнит улицу людьми...

Беззвучно течет по улице время, меняет все вокруг...

Течет время, рождаются и умирают деревья, рождаются и умирают люди. Из глубокой древности, из безликих далей к в этой вот минуте — течет, подхватывает Дюшку, несет его дальше, куда-то в щемящую бесконечность.

И жутко и радостно... Радостно, что открыл, жутко — открыл-то не что-нибудь, а великое, дух захватывает!»

Дюшка Тягунов с честью выдерживает первые жизненные испытания. Он не испугался своего врага, Саньки Ерохи, и в борьбе с ним отстоял личную независимость. Он приобрел замечательного друга — Миньку, поначалу, казалось бы, мальчика робкого, слабого десятка, а на поверку — смелого и верного товарища. Дюшка учится защищать добро, для Тендрякова это главное в человеке.

Писатель убежден, что школа призвана не только давать детям знания, но и прививать маленьким гражданам добрые чувства, воспитывать активность в борьбе со злом, равнодушием, эгоизмом. Но всегда ли школа выполняет эту свою миссию? Уже первый роман Тендрякова «За бегущим днем» (1959), посвященный жизни сельского учителя, был открыто полемичен, задевал за живое, касался горячих общественных проблем. Писатель выступил против серьезных недостатков школьного преподавания. И хотя роман не проблемная статья, не очерк, он вызвал целую дискуссию в педагогических кругах страны.

Столь же, если не более, дискуссионной оказалась повесть В. Тендрякова «Ночь после выпуска» (1974). Если в романе «За бегущим днем» писатель стремился убедить общество в необходимости перестройки всей системы школьного образования, дабы теснее связать его с производством, с трудовой деятельностью, а также попытаться учесть индивидуальность каждого ученика, то повесть «Ночь после выпуска» прямо обращена к острейшим проблемам нравственности. Речь в ней идет о воспитании чувств и о той роли, которую играет школа в этом сложном процессе.

<...> Интересно и поучительно бывает следить за художественной мыслью Тендрякова, который взламывает течение обыденности продуманным композиционно-сюжетным взрывом, будто ставит моральный эксперимент и устраивает своим героям проверку на их человеческую подлинность. Путь к истине и добру протекает у Тендрякова, как всегда, драматически, через нравственный кризис, который человеку надо пройти самому, до конца, без оглядки.

«Ночь после выпуска» — именно такая нравственная проверка шести юношам и девушкам, только что окончившим десятилетку. Они собираются ночью на речном обрыве и решают впервые в жизни откровенно сказать друг другу в глаза, что каждый из них думает о присутствующих.

Поначалу все это воспринимается почти как веселая игра, шутка, но вскоре обретает нешуточное содержание. В хороших ребятах нечаянно открывается жестокость, душевная недостаточность, способность больно ранить друг друга. Тендряков мало озабочен тем, чтобы создать иллюзию правдоподобности ситуации. Ему изначально важно поставить героев в исключительные условия, которые могли бы выявить их моральный потенциал, обнажить подсознательное, редко проявляющееся в обычных обстоятельствах. И выяснилось, что каждый из юных героев, в сущности, «думает только о себе... и ни в грош не ставит достоинство другого... Это гнусно... вот и доигрались...».

Такой вывод, принадлежащий Юлечке Студёнцевой, лучшей ученице школы, конечно же не совсем справедлив, рожден предельным нравственным максимализ-

мом. Но сам писатель если и не солидарен до конца со своей героиней, то все же близок к ее оценке происходящего. Тендряков решился на жесткий эксперимент ради того, чтобы во весь голос сказать об опасности эгоизма, рационализации чувств у современных подростков.

Но не только ради этого. В повести «Ночь после выпуска» просматривается и иной, более глубокий, социальный срез. Писатель обнажает перед нами некую модель коллективной психологии, когда личность не всегда способна управлять собой и невольно следует «правилам», которые диктует мгновенное общежитие. Игра, затеваемая подростками, вынуждает их пренебречь моральными нормами, которые для каждого из них в отдельности были бы непреложными в иных, обычных обстоятельствах. Так в структуре маленького коллектива Тендряков обнаруживает свои законы, свои тайные противоречия, имеющие не частный, а общий смысл.

Композиция повести совмещает два параллельных плана: спор в учительской, своеобразный диспут педагогов о недостатках школьного образования, и разговор ребят у реки. Ночь после выпуска стала серьезным экзаменом и для учеников, и для учителей, и многие не выдержали его.

Школа дала ребятам знания, но не воспитала чувства, не научила их любви и добру. На выпускном вечере Юля Студёнцева неожиданно для всех бросает в зал взволнованные и искренние слова: «Школа заставляла меня знать все, кроме одного — что мне нравится, что я люблю. Мне что-то нравилось, а что-то не нравилось. А раз не нравится, то и дается трудней, значит, этому ненравящемуся и отдавай больше сил, иначе не получишь пятерку. Школа требовала пятерок, я слушалась и... и не смела сильно любить... Теперь вот оглянулась, и оказалось — ничего не люблю. Ничего, кроме мамы, папы и... школы. И тысячи дорог — и все одинаковы, все безразличны... Не думайте, что я счастливая. Мне страшно. Очень!»

Ночь после выпуска кончилась. Расходятся по домам учителя и ученики. Одни скоро опять войдут в классы. Другие отправятся в новую, самостоятельную жизнь. Тяжело переживая нравственное потрясение, каждый из

ребят, может быть, впервые глубоко задумался о сущности человеческой души, о себе самом и о коллективе, которых, оказывается, не знал. «Мы научимся жить», — говорит Игорь, и этими словами надежды писатель завершает свою повесть.

<...>

В 1970-е годы В. Ф. Тендряков работает особенно напряженно и продуктивно. Одно за другим выходят его новые произведения: «Затмение» (1977), «Расплата» (1979), «Шестьдесят свечей» (1980). Посмертно опубликованная блестящая сатирическая повесть «Чистые воды Китежа» (1980) открыла читателю еще одну грань тендряковского таланта, подтвердив, как он стремительно развивался всю жизнь, не застывая в найденном и освоенном слове.

<...>

Все книги Владимира Федоровича Тендрякова вызваны к жизни реальными конфликтами и страстями. Он относился к тому типу писателей, которые осуществляли в литературе социально-нравственную разведку и проповедь. За Тендряковым часто шли другие прозаики, иногда художественно углубляя впервые открытое им. Для меня, например, несомненно, что творчество Василия Белова и Федора Абрамова, Василия Шукшина и Бориса Можаяева развивалось с учетом писательского опыта Владимира Тендрякова, который одним из первых вступил на дорогу художественного познания противоречий нашей послевоенной жизни ради их преодоления.

Он не дожил до тех дней, когда время в нашей стране повернулось в сторону политических и экономических преобразований, борьбы с разрывом между словом и делом. Но каждой своей строкой приближал теперешние дни, предчувствовал, торопил их и потому надолго останется живым современником своих читателей.

*Евгений Сидоров*

# ПОВЕСТИ





## ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ

Дюшка Тягунов знал, что такое хорошо, что такое плохо, потому что прожил на свете уже тринадцать лет. Хорошо — учиться на пятерки, хорошо — слушаться старших, хорошо — каждое утро делать зарядку...

Учился он так себе, старших не всегда слушался, зарядку не делал. Конечно, не примерный человек — где уж! — однако таких много, себя не стыдился, а мир кругом был прост и понятен.

Но вот произошло странное. Как-то вдруг, ни с того ни с сего. И ясный, устойчивый мир стал играть с Дюшкой в перевертыши.

### 1

Он пришел с улицы, надо было садиться за уроки. Вася-в-кубе задал на дом задачку: два пешехода вышли одновременно... Вспомнил о пешеходах, и стало тоскливо. Снял с полки первую подвернувшуюся под руку книгу. Попались «Сочинения» Пушкина. Не раз от нечего делать Дюшка читал стихи в этой толстой старой книге, смотрел редкие картинки.

В одну картинку вглядывался чаще других — дама в светлом платье, с курчавящимися у висков волосами.

Исполнились мои желания. Творец  
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,  
Чистейшей прелести чистейший образец.

Наталья Гончарова, жена Пушкина, кому не известно — красавица, на которую клал глаз сам царь Николай. И не раз казалось: на кого-то она похожа, на кого-то из знакомых, но как-то не додумывал до конца. Сейчас вгляделся и вдруг понял: Наталья Гончарова похожа на... Римку Братеневу!

Римка жила в их доме, была старше на год, училась на класс выше. Он видел Римку в день раз по десять. Видел только что, минут пятнадцать назад, — стояла вместе с другими девчонками перед домом. Она и сейчас стоит там, сквозь немытые весенние двойные рамы среди других девчоночьих голосов — ее голос.

Дюшка вглядывался в Наталью Гончарову — курчавинки у висков, точеный нос...

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,  
Чистейшей прелести чистейший образец.

Красавица!.. Голос Римки за окном.

Дюшка метнулся к дверям, сорвал с вешалки пальто. Надо проверить: в самом ли деле Римка красавица?

А на улице за эти пятнадцать минут что-то случилось. Небо, солнце, воробьи, девчонки — все как было и все не так. Небо не просто синее, оно тянет, оно засасывает, кажется, вот-вот приподымешься на цыпочки да так и останешься на всю жизнь. Солнце вдруг косматое, непричесанное, весело-разбойное. И недавно освободившаяся от снега, продавленная грузовиками улица сверкает лужами, похоже, поеживается, дышит, словно ее пучит изнутри. И под ногами что-то посапывает, лопается, шевелится, как

будто стоишь не на земле, а на чем-то живом, изнемогающем от тебя. И по живой земле прыгают сухие, пушистые, согретые воробьи, ругаются надсадно, весело, почти что понятно. Небо, солнце, воробьи, девчонки — все как было. И что-то случилось.

Он не сразу перевел глаза в ее сторону, почему-то вдруг стало страшно. Неровно стучало сердце: не надо, не надо, не надо! И звенело в ушах.

Не надо! Но он пересилил себя...

Каждый день видел ее раз по десять... Долговязая, тонконогая, нескладная. Она выросла из старого пальто, из жаркой тесноты сквозь короткие рукава вырываются на волю руки, ломко-хрупкие, легкие, летающие. И тонкая шея круто падает из-под вязаной шапочки, и выбившиеся непослушные волосы курчавятся на висках. Ему самому вдруг стало жарко и тесно в своем незастегнутом пальто, он сам вдруг ощутил на своих стриженных висках щекотность курчавящихся волос.

И никак нельзя отвести глаз от ее легко и бесстрашно летающих рук. Испуганное сердце колотилось в ребра: не надо, не надо!

И опрокинутое синее небо обнимает улицу, и разбойное солнце нависает над головой, и постанывает под ногами живая земля. Хочется оторваться от этой страдающей земли хотя бы на вершок, поплыть по воздуху — такая внутри легкость.

О чем-то болтают девчонки. О чем? Их голоса перепутались с воробьиным базаром — веселы, бессмысленны, слов не разобрать.

Но вот изнутри толчок — сейчас девчоночий базар кончится, сейчас Римка махнет в последний раз легкой рукой, прозвенит на прощание: «Привет, девочки!» И повернется в его сторону! И пройдет мимо! И увидит его лицо, его глаза, угадает в нем подымающуюся легкость. Мало ли чего угадает... Дюшка смятенно повернулся к воробьям.

— Привет, девочки! — И невесомые топ, топ, топ за его спиной, едва касаясь земли.

Он глядел на воробьев, но видел ее — затылком сквозь зимнюю шапку: бежит вприпрыжечку, береж-



но несет перед собой готовые в любой момент взлететь руки, задран тупой маленький нос, блестят глаза, блестят зубы, вздрагивают курчавинки на висках.

Топ, топ — невесомое уже по ступенькам крыльца, хлопнула дверь, и воробьи сорвались с водопадным шумом.

Он освобожденно вздохнул, поднял голову, повел недобрым глазом в сторону девчонок. Все знакомы: Лялька Сивцева, Гуляева Галка, толстая Понюхина с другого конца улицы. Знакомы, не страшны, интересны только тем, что недавно разговаривали с ней — лицом к лицу, глаза в глаза, надо же!

А раскаленная улица медленно остывала — небо стало обычно синим, солнце не столь косматым. А сам Дюшка обрел способность думать.

Что же это?

Он хотел только узнать: похожа ли Римка на Наталью Гончарову? «Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона...» Он и сейчас не знает — похожа ли?

Двадцать минут назад ее видел.

За эти двадцать минут она не могла измениться.

Значит — он сам... Что с ним?

Вдруг да сходит с ума?

Что, если все об этом узнают?

Страшней всего, если узнает она.

## 2

Дюшка жил в поселке Куделино на улице Жана Поля Марата. Здесь он и родился тринадцать лет тому назад. Правда, улицы Жана Поля Марата тогда не было, сам поселок тоже только что рождался — на месте деревни Куделино, стоявшей над дикой рекой.

Дюшка помнит, как сносились низкие бараки, как строились двухэтажные улицы — Советская, Боровая, имени Жана Поля Марата, названная так потому, что в тот год, когда ее начинали строить, был юбилей французского революционера.

В поселке была лесоперевалочная база, речная пристань, железнодорожная станция и штабеля бревен. Эти штабеля — целый город, едва ли не боль-

ше самого поселка, со своими безымянными улочками и переулками, тупиками и площадями, чужой человек легко мог заблудиться среди них. Но чужаки редко появлялись в поселке. А здесь даже мальчишки хорошо разбирались в лесе — тарокряж, крепеж, баланс, резонанс...

Надо всем поселком возносится узкий, что решетчатый штык в небо, кран. Он так высок, что в иные, особо угрюмые, дни верхушкой прячется в облака. Его видно со всех сторон за несколько километров от поселка.

Он виден и из окон Дюшкиной квартиры. Когда семья садится за обеденный стол, то кажется — большой кран рядом, вместе с ними. О нем за столом каждый день ведутся разговоры. Каждый день целый год отец жаловался на этот кран: «Слишком тяжел, сатана, берег реки не выдерживает, оседает. В гроб загонит, будет мне памятник на могилу в полмиллиона рублей!» Кран не загнал отца на могилу, отец теперь на него поглядывает с гордостью: «Мое детище». Ну а Дюшка большой кран стал считать своим братом — дома с ним, на улице с ним, никогда не расстаются, даже когда засыпает, чувствует — кран ждет его в ночи за окном.

Отец Дюшки был инженером по механической выгрузке леса, мать — врачом в больнице, ее часто вызывают к больным по ночам. Есть еще бабушка — Клавдия Климовна. Это не родная Дюшке бабушка, а приходящая. У нее в том же доме на нижнем этаже своя комнатка, но Климовна в ней только ночует. А когда-то даже и не ночевала — нянчилась с Дюшкой. Сейчас Дюшка вырос, нянчиться с ним нужды нет, Климовна ведет хозяйство и страдает за все: за то, что у отца оседает берег под краном, что у матери с тяжелобольным Гринченко стало еще хуже, что Дюшка снова схватил двойку. «О Господи! — постоянно вздыхает она обреченно. — Жизнь прожить — не поле перейти».

Непривычная, словно раскаленная, улица остыла, снова стала по-знакомому грязной, обычной.

Ждать, ждать, пока Римка не выскочит из дома и улица опять не вспыхнет, не накалится.

Нет, сбежать, спрятаться, потому что стыдно же ждать девчонку.

Стыдно, и готов плюнуть на свой стыд.

Хочет — не хочет, хоть разорвись пополам!

А может, он и в самом деле разорвался на две части, на двух Дюшек, совсем непохожих друг на друга?

Бывало ли такое с другими? Спросить?.. Нет! Засмеют.

За домом, на болоте, слышались ребячьи голоса. Дюшка двинулся на них. Впервые в жизни, сам того не понимая, испытывал желание спрятаться от самого себя.

Болото на задах улицы Жана Поля Марата не пересыхало даже летом — оставались ляжины, до краев заполненные черной водой.

Сейчас на окраине этого болота, как встревоженные галки, прыгали по кочкам ребята. Среди них в сплавщицкой брезентовой куртке, в лохматой, «из чистой медвежатины», шапке — Санька Ераха. Дюшке сразу же расхотелось идти.

Санька считался на улице самым сильным среди ребят. Правда, сильнее Саньки был Левка Гайзер. Левке, как и Саньке, шел уже пятнадцатый год, он лучше всех в школе «работал» на турнике, накачал себе мускулы, даже, говорят, знал приемы джиуджитсу и карате. Впрочем, Левка знал все на свете, особенно хорошо математику. Вася-в-кубе, преподаватель математики, говорил о нем: «Из таких-то и вырастают гении». И Левка не обращал внимания на Саньку, на Дюшку, на других ребят, никто не смел его задевать, он не задевал никого.

Дюшка среди ребят улицы Жана Поля Марата, если считать Левку, был третьим по силе. Там, где был Санька, он старался не появляться. И сейчас

лучше было бы повернуть обратно, но ребята, наверное, уже заметили, поверни — подумают, струсил.

Санька всегда выдумывал странные игры. Кто выше всех подбросит кошку. А чтоб кошка не убежала, чтоб не ловить ее после каждого броска, привязывали за ногу на тонкую длинную бечевку. Все бросали кошку по очереди, она падала на утоптанную землю и убежать не могла. И Санька бросал выше всех. Или же раз на рыбалке — кто съест живого пескаря? От выловленных на удочку пескарей пресно пахло речной тиной, они бились в руке, Дюшка не смог даже поднести ко рту — тошнило. И Санька издевался: «Неженка! Маменькин сынок!..» Сам он с хрустом умял пескаря не моргнув глазом — победил.

Сейчас он придумал новую игру.

На болоте стоял старый, заброшенный сарай, оставшийся еще с того времени, когда улица Марата только строилась. На его дощатой стене был нарисован мелом круг, вся стена заляпана слизистыми пятнами. Ребята ловили скачущих по кочкам лягушек. Их здесь водилось великое множество — воздух кипел, плескался, скрежетал от лягушачьих голов. Плескался и кипел в стороне, а напротив сарая — мертвое молчание, лягушки затаились от охотников, но это их не спасало.

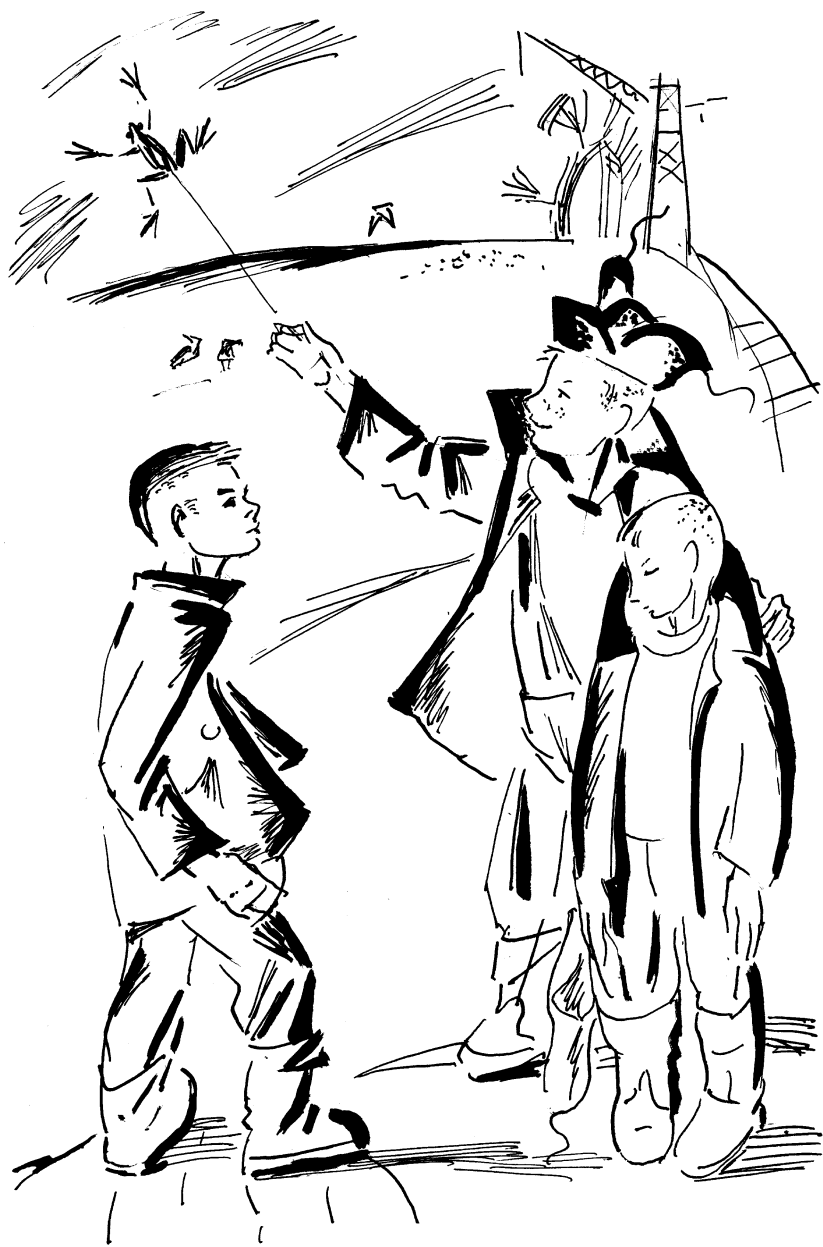
Санька, в своей лохматой шапке, деловито насупленный, принимал услужливо поднесенную лягушку, набрасывал веревочную петлю на лапку, строго спрашивал:

— Чья очередь? — И передавал из руки в руку веревочку со слабо барахтающейся лягушкой: — Бей!

Веревочку принял Петька Горюнов, тихий парнишка, с красным, словно ошпаренным лицом. Он раскрутил привязанную лягушку над головой, выпустил из рук конец веревочки... Лягушка с тошнотно мокрым шлепком врезалась в стену. Но не в круг, далеко от него.

— Косорукий! — сплюнул Санька. — Беги за веревочкой!

Петька послушно запрыгал по дышащим кочкам к стене сарая.



Только теперь Санька посмотрел на подошедшего Дюшку — глаза впрозелень, словно запачканные болотом, редко мигающие, стоячие. Взглянул и отвернулся: «Ага, пришел, ну, хорошо же...»

— Мазилы все. Глядите, как я вот сейчас... Лягуху давай! Эй ты там, косорукий, веревочку неси!

Колька Лысков, верткий, тощий, с маленьким, морщинистым, подвижным, как у обезьянки, лицом, для всех услужливый, а для Саньки особенно, подал пойманную лягушку. Запыхавшийся Петька принес веревочку.

— Глядите все!

Санька не торопился, уставился в сторону сарая выпуклыми немигающими глазами, лениво раскачивал привязанную лягушку. А та висела на веревочке вниз головой, растопыренная, как рогатка, обмершая в ожидании расправы. А в стороне бурлили, скрежетали, постанывали тысячи тысяч погруженных в болото лягушек, знать не знающих, что одна из них болтается головой вниз в руке Саньки Ерахи.

На секунду лягушка перестала болтаться, повисла неподвижно. Санька подобрался. А Дюшка вдруг в эту короткую секунду заметил ускользавшую до сих пор мелочь: распятая на веревочке лягушка натужно дышала изжелта-белым мягким брюхом. Дышала и глядела бессмысленно выкаченным золотистым глазом. Жила вниз головой и покорно ждала...

Санька распрямился, сначала медленно, потом азартно, с бешенством раскрутил над шапкой веревочку, и... мокрый шлепок мягким о твердое, в круге, обведенном мелом, — клякса слизи.

— Вот! — сказал Санька победно.

У Саньки под лохматой — «из чистой медвежатины» — шапкой широкое, плоское, розовое лицо, на нем торчком твердый решительный нос, круглые, совиные, с прозеленью глаза. Дюшка не мог вынести его взгляда, склонил к земле голову.

Под ногами валялся забуревший от старости кирпич. Дюшка постепенно отвел глаза от кирпича, натолкнулся на переминающегося красноржего вино-

ватого Петьку — «косорукий, не попал!». И Колька Лысков ослабился, выставил неровные зубы: до чего, мол, здорово ты, Ераха!

Воздух клокотал от влажно картавящих лягушачьих голосов. Никак не выгнать из головы ви-сящую лягушку, дышащую мягким животом, гля-дящую ржаво-золотистым глазом. Широкое розовое лицо под мохнатой шапкой, а нос-то у Саньки серый, деревянный, неживой. Неужели никому не противен Санька? Петька виновато мнетя, Колька Лысков ус-лужливо скалит зубы. Кричат лягушки, крик сле-пых, не видящих, не слышащих, не знающих ниче-го, кроме себя. Молчат ребята. Все с Санькой. У Сань-ки серый нос и зеленые болотные глаза.

— Теперь чья очередь? Ну?..

«Сейчас меня заставит», — подумал Дюшка и вспомнил о старом кирпиче под ногами. Весь подо-брался..

— Дай я кину, — подсунулся к Саньке Колька Лыс-ков, на синюшной мордочке несходящая умильная улыбочка. Он даже противнее Саньки!

— Вон Минька не кидал. Его очередь, — ответил Санька и снова покосился на Дюшку.

Минька Богатов самый мелкий по росту, самый слабый из ребят — большая голова дыней на тон-кой шее, красный нос стручком, синие глаза. Дюш-кин ровесник, учатся в одном классе.

Если Минька бросит, то попробуй после этого от-казаться. Не один Санька — все накинута: «Нежен-ка, маменькин сынок!» Все с Санькой... Кирпич под ногами, но против всех кирпич не поможет.

— Я не хочу, Санька, пусть Колька за меня. — Голос у Миньки тонкий, девичий, и синие страдаль-ческие глаза, узкое лицо бледно и перекошено. А ведь Минька-то красив!..

Санька наставил на Миньку деревянный нос:

— Не хоч-чу!.. Все хотят, а ты чистенький!

— Санька, не надо... Колька вон просит. — Сле-зы в голосе.

— Бери веревочку! Где лягуха?

Кричит лягушачье болото, молчат ребята. У Минь-

ки перекошено лицо — от страха, от безгливости. Куда Миньке деться от Саньки? Если Санька заставит Миньку...

И Дюшка сказал:

— Не тронь человека!

Сказал и впился взглядом в болотные глаза.

Кричит вперелив лягушачье болото. Крик слепых. У Саньки в вязкой зелени глаз стерегущий зрачок, нос помертвевший и на щеках, на плоском подбородке стали расцветать пятна. Петька Горюнов почтительно отступил подальше, у Кольки Лыскова на старушечьем личике изумленная радость — обострилась каждая морщинка, каждая складочка: «Ну-у, что будет!»

— Не тронь его, сволочь!

— Ты... свихнулся? — У Саньки даже голос осел.

— Бросай сам!

— А в морду?..

— Скотина! Палач! Плевал я на тебя!

Для убедительности Дюшка и в самом деле плюнул в сторону Саньки.

Жестко округлив нечистые зеленые глаза, опустив плечи, отведя от тела руки, шапкой вперед, Санька двинулся на Дюшку, бережно перенося каждую ногу, словно пробуя прочность земли. Дюшка быстро нагнулся, выковырнул из-под ног кирпич. Кирпич был тяжел — так долго лежал в сырости, что насквозь пропитался водой. И Санька, очередной раз попробовав ногой прочность земли, озадаченно остановился.

— Ну?.. — сказал Дюшка. — Давай!

И подался телом в сторону Саньки. Санька заворожено и уважительно смотрел на кирпич. Клокотал и скрежетал воздух от лягушачьих голосов. Не дыша стояли в стороне ребята, и Колька Лысков обмирал в счастливом восторге: «Ну-у, будет!» Кирпич был надежно тяжел.

Санька неловко, словно весь стал деревянным — вот-вот заскрипит, — повернулся спиной к Дюшке, все той же ощупывающей походочкой двинулся на Миньку. И Минька втянул свою большую голову в узкие плечи.



— Бери веревочку! Ну!

— Минька! Пусть он тронет тебя! — крикнул Дюшка и, навешивая кирпич, шагнул вперед.

Колька Лысков отскочил в сторону, но счастливое выражение на съезженной физиономии не исчезло, наоборот, стало еще сильнее: «Что будет!»

— Бери, гад, веревочку!

— Минька, сюда! Пусть только заденет!

Минька не двигался, вжимал голову в плечи, глядел в землю. Санька нависал над ним, шевелил руками, поеживался спиной, однако Миньку не трогал.

Картаво кричало лягушачье болото.

— Минька, пошли отсюда!

Минька вжимал в плечи голову, смотрел в землю.

— Минька, да что же ты? — Голос Дюшки расстроенно зазвенел.

Минька не пошевелился.

— Ты трус, Минька!

Молчал Минька, молчали ребята, передергивал спиной Санька, кричало болото.

— Оставайся! Так тебе и надо!

Сжимая в руке тяжелый кирпич, Дюшка боком, оступаясь на кочках, двинулся прочь.

По улице, прогибая ее, шли тяжкие лесовозы, заляпаные едкой весенней грязью. Они, должно быть, целый день пробивались из соседних лесопунктов по размытым дорогам, тащили на себе свежие, налитые соком еловые и сосновые кряжи. Они привезли из леса вместе с бревнами запах хвои, запах смолы, запах чужих далей, запах свободы.

Над крышами в отцветающем вечернем небе дежурил большой кран. Дюшкин друг и брат. И за рычанием лесовозов улавливался растворенный в воздухе невнятно-нежный звон.

Дюшка бросил ненужный кирпич. Дюшке хотелось плакать. Санька теперь не даст проходу. И Минька предал. И Миньку Санька все равно заставит убить лягушку. Хотелось плакать, но не от страха перед Санькой и уж не от жалости к Миньке — так ему и надо! — от непонятного. Сегодня с ним что-то случилось.

Что?

Кого спросить! Нет, нет! Нельзя! Ни отцу, ни матери, если только большому крану...

И Дюшка почувствовал вокруг себя пустоту — не на кого опереться, не за что ухватиться, живи сам как можешь. Как можешь?.. Земля кажется шаткой.

И стоит перед глазами Римка — легкие летающие руки, курчавящиеся у висков волосы... И не прогнать из головы дышащую животом лягушку... и он ненавидит Саньку! Все перепуталось. Что с ним сейчас?..

Рычат лесовозные машины, тащат тяжелые бревна, в тихом небе дремлет большой кран. Стоял посреди улицы Дюшка Тягунов, мальчишка, оглушенный самим собой.

Откуда знать мальчишке, что вместе с любовью приходит и ненависть, вместе с неистовым желанием братства — горькое чувство одиночества. Об этом часто не догадываются и взрослые.

Лесовозы прошли, но остался запах бензина и хвойного леса, остался растворенный в воздухе звон. Это с болот доносился крик лягушек. Крик неистовой любви к жизни, крик исступленной страсти к продолжению рода, и капель с крыш, и движение вод в земле, и шум взбудораженной крови в ушах — все сливалось в одну звенящую ноту, распиравшую небесный свод.

#### 4

Дома шел разговор. Как всегда, шумно говорил отец, как всегда, о своем большом кране:

— Кто знал, что в этом году будет такой паводок! Берег подмывает, гляди да локти кусай — кувырнется в воду наш красавец. А кто настаивал: надо выдвинуть в реку бетонный мол. Нет, мол, — накладно. Из воды выуживать эту махину не накладно? Да дешевле новый кран купить! Всегда так — экономим на крохах, прогораем на ворохах!..

У матери остановившийся взгляд, направленный куда-то внутрь себя, вглубь себя. Она неожиданно перебила отца:

— Федя, ты не помнишь, что случилось пятнадцать лет назад?

— Пятнадцать лет?.. Гм!.. Пятнадцать... Нет, что-то не припомню... Кстати, как сегодня здоровье твоего Гринченко?

— Представь себе, лучше.

— А почему похоронное настроение, словно у тебя там несчастье?

— Да так... Вдруг вот вспомнилось... Пятнадцать лет назад бежали ручьи и капало с крыш, как сегодня.

Отец стоит посреди комнаты в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, взлохмаченная голова под потолок. Косит глазом на мать — озадачен.

— Что за загадки? Говори прямо.

— Пятнадцать лет назад, Федя, в этот день ты мне поднес... белые нарциссы, помнишь ли?

— Ах да!.. Да!.. Бежали ручьи... Помню.

— С этих цветов, собственно, и началось.

— Да, да.

— Ты тогда был неуклюжий, сутулился... Цветы, ручьи и твоя слоновья вежливость.

— Действительно... Я боялся тогда тебя.

— Я прижимала твои цветы и думала: Господи, возможно ли так, чтобы просыпаться по утрам и видеть этого смущающегося слона день за днем, год за годом. Не верилось.

— Мы вместе, Вера. Пятнадцать лет...

— А вместе ли, Федор? Краны, тягачи, кубометры, инфаркты, нефриты — гора забот между нами. Чем дальше, тем выше она... Федя, ты мне уже никогда больше не дарил цветов. Те белые нарциссы — первые и последние.

Отец грузно зашагал по комнате, влезая пятерней в растрепанные волосы, мать глядела перед собой углубленными глазами.

— Белые нарциссы... — с досадой бормотал отец. — Я даже еловых шишек не могу здесь поднести, к нам приходят раздетые донага бревна... Вера, ты сегодня что-то не в настроении. Что-то у тебя случилось? Какая неприятность?

— Случилась очередная весна, Федя.

Мать и отец даже не заметили вернувшегося с улицы Дюшку, никто не спрашивал его, сделал ли он домашние задания. Он так и не решил задачу о двух пешеходах.

Бабушка Климовна штопала Дюшкин свитер, тоже прислушивалась к разговору о нарциссах, шумно вздохнула:

— Ох, батюшки! Мечутся, всё мечутся, не знай чего хотят.

Дюшку не волновали белые нарциссы, до них ли сейчас! Он потихоньку взял «Сочинения» Пушкина, убрался в другую комнату, раскрыл книгу на портрете Натальи Гончаровой. Белое бальное платье с вырезом, нежная шея, точеный нос, завитки волос на висках — красавица.

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,  
Чистейшей прелести чистейший образец.

## 5

Утром он рано проснулся с кипучим чувством — скорей, скорей! Едва хватило сил позавтракать под воркотню Климовны, схватил свой портфель — и на улицу. Скорей! Скорей!

Но, спрыгнув с крыльца, он понял, что поторопился.

Улица была тихо населена, но не людьми, а грачами. Большие парадно-мрачные птицы молчаливо вперевалку разгуливали по дороге, каждая в отрешенном уединении носила свой серый клюв, нет-нет да трогая им землю задумчиво, рассеянно, брезгливо. Большие птицы, черные, как головешки, углубленные в свои серьезные заботы. Странное население, а потому и сама улица Жана Поля Марата кажется странной, словно в фантастической книжке: люди вымерли, хозяевами остались мудрые птицы, один Дюшка случайно уцелел на всей земле. Представить и — бр-р-р! — жутковато.

Но жутковато так, между делом. Дюшку беспокоили сейчас не грачи. Он только теперь сообразил,

чего хотел, почему спешил: не пропустить Римку, чтобы идти следом за ней до самой школы (боже упаси, не рядышком!), издали глядеть, глядеть... Скывывающее пальто, кусочек тонкой белой шеи между воротником и вязаной шапочкой. Кусочек белой и теплой кожи...

Но пуста улица, по ней лишь гуляют прилетевшие из дальних стран грачи. Надо ждать, но это трудно, и скоро на улице появятся прохожие, станут подозрительно коситься: а почему мальчишка топчется у крыльца, а кого это он ждет?..

И опять влез в мысли непрошенный Санька Ераха. Он-то уж помнит вчерашнее, он-то уж непременно будет сторожить на дороге. Просто кулаками с Санькой не справишься. И снова в грудь отравой полилась бессильная ненависть: зачем только такая пакость живет на свете?

Дюшка стоял возле крыльца, глядел на грачей, на молодую, крепкую березку, окутанную по ветвям сквозным зеленым дымком, на старый пень посреди истоптанного двора. Днем этот пень как-то незаметен, сейчас нахально лезет в глаза. И неспроста!

Неожиданно Дюшка ощутил: что-то живет на пустой улице, что-то помимо грачей, березки, старого пня. Солнце переливалось через крышу, заставляло жмуриться, длинные тени пересекали помятую машинами дорогу, грачи блуждали между тенями, в полосах солнечного света. Что-то есть, что-то, заполняющее все, — невидимое, неслышимое, крадущееся по поселку мимо Дюшки. И оно всегда, всегда было, и никто никогда не замечал его. Никто никогда, ни Дюшка, ни другие люди!

Дюшка стоял затаив дыхание, боясь спугнуть свое хрупкое неведение. Вот-вот — и откроется. Вот-вот — великая тайна, не подвластная никому. Стоит лишь поднапрячься — вот-вот...

Береза... Она в сквозной дымке. Вчера этой дымки не было — ночью распустились почки. Что-то тут, рядом, а не дается.

Грачи неожиданно, как по приказу, дружно, молча, деловито, с натужной тяжестью взлетели. Хло-

панье крыльев, шум рассекаемого воздуха, сизый отлив черных перьев на солнце. Где-то в конце улицы сердито заколотился звук работающего мотора. Грачи, унося с собой шорох взбаламученного воздуха, растаяли в небе. Заполняя до крыш улицу грубым машинным рыком и грохотом расхлябанных металлических суставов, давя ребристыми скатами и без того вматую щебенку, прокатил лесовоз-тягач с пустым мотающимся прицепом.

Он прокатил, скрылся за домами, но его грубое рычание еще долго билось о стены домов, о темные, маслянисто отсвечивающие окна. Но и этот отзвук должен исчезнуть. Непременно. И он исчез.

И береза в зеленой дымке, которой вчера не было... Вот-вот — тайна рядом, вот-вот — сейчас!..

Пуста улица, нет грачей. Улица та же, но и не та — изменилась. Вот-вот... Кажется, он нащупывает след того невидимого, неслышимого, что заполняет улицу, крадется мимо.

Хлопнула где-то дверь, кто-то из людей вышел из своего дома. Скоро появится много прохожих. И улица снова изменится. Скоро, пройдет немного времени...

И Дюшка задохнулся — он понял! Он открыл! Сам того не желая, он назвал в мыслях то невидимое и неслышимое, крадущееся мимо: «Пройдет немного в р е м е н и...»

В р е м я! Оно крадется.

Дюшка его увидел! Пусть не само, пусть его следы.

Вчера на березе не было дымки, вчера еще не распустились почки — сегодня есть! Это след пробежавшего времени!

Были грачи — нет их! Опять время — его след, его шевеление! Оно унесло вдаль рычащую машину, оно скоро заполнит улицу людьми...

Беззвучно течет по улице время, меняет все вокруг.

И этот старый пенёк — тоже его след. Когда-то тут, давным-давно, упало семечко, проклюнулся росточек, стал тянуться, превратился в дерево...

Течет время, рождаются и умирают деревья, рождаются и умирают люди. Из глубокой древности, из безликих далей к этой вот минуте — течет, подхватывает Дюшку, несет его дальше, куда-то в щемлящую бесконечность.

И жутко и радостно... Радостно, что открыл, жутко — открыл-то не что-нибудь, а великое, дух захватывает!

Течет время... Дюшка даже забыл о Римке.

— Дюшка...

Бочком, боязливо, склонив на плечо тяжелую голову в отцовской шапке, приблизился Минька Богатов — на узкие плечики навешен истрепанный ранец, руки забько засунуты в карманы.

— Дюшка... — И виновато шмыгнул простуженным носом.

— Минька, а я время увидел! Сейчас вот, — объявил Дюшка.

Минька перестал мигать — глаза яркие, синие, а ресницы совсем белые, как у поросенка, нос, словно только что вымытая морковка, блестит. И в тонких бледных губах дрожание, должно быть от страха перед Дюшкой. Дюшке же не до старых счетов.

— Видел! Время! Не веришь? — Он победно развернул плечи.

— Чего, Дюшка?

— Время, говорю! Его никто не видит. Это как ветер. Сам ветер увидеть нельзя, а если он ветки шевелит или листья, то видно...

— Время ветки шевелит?

— Дурак! Время сейчас улицу шевелило. Всё! То нет, то вдруг есть... Или вот береза, например... И грачи были, да улетели... И еще пень этот. Погляди, как его время...

Минька глядел на Дюшку, помахивал пороссячьими ресницами, губы его начали кривиться.

— Дюшка, ты чего? — спросил он шепотом.

— «Чего, чего»! Ты пойми — пень-то деревом раньше был, а еще раньше кустиком, а еще — росточ-

ком маленьким, семечком... Разве не время сделало пень этот?

— Дюшка, а вчера ты на Саньку вдруг... с кирпичом. — Минька расстроено зашмыгал носом.

— Ну так что?

— А сейчас вот — в пне время какое-то... Ой, Дюшка!..

— Что — ой? Что — ой? Чего ты на меня так тарацишься?

Глаза у Миньки раскисли, словно у Маратки, ничейной собаки, которая живет по всей улице Жана Поля Марата; есть в кармане сахар или нет, та все равно смотрит на тебя со слезой, не поймешь, себя ли жалеет или тебя.

— Ты не заболел, Дюша?

И Дюшка ничего не ответил. Сам вчера за собой заметил — что-то неладно! Вчера — сам, сегодня — Минька, завтра все будут знать.

Улица как улица, береза как береза, и старый пень всего-навсего старый пень. Только что радовался, дух захватывало... Хорошо, что Минька ничего не знает о Римке.

И ради собственного спасения напал на Миньку сердитым голосом:

— Если я против Саньки, так уж и заболел. Может, вы все вместе с Санькой с ума посходили — на лягуш ни с того ни с сего!.. Что вам лягушки сделали?

— Санька-то тебе не простит. Ты его знаешь — покалечит, что ему...

— Плевал, не боюсь!

— Разве можно Саньки не бояться? Сам знаешь, он и ножом... Что ему...

Минька поеживался, помаргивал, переминался, явно страдал за Дюшку. И глаза у друга Миньки как у ничейного Маратки.

Дюшка задумался.

— Кирпич нужен. Чтобы чистый, — сказал он решительно.

— Кирпич? Чистый?..



— Ну да, не могу же я грязный кирпич в портфель положить. Теперь я всегда с портфелем буду ходить по улице. Санька наскочит, я портфель открою и... кирпич. Испугался он тогда кирпича, опять испугается.

Минька перестал виновато моргать, уважительно уставился на Дюшку: ресницы белые, нос — морковка-недоросток.

— Возле нашего дома целый штабель, — сказал он. — Хорошие кирпичи, чистые, толем укрыты.

— Пошли! — решительно заявил Дюшка.

Они выбрали из-под толя сухой кирпич. Дюшка очистил его рукавом пальто от красной пыли, придирчиво осмотрел со всех сторон — что надо, — опустил в портфель. Кирпич лег рядом с задачником по алгебре, с хрестоматией по литературе. Портфель раздулся и стал тяжелым, зато на душе сразу полегчало — пусть теперь сунется Санька. Оказывается, как просто: для того чтобы жить без страха, нужен всего-навсего хороший кирпич. Мир снова стал доброжелательным. Минька с уважением поглядывал на Дюшкин портфель.

Они отправились в школу. Поджидать Римку вместе с Минькой глупо. Да и какая нужда? И все-таки хотелось ее видеть. Хотелось, хотя умом понимал — нужды нет!

Санька не встретился им по дороге.

## 6

Он успел ее увидеть перед самым звонком в толчее и сутолоке школьного коридора. И сейчас, на уроке, он тихо переживал это свое маленькое счастье.

— Тягунов! Федор! Ты уснул?

Женька Клюев, сосед по парте, ткнул Дюшку в бок:

— Вызывают. К доске.

Учителя математики звали Василий Васильевич, и фамилия у него тоже Васильев, а потому и прозвище — Вася-в-кубе. Он был уже стар, каждый год

грозится уйти на пенсию, но не уходит. Высок, тощ, броваст, с прокаленной, как бок печного горшка, лысиной, с всячим крупным носом и басист. Его бас, грозные брови, высокий рост пугали новичков, которые приходили из начальных школ. Ребята чуть постарше хорошо знали — Вася-в-кубе страшен только с виду.

Он всегда о ком-нибудь хлопотал: то путевку в южный пионерлагерь больному ученику, то пенсию родителю. Почти всегда у него дома на хлебах жил парнишка из деревни, в котором Вася-в-кубе видел большой талант, занимался его развитием.

Он верил, что талантливы все люди, только сами того не знают, а потому таланты остаются нераскрытыми. И он, Вася-в-кубе, усердствовал, раскрывал.

Рассказывают, что, когда Левка Гайзер, тогда еще ученик пятого класса, начал решать очень трудные задачи, Вася-в-кубе плакал от радости, по-настоящему, слезами, при всех, не стесняясь.

Он видел нераскрытый талант и в Дюшке, чем сильно отравлял Дюшкину жизнь. Математика Дюшке не давалась, а Вася-в-кубе не уставал этому огорчаться.

Сейчас Дюшка стоял у доски, а Василий Васильевич мерил длинными ногами класс в ширину, от двери к окну и обратно.

— Это что же, Тягунов, такое? — расстроенным громыхающим басом. — Что за распущенность, спрашиваю? Куда же ты катишься, Тягунов? Идет последняя четверть. Последняя! У тебя две двойки, сейчас поставлю третью! А в итоге?.. — Густые брови Васи-в-кубе выползли почти на лысину. — В итоге ты второгодник, Тягунов!

Дюшка и сам понимал, что вчера эту проклятую задачу о путешественниках, пешком отправившихся навстречу друг другу, кровь из носу, а должен бы решить. Ну, на худой конец, списать у кого. Не получилось. Дюшка убито молчал.

— Что ж... — Сморщившись, словно сильно заболела поясница, Василий Васильевич склонился над журналом: — Двойка!

Дюшка двинулся к своей парте.

— Куда? — грозно спросил Вася-в-кубе и указал широкой мослаковой рукой на пластмассовую продолговатую коробочку на своем столе: — Почиститься!

— Я же не трогал мела.

— Почиститься!

Васю-в-кубе никак нельзя было назвать большим аккуратистом — носил брюки с пузырями на коленях, мятый пиджачок, жеваный галстук, но почему-то он не выносил следов мела на одежде у себя и у других. Вместе с классным журналом он приносил на уроки платяную щетку в коробочке. Каждому, кто постоял у доски, вручалась эта коробочка и предлагалось удалиться на минуту из класса, счистить с себя следы мела. Тем, кто ответил хорошо, ласковым голосом: «Приведи себя в порядок, голубчик»; кто отвечал плохо — резко, коротко: «Почиститься!» И уж лучше не спорить, Вася-в-кубе тут выходил из себя.

Дюшка с коробочкой в руках вышел из класса. В пустом коридоре, заполненном потусторонними голосами, привалясь плечом к стене, стоял Санька Ераха, лицо хмурое, соломенные волосы падают на сонные глаза — за что-то, видать, выставили с урока.

Санька и Дюшка — один на один, лицом к лицу в пустом коридоре. Портфель с кирпичом в классе...

Но Санька не пошевелился, не оторвал плеча от стены, он только глядел на Дюшку из-под перепутанных волос сонно и холодно. И Дюшке стало стыдно, что он испугался. Во время уроков в коридоре Санька не полезет.

Дюшка не спеша раскрыл коробочку, вытащил щетку, принялся чистить свои брюки, старательно, не пропуская ни одной соринки, словно чистка старых штанов — наслаждение.

Он чистил и ждал — Санька заговорит. Тогда Дюшка ему ответит, не спустит. Он чистил, а Санька молчал, смотрел. Дюшка прошелся по одной штанине, принялся за другую — Санька молчал и смотрел в упор. И тогда Дюшка понял, что Санька молчит

неспроста — уж очень сильно его ненавидит, иначе бы не выдержал, ругнулся. Молчит и глядит совиными глазами, молчит и глядит...

Дюшка принялся чиститься по второму разу — вдруг да Санька не выдержит, ругнется хотя бы шепотом. Но молчание. И пришла в голову простая мысль: а почему все-таки Санька его ненавидит? Он хорошо знает, что Дюшка не станет его подстергать, ему, Саньке, нечего бояться Дюшки, жизнь не портит, настроение не отравляет, как это делает сам Санька, а все-таки ненавидит. Только за то, что он, Дюшка, не захотел бросить лягушку, не подчинился? Даже защитит Миньку ему не удалось. Мало ли чего кому не хочется. Вот он, Дюшка, например, не захотел решить задачу о путешественниках, Васе-в-кубе это неприятно, Вася-в-кубе огорчен, но представить — возненавидел за это... Нет, слишком!

И тут спохватился: а ведь и он Саньку ненавидит не только за то, что тот отравляет жизнь, заставляет носить с собой кирпич. Ненавидит, что Саньке нравится мучить кошек, убивать лягуш. Казалось бы, тебе-то какое дело — пусть, коли нравится. Нет, ненавидит Санькины привычки, Санькины выкаченные глаза, Санькин нос, Санькино плоское лицо, ненавидит просто за то, что он такой есть.

Санька глядел остановившимся взглядом, и Дюшка попробовал представить себе, каким видит сейчас его Санька. Но не успел, так как кончилась последняя штанина, начать чиститься по третьему разу просто смешно, черт те что может подумать Санька.

Дюшка вложил щетку в коробочку, взглянул на следок на Саньку, и взгляды их встретились... Стоячие, холодные, мутно-зеленые глаза. Да, не ошибся. Да, Санька неспроста молчит. Кирпич все-таки ненадежная защита.

Так, в молчании, и расстались. Дюшка вернулся в класс.

На перемене ему уже некогда было выглядывать Римку, он искал Левку Гайзера. Кирпич — ненадежно, один только Левка мог помочь.

Он отыскал Левку возле кабинета физики, отозвал в сторону. У Левки серые спокойные глаза и ресницы, как у девочки, загибались вверх. У него уже начали пробиваться усы, пока чуть-чуть, легким дымком над полными красными губами. Красивый парень Левка.

— Научи меня джиу-джитсу, Левка, или карате. Очень нужно, не просил бы.

— А может, мне лучше научить тебя танцевать, как Майя Плисецкая?

— Левка, нужно! Очень! Ты знаешь приемы, все говорят.

— Послушай, таракан: незнаком я с этой чепухой. Вы там черт-те какие басни про меня распускаете.

Зазвенел звонок, Левка ударил Дюшку по плечу:

— Так-то, насекомое! Не могу помочь.

И ушел пружинящей спортивной походочкой.

Одна надежда на кирпич.

## 7

— Минька! Вон травка выползла, зелененькая, умытая. Почему она такая умытая, Минька? Она же из грязной земли выползла. Из земли, Минька! Из мокроты! На солнце! Ей тепло, ей вкусно... Она же солнечные лучи пьет. Растения солнцем питаются. Лучи им как молоко... Ты оглянись, Минька, ты только оглянись! Все на земле шевелится, даже мертвое... Вон этот камень, Минька, он старик. Он давно, давно скалой был. Скала-то развалилась на камни, Минька... А потом льды тут были, вечные, они ползали и камни за собой таскали. Этот камень издали к нам притащен. Он самый старый в поселке, всех людей старше, всех деревьев. У него, Минька, долгая жизнь была, но скучная. Ух какая скучная! Ему же все равно — что зима, что лето, мороз или тепло...

Свершилось! Впереди шла Римка Братенева — вязаная шапочка, кусочек обнаженной шеи под ней. И тесное, выгоревшее коричневое пальто, и длинные ноги — походочка с лентой, разомлевшая. В самой



Римкиной походке, обычно летящей, чувствуется слишком щедрое солнце, заставляющее сверкать и зеленеть землю, вызывающее ленивую истому в теле. Дюшке не до истомы. Шла впереди Римка в стайке, среди других девчонок, и счастье не умещалось в теле. Дюшка легко нес тяжелый портфель — спасительно тяжелый — он не боялся встречи с Санькой, а потому ничто сейчас не омрачало его счастья. Дюшка говорил, говорил, слова сами лились из него, славя траву и влажную землю, лучи солнца и угрюмый валун при дороге. И как хорошо, что было кому слушать — Минька Богатов поспевал мелким козлиным скоком со своим истрепанным ранцем за спиной.

— Минь-ка-а! — Дюшку захлестывала нежность к товарищу. — Это хорошо, что мы родились! Взгляни да вдруг родились... И растем и всё видим! Хорошо жить, Минька!.. А я ненавижу, Минька... Я Саньку Ераху ненавижу! Живет себе лягушка — ему надо ее убить. Живем мы — ему надо, чтобы мы боялись его. А я не боюсь! Буду ходить, куда хочу, глядеть, что хочу. Я только портфель с собой стану носить, пока себе мускулы не накачаю и приемы не выучу. А тогда на что мне портфель с кирпичом, тогда я и без кирпича... И тебя я не дам, Минька, в обиду. Ты держись за меня, Минька!

Шла впереди Римка Братенева, девчонка в вязаной шапочке, от нее накалялся белый свет, от нее горел Дюшка. Он говорил, говорил, словно пел, и не мог с собой справиться. Песнь траве, песнь солнцу, песнь весне и жизни, песнь благородной ненависти к тем, кто мешает жить.

— Вон кран стоит, он мне вроде брата, Минька! Потому что поставлен отцом. Я отца, Минька, люблю, он, увидишь, еще такое завернет здесь, в поселке, — ахнут все! И мать у меня, Минька, хорошая. Очень, очень, очень хорошая! Она людям умирать не дает. Сама, Минька, устает, ночей не спит, чтобы другие жили. Это же хорошо, скажи, что нет? Хорошо уставать, чтоб другие жили. Правда, Минька?.. Минька, что с тобой... Минь-ка!

Дюшка только сейчас заметил, что по щекам Миньки текут слезы. Идет, спотыкается и плачет, и лицо у него какое-то серое, с выступающими сквозь кожу голодными косточками.

— Минька, ты что?..

И Минька сорвался, сгибаясь под ранцем, дергающимся скоком побежал прочь от счастливого Дюшки.

— Ми-и-нь-ка!

Минька не обернулся. Дюшка остановился в растерянности.

Земля вокруг была ослепительно рыжей. Удалялась вместе с девчонками Римка Братенева — вязаная шапочка в компании цветных платочков, беретов, других вязаных шапочек.

И стало стыдно, что был так неумеренно счастлив. И недоумение: чем же он все-таки мог обидеть Миньку?

Солнце обливало рыжую, по-весеннему еще обнаженную землю. Дюшка стоял среди горячего, светлого, праздничного мира, не подозревая, что мир играет с ним в перевертыши.

## 8

С отравленным настроением он взялся за ручку двери и вдруг услышал за дверью перекатывающийся бас. Дома его ждал гость столь неприятный, что хоть поворачивай и беги обратно на улицу. Минуту-другую Дюшка мялся, портфель, из которого он внизу вынул кирпич, снова показался тяжелым. Может, и в самом деле погулять, пока незваный гость не уйдет?..

Гость-то уйдет, а беда останется, что уж труса праздновать. И Дюшка открыл дверь, обреченно шагнул через порог навстречу гремевшему басу.

Посреди комнаты лысиной под потолок стоял Вася-в-кубе, размахивал длинной рукой и ораторствовал. Отец и мать, пришедшие с работы на обед, озабоченная старая Климовна сидели вокруг застланного скатертью стола и почтительно слушали. Вася-в-кубе считался одним из самых умных людей в поселке.



Мать не оглянулась в сторону сына, отец лишь стрельнул сердитым глазом. Климовна вздохнула и опустила седую, гладко причесанную голову, а Вася-в-кубе покосился, но речи своей не прервал.

— Нет от природы дурных людей, есть дурные воспитатели! Да! — гремел Василий Васильевич, и оконные стекла отзывались на его голос. — Мы, учителя, не справляемся с воспитанием, даем брак... Согласен! Подписываюсь! Но!.. Но ведь в школе ученик проводит всего каких-нибудь шесть часов в сутки, остальные восемнадцать часов — дома! Законно спросить: чье влияние сильнее на ребенка? Нас, учителей, или вас, родителей?..

— Вы хотите сказать, Василий Васильевич... — начал было отец Дюшки.

— Хочу сказать, Федор Андреевич, — голос Василия Васильевича стал тверд, лицо величественно, — что когда вы в ущерб семье с раннего утра до позднего вечера пропадаете на работе, то не считайте — мол, это так уж полезно для общества. Обществу, уважаемый Федор Андреевич, нужно, чтоб вы побольше отдавали времени своему сыну, заражали его тем, чем сами богаты. Да! Вы трудолюбивы, вы работоспособны, а сын, увы, этого от вас не перенял. Не перенял он и вашу кипучую энергию, и ваше чувство ответственности перед делом. Не обижайтесь за мою прямоthu.

— Да что уж обижаться — вы правы, сына вижу только вечером, когда с ног валюсь, — отмахнулся огорченно отец. — И мать тоже по горло занята. На Клавдии Климовне он...

Климовна ответила вздохом, мать промолчала.

— Поймите меня, — снова зарокотал Василий Васильевич, — я вовсе не хочу, чтобы каждый... каждый родитель влиял на своего ребенка. Есть родители, от влияния которых я бы с удовольствием оградил детей. Возьмите всем известного Богатова... Кто он, этот Никита Богатов? Хронический неудачник! И это передается на его мальчика — забит, робок, несчастен! Можно только сожалеть о влиянии Богатова на своего сына.

До сих пор все, что говорил Вася-в-кубе, было и не нужно и неприятно Дюшке, сейчас насторожился: Богатов Никита — отец Миньки, несчастный мальчик — сам Минька. А Дюшка только что видел Минькины слезы...

Но Вася-в-кубе не стал углубляться в судьбу Миньки, его интересовала судьба Дюшки. Он повернулся к нему:

— Я хочу от тебя одного: чтоб ты потесней сошелся слевой Гайзером. Он-то уж поможет... Потесней! Понимаешь?

Он, Дюшка, понимал Васю-в-кубе, да тот плохо понимал Дюшку. Какой интерес Левке водиться с Дюшкой, с тем, кто моложе почти на два года. Левка таких тараканами зовет. Будет звать тараканом и показывать, как решаются задачки про пешеходов... Уж лучше Дюшка сам как-нибудь. Но вслух этого он не сказал.

Зато Климовна съездничала:

— У него Минька, сын Богатова, — первый товарищ. Охо-хо!

— Василий Васильевич, спасибо вам, — подала голос мать. — Что в наших силах, то сделаем. Как-никак он у нас один.

— Ну и прекрасно! Ну и превосходно!.. А я, со своей стороны, уверяю вас, тоже... Под прицелом будешь у меня, голубчик, под прицелом!

Вася-в-кубе заметно подобрел. Он и вообще-то не умел долго сердиться, а уж после того, как поговорит, поораторствует, громко, всласть отчитает, всегда становится мирным и ласковым. Все ребята это знали и молчали, когда он ругался.

Он ушел успокоенный и великодушный, родители проводили его до дверей.

Климовна, поджав губы, с выражением «пропавший ты человек» стала собирать на стол.

Отец вернулся в комнату, пнул стул, подвернувшийся на пути, навис над Дюшкой:

— Достукался! Краснеть за тебя приходится. Нет, я приму меры — забудешь улицу, Минек, Санек!.. Я найду способ усадить за рабочий стол!..

Мать опустила на стул и позвала:

— Подойди ко мне, Дюшка.

Отец сразу умолк, а Дюшка несмело подошел. Он больше боялся тихого голоса матери, чем крика отца.

Мать положила ему на плечо руку и стала молча вглядываться, долго-долго, в углах губ проступали опасные морщинки.

— Дюшка... — И замолчала, снова стала вглядываться Дюшке в лицо. Наконец заговорила: — У меня сейчас в больнице умирает человек, Дюшка. Я сейчас уйду к нему и вернусь поздно... И завтра я должна быть там, в больнице, и послезавтра... Человек при смерти, Дюшка, должна я его спасти или нет?

— Должна, — выдавил Дюшка, в тон матери, тихо.

— Я спасу этого, появится другой больной. И мне снова придется спасать... А может, мне лучше не спасать больных, заняться тобой? Ты здоров, тебе смерть не грозит, но ты так глуп и ленив, что нужно следить, хватать тебя за руку, силой вести к столу, чтобы учил уроки.

— Черт! — В полном расстройстве отец пнул ногой стул; было ясно, что с таким же удовольствием он отвесил бы пинок Дюшке.

— Мам... — У Дюшки сжалось горло. — Мам... Я все... Я сам... Не надо обо мне... думать.

Мать сняла с плеча руку, отвела глаза, сказала устало, словно пожаловалась:

— У меня сейчас сложная операция. Будем оперировать Гринченко. Я очень волнуюсь, Дюшка.

— Мам! Не думай обо мне. Я сам... Вот увидишь.

— А я все-таки приму меры! Не-ет, я на самотек не пущу! — Отец решительно направился к телефону, набрал номер: — Алло! Гайзер!.. Слушай, Алексей Яковлевич, просьба к тебе. И нет, не к тебе, а к твоему сыну. Пусть он займется моим балбесом, подтянет по математике... Как мужчина мужчину прошу, так и передай — как мужчина мужчине... Ну, спасибо... Что — платформ нет? Выкатку приостановить?! Да ты что, Гайзер? В такую воду держать лес в запани! А если ночью прорвет запань?.. Нет, дру-

жочек, нет, не крути! Вышибай и платформы — кровь из носу!..

И отец забыл о Дюшке.

Климовна вздыхала над столом:

— Э-эх! Курица пестра сверху, человек изнутри.

После обеда Дюшка никуда не пошел, сел за стол, разложил перед собой учебники и задумался... Сначала о матери, которая, наверно, в эти самые минуты спасает от смерти какого-то незнакомого Гринченко. Потом всплыл в памяти Минька. Почему он вдруг?.. Минька расплакался, должно быть, потому, что Дюшка стал хвастаться отцом. Минькиного отца, Никиту Богатова, не любили в поселке. Минькина мать бегала по соседям и жаловалась на мужа: не зарабатывает, не заботится о семье... И это верно — Минька ходит в школу в рваных ботинках.

Дюшка только издали видел Минькиного отца. Тот не выглядел уж таким злодеем — обычный человек, носит помятую шляпу, старое пальто с длинными полами, в которых он путается ногами на ходу, и нельзя никогда понять, пьян он или от рождения таков. И лицо у Минькиного отца мятое, как его шляпа, бесцветное, только глаза синие, точь-в-точь как у Миньки. Еще у Минькиного отца странная привычка — всегда что-то бормочет на ходу. А однажды Дюшка его увидел в лесу — стоит один-одинешенек на поляне, помахивает рукой и громко декламирует:

Я звал тебя, но ты не оглянулась,

Я слезы лил, но ты...

Что-то непонятное. Стихи — деревьям! Станный. Он сам пишет стихи и раньше жил в городе, работал в газете, которая каждый день приходит в Куделино. Газету все читают, стихов Богатова никто не знает. И работает теперь Богатов простым делопроизводителем в конторе.

Жаль Миньку. Жаль, пожалуй, больше, чем себя.

Задача о путешественниках никак не решалась.

Левка Гайзер сам подошел к Дюшке:

— После уроков потолкуем, таракан.

И вот после уроков они вышагивают бок о бок. Поролоновая курточка, джинсы в обтяжечку, румяные щеки, серые глаза под девчоночьими ресницами, папка в руках и еще какая-то умная книга, не уместившаяся в папку. Дюшка рядом, со своим потасканным портфелем. Портфель оттягивает руку, в нем кирпич против Саньки Ерахи.

Левка с ленцой шагает, нехотя говорит, словно такие, как Дюшка, насекомые ему, занятому, надоедают каждый день:

— Вася-в-кубе считает, что к математике нужно тянуть за уши. У меня на этот счет свое мнение...

У Дюшки своего мнения нет: отец заставляет и... дал слово матери.

— Я считаю, в математику нужно бросать человека, как в воду: выплывешь — значит, и дальше станешь плавать, не выплывешь — черт с тобой, тони, того стоишь.

Дюшка терпит свою насекомость, ждет, как и когда умный Левка бросит его в математику, словно в воду.

— Вот... — Левка протянул Дюшке книгу. — Нырни в нее, постарайся с головой. Популярная, легко читается. Проплывешь до конца — буду с тобой разговаривать. Не проплывешь... Что ж, ходи по суше, как все ходят. Ничем тогда не смогу тебе помочь, таракан.

Дюшка взял книгу, попросил:

— Левка, не зови меня тараканом.

Левка впервые с интересом посмотрел на Дюшку, неожиданно согласился:

— Хорошо, не буду, если не нравится.

Нет, он все-таки человек невредный, другой бы, видя, что не нравится, стал настаивать: «Так ты и есть таракан, клопа перерос, до кошки не дорос!» От благодарности захотелось поделиться с Левкой.

— Левка, а может такое быть — я тут время увидел.

— Время? Увидел?!

— Понимаешь, утром вышел на улицу, и вдруг... Грачи улетели, машина прошла, почки на березе распустились. Все это видят, а никто не догадывается, что это время все меняет. Грачи были да нет, машина была да пропала, почек не было — появились. Хочешь стой, хочешь ходи, хочешь спи себе, а время идет, все меняет.

— Гм...

Левка не рассмеялся, наоборот, озадаченно закосил глазом на сторону.

— Любопытно. Только ты не время, нет, ты движение видел. Почки на березе — тоже движение.

— Ну да, движение. Ветер двигается — и видно, как он ветки раскачивает. Так и время...

— Гм... Движение-то во времени... А ты не такой простой, таракан... Ох, извини, забыл.

— Ничего. — Дюшка теперь готов был великодушно простить Левке и «таракана».

Грязную улицу Жана Поля Марата пересекала кошка, брезгливо ставя лапы на мокрую землю. И Дюшка с Левкой загляделись на нее. Кошка достигла противоположного тротуара.

— Двадцать пять секунд! — объявил Левка.

— Чего — двадцать пять? — не понял Дюшка.

— Двадцать пять секунд прошло, пока кошка через улицу переходила. Она на двадцать пять секунд стала старше, мы с тобой — старше на столько же, Земля вся старше, Вселенная...

Дюшка задумался, еще раз представив себе в мыслях кошку, брезгливо ступающую чистыми, вылизанными лапами по грязной земле, и неожиданно возразил:

— Нет, Левка, у кошки прошло не двадцать пять секунд.

— Я считал.

— Ты наши секунды считал, человечьи, не кошкины.

— Какая разница — наши, кошкины?

— Кошки живут на свете меньше людей. Пока она шла через улицу, у нее времени больше прошло.

— На Земле одно время у всех.

— Как так одно? Мне вот тринадцать лет, а я еще молодой. Кошка в тринадцать лет старуха. Если годы для людей и для кошек разные, то и секунды разными быть должны.

Левка помолчал, хмуря брови, уходя взглядом в сторону, и рассмеялся:

— Черт знает что у тебя в голове вертится! Кошкино время! Эйнштейн со смеху бы лопнул.

— Кто?

— Альберт Эйнштейн, самый великий ученый двадцатого века, а может, всех веков. Он относительность времени открыл.

— Чего времени?..

— Ну, ты этого не поймешь сейчас. Ты прочитай книгу, потом поговорим.

— Хорошо. — Дюшка открыл портфель, стал втискивать в него книгу.

— А что он у тебя такой пузатый? Чем ты его набил?

— Да ерунда — кирпич тут.

— Кирпич?! Зачем?

Дюшка помялся — сказать ли Левке правду? И постеснялся.

— Мускулы развиваю.

— Чудной же ты... Мускулы. Кирпич в портфеле.

— Вот если б ты мне приемы джиу-джитсу показал...

Левка только махнул рукой:

— Чудной!

Они расстались.

## 10

То, что на свете существует любовь, Дюшка хорошо знал. По кино, по книгам. Д'Артаньян по ошибке влюбился в миледи. Гринев любил капитанскую дочку, Том Сойер тоже там какую-то девчонку в пан-

талончиках... А Дюшкин отец когда-то, до Дюшкиного рождения, дарил матери белые нарциссы. А сколько раз любил Пушкин, и не только свою жену Наталью Гончарову. «Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона...» У Римки волосы у висков выются, как у Натальи Гончаровой.

Наверное, он и сам должен когда-то влюбиться. Когда-то?.. А вдруг да уже! Вдруг да он в Римку Братеневу?..

Но в кино, в книгах те, кто любит, всегда встречаются, а при встречах всегда признаются друг другу: «Я вас люблю». И потом целуются... Дюшке же хочется видеть Римку, только видеть, лучше издали, а встречаться — нет, вовсе не обязательно. Чтоб встретиться, нужно же подойти совсем близко. Раньше подойти к Римке близко было нетрудно, теперь — нет, и стыдно и боязно. А сказать ни с того ни с сего: «Я вас люблю» — легче провалиться сквозь землю. А уж поцеловать... Думать не хочется.

Но что-то случилось, что-то странное с самим Дюшкой. И Римка тут ни при чем, она знать ничего не знает, смешно на нее сваливать. Случилось! Даже Минька заметил: «Ты не болен, Дюшка?» Вдруг да и в самом деле, вдруг да опасно! Не влюбился, нет! Любовь не болезнь, людей не портит.

Господи! Как плохо быть не таким, как все. Как плохо и как страшно! Одна надежда, что проснешься в одно прекрасное утро и почувствуешь — все прошло: на Римку не хочется глядеть, улица снова кажется обычной улицей и к Саньке Ерахе нет выворачивающей душу ненависти, с Санькой можно даже пойти на мировую, выбросить ненужный кирпич.

Негаданное успокоение — встреча с Левкой Гайзером. Левка не рассмеялся, не спросил — болен ли ты? Левка самый умный из ребят...

Дюшка со страхом открыл Левкину книгу, не слишком толстую, но научную. Наверное, сплошная математика, утонет в ней Дюшка, не доплывет до конца, отвернется тогда Левка.



Но никакой заковыристой математики не было. В самом начале задавался простой вопрос: «Как велик мир?» И дальше говорилось о... толщине волоса. Оказывается, это самое малое, что может увидеть человеческий глаз. Толщина волоса в десять тысяч раз меньше вытянутой человеческой руки. Вытянутая рука в десять тысяч раз короче расстояния до гор на горизонте. Расстояние до горизонта только в тысячу с небольшим меньше диаметра Земли. А диаметр Земли опять же в десять тысяч раз меньше расстояния до Солнца...

В черной пустоте висит плоская, как блин, сквозная туча искр. Каждая искорка — солнце, их не счесть. Среди них и наше — пылинка.

А в стороне другая такая же туча искр-пылинок — солнца, солнца, солнца! Уже чужие, дальние — Туманности Андромеды, нашей соседки!

А за Андромедой новые и новые туманности, нельзя их сосчитать. Звездные тучи, дым солнц-пылинок ключьями по всей великой пустоте. По всей, всюду, без конца!..

Хватит! Хватит!..

Страница за страницей мир безжалостно разбухал.

А Дюшка съеживался, становился все ничтожней — страница за страницей — до ничего, до пустоты! Вместе с поселком Куделино, вместе с родной Землей, со своим родным Солнцем... Хватит! Да хватит же! Вселенная не слушается, Вселенная величаво растет...

Ночью он не мог уснуть.

Спал дом, спал поселок, слышно было, как шумит вышедшая из берегов река. Странно — люди могут спать спокойно, не ужасаются неуютности огромного мира.

Спят... Предоставили одному Дюшке терзаться за ничтожество всего человечества, живущего на затерянной Земле. И Дюшка не выдержал, тихонько поднялся с постели. Как уснуть, когда великая Вселенная стоит за стеной. Он выскользнул из комнаты, у дверей ощупью нашел свое пальто, сунул босые ноги в сапоги...

Шумела река за домами, причмокивала под сапогами сырая земля, висели звезды над поселком. К нему и поднял лицо Дюшка, взглянул в бездонную пропасть, редко заполненную лучащимися мирами.

И где-то, где-то в глубине этой распахнувшейся над ним пропасти стоит кто-то, какой-нибудь другой Дюшка, и, задрвав голову, тоже смотрит, наверняка мучается — неведомый брат, затерявшийся в бесконечном мире.

— Брат, тебе страшно, что мир так велик?

— Страшно.

— Лучше бы не знать этого?

— Лучше, покойней.

— Не знает ничего таракан. Хочешь быть тараканом?

— Нет.

— И я не хочу.

— Значит, хочешь все-таки знать?

— Все-таки хочу.

— А страх, а покой?

— Пусть.

— Ты дочитал свою книгу?

— Нет, не до конца.

— Я тоже.

Пропасть над головой, пропасть без дна, заполненная лучащимися мирами. Там где-то братья... Встретятся ли их взгляды? Услышат ли они друг друга? Объединятся ли они воедино против пугающей Вселенной?

Шумела река, спал покрытый звездным небом поселок Куделино. Стояли друг против друга — мерзнувший от ночной прохлады маленький страдающий человек и равнодушное мироздание. Лицом к лицу — зреющий хрупкий разум и неисчерпаемая загадка бытия.

## 11

Утром, как всегда, он вышел из дому, чтоб по знакомой улице Жана Поля Марата шагать в школу. Береза, старый пенёк, продавленная дорога, бабка

Знобишина, тянущая на веревке упирающуюся козу. Ничего не изменилось в знакомом мире, а все-таки он стал иным, снова перевернулся.

Береза, пень, старуха с козой...

Все кажется мелким, не стоящим внимания. Даже не хочется видеть Римку. Что — Римка? Тоже человек. Осуждающими глазами смотрит Дюшка на примелькавшуюся улицу и... ощущает к себе необываемое уважение. Никто не знает, как велик мир, как мелки люди, он знает, он не такой, как все.

Кирпич Дюшка все-таки достал из-под лестницы, сунул в портфель — на всякий случай. Какое дело Саньке Ерахе, что за эту ночь он, Дюшка, поумнел, открыл Вселенную, — возьмет да и поколотит. Нет, лучше уж прихватить кирпич... на всякий случай.

— Здравствуй, Дюшка.

Как всегда, стеснительно, бочком, руки в карманах пальто, старый ранец за плечами — Минька. Дюшка не пошевелился, не соизволил взглянуть, не ответил, храня на лице мировую скорбь, молчал с минуту, а может, больше, наконец изрек:

— Скажи: для чего люди живут на свете?

Минька виновато посопел носом, помялся, не обронил ни звука.

— Не знаешь?

— Не, — сознался Минька.

— А я знаю.

Минька ничуть не удивился, скучненько, без интереса, вежливости ради выдавил из себя:

— Для чего?

— Ни для чего! — торжественно объявил Дюшка. — Просто так живут.

И опять никакого впечатления, Минька безучастно поморгал бесцветными поросячьими ресницами.

— Родились сами по себе какие-то клопы — и я, и ты, и все на свете. Вот и живем. А подумаешь, так и жить не хочется.

Минька судорожно вздохнул, опустил лицо и тихо, глухо, как из подвала, вдруг признался:

— И мне, Дюшка, тоже.

— Чего — тоже? — насторожился Дюшка.

— Тоже жить не хочется.

Одно дело, когда так говорит он, Дюшка, вчера прочитавший умную книгу, получивший право глядеть свысока на весь род людской, другое — Минька, таких книг не читавший, ничего не знающий, значит, и не имеющий никаких прав страдать, как страдает сейчас Дюшка.

— Это почему же тебе-то?..

— Да отец с матерью всё... Жизни нет, Дюшка.

Минька поднял глаза, влажные, но не собачьи, а загнанные, как у раненой птицы. Птичье, беспомощное и в бледном до голубизны лице, в торчащем носе. И Дюшка вспомнил, что он до сих пор и не знает толком, почему тогда расплакался Минька. Даже забыл об этом... «Для чего живут люди на свете?»

— Мамка каждый день плачет. Отец ей жизнь загубил, Дюшка.

— Как — загубил?

— Да женился на ней.

— Женился и не любит, что ли?

— Любит, очень любит. То и беда, Дюшка, так любит, что без матери умрет.

— Это же хорошо, Минька.

— Плохо, Дюшка. Отец от этой любви вроде заболел, делать ничего не хочет. У меня вон ботинки рваные, у матери платья нового нет, а он... любит, видишь ли.

— Недобрый он, что ли?

— Добрый, Дюшка. Только это все равно плохо. От его доброты все и получается не как у людей. Я ненавижу его, Дюшка!.. — Слезы в синих глазах и срывающийся, захлебывающийся голос: — Думаешь, за доброту ненавидеть нельзя? Можно!.. Он добрый, а плохой. Все из-за него над нами смеются, над матерью тоже. Мать каждый день плачет, Дюшка. Отец ей жизнь загубил. Она и сейчас еще красивая, а он?.. Погляди, как мы живем, мамка себе платья купить не может. Если б еще пил отец, как другие, так не обидно.

И тут стукнула дверь на выходе: топ, топ, топ — по ступенькам крыльца. И по улице словно дунул све-

жий ветерок — мимо пробежала Римка Братенева, крикнула на ходу:

— Чирикаете, чижики! В школу опоздаете!

Она сняла сегодня тесное зимнее пальтишко, в коротенькой курточке — освобожденная, летящая. Топ, топ, топ! — по дощатому тротуару прозрачные звуки. Топ, топ — по всей улице, словно музыка. Освобожденная и чуточку нескладная. Уносит сейчас летящим наметом свою хватющую за душу нескладность.

«Чижики!» — подумает, задавака.

От Минькиных слов съезжилась, погасла разгоревшаяся вчера Вселенная. Плевать на то, что Солнце — пылинка, что Земля невразумительна, плевать, что ты сам ничто, плевать на вопрос: для чего живут люди на свете? Не плевать на Миньку, на его слезы. Хочется любить и жалеть все на свете: эту рыжую весеннюю улицу, большой кран над крышами, затоптанные доски тротуара, которых только что коснулись быстрые Римкины ноги.

Любовь и жалость выплеснулись на Миньку.

— Минька! Не смей реветь! Ты смотри — хорошо как кругом!.. У тебя же друг есть, Минька! Я! Я твой друг! Я тебе помогу чем хочешь! Честное слово, не вру! Ты лучше всех ребят... Брось реветь! Брось, говорю, не то стукну!..

Но Минька уже не ревел, слезы еще блестели на его глазах, но он уже застенчиво улыбался.

## 12

Так много навалилось, что на все стало не хватать Дюшки, — жизнь узка и тесна, не развернешься.

Кончились уроки, все заспешили по домам. Домой отправилась и Римка. Дюшке хотелось кинуться за ней следом. Идти бок о бок с верным Минькой, смотреть в узкую спину, чувствовать незримую натянутую струну — от нее к нему — и изумляться взмахом лезущей во все щели траве, каменному упрямству валуна при дороге, нагретости крыш, синеве дня, собственному существованию на этом свете.

Но он не успел переговорить с Левкой. Разговор настолько серьезен, что его нельзя было втиснуть между уроками в какую-нибудь перемену.

Уроки кончились, звала за собой Римка. И звал... Нет, не Левка. Звало только что открытое мироздание. Что делать, когда один только Левка знаком с ним. Мироздание перевесило Римку.

— Левка, ты почему мне такую книгу дал? Она же не о математике, совсем о другом.

Они устроились в пустом спортзале на сложенных в углу матах. Левка только что сошел с турника — вертел «солнце», делал «склепку», «перекидку» и даже стойку на руках вниз головой: мастер, залюбуешься. Дюшка решил — надо тоже начать заниматься на турнике, накачивать себе мускулы. Левка накинул поверх майки на голые плечи куртку, опустил рядом.

— Ты что, уже прочитал? — спросил он недоверчиво.

— Пока не всю, все не успел... Страшно, Левка.

— Страшно? Почему?

— Да мир-то вон какой! А я? А ты? А все мы, люди?.. Я, Левка, твою книгу читал и нет-нет да себя щупал: есть ли я на свете или только кажется?

— Ну и что, нащупал?

— Есть, но уж очень, очень маленький. Все равно что и нет.

— А голову свою ты щупал?

— Ты, Левка, не смейся. Я серьезно.

— И я серьезно: пощупай голову, прошу.

Нет, Левка не улыбался, косил строго серым взглядом на Дюшку.

— Голова как голова, Левка. Ты чего?

— А того, что она по сравнению со звездами и галактиками мала. Не так ли?

— Сравнил тоже.

— А в нее вся Вселенная поместилась — миллиарды звезд, миллиарды галактик. В маленькую голову. Как же это?

Дюшка молчал.

— Выходит, что эта штука, которую ты на плечах носишь, таракан, — уж извини! — самое великое, что есть во Вселенной.

— Я... Я не подумал об этом, Левка.

— То-то и оно. Не размеры уважай.

Дюшке и в самом деле захотелось вдруг до зуда в руках пощупать свою великую голову, начиненную сейчас Вселенной. Действительно! Но стеснялся Левки, подавленно стоял, не смея радоваться.

А Левка победно продолжал:

— Ты спросил: почему я такую книгу тебе подсунул — не о математике? Когда яму вырытую видят, никто о лопате не вспоминает. Без лопаты, голыми пальчиками, большую яму не выкопаешь. Вот и ученые раскопали Вселенную с помощью математики.

— А я-то думал, они, ученые, в телескопы все это увидели, — несмело произнес Дюшка.

— Разве можно увидеть все даже в телескопы?

— В телескопы нельзя?..

— Ты видишь ночью звезды?

— Вижу, конечно, — ответил Дюшка.

— А расстояние от Земли до этих звезд ты видишь?

— Как — расстояние?

— А так, расстояние — сколько километров или световых лет?.. Увидеть это нельзя, надо вычислить. А можно ли увидеть в телескоп, что случится на небе через год, через десять лет, через сто?

— Ну уж?

— Нельзя увидеть, а вычислить можно.

— Ну-у...

— Солнечные или лунные затмения, например... Спроси — ответят на сто лет вперед: в такой-то день, такой-то час, в такую-то минуту начнется, тогда-то кончится, с такого-то места лучше всего будет видно. Колдуны и гадалки, сравнить с математиками, сопляки. Последний дурак тот, кто математику не уважает.

— Я ее уважаю, Левка, только...

— Только математика меня не уважает?

— Неспособен я, Левка. Какую задачку ни возьму — трудно, сил нет.

— Потому что неинтересно.

— А разве задачки бывают интересными?

— Вот те раз! — Левка рассмеялся. — Да каждая, кроме уж очень простых.

— Очень простые... неинтересны?

— Само собой.

— А я думал: само собой, неинтересны трудные.

— А ты представь себе: задачка — это тайна. Чем труднее тайна, тем сильнее хочется ее разгадать.

— Путешественники друг дружке навстречу идут. Из пункта А да из пункта Б — какая тут тайна, да еще интересная?

— А если из пункта А комета летит, а из пункта Б движется наша Земля. Интересно или неинтересно знать, встретятся ли эти путешественники, Земля и комета, в какой точке, когда? Если встретятся, то это же катастрофа.

— А может такое быть, Левка?

— Было уже.

— Да ну! Катастрофа?..

— О Тунгусском метеорите слышал? Это комета, правда небольшая, по Земле шарахнула. Хорошо, что в дикие леса шлепнулась.

— Вдруг да большая прилетит?..

— Тогда встретим ее ракетой с бомбами, чтоб в куски! Вот тебе снова задачка с двумя путешественниками — ракетой и кометой...

Дюшка помолчал и вздохнул:

— Счастливый ты, Левка. Все узнавать наперед станешь.

И Левке, по всему видать, понравилась зависть, прозвучавшая в Дюшкином голосе, он порозовел от удовольствия.

— Все не все, а кое-что, — ответил он скромно.

— Левка, а можно через математику узнать, сколько я лет проживу, когда умру?

— Зачем тебе это?

— Интересно. Очень даже. Тайна же!

Левка закосил глазом в сторону.



— Я тут поважней нащупал... тайну... — сказал он. И замолчал, и еще сильнее закосил глазом.

— Важней ничего нет, Левка.

— Я не хочу знать, когда я умру. Я хочу знать, ро ж у с ь л и я с н о в а п о с л е с м е р т и .

Последние слова Левка произнес глухим, замогильным голосом. В большом, пустынном, сумрачном спортзале на минуту наступила особенная тишина, укрывающая что-то грозное, чего нельзя касаться людям.

Стараясь не спугнуть эту тишину, Дюшка выдал из себя шепотом:

— Лев-ка-а, разве такое может?..

— Может не может — надо узнать.

— После смерти чтоб?..

— После смерти.

— Вроде привидения? Да?

— Привидение — сказки!

— А как тогда?

— По-настоящему, как сейчас.

— Левка-а, ты не болен?

— Ничуть.

Сердитый и вовсе не смущенный ответ восхитил Дюшку в душе.

— Вот это-о да-а!.. Умереть и снова!.. Только ведь в могилу закопают, Левка.

— Пусть.

— А может, ты все-таки болен?

— Слушай, таракан... Хотя вряд ли ты поймешь.

— Я постараюсь, Левка. Я изо всех сил постараюсь!

— Надо для этого открыть одну проблему...

— Чего?

— Проблему. Научную. Великую. Над которой сейчас бьются все ученые мира. Я жизнь положу, а открою.

— Какая она, Левка?

— Да с виду простая: бесконечна наша Вселенная или конечна?

— А-а, — протянул Дюшка разочарованно. — Зачем это?

— Это ключ к тайне — будем ли мы после смерти жить или нет.

— Бесконечна... Вселенная... Ключ?

— Скажи: из чего я состою?

— Из костей, из мяса, как все.

— Из атомов я состою. Из самых обычных атомов, сложенных особым порядком.

— Ну и что?

Левка так интересно начал, но сейчас что-то путал: бесконечность, Вселенная, атомы, черт знает что!

— Атомов во мне очень-очень много, но все-таки число их конечно. Понимаешь?

— Нет, Левка.

— Я конечный, а Вселенная-то бесконечна. Учти, Дюшка, дважды бесконечна — во времени и в пространстве.

— Тебе-то от этого какая выгода?

— Большая, Дюшка. Раз наша Вселенная нигде не кончается и никогда не кончается, то где-нибудь, когда-нибудь, рано ли, поздно, но наверняка... Понимаешь, на-вер-ня-ка! Случится невероятное — атомы случайно сложатся так, как они лежат во мне.

Левка замолчал, торжествующе, изумленно, взволнованно взирая на Дюшку. А Дюшка подавленно задал все тот же, уже надоевший, вопрос:

— И что?..

— Как — что?! — воскликнул Левка с дрожью в голосе. — Ведь это я! Это буду снова я! Я появлюсь во Вселенной где-то, когда-то, уже после смерти! Выходит, я бессмертен! Понял?

— Нет, Левка.

И Левка сразу увял:

— Туп же ты, таракан.

— Ну а я — после смерти?

— И ты тоже. — Ответ без энтузиазма.

— А другие?..

— И другие. Все. Я не исключение.

Дюшка помолчал, соображая, наконец возразил:

— Нет, тут что-то не так. Ну, хорошо — ты один. Ну, я еще — согласен. А то все... Нет, что-то не то.

— Ладно, таракан, замнем этот разговор для ясности. — Левка поднялся, скинул куртку, стал натягивать через голову рубашу.

Дюшка взялся за свой портфель с кирпичом. Пора было идти домой.

Дома после обеда он раскрыл задачник: «Два путешественника...» Тайна, даже две маленькие — сколько прошел первый и сколько второй путешественник. Тайны так себе, самые завалящие, но для тренировки сгодятся. Дюшка навис над задачником и стал думать.

### 13

Путешественники не имели ни лиц, ни имен, ни характеров, они отличались друг от друга только тем, что один на полчаса раньше отправился в путь. Полчаса — тридцать минут... Минуты помогли открыть тайну пройденных километров. В другой задачке угол в градусах помог узнать высоту заводской трубы. В третьей — длина и ширина бака водонапорной башни подсказала, сколько пионеров отдыхало в пионерском лагере.

На улице Жана Поля Марата зажигались окна. Большой кран купался в зеленом закате. Старуха Знобишина снова протащила на веревке козу, на этот раз в другую сторону — к дому. Дюшка вышел погулять.

Он решил подряд несколько задач, и голова с непривычки отяжелела, казалось, даже немного распухла, но на душе — покойно. Дюшка был так доволен собой, что даже походка у него стала медленной и задумчивой.

Странная вещь математика. Она связывает между собой, казалось бы, самые несвязуемые вещи — градусы с заводской трубой, бак водокачки с отдыхающими пионерами... Или бесконечность Вселенной — кому, казалось бы, до нее какое дело! — нет, она обещает Левке Гайзеру новую жизнь... после смерти. Ничего себе!

За домами в тишине кричали лягушки, не столь

шумно, как прежде, не столь звонко, но по-прежнему картаво, с усердием. Вспомнилась лягушка, распятая на Санькиной веревочке, с ржаво-золотым глазом, дышащим желтым брюхом. Она, незванная, влезла в чинные и умные Дюшкины мысли о математике. Эта лягушка заставила Дюшку носить в портфеле кирпич. Лягушка и кирпич — тоже странная связь. И математика здесь ни при чем. Оказывается, не только в задачнике, но и в самой жизни есть эти странные до нелепости связи.

Лягушка и кирпич, бесконечная Вселенная и вторая жизнь как подарок... А старинная красавица, давным-давно умершая Наталья Гончарова, вдруг неожиданно нарушила спокойствие Дюшкиной жизни. Больше того, если б эта Наталья Гончарова сто с лишним лет назад носила другую прическу — не с завитками у висков, — с Дюшкой ничего особенного не случилось бы: не обращал бы теперь на Римку Братеневу внимания, не связался бы с Санькой из-за лягушки, не схватил бы очередную двойку у Васи-Вкубе, не сошелся бы близко с Левкой Гайзером, не получил бы от него книгу о галактиках, не заметил бы странности задачника, не открыл бы для себя удивительных связей в мире. Подумать только, все оттого, что Наталья Гончарова, жена Пушкина, носила модную для тех лет прическу с локончиками.

А вдруг да... Дюшка задохнулся от догадки. Вдруг да Наталья Гончарова и Римка Братенева!.. И очень даже просто, Левка Гайзер все объяснил: атомы случайно сложились в Римке точно так, как прежде лежали в жене Пушкина. Родилась девчонка, никому и в голову не пришло, что она уже однажды рождалась. По ошибке ее назвали Римкой. И сама Римка ничего не знает, только Дюшка нечаянно открыл сейчас ее секрет...

Левка Гайзер неизвестно еще появится ли, а Наталья Гончарова появилась... И где? В поселке Куделино! С Дюшкой рядом!

Растекался над сумеречным поселком зеленый закат. Тихо и пустынно на улице Жана Поля Марата. Недружный крик лягушек не нарушает тишину.

И покой, и удивление, и почтительный страх, и восторг Дюшки перед миром. Знакомый мир опять перевернулся — неожиданной стороной, дух захватывает.

И в этом вывернутом, неожиданном мире неожиданно возникла перед Дюшкой вовсе не странная, а надоевшие-знакомая фигура Кольки Лыскова. В мятой кепчонке, широкая улыбочка морщит обезьянье личико, открывает неровные зубы, ноги не стоят на месте, выплясывают.

— Дюшка! Хи-хи! Здравствуй... Гуляешь, Дюшка?

— Чего тебе, макака?

— А ничего, Дюшка. Мне — ничего... Хи-хи! Кто это, думаю, идет? А это он, сам по себе... без портфельчика. Где портфельчик, Дюшка? Хи-хи! Ты же с ним не расставался...

Колька Лысков с ужимочкой оглянулся через плечо, и Дюшка увидел Саньку.

Тот стоял в стороне — угловато-широкий, ноги расставлены, руки в карманах, остановившиеся глаза, твердый нос — Санька Ераха, мешающий жить на свете.

Он не двигался, он не спешил. А на болотах за домами упрямо картавили самые неумные лягушачьи певцы, прокрадывались по улице застенчивые сумерки, обжитым теплом светились окна домов, и над Санькиной головой в не помрачневшем еще небе висели две-три бледные, невызревшие звезды. В самом центре вечно неожиданного мира, где бак водокачки связан с пионерами, бесконечность с новой жизнью, Наталья Гончарова с Братеневой Римкой, в самом центре, закрывая мир собой, — Санька. И за ту короткую минуту, пока Санька медлил, а Колька Лысков выплясывал, Дюшка еще раз пережил открытие.

В его ли мире живет Санька? Он же знать не знает, что бледные звезды над его головой — далекие солнца с планетами, для него нет бесконечной Вселенной, не подозревает, что лягушка может заставить человека носить кирпич в школьном портфеле. Санька живет рядом с Дюшкой, но вокруг Саньки все не так,

как вокруг Дюшки, — другой мир, нисколько не похожий. Сейчас Санька шагнет... в Дюшкин мир.

Сучащий ногами Колька Лысков отбежал в сторону:

— Санька, он налегке сегодня, он без портфельчика! Слышал, Санька, он спрашивает: чего тебе?.. Хи-хи! Скажи ему, Санька, чтоб понял. Хи-хи!

Санька, не вынимая рук из карманов, шагнул на Дюшку, произнес с сипотцой:

— Ну!

— Чего — ну!

— А ничего — встретились. Не рад?

Они встретились, Санька вплотную к Дюшке, незванный гость из другого мира: круглые застывшие глаза, мертвый нос, тяжелое дыхание в лицо.

Кирпич лежал дома под лестницей. Не мог же Дюшка выйти вечером на прогулку с портфелем. Пуста улица, в домах мирно горят окна.

— Рад или не рад, спрашиваю?

— Днем-то боялся наскочить на меня.

Колька Лысков, держась в стороне, ответил за Саньку:

— Хитер бобер! Днем-то ты кирпич в портфельчике носишь. Зна-а-ем!

— А ты, Санька, что в кармане носишь? Покажи.

— Увидишь, успеется.

Дюшка успел присесть, Санькин кулак сбил с головы фуражку. Закрывая рукавом лицо, Дюшка приготовился ударить Саньку ногой, но неожиданно донесся голос Кольки Лыскова:

— Шухер!

Послышалось Санькино пыхтение:

— П-пыс-сти, падло! Пыс-ти!

Он вырывался из рук какого-то человека, тот прикрывал Дюшку сутуловатой спиной, отталкивал Саньку:

— Охладись, парнишка, охладись!

— П-пыс-ти! Г-гад!

— И не скотинься, поганец, уши надеру!

Санька был сильней всех ребят на улице, но перед ним стоял взрослый, хотя и мешковато топчу-

щийся, неуклюжий, но все-таки человек иной, не мальчишечьей породы.

— Уймись лучше, уймись, не распускай руки!

И Санька отступил, бессильно закричал:

— Ну, Дюшка, помни! Завтра встретимся! Пролетится кровушка!

— Кровушка?.. Ах ты гаденыш! Жить только начал, а уже звереешь.

— Я и тебя, огарок! И тебя! Ужо вот камнем из за угла!

— Эх, бить людей не умею, а стоило бы! — Прохожий стал оттеснять Дюшку в сторону: — Идем отсюда, паренек, идем от греха!

Вдалеке выплясывал Колька Лысков, кривлялся, кричал весело:

— Ой, Санька, умяли тебя! Ой, Санька, встречу испортили! А как было хорошо встретились!

— Еще встретимся! Поплачешь, Дюшка. И Минька слезьми умоется.

— Эх, не умею людей бить!.. Идем, паренек, идем! До дому провожу...

Спасителем Дюшки был Минькин отец, Никита Богатов, в сбитой на затылок шляпе, суетящийся в своем слишком просторном пальто, с выражением досадливой зубной боли на узком лице. Он шел вместе с Дюшкой, разводил длинными рукавами, бормотал, не заботясь о том, слышит его Дюшка или нет:

— Как вылечить людей от злобы? Жена мужа не уважает, прохожий прохожего, сосед соседа... Найти б такое, чтобы все друг к дружке с понятием: ты мое пойми, я — твое. А то нá вот, с самого детства — «пролетится кровушка!». Такие-то и портят жизнь. От таких-то, поди, и войны на земле идут...

Непонятный человек. Идут рядом, бок о бок, но он где-то. И бормотание его непонятно, и вообще, сам себе читает стихи, сам себе и деревьям... Опять все не так, как вокруг Дюшки, — идут рядом, живут рядом, но в разных мирах. А Дюшкин отец тоже совсем рядом, но у Дюшки одно, у отца другое. И у матери другое, не похожее ни на Дюшкино, ни на отцовское, ни на Никиты Богатова... Неуже-

ли сколько людей, столько и разных миров? К Левке Гайзеру Дюшка чуть-чуть заглянул. Тоже ведь странный мир, там даже смерть считается какой-то ненастоящей... Хотелось бы заглянуть и к этому — Никита Богатов, Минькин отец, добрый человек, но сам Минька почему-то его не любит.

И Дюшка старательно прислушивается к бормотанию.

— Почему не понимаем друг друга? Да потому, что слова не найдем, которое бы до сердца дошло... Что слово? Звук, сотрясение воздуха? Нет — сила! Скажи хорошее слово человеку — и он счастлив. Хорошего родить не можем, ругань в нас легче рождается, ругань всегда наготове в каждом лежит... Пуцу кровушку! Тьфу! Вот ты, паренек, знаешь ли хорошие слова?

— Знаю, — неуверенно ответил Дюшка.

— А ну скажи — какие?

И Дюшка растерялся, какое именно из хороших слов сказать сейчас, все они как-то вдруг вылетели из головы. Никита Богатов вздохнул:

— Ладно уж, не тужься, постарше тебя этого не знают. Хорошее слово, как чистый алмаз, редко. Беги давай домой, ты вроде тут живешь. Беги, не жду от тебя. Ни от кого не жду. — И внезапно надтреснутым голосом прочувствованно продекламировал:

Уж не жду от жизни ничего я,  
И не жаль мне прошлого ничуть;  
Я ищу свободы и покоя!  
Я б хотел забыться и заснуть!

Да-а, слово...

Богатов повернулся и пошел, путаясь ногами в полах пальто, продолжая бормотать. Дюшка прибито стоял, смотрел в его сутулую спину, вдруг сорвался, рванулся следом:

— Дяденька Богатов! Дяденька!.. Спасибо вам!

— А... — сказал он вяло, едва оглянувшись. — Ладно.

Похоже, он не считал «спасибо» таким уж хорошим словом. А лучших слов Дюшка не знал.



- Минька, скажи, что плохого сделал тебе отец?  
 Молчание.  
 — Может, он бьет тебя, Минька?  
 — Нет, что ты!  
 — И не пьет?  
 — И не пьет.  
 — И не ругается?  
 — И не ругается.  
 — Что тогда? Что?!  
 — Он... Он не такой, как все, Дюшка.  
 — А разве ты — как все? А я — как все? А Левка Гайзер — как все? А есть ли такие, которые — как все?  
 — Дюшка, я его то очень люблю, то ненавижу.  
 — Так не бывает, Минька.  
 — Бывает, Дюшка, бывает. У меня — так.

#### 14

У матери на коленях лежит недовязанный свитер и губы сплюснуты в ниточку. Когда у матери неприятности, Климовна подсовывает ей вязанье: «Успокаивает». Иногда мать начинала возиться со спицами и в самом деле успокаивалась, но чаще не помогало — мать сидела неподвижно над недовязанным свитером, глядела прямо перед собой, сжав губы.

Не помогал свитер и теперь. Мать боялась за жизнь Гринченко, а сегодня неожиданно умерла девочка, недавно доставленная в больницу из дальней деревни.

Отец ходит по комнате на цыпочках, ворошит пятерней волосы, пробует сердиться, но осторожно — как бы не осердилась в ответ мать.

— Ты же не могла знать, что у такой маленькой окажется большое сердце.

— Должна знать. Не проверила.

— Но у нее же воспаление легких!

— Тем более обязана снять кардиограмму.

Климовна вздохнула:

— Охо-хо! Одна у всех голова и та на ниточке.

Дюшка помаялся, помаялся и не выдержал, подлез к матери под руку, заглянул в запавшие глаза:

— Мам, а я виноват?

— Ты?.. В чем?

— Ты, наверное, много обо мне думала?

Мать отвела глаза.

— Нет, сынок, ты нисколько не виноват.

Дюшка, не зная, чем еще помочь, решился сказать:

— Мам, эта девочка, может, не насовсем умерла.

Мать легонько отстранила Дюшку:

— Иди, сынок, зачем тебе думать о смерти.

Отец перестал ходить взад и вперед, насторожился.

А Климовна вздохнула:

— Господи! Господи! Где уж не насовсем. Ныне в Царствие Небесное даже мы, старые, не верим.

— Мам, девчонка ожить еще может когда-нибудь.

— Такого не бывает, сынок.

— Мам, для этого надо знать только, что Вселенная бесконечна. Если бесконечна, то обязательно... И ты, и я, и все, и девочка.

— Что за чушь? — громыхнул стулом отец. — Кто тебе напел это?

Если б отец спросил иначе, Дюшка, наверное, и открыл кто. Левка Гайзер не сказал, что это секрет. Но «чушь», но «напел», и стул пнул, и голос сердитый. Э-э, нет, Дюшка не собирается подводить Левку.

— Никто. Я сам.

— Сам ты не мог.

Мать вступилась за Дюшку:

— А я бы сама с охотой поверила, что от смерти есть лазейка. С охотой, если б могла.

— Как ты можешь так говорить: ты же врач, ты же соприкасаешься с наукой ежедневно!

— Потому и говорю, что едва ли не ежедневно сталкиваюсь с бесилием своей науки, и уж если не каждый день, то часто... Как вот сегодня — со смертью. Бессмысленной. Равнодушной. Если б поверить — есть лазейка в бессмертие!

— И что? Помогло бы твое «поверить» бороться со смертью?

— Нет. Но мне самой было бы тогда куда легче.

— Так в чем же дело? Возьми да поверь. К твоим услугам даже старые рецепты: райские кущи, нетленные души, ангелы-серафимы и прочая белиберда.

— Слишком старые рецепты, наивные — вот беда. Не могу поверить.

— Меня лично смерть не пугает! Сколько мне там отпущено природой — шестьдесят, семьдесят, больше лет? Они для меня только и важны. Уж их-то я постараюсь использовать. Я за свое время успею наследить на земле. А смерть придет — что ж... Потусторонним спасать себя не стану.

Отец стоял посреди комнаты, расправив широкие плечи, вскинув большую взъерошенную голову, с обветренным, крепким, словно вычеканенным из меди лицом, — сам себе бог. И у матери впервые за этот вечер обмякли сплюснутые губы, дрогнули в улыбочке.

— Счастливый, — сказала она.

— Да! — с жаром ответил отец. — Да! Жизнью, мне выпавшей, счастлив.

— Но коза бабки Знобишиной счастливее тебя. Она живет себе и знать не знает, что существует такая неприятность, как смерть.

Отец фыркнул, отпихнул ногой стул, слишком близко стоявший к нему, а мать со слабой улыбкой склонилась над вязаньем.

И тогда отец повернулся к Дюшке:

— Я знаю, откуда у тебя эта шелуха! Дружок твой тебе принес, этот Минька! Отец у него не от мира сего, накрутил сыну...

— Уж верно, — подтвердила Климовна. — Их-то атлас липнет до нас.

И как раз в эту минуту за дверью раздался робкий полустук-полуцарапанье.

— Кто там? Входите! — крикнул отец.

И вошел Минька. В новешенькой куртке с «молнией», как у Левки Гайзера, — мечта всех ребят, мечта Дюшки. Встал на пороге со стеснительной светлой улыбочкой, но натолкнулся взглядом на Дюшкиного отца и заробел — улыбочка слиняла.

— У меня сегодня... День рождения у меня... Так я думал — Дюшку... Мама торт к чаю испекла.

— Мам, я пойду! — вскочил Дюшка, готовый спорить и доказывать.

— Надень только чистую рубашку. И хорошо бы подарок...

— Минька! Я тебе свой конструктор подарю!

Минька снова стеснительно заулыбался, а отец молчал. Отец попросту был лишен права голоса.

Коробку «Конструктор» Дюшка положил в портфель, вытряхнув из него учебники, а спустившись вниз, отдал конструктор Миньке, вместо него загрузил вынутый из-под лестницы кирпич. Дураков нет — снова в лапы Саньке.

— Минька, одна девчонка... Но это секрет, Минька! Никому!

— Не. Могила.

— Одна девчонка второй раз живет.

— Как это, Дюшка?

— Очень просто. Жила, жила когда-то да умерла, а потом второй раз родилась.

— Дюшка, ты чего?

— Спроси Левку Гайзера — так бывает, наукой доказано.

— Левка... Он знает. Только я все равно не верю, Дюшка.

— Раньше эта девчонка знаешь кем была?

— Кем?

— Женой Пушкина.

— Д-дюш-ка!..

— Слышал, никому, секрет!

## 15

На столе стояло два торта — один уже разрезанный, для еды, другой большой, круглый, красивый, для свечей. Тринадцать тоненьких елочных свечей горели бескровно-бледными огоньками. Тринадцать лет Миньке, он на два месяца моложе Дюшки. Дюшке ко дню рождения такого торта со свеча-

ми не поставили — ни мать, ни Климовна не догадались.

И еще на столе бутылка, не ситро какое-нибудь, а настоящее вино, красное до черноты, торжественный мрак под поблескивающим стеклом, сразу видно — праздник не на шутку.

Минька не захотел снимать новую куртку, так в ней и уселся за стол — потеет, поеживается от удовольствия, щурится на тринадцать свечей и улыбается так широко, что видна щербинка в зубах, которую раньше Дюшка не замечал.

Минькина мать в кружевном воротнике, с большой брошью, толстые косы обвиты вокруг головы, лицо крупное, белое, с выдвинутой вперед нижней губой. Она и прежде всегда немного пугала Дюшку, сейчас он при ней чувствовал себя что-то неловко, в голове с самого дна всплывали забытые наставления вроде: не клади локти на стол, держи нож в правой руке, не смейся слишком громко. И Дюшка старался: не клал локти на стол, улыбался по-взрослому, не раскрывая рта, уголками губ, тонко, значительно, высокомерно, как какой-нибудь граф Монте-Кристо.

Минькин отец вблизи, в домашней обстановке, не выглядел уж таким странным, каким казался на улице: умытый, светлый, щупленький, беспокойный, с мальчишеским хохолком на макушке, с сухим, судорожным, вовсе не мальчишеским блеском в потемневших глазах. Он постоянно порывался помочь жене, но видел, что мешают, конфузился, впадал на минутку в уныние, но быстро веселел, снова начинал дергаться и суетиться.

Наконец он ломкими, неловкими пальцами раскупорил парадную бутылку и, рискованно балансируя, налил марочное вино — полную рюмочку жене, полную рюмочку себе, капнул на донышко Дюшке, капнул Миньке, чинно вытянулся, значительно прокашлялся:

— Мой сын! Все мы желаем тебе счастья. А что это такое, сын?..

Минька кинул взгляд на мать, и щербинка в зубах исчезла, он поежился и стал медленно клониться

к столу. А мать — ничего, сидела с высоко поднятой головой, глядела прямо перед собой, и белое лицо ее было спокойно.

— Ты радуешься новой куртке, сын. Радуйся, но помни — ни куртка, ни любая другая вещь не делает человека счастливым. Люди наделали много вещей, полезных, помогающих удобно жить, но счастливей от этого не стали...

— Никита...

Мать по-прежнему глядела перед собой со спокойным лицом.

— А что?.. Разве я что-нибудь?

— Хоть сегодня-то не заумничай, Никита. Дети же перед тобой. Что они поймут?

И Минькин отец загляделся в свою рюмку, в красные отсветы тяжелого вина.

— Да... — сказал он. — Да... Так выпьем... Выпьем, сын, за то, чего не было никогда у твоего отца — за уважение.

Опрокинул в себя рюмку, сел, и хохолок бесцветных волос потерянно торчал на его макушке.

— А я, сынок, — подняла рюмку мать, — пью за то, чтобы стал ты нормальным человеком, жил нормальной, как у всех, жизнью. Это, наверное, и есть счастье.

— Что та-кое нор-маль-ность? — спросил Минькин отец.

— Не будем сегодня затевать спор, Никита.

— Да... Да... Хорошо, Люся. Не будем.

Выпили. Дюшка тоже — каплю сладкого, едко-го вина со дна рюмки. За столом наступило молчание. Дюшка не клал локти на стол, улыбался уголками губ. Счастье, должно быть, очень приятная вещь, но Дюшка замечал, что разговоры о счастье у взрослых почти всегда бывают неприятными. И Дюшкин отец недавно говорил о счастье раздраженно: «Жизнью, выпавшей мне, счастлив». И Дюшкина мать не верила ему: «Коза бабки Знобишиной счастливее».

Заговорила Минькина мать, грустно, ласково, на этот раз глядя прямо на Миньку:

— Я хочу, сынок, чтоб у тебя в жизни было побольше маленьких радостей, хотя бы таких вот, как эта новая куртка. И чтоб ты и другим дарил такие маленькие...

— Нет! Нет! — снова пришел в волнение Минькин отец. — Желать маленького — курточек, чистых простынь, вкусных пирогов... Нет! Нет! Унизительно!

Минька в своей новой нарядной куртке пригнулся к столу, прятал лицо. Минькин отец беспокойно ерзал на стуле, глядел на Минькину мать просящими глазами, ждал возражений. Но Минькина мать молчала, только лицо ее стало неподвижным, каким-то тяжелым.

— Ты клеветешь на себя, Люся.

— Я простая баба, Никита, хочу уюта, чистоты, покоя, не заносясь высоко.

— Нет, нет, ты не такая! Не клуша!

— Была... Девчонкой верила: с милым рай и в шалаше. Теперь не устраивает.

Минькин отец повернулся к Дюшке:

— Мальчик, не верь ей. Это великая женщина!

— Брось, Никита, не надо.

— Четырнадцать лет мы живем рядом, в одних стенах. Я вижу ее каждый день... Каждый день по многу, многу раз. И всякий раз, как я вижу ее, во мне что-то обрывается. У меня изорвана вся душа, мальчик. Все внутренности в лохмотьях. И я... я благодарен ей за это. За рваные незаживающие раны... В конце концов иступленная боль заставит меня найти такие слова, от которых все содрогнется!

Любить иных — тяжелый крест,  
А ты прекрасна без извилин,  
И прелести твоей секрет  
Разгадке жизни равносителен.

Это еще не мои слова. Я пока не дорос до такого. Но дорасту, дорасту! Мир содрогнется, когда выплесну избыток своея!

— Мир?.. От тебя?! Я уже разучилась смеяться, Никита.

— А вдруг да́, вдруг да́, Люся! Вдруг да явится Данте из поселка Куделино, воспевающий свою Беатриче. Сколько было на свете таких, которые казались смешными, над которыми издевались при жизни, а после смерти ставили им памятники.

— О Господи! После смерти — памятник. Чем ты себя баюкаешь? Какая цена этому бреду? Цена — наша жизнь, моя, его! — Мать кивнула на Миньку. — Он сегодня в первый раз получил подарок. А я хотела бы хоть раз, хоть на одну недельку вырваться из этого сырого леса, из этого заваленного бревнами Куделина... Я ни разу в жизни не видела моря... «Любить иных тяжелый крест». Ложь! Быть любимой — тяжелый крест, когда тебя любят не просто, а с расчетом на... на памятник после смерти.

У Минькиной матери покраснел лоб, в глазах блестели слезы, блестели и не проливались, а отец Миньки съежился, втянул голову в плечи, на макушке, словно выстреленный, несолидный хохолок.

— Я раб. Я не могу взбунтоваться, — сказал он.

Мать Миньки ничего не ответила, сидела прямая, красивая, с высоким возмущенным лбом под тяжелыми косами, смотрела куда-то далеко сквозь непролитые слезы.

— Люся, поедem отсюда... в город. Я снова поступлю в газету.

Она не шевельнулась.

— Люся, я забуду, что презирал газетчину. Я буду писать статьи...

— Нас никто не ждет в городе. Где нам там жить? И твои обозрения не прокормят... Если ехать, то без тебя, мне хватит одного груза — сына.

Минька сидел, уткнувшись лицом в стол, в новой куртке, такая во всем поселке только у одного Левки Гайзера. У Минькиной матери на глазах невылившися слезы, а у Миньки... не видно. Разговоры о счастье.

На круглом торте оплывали тонкие свечи — тринадцать свечей, тринадцать лет.



— Он стихи, Дюшка, пишет. Он все знаменитым стать хочет.

— Минька, он очень несчастный.

— А мамка не несчастная, Дюшка?

— Он ее любит, она его — нет. Кто несчастнее?

Вечерний воздух на улице Жана Поля Марата был пронизан блуждающими запахами — земляной сыростью, горечью новорожденных листьев, сладковатой древесной истомой выкаченных из реки бревен. И от самой реки через весь поселок мощно тянуло пресной прохладой. Но всего сильнее пахнул одинокий молодой тополек, стоящий на углу Минькиного дома. Неприметный днем, неказистый, забытый, он сейчас буйствовал в сумерках, источал такую напористую свежесть, что хотелось пить, пить, пить воздух, наливаясь бодрой силой. Весь пахучий мир лишь слабо подтягивал этому маленькому запевале.

— Значит, мамка плохая, Дюшка?

— А разве я говорил, что она плохая?

— Не любит же, виновата.

— А можно любить, если не любит, Минька?

Это все равно — пей воду, когда не пьется.

— Так мамка хорошая, Дюшка?

— Да.

— И папка хороший?

— Да.

— Как же так, Дюшка: мамка хорошая, папка хороший, а дома плохо, хоть беги?

Дюшка растерялся: случается ли, что хорошие люди творят плохое? Было бы куда проще найти виновника.

Выскочивший провожать Минька убито топтался перед Дюшкой. Блуждали в воздухе беспокойные запахи. Неказистый, смиренный тополек — главный бунтарь среди беспокойных.

«Одному ученому нужно было узнать, сколько в пруду рыб. Для этого он забросил сеть и поймал тридцать штук. Каждую рыбу он окольцевал и выпус-

тил обратно. На другой день он снова забросил сеть и вытащил сорок рыб, на двух из которых оказались кольца. И ученый вычислил, сколько приблизительно рыб в пруду. Как он это сделал?»

Вася-в-кубе время от времени проводил «урок одной задачки» вместо контрольной. В такие дни он был строг, немногословен, важен — он ждал победителя. И уж этого победителя Вася-в-кубе заносил в отдельную книгу, хвалил где только мог: «Проницательного ума. Незаурядных способностей. Надежда школы».

Дюшка же победителем стать не мечтал — выше тройки никогда не хватал по математике. Но в последнее время он научился решать задачки. Каждая задача — нераскрытая тайна. Тайна и здесь...

Гуляют в пруду рыбы. Да разве можно их пересчитать? Руками не перещупаешь — мол, раз, два, три, четыре... Ин-те-рес-но!

Дюшка по привычке записал: «Сколько рыб в пруду =  $x$ ». Икс тайны не раскрывал, и Дюшка сразу забыл его.

С первого же раза ученый вытащил тридцать рыбин. Ничего улов, значит, водится в пруду рыбака.

Тридцать рыб гуляют в пруду с кольцами на хвостах. Две из них — только две! — вытащил ученый среди сорока. Есть в пруду рыбака, есть. Маловато вытащено с кольцами. Во сколько же раз больше неокольцованных? Сорок, а среди них всего две. Да ясно же — в двадцать раз!.. Ха! И это называется трудная задача! Тридцать окольцованных помножить... Но икс? При чем тут он? Куда бы его приспособить?

Все это как-то очень быстро пронеслось в Дюшкиной голове — за каких-нибудь пять минут. Вася-в-кубе не успел еще стряхнуть с себя мел, не успел опуститься на стул.

— Чего тебе, Тягунов? — кисленько спросил он, увидев Дюшку, тянувшего руку.

Конечно же он подумал, что Тягунову приспичило выйти из класса — самое время подальше от задачи.

— Я решил.

Грозные брови Васи-в-кубе поползли к лысине, а класс притих.

— Покажи! — Приказ недобрый голосом.

Показывать Дюшке было нечего, в тетради после условия задачи стояла только одна запись: «Сколько рыб в пруду =  $x$ ». И непонятно, к чему этот икс нужен?

— Я в уме решил, Василий Васильевич.

— Час от часу не легче, — проворчал Вася-в-кубе и снова кисленьким голосом: — Что ж, Федор Тягунов, выйди к доске, послушаем твое решение.

Дюшка сам оробел от своей дерзости, однако вышел, встал, как положено, лицом к классу и рассказал:

— Тридцать рыбин в кольцах. Две попались среди сорока. Значит, некольцованных в двадцать раз больше. Тридцать на двадцать — всего шестьсот.

И все, умолк, страдая, что рассказ его занял так мало времени.

Класс недоверчиво молчал. Вася-в-кубе возносил к лысине брови и разглядывал Дюшку.

— Да!.. — наконец подал он голос. — Да!.. Все правильно. Просто и ясно. У тебя ясный ум, Тягунов! Ты лодырь, Тягунов! Ты два года водил меня за нос, прятал за ленью свои способности. Незаурядные способности! — Вася-в-кубе повернулся к молчащему классу. — Вот как надо мыслить, друзья. Молниеносно! Вламываться сразу в самую суть.

И громовым басом, почти угрожающе Вася-в-кубе принялся расхваливать Дюшку. Дюшка стоял у доски и от непривычки чувствовал себя очень плохо — хоть провались сквозь пол от этих похвал.

Наконец Вася-в-кубе торжественно умолк, торжественно вынул из нагрудного кармана самописку, торжественно отвинтил колпачок, торжественно склонился над журналом... Сомневаться не приходилось — пятерка.

— Голубчик, возьми щетку, приведи себя в порядок.

...Слух о Дюшкином ученом подвиге быстро раз-

несся по всей школе: шутка ли, за пять минут — в уме! — задачу «на победителя».

На перемене к нему подошел Левка Гайзер:  
— Старик, ты быстро научился плавать.

Как равный равному, уже не называя Дюшку тараканом.

И это слышали все, кто был в эту минуту в коридоре. И случайно тут стояла Римка Братенева. Стояла, слышала, смотрела на Дюшку. Уважительно.

Он станет великим математиком и прославит школу, поселок Куделино, отца, мать, Миньку, с которыми дружит, бабушку Климовну, которая его вынучила.

Он вместе с Левкой откроет, что Вселенная бесконечна. И хотя он не знает, почему от бесконечности должны вновь рождаться уже умершие люди, все равно откроет. Левка снова появится на свет, он, Дюшка, тоже, и Минька, и отец с матерью — все, все узнают, что никто не умирает насовсем.

Он еще знает то, о чем не подозревает даже Левка: Римка Братенева когда-то была женой Пушкина.

Он умеет видеть, чего никто не видит.

Он разглядел, что отец Миньки вовсе не такой уж плохой человек.

Он пойдет к Минькиной матери и скажет: люби мужа — он станет счастливым.

И Минька тоже...

А все в поселке удивятся: какой хороший человек Дюшка Тягунов.

И какой умный!

И Римка первая подойдет к нему: давай, Дюшка, дружить.

А он ее тогда спросит: «Ты знаешь, кто ты?» — «Нет». — «Наталья Гончарова, жена Пушкина, первейшая красавица — «чистойшей прелести чистойший образец».

Дюшка был счастлив и не подозревал, что счастье капризно.

После уроков он одним из первых выскочил с портфелем из школы. В портфеле по-прежнему лежал



кирпич. Существует на белом свете Санька Ераха, и с этим, хочешь не хочешь, приходится считаться.

Миньке он решительно сказал:

— Иди один, у меня дела.

Он хотел видеть Римку. Почему-то он надеялся: сегодня она пойдет домой одна, без девчонок. И он попадетсЯ ей на глаза. Конечно, нечаянно. И она заговорит, и они вместе пойдут домой. И кто знает, быть может, он уже сегодня, сейчас, через несколько минут, скажет: «Чистейшей прелести чистейший образец». Вчера о таком и мечтать не смел. Вчера он был обычным мальчишкой, каких много в школе.

Он долго кружил на углу улиц Жана Поля Марата и Советской, пока не увидел ее.

Она шла без девчонок, но не одна. Шла тихо, нога за ногу, смотрела в землю, тонкая, скванная, знакомая, хоть задохнись. И рядом с ней — поролоновая курточка нараспашку — вышагивал Левка Гайзер. И тоже нога за ногу, не спеша, вдумчиво. Он что-то говорил ей, она слушала и клонила голову вниз, и было видно издалека — не хочет быстрее идти, нравится. Знакомая и чужая.

Минуту назад он верил, что прославит школу, поселок, отца, мать, старую Климовну, даже Миньку. Сейчас он представил себя со стороны — так, как если б Римка вдруг подняла голову и увидела его. Посреди улицы мальчишка в штанах с пузырями на коленях, с толстым портфелем в руке. Он носит с собой кирпич, потому что боится Саньки Ерахи. Ему постоянно чудится черт знает что, черт-те о чем мечтает. Он случайно решил задачу и зазнался. Он не умеет крутить на турнике «солнце», у него нет накачанных мускулов, нет красивой куртки.

Римка с Левкой не спеша двигались на него. Надо было уходить, надо прятаться, но ноги не слушались...

Минуту назад он чувствовал себя чуть ли не самым счастливым человеком на свете. Ошибался — самый несчастный.

Мир играл с Дюшкой в перевертыши.

А на следующий день на уроке Васи-в-кубе в тихую минуту Дюшка, доставая тетрадь из портфеля, нечаянно выронил кирпич на пол. Гулкий удар, должно, слышен был на всех этажах.

Кирпич перешел в руки Васи-в-кубе.

— Тягунов, что такое? Для чего тебе эта штука? Дюшка не пожелал сказать.

— Выясним.

После урока Вася-в-кубе торжественно отнес кирпич в учительскую.

Исчезли лужи, подсохли тропинки, выползала травка, распутившийся лист ронял на землю сквозную тень, и в скворечниках раздавался уже писк новорожденных скворцов. Все, что могла совершить весна, свершилось — состоялось ежегодное сотворение всего живого. Живому теперь предстоит расти и мужать. В разгар весны проглядывало лето.

И ребята праздновали: все высыпали теперь во время перемены во двор без пальто, без шапок — крик, возня, взрывы смеха, каждый немножко пьян от солнца и воздуха. Даже верный друг Минька попоросячьи повизгивает где-то в стороне, забыв о Дюшке.

Девчонки тесно сбились у прогретой стены, галдят. С ними Римка...

Нет радости, что она близко, что глаза ее видят, уши ее слышат.

Нет радости от тепла, от солнца, от яркой узорной зелени.

И вообще, всякая радость — обман. Сейчас есть, через минуту — исчезла.

И впереди тягостное объяснение с Васей-в-кубе, быть может, с самой директрисой Анной Петровной: «Зачем кирпич? Почему кирпич?»

И Санька, конечно, уже знает, что он, Дюшка, обезоружен.

Санька стоит под столбом, на котором когда-то висели канаты для «гигантских шагов». Как всегда,

вокруг Саньки холуи вроде Кольки Лыскова. Дюшке видна Санькина соломенная шевелюра, слышен его сипловатый голос. Вокруг Саньки сейчас смеются. Должно быть, Санька говорит о нем, Дюшке, должно, что-то обидное.

И Санькины речи, возможно, слышит Римка. Она сейчас стоит ближе к Саньке, чем Дюшка, ей слышней.

От Санькиной группы отделился Колька Лысков, с прыском жеребенка подтрусил к Дюшке, жмурится всей сведенной в кулачок старушечьей рожицей.

— Дюшка... — Голос сладенький, сочувственный (сейчас скажет пакость). — Как же ты сегодня без кирпича домой?..

Дюшка смотрит мимо счастливо жмурящегося Кольки, молчит. А Колька хоть бы что — привык, когда встречают: «Видеть тебя не могу».

— Дю-юш-ка... Санька говорит, чтобы ты лучше не выходил из школы. Он тебя и с кирпичом хотел... У тебя кирпич, а у него ножик. Хи-хи!.. Теперь он тебя и без ножа... Хи-хи! Мамка не узнает.

Привирает Колька про нож. А может, и нет. Не зря же Санька тогда кричал: «Кровь пуцу!»

Колька улыбочиво жмурится, Колька рад, что скоро увидит, как Санька расправится с Дюшкой. Сам Колька никогда ни с кем не дрался, но любит глядеть драки, хлебом не корми. Дюшка не выдержал, засмотрелся на улыбочивого Кольку. Стукнуть его, что ли? Утрется и убежит, а Саньку все равно не минуешь. Санька не знает жалости, а за Дюшкой теперь много числится — будет бить насмерть.

Радостно, в самое лицо улыбается Колька Лысков. И в Дюшке вдруг что-то поднялось из глубин, от желудка к горлу, стало трудно дышать. Не столько от ненависти к Саньке, сколько от стыда за себя: боится же, боится, и это сейчас видит Колька, наслаждается его страхом. Он таскался как дурак с кирпичом и прятался за спину Никиты Богатова. Богатов никак не герой, но Саньки не испугался. А если у Саньки нож, что стоило ему ударить ножом взрослого. И ни



разу он, Дюшка, не схлестнулся по-настоящему с Санькой. Санька готов был открыто помериться силой, Санька, выходит, честней...

Жмурится в лицо Колька Лысков. Девчоночьи голоса в стороне. Девчоночьи голоса и смех. И резануло по сердцу — прозвучал смех Римки, звонкий, чистый, серебряный, не спутаешь.

Дюшка шагнул вперед. Колька Лысков шарахнулся от него столь быстро, что морщинистая улыбочка не успела исчезнуть.

Опустив плечи, пригнув голову, Дюшка двинулся прямо на столб, под которым торчала соломенная нечесаная Санькина волосня. Окружавшие Саньку ребята зашевелились, запереглядывались между собой и... расступились, давая Дюшке дорогу.

Санька оторвал плечо от столба, встал прямо: болотная зелень в глазах, серый твердый нос, на плоских скулах, на подбородке стали медленно просачиваться красные пятна. Все-таки чуточку он побаивается, все-таки Дюшка чем-то страшен ему — пятна и глаза круглит. Дюшка зарылся взглядом в зелень Санькиных глаз.

— Палач! Скотина! Думаешь, боюсь?

— Да неуж?.. Может, тронешь пальчиком?

Над школьным двором стоял звонкий, веселый гвалт. Никогда еще так плохо не чувствовал себя Дюшка: никому до него нет дела, никому, кроме Саньки. Санька ненавидит его, он — Саньку!

И со стороны снова донесся беззаботный Римкин смех, особый, прозрачный, колеблющийся, как нагретый воздух, что дрожащим маревом поднимается над землей.

И смех толкнул... Всю выношенную ненависть, свои несчастья, свой стыд — в пятнистую физиономию, в нечистую зелень глаз, в кривую узкую улыбочку! Кулак Дюшкин врезался с мокрым звуком, Санька качнулся, но устоял. Дюшка ударил второй раз, но попал в жесткое, как булыжник, Санькино плечо.

Прямо перед собой — два круглых провальных глаза. Дюшка не успел выбросить им навстречу ку-

лак. Он не почувствовал боли, он только услышал хруст на своем лице, и яркий солнечный двор, и синее небо качнулись, потекли, стали жидко проваливаться местами, пятнами, а на голову словно нахлобучили чугунный тяжелый горшок. Кажется, он успел пнуть ногой Саньку, тот охнул и согнулся...

После этого он помнил только какие-то пестрые ключья: нацеленный серьезный Санькин нос; треснувшая на груди рубаха; судорожно сжатый кулак, свой кулак, запачканный свежей кровью, собственной или Санькиной — неизвестно; Санькин скривленный рот; стена мальчишеских лиц, серьезных от испуга... И тишина во дворе, солнце и тишина, и тяжелое сопение Саньки... Дюшка налетал, бил, промахивался. Санька отбрасывал его от себя, но Дюшка снова налетал, снова бил... Вытаращенные глаза Саньки, скривленные губы Саньки, кулак в судороге...

Кто-то робко попытался схватить Дюшку, он оттолкнул локтем, уголком глаза успел поймать перекошенное лицо Миньки...

И неожиданно вместо Санькиной ненавистной носатой, глазастой, косогубой физиономии появилось перед ним возбужденное, румяное, с туго сведенными бровями лицо Левки Гайзера. Он хватал Дюшку за грудь:

— Эй! Эй! Хватит!

Но за Левкой маячила Санькина шевелюра, Дюшка рванулся к ней, Левка уперся ему в грудь:

— Хва-тит!

Тогда Дюшка с размаху ударил Левку и... пришел в себя.

Яркий солнечный двор и тишина. Оцепеневшие глазастые лица ребят. Над их головами врезан в синеву большой кран. Левка с сухим недобрым блеском в глазах ощупывал рукой скулу.

— Дерьмо же ты, оказывается, — сказал он.

Дюшка не возразил и не почувствовал раскаяния. Ненависти уже не было, была усталость.

И тут как из-под земли вырос Вася-в-кубе, лысиной в поднебесье, выше большого крана, и с не-

мыслимой высоты глядело на Дюшку темное лицо. Вася-в-кубе взял тяжелой рукой за плечо, повернул:

— Пошли.

Завороженная стена ребячьих физиономий колыхнулась и распалась на две части, давая проход. Серой гибкой кошкой метнулся через дорогу Колька Лысков.

А Дюшка только сейчас почувствовал, что у него исчезло лицо, вместо него что-то тяжелое, плоское, как набухшая от сырости дубовая доска. Неся перед всеми свою деревянность, он цеплялся нетвердыми ногами за качающуюся, ненадежную землю.

Вперед кучкой стояли девчонки, все еще оцепенело замороженные. Среди них Римка — взметнувшиеся брови, круглые, как пуговицы, глаза, курчавинки на висках. Римка — совсем обычная, совсем ненужная сейчас.

Но когда толкающая рука Василия Васильевича и нетвердые ноги приблизили Дюшку к девчонкам, среди них раздался визг и все они с выражением страха и брезгливости дружно шарахнулись в сторону. И Римка — тоже, со страхом и брезгливостью в круглых глазах.

Это окончательно привело Дюшку в сознание. Он понял, как выглядит — рубаха располосована, окровавлен, нет лица, есть что-то деревянное, плоское, чужое... Шарахаются от него. Римка — тоже.

И вспомнил, что ударил Левку Гайзера...

...Окровавленную, располосованную рубаху стащили и отправили отцу прямо на работу. Его же самого обмыли под краном, обмазали йодом, заставили поглядеться в зеркало.

Лицо осталось, не исчезло и было вовсе не плоским, наоборот — дико распухшее, в рыжих пятнах йода, посреди, где раньше находился нос, торчал трупно-синий бесформенный бугор. Он-то и ощущался деревянным.

Мать осмотрела Дюшкин нос, потрогала его холодными, сильными пальцами, больно — искры из глаз! — до хруста нажала, сказала почти равнодушно:

— Срастется. С неделю проходит красавцем.

И ушла в спальню, легла на кровать не раздеваясь. Бабушка Климовна прибрала посуду на столе, повздыхала:

— Ох-хо-хонюшки! Тупой-то серп руку режет пуще острого.

Тоже ушла к себе.

Дюшка остался один на один с отцом. Отец ходил по комнате, попинывал — не сильно, не в сердцах — стулья, яростно ворошил пятерней волосы, не ругался, только время от времени ронял:

— Да... Да...

Короткое и тяжелое — в ответ своим мыслям.

А за окном торчал большой кран, под ним, должно быть, как всегда, суетятся люди — сортируют лес, радуются весне, ходят друг к другу в гости, любят — не любят. Дюшке уже нет среди них места. Римка шаркнулась от него. И он ни за что ни про что ударил Левку Гайзера. И на лице деревянный, мешающий нос, с таким носом нельзя выйти на улицу...

А Левка хочет открыть бесконечность, и — непонятно — почему-то эта бесконечность обещает Левке вторую жизнь. Зачем вторая, когда и одну-то прожить так трудно.

Отец оборвал хождение, взял стул, поставил напротив Дюшки, оседлал его. Лицо отца за этот день опало, стало угловатым, лоб вылез вперед, глаза спрятались, глядят, словно из норы, настороженно, выжидательно, с тревогой, но, кажется, без гнева.

— У нас, Дюшка, на сортировке попадают эдакие крученые кряжи, которые ни в строительный не занесешь, ни в крепежник, ни в тарник. Их выбрасывают на дрова, но и дрова из них тоже плохие — не колются, намаешься. Дерево как дерево, а ни на что не пригодно...

Дюшка догадывался, куда клонит отец, но молчал.

— Человек, Дюшка, тоже может расти вкривь и вкось, — продолжал отец. — Часто болтается среди людей эдакая нелепость — где ни приткнется, всем мешает, все его отпихнуть стараются. А если упирается, рубят по живому.

У отца и взгляд прочувствованный, и голос сдержанный, по всему видать — собрался с силами, хочет от души объяснить непутевому сыну. От души, без раздражения. Но Дюшке меньше всего нужны такие объяснения. Он и без отца теперь знает, что ненормален, перекручен, трудно жить... Это лучше отца объяснила ему Римка Братенева — шарахнулась в сторону. «Тупой серп руку режет пуще острого».

Отец с досадой заскрипел стулом, подался вперед, заговорил горячее:

— У тебя перед глазами пример есть — Никита Богатов. Перекошенный человек, недоразумение. Сам несчастный, жену несчастной сделал, сына... Таким стать хочешь?

Дюшка наконец разжал губы, спросил:

— Пап, Богатов плохой, ну а Санька Ераха хороший?

— Я ему о Фоме, он мне о Ереме. При чем тут Санька?

— Я с ним дрался.

— Так за это я должен поносить его? Ну, знаешь!

— Богатов плохой, Санька хороший?

— Да плевать я хотел на твоего Саньку! Мне на тебя не плевать.

— Санька убивать любит... лягуш.

— Лягуш?... Черт знает что! Да мне-то какое дело до этого?

Действительно, какое кому дело, что Санька убивал лягуш? Почему к нему ненависть? Почему Дюшка так много думает о Саньке? Только о нем. Родился непохожий на других — мучает кошек, бьет лягуш. И не в кошках, не в лягушках дело, а в том, что он любит мучить и убивать. И это страшное «любит» почему-то никого не пугает. «Да мне-то какое дело до этого?» Никому нет дела до того, что л ю б и т Сань-

ка. До Богатова есть дело, Богатова осуждают... вместе с Минькой.

И Дюшка, давась словами, произнес:

— Он и людей бы убивал, если б можно было.

— Ну, знаешь!

— Он зверь, этот Санька, а Богатов не зверь. Что тебе Богатов плохого сделал? За что ты его не любишь? За что? За что-о?!

— Ты что кричишь?

— Боюсь! Боюсь! Вас всех боюсь!

— Эй, что с тобой?

— Никому нет дела до Саньки? Никому! Он вырастет и тебя убьет, и меня!..

— Дюшка, опомнись!

— Опомнись ты! Убивать любит, а вам всем хоть бы что! Вам плевать! Живи с ним, люби его! Не хочу! Не хочу! Тебя видеть не хочу!

Дюшка, вскочив на ноги, тряс над головой кулаками, визжал, топал:

— Не хочу!..

Отец верхом на стуле замер, глядя снизу в разбитое, перекошенное, страшное лицо сына.

На крик появилась мать, бледная, прямая, решительная, казалось, ставшая выше ростом. Отец повернулся к ней:

— Вера, что с ним?

— Принеси стакан воды.

Дюшка упал ничком на диван и затрясся в рыданиях.

— Что с ним, Вера?

— Обычная истерика. Пройдет.

Мать никогда не теряла головы, и сейчас ее голос был спокоен. Дюшка рыдал: никто его не понимает, никто его не жалеет — даже мать.

Его заставили выпить валерьянки и лечь в кровать. Он лежал и ни о чем не думал. Все кругом стало каким-то далеким и ненужным — Никита Богатов, Санька, Римка, непонимающий отец, Левка Гайзер, которого он ударил... И самый, наверное, ненужный и далекий из всех — он сам, пропащий человек.

Дюшкин кирпич лег на стол директрисы школы Анны Петровны. Рыжий кирпич на зеленом сукне письменного стола...

Анна Петровна появилась в поселке Куделино вместе с новой школой. Казалось, ее где-то специально заготовили — для красивой, сияющей широкими окнами школы молодую, красивую директоршу с пышными волосами, громким, решительным голосом, университетским значком на груди.

С Анной Петровной не так уж трудно встретиться в школьных коридорах, даже на улицах поселка, но в кабинет к ней попадали только в особо важных случаях.

Рыжий кирпич на зеленом сукне — случай особый. Напротив стола разместились учителя и ученики: судьи, свидетели и преступники — Дюшка с Санькой. Даже Колька Лысков был приглашен, даже Минька затаился возле самых дверей на краешке стула.

Раз на столе в центре внимания — кирпич, то само собой вспоминают Дюшку: «Тягунов, Тягунов...» Саньку почти не трогают, он сидит нахохлившись, повесив нос, смотрит в пол, хмурый, обиженный: мол, что приходится терпеть человеку понапрасну.

— Гайзер, ты кому-то говорил, что видел этот кирпич и раньше у Тягунова? — ведет опрос Анна Петровна.

Подымается Левка. У него под левым глазом махровая желтизна — отцветший синяк, сотворенный Дюшкиным кулаком.

Левка отвечает без особого усердия и старается не глядеть в сторону Дюшки:

— Я, собственно, не видел этого кирпича...

— Как так — собственно?

— Я как-то заметил, что у него... Тягунова, толстый портфель, спросил: чем ты его набил? Он ответил — там кирпич.

— И больше ничего не спросил?

— Поинтересовался, конечно, — зачем кирпич? Ответил: мускулы развиваю.

— Давно это было?

— С неделю назад.

— И все это время Тягунов таскал... развивал мускулы?

— В портфель к нему я больше не заглядывал, кирпичом не интересовался.

— Он таскал! Таскал кирпич! Я знаю! Не расставался! — выкрикнул Колька Лысков. Он и здесь, в кабинете директора, вел себя деятельно и радостно, словно ждал интересной драки.

Угнетенно-хмурый Вася-в-кубе подал голос:

— Странно все-таки. Неудобная вещь, даже для драки.

— Как же неудобная? Очень даже удобная! Тяжелая... — охотно отозвался Колька. — Сзади по затылку — тяп, и ваших нет. Кирпичом и быка убить можно.

Анна Петровна грозно покосилась на Кольку, и тот опять же охотно, почти восторженно оправдался:

— Извиняюсь. Я чтоб понятней...

— Тягунов, — спросила Анна Петровна, — скажи, только откровенно: для чего?.. Для чего тебе этот кирпич?

Дюшка долго молчал, наконец выдал:

— Если Санька вдруг полезет... Для этого.

— И ты бы ударил его... кирпичом?

Врать было бессмысленно, Дюшка признался:

— Полез бы — ударил.

— А ты не подумал, что действительно... таким — быка? Не подумал, что убить им можно человека?

Вася-в-кубе подождал-подождал Дюшкиного ответа и не дождался, с досадой крякнул, а одна из приглашенных на обсуждение учительниц, совсем молодая, преподававшая в школе всего лишь первый год, Зоя Ивановна, выдала из себя:

— Какой ужас!

Вася-в-кубе решил прийти на помощь.

— Но ведь ты для самозащиты эту штуку таскал? — спросил он.

— Для защиты, — признался Дюшка почти с благодарностью. Он не хотел, чтоб его считали убийцей,



даже Санькиным. — На всякий случай, когда Санька полезет...

— Ползет... — переспросила Анна Петровна. — Первый на тебя?

— Да.

— А вот все говорят, что первым в драку полез ты, Тягунов. Ты первый ударил Ерахова. Или на тебя наговаривают? Или это не так? — У Анны Петровны от негодования глаза стали опасно прозрачные, холодные.

Дюшка снова замолчал. Он молчал и понимал, что его молчание выглядит сейчас дурно. Так в кино молчат пойманные шпионы, когда им уже некуда деться.

— Как-кой ужас! — снова выдала из себя молодая Зоя Ивановна.

А Вася-в-кубе крикнул еще раз.

Лежал перед всеми на зеленом столе рыжий кирпич — страшная, оказывается, вещь, им можно убить человека. Дюшкин кирпич, кирпич, специально приготовленный для Саньки. И он, Дюшка, первым напал на Саньку...

И сидел обиженно нахохленный Санька, чудом спасшийся от страшного кирпича.

Дюшка и сам начинал верить, что он преступник.

Помощь пришла неожиданно с той стороны, с которой ни Дюшка, ни кто другой не ожидал.

Притаившийся возле дверей Минька, Минька, случайно попавший на разбирательство, Минька, которого и не собирались сейчас спрашивать, вдруг вскочил на ноги и закричал тонко, срываясь, словно петушок, впервые пробующий свой голос:

— Дюшка! Ты чего?.. Дюшка! Скажи всем! Скажи про Саньку! Он же хвастался, что убьет тебя! Я сам слышал! Ножом стращал!

И Санька взвился, его лицо потекло красными пятнами:

— Врет! Врет! Не хвастался!.. У меня даже ножа нет! Обыщите! Нет ножа!

— О каком ноже речь? Ты что? — Глаза Анны

Петровны утратили прозрачность, стали обычными — испуганными.

Но Минька, тихий Минька с яростью накинулся на Саньку:

— Ты все можешь, ты и ножом! Про твой нож Колька хвастался!

— Ничего я не хвастался! Ничего не знаю! — за-вертелся ужом Колька Лысков.

— Честное слово! Дюшка добрый. Дюшка даже лягушку... Дюшка слабей себя никогда не обидит! А Санька и ножом, ему что?

— Чего он на меня? Ну чего?.. Никакого ножа... Вот глядите, вот... — Санька начал выворачивать перед всеми пустые карманы.

— Он трус! Он только на слабых. Потому Дюшка и кирпич... Знал — Санька тогда на него не ползет, испугается. И верно, верно — Дюшка давно этот кирпич таскал в портфеле. Давно, но не ударил же им Саньку. Убить мог? Это Дюшка-то? Саньку! Отпугивать только. Санька — трус: на сильного никогда!..

— Ну-у, Минька, н-ну-у!

— Слышите?.. Он и сейчас... Он теперь меня... Мне тоже кирпич... Житья Санька не даст! Мне тоже кирпич нужен!..

— Ну-у, Минька, н-ну-у!

Санька стоял посреди кабинета всклокоченный, с пятнистым лицом, с выкаченными зелеными глазами, вывернутыми карманами.

Лежал рыжий кирпич на зеленом столе. Все молчали, пораженные яростью тихого, маленького, слабого Миньки. И только Зоя Ивановна, молодая учительница, изумленно выдохнула свое:

— Как-кой ужас!

## 20

Александр Матросов своей грудью закрыл амбразуру с пулеметом, чтобы спасти товарищей. Александр Матросов — герой, человек великой души, о нем написаны книги.

До сих пор великой души люди — те, кто своей грудью, своей жизнью ради товарищей! — жили для Дюшки только в книгах. В Куделине таких не наблюдалось. Великой души люди, казалось, непременно должны быть и велики ростом, широки в плечах, красивы лицом.

У Миньки узкие плечи, писклявый голос. И жил Минька все время рядом, на улице Жана Поля Марата, ничего геройского в нем не было — самый слабый из ребят, самый трусливый.

И вот Минька против Саньки! Санька слабых не жалеет. Санька не даст проходу. Минька добровольно испортил себе жизнь, чтоб спасти Дюшку. Закрыв грудью.

А ведь он, Дюшка, всегда немного презирал Миньку — слабей, беспомощней.

От Дюшки шарахнулась Римка, от Дюшки отвернулся Левка Гайзер, дома Дюшка устроил истерику. Сам себе противен. Стоит ли такому жить на свете? Кому нужен?

Оказывается, нужен! Грудью за него.

Минька, Минька...

...Утром Дюшка повернул не к школе, а к Минькиному дому. Санька станет сторожить Миньку. Рядом с Минькой всегда будет он, Дюшка.

Портфель непривычно легкий, тощий — кирпич больше не нужен. Пусть сунется Санька, нет перед ним страха! Пусть сунется к Миньке!

Минька несколько не удивился, что Дюшка ожидает его у крыльца. В мешковатом, старательно застегнутом на все пуговицы пиджаке, со своим большим потертым ранцем, узкое лицо прозрачно и сурово. Эта суровость так была непривычна для Миньки, что Дюшка вместо «здравствуй» встревоженно спросил:

— Ты чего?

— Ничего, Дюшка.

— Нет, Минька, что-то есть, я вижу.

— Ты слышал, как он вчера, каким голосом: «Н-ну-у, Минька»? Убьет, ему что.

— Пусть прежде меня.

— Но ведь ты же не всегда со мной ходить будешь.

— Всегда, Минька.

— Да я и сам хочу... Сам за себя! Как ты, Дюшка.

Минька судорожно расстегнул пуговицы, распахнул полу — за брючным ремнем торчала деревянная ручка ножа.

— Ты что?

— Кирпич хотел, но с кирпичом меня Санька сразу... Это тебя он с кирпичом боится, а меня — нет. Такого гада мне только... железом.

— С ума сошел, Минька!

— Сойдешь, когда всю ночь уснуть не мог.

— Унеси, Минька, нож обратно.

— Нет!

— Силой, Минька, отберу!

— Нет, Дюшка, не сделаешь этого.

— Тогда прошу тебя, Минька...

Минька помялся, поежился, помигал и уступил:

— Я его под крыльцо пока... С тобой буду без ножа.

А без тебя, Дюшка... Хочу сам за себя, как ты.

Нелепый кухонный нож с деревянной ручкой пугал Дюшку. Но Минька стал вдруг упрямым.

## 21

Под вечер, после работы, мать и отец принимали гостя. Вернее, гость пришел только к матери. Тот самый Гринченко, о котором Дюшка так часто слышал: еле жив, при смерти. Два дня назад Гринченко выписали из больницы, сейчас его угощали чаем.

Это был вовсе не хилый человек, а громоздкий, с глухим, нутряным, густым голосом, с темным губастым лицом, сплавщик, одетый по-праздничному — в темно-синий в полоску костюм, в галстук, завязанном таким толстым узлом, что он мешал двигаться массивному подбородку. И только запавшие глаза и тупые кости скул, проступающие сквозь темную пористую кожу, напоминали о болезни, не совсем еще покинувшей мощное тело.

Гринченко пришел в гости к матери, но разговор вел лишь с отцом.

— Скажу вам, Федор Андреевич, какой это человек Вера Николаевна, супруга ваша. Святая сказать — мало! Кто ей я? Ни сват, ни брат, даже за столом вместе не сиживали, хлеб, соль, водку пополам не делили. И добро бы я, Степка Гринченко, уж очень полезен державе нашей был. Так нет этого. Работяга обычный. Любил рубль длинный сорвать, водку любил, баб и всякое прочее безыдейное. И вот из-за меня, из-за безыдейного, эта женщина ночами не спала, своим здоровьем тратилась, можно сказать, колотилась самым героическим образом.

Мать виновато посмеивалась, а отец серьезно соглашался:

— Что есть, то есть, не отыметь — самозабвенна.

— Тыщи лет люди Богородицу хвалили. А за что, позвольте спросить? Только за то, что Христа родила да вынянчила. Любая баба на такое, скажу, способна. Вот пусть-ко Богородица с эдаким, как я, понянчит-ся. Не ради Бога великого, чтоб потом аллилуйю многие века пели, а ради простого человека, без надежды всякой, что тебе там вечную славу отвалят или награду золотую на грудь. Тут тебе Богородицы мало, тут уж выше бери.

— Богородица — это суеверие, Степан, — настаивательно отвечал отец. — А старые суеверия мы жизнью бьем не в первый раз. Так что из ряда вон выходящего ничего не произошло.

— Ой, не скажите, Федор Андреевич, не скажите. Вы думаете, Вера Николаевна мне только требуху мою вылечила — нет, душу вылечила. Открылось мне: раз я, Степан Гринченко, героического стою, то и держаться я в дальнейшем должон соответственно, не распыляясь на мелочах. Не-ет, теперича я так жить уже не стану, как жил. Буду оглядываться кругом, да позорчей. Сколько лет я еще проживу, Вера Николаевна?

— Я не гадалка, Степан Афанасьевич. Наверное, вас еще надолго хватит.

— Сколько ни проживу — все людям. Осветили вы мне нутро, Вера Николаевна, ясным светом.

— Очень рада такому побочному явлению.

— Эх, для вас бы что сделать! Вот было бы счастье. Не сумею, поди, — мал. Да-а!

Гринченко поднялся и стал чинно за руку прощаться, а Дюшка кинулся к окну, чтоб видеть, как спасенный матерью от смерти человек пойдет на своих ногах по улице среди здоровых людей.

Дюшка припал к окну и увидел не Гринченко, а... Римку. В легком платьице в клеточку, в темных волосах солнечной каплей цветок мать-мачехи, и курчавинки у висков, и нежный бледный лоб над бровями — до чего она не похожа на всех людей, рождаются же такие на свете. Солнечная капелька цветка в волосах...

Римка исчезла в подъезде, появился Гринченко, не обративший на Римку никакого внимания. Нескладно-громоздкий, нарядный в своем костюме в полосочку, он бережно выступал, сосредоточенно нес в себе свое спасенное здоровье, свою вылеченную Дюшкиной матерью душу — весь в себе.

После Римки Дюшка снова обрел способность видеть то, чего не замечают другие. Сейчас глядел на выступающего бережным шагом Гринченко и видел в нем то, чего сам Гринченко и не подозревал: слишком большую занятость собой, своим неокрепшим здоровьем, своим исцеленным духом.

Гринченко, не заметив, промаршировал и мимо Минькиного отца, путающегося в полах своего длинного пальто. А Минькин отец спешил. Дюшка вгляделся в него, и по спине поползли мурашки — что-то случилось. Никита Богатов бежал изо всех сил — размахивает рукавами, лицо без кровинки, рот распахнут, задыхается. Он пересек двор их дома, двинулся к крыльцу. Что-то стряслось! Что-то страшное!

А отец с матерью продолжали говорить о Гринченко, о том, как удачно тот «выскочил из болезни».

Дверь распахнулась без стука, бледный, потный Никита Богатов обессиленно привалился скулой к косяку.

— Вера Николаевна!

— Что?..

— Ножом...  
И Дюшка все понял, Дюшка закричал:  
— Минь-ку-у!  
— Да, Миньку... ножом. И нож-то наш... Не знаю и что?..  
— Санька — Миньку! Санька — Миньку!!  
— Дюшка, помолчи! Где он?  
— В больницу повезли... Я к вам... Спасите, Вера Николаевна!  
— Санька — Миньку! Мама, спаси Миньку! Спаси, мама!!

## 22

Они вдвоем сидели у телефона, ждали звонка из больницы. Дюшка объяснял отцу, как кухонный нож Богатовых оказался в руках Саньки:

— Я говорил Миньке: не смей, не бери! А он мне — Санька убьет, только железом спасусь. Ну, Санька и отнял у него нож этот и этим ножом... У Миньки любой бы отнял. Минька мухи не обидит.

— Черт! — Отец это слово произнес без своей обычной энергии, даже с тоской. Он сейчас как-то присмирел, не расхаживал по комнате, не пинал стулья, сидел напротив Дюшки, приглядывался к нему с непривычным вниманием. — Ты говорил: Санька лягуш убивал? — спросил он.

— Лягуш убивал, кошек мучил.

— Зачем?

— Так просто. Нравилось.

— Нравилось? Большой он, что ли?

— Что ты, пап. Здоровый. Здоровей Саньки только Левка Гайзер, он на турнике «солнце» крутит.

— Так почему, почему он ненормальный такой? Нравилось...

— Да нипочему. Таким родился.

— Родился?.. Гм... У Саньки вроде родители нормальные. Отец сплавщик как сплавщик, честно ворочает лес, выпивает, правда, частенько, но даже пьяный не звереет. Ни кошек, ни собак, ни людей не мучает...

— Пап, и Левка же Гайзер тоже на своего отца не похож. Левкин отец за жизнь, наверно, ни одной задачки не решил.

— Гм, верно. Обидней всего, Дюшка, что этого урода еще и оправдать можно.

— Саньку? Оправдать?

— Видишь ли, получается, твой Минька против Саньки запасся ножом заранее, с умыслом. И наверное, он в драке выхватил этот нож. А Санька безоружный. Выходит, что Санька защищался, а напал-то Минька.

Дюшка обмер от такого поворота.

— Пап, Минька и мухи... Пап! Кто поверит, что Минька — Саньку?..

— Верят, сын, фактам...

Факты... Дюшка часто слышал это слово. Отец, мать, учителя произносили его всегда уважительно. Факты — ничего честней, ничего неподкупней быть не может. Это то, что есть, что было на самом деле, это — суцая правда, это — сама жизнь. И вот суцая правда несправедлива, сама жизнь — против жизни, защищает убийство. Так есть ли такое на свете, чему можно верить до конца, без оглядки? Все зыбко, все ненадежно.

Дюшке было лишь тринадцать лет от роду, он не дорос до того, когда невнятные мысли и смутные опасения облекаются в отчетливые слова. Он не мог бы рассказать, что именно сейчас его пугает — слишком сложно! — он лишь испытывал подавленность и горестную растерянность. И отец, его взрослый, сильный отец, который смог поднять над поселком огромный многотонный кран, помочь ему был бессилен. А хотел бы, страдает, тоска во взгляде. Что-то есть сильнее отца, что-то без имени, без лица — невидимка!

— Пап, — произнес Дюшка сколовшимся голосом, — неужели Саньке будет хорошо, когда он вырастет?

Отец поднял голову, озадаченно уставился на сына, и зрачки его дрогнули.

— Если Саньке хорошо, мне, пап, будет плохо.



И отец медленно встал со стула, распрямился во весь рост, шагнул вперед, взял в широкие теплые ладони запрокинутое вверх Дюшкино лицо, с минуту вглядывался, наконец сказал:

— Да... Да, ты прав. Этого не должно случиться.

— Пап, Минька не виноват. Если даже и факты... Все, все пусть знают.

— Да... Да, ты прав.

Они оба вздрогнули — разливисто зазвонил телефон. Отец рванулся от Дюшки, схватил трубку:

— Слушаю!.. Так... Так... Кровь?.. А родители?.. Не могут. Как же так — они родители, а кровь не подходит?.. А-а... Ну хорошо, Вера, ну хорошо. Я передам, я все ему передам.

И положил трубку.

— Дело обстоит так, Дюшка: твоему Миньке надо переливать кровь. Ни мать, ни отец дать кровь не могут. Родители, а не могут, бывает такое. И тут Никита Богатов оказался неподходящ...

— Я дам кровь Миньке! Я!

— Дает кровь твоя мать. После этого ее сразу из больницы не выпустят. Так что нам надо ждать ее только к утру.

— Я знаю, знаю — мама спасет Миньку!

— Спасет, будь спокоен. Санькам — хорошо! Ну не-ет!.. За Минькой твоим будут следить во все глаза. Его мать оставили в больнице на ночь.

— А Минькин отец?

— Отправили домой. Нельзя же всей семьей торчать в больнице.

— Пап!.. Пап, ему плохо.

— Да уж можно себе представить.

— Пап, я сбегая, позову его сюда.

— Зачем?

— Ему плохо одному, пап. С нами будет легче. Я сбегая, можно?

Отец снова с прежним серьезным вниманием с минуту разглядывал сына, наконец сказал:

— Зови. А я тут пока чай организую.

За столом встретились два отца, более несхожих людей в поселке Куделино, наверное, не было.

Отец Дюшки — его побаиваются, его уважают, в нем постоянно нуждаются, все время его ищут: «Был здесь, куда-то ушел». Он заседает, он командует, перебрасывает, ремонтирует, ругается, хвалит, отчаивается, обещает надбавки: Федор Тягунов-старший — человек, распахнутый для всех.

Отец Миньки никем не командует, ничем не распорядится, больше беседует сам с собой, чем с другими, он и всегда-то пришиблен, а сейчас — лицо серое, глаза красные, в расстегнутом вороте рубашки видна выпирающая ключица, хрящевато-тонкая, жалкая, по ней видно, какой он весь ломкий, жидко склеенный, особенно рядом с ширококостным, плотно сбитым Дюшкиным отцом.

Никита Богатов не сразу согласился идти с Дюшкой. Дюшка его застал в пальто, сгорбившимся за столом. Он с трудом оторвал от пустого стола взгляд, уставился красными глазами на Дюшку, долго не понимал, чего от него хотят, наконец понял, спросил:

— Зачем?

Дюшке было трудно объяснить, зачем он зовет его к себе.

— Папа просит... попить чаю.

Никита Богатов глядел на Дюшку, помигивал красными веками, наконец тихо продекламировал:

В огне и холоде тревог —  
Так жизнь пройдет. Запомним оба...

И вдруг передернулся лицом, плечами, словно проснулся, заговорил захлебываясь:

— Не слушай меня, мальчик. Я клоун, я паяц! Я живу чужими мыслями, чужими словами. Живу невпопад. Меня не стоит жалеть.

— Мама спасет Миньку, мама обязательно спасет! Она кровь свою дала.

Минькин отец заволновался:

— Да, да, меня зовут. Меня не часто зовут, а я по привычке паясничаю, строю из себя непонятого гения.

— Идемте.

— Да, да... Я благодарен. Не помню, когда меня звали к себе.

И вот отец Миньки сидит напротив Дюшкиного отца. Дюшка вместе с ними за столом.

Дюшкин отец косится на горбящегося Никиту Богатова с опаской, начинает с неуклюжей осторожностью:

— Странная ты личность, Никита. Я не говорю плохая — странная.

— Не стоит со мной церемониться, Федор Андреевич.

— Церемониться не собираюсь, но и зря обижать не хочу. Кто ты? Для меня загадка. Образован, начитан, умен ведь, а поставить в жизни себя не сумел. Пружины в тебе какой нет, что ли?

— Пружина есть... То есть была пружина, но шальная, которая заводит не силы, не энергию, а самомнительность.

— Самомнительные-то обычно выбиваются выше, чем им следует, а ты, прости уж, сколько тебя знаю, — камешком ко дну идешь. В областной газете работал — бросил. Почему?

— Из-за самомнительности.

— Гм...

— Быть газетным поденщиком, править статьи о силосе, о навозе — нет! Мне же «уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинут», мне свыше предназначено «глаголом жечь сердца людей». Газета — смерть для возвышенной души. Надо жить в гуще простого народа, черпать от него вдохновение. Я убедил жену, я забрал свои тетради, заполненные рифмованной пачкотней, и появился у вас в Куделине. А дальше?.. Дальше вы и сами видели. На сплаве выкатывать бревна слаб, сунулся в контору... Камешком ко дну. Хотя нет, барахтался и



пачкал бумагу, рифмовал, заведенная пружина действовала: «Глаголом жги сердца людей!» Я любил чужие глаголы и рассчитывал — кто-то полюбит мои, боялся признаться: мои глаголы серы, серы, стерты, любить не за что.

Богатов говорил мечущимся, срывающимся голосом, при каждом признании весь передергивался от отвращения к себе. Дюшкин отец слушал его с откровенным недоумением, почти с испугом.

— А может, все-таки... — произнес он неуверенно.

Никита Богатов перебил его кашляющим смешком:

— Вот-вот, а может, все-таки я талант. Я... я ублаживал себя этими словами много лет. И себя и жену... Камешком ко дну. Но если б я только один камешком, но ведь и ее и сына... Они же связаны со мной. Я любил ее: складки ее платья, движение ее бровей, звук ее шагов, ее улыбку, ее усталость! Весь мир несносен, единственная радость — она. Радость и боль! И ее я топил!..

Дюшкин отец крикнул и почему-то виновато взглянул на Дюшку, а Никита Богатов продолжал мечущимся голосом:

— Я рассчитывал на чудо — меня вдруг признают, ко мне придет слава, почет, деньги. Все положу к ее ногам. Писал в последнее время только о ней, только ее славил — сонеты, элегии, письма в стихах. И надоел, надоел ей до тошноты. Она-то давно открыла, что я за глагольщик. И неприязнь ко мне, сперва спрятанная, потом откровенная, наконец воинственная. И унылая контора, жалкая зарплата делопроизводителя, сын без зимнего пальто... А у нее появляется мания, идея фикс — побывать раз в жизни на юге, увидеть море...

— Дадим путевку! — вскинулся Дюшкин отец, наконец-то почувствовавший, что чем-то может помочь.

Богатов отмахнулся вялой, бескостной рукой, голос осел, перестал метаться — глухой, тусклый:

— Вчера... с Минькой... Меня словно молнией шарахнуло, очнулся: прячусь от правды — бездарь, ничтожество, эдакий литературный наркоман... Хватит! Хватит!

- Что — хватит? — подобрался Дюшкин отец.
- Хватит тянуть камнем.
- Это верно.
- Пора освободить их от себя.
- То есть как это — освободить?
- Не все ли равно — как.

Дюшкин отец навалился грудью на стол, звякнули чашки.

- Опять?! — с придыханием.
- Что — опять, Федор Андреевич?
- По-новому угорел. Тогда — к вершинам славы, а теперь в пропасть вниз головой. А может, в середине зацепишься, с головы на ноги встанешь, по ровной земле походишь?

— Ходить по земле, надоедать людям своей особой, уверять себя, что исправлюсь?... Э-э, Федор Андреевич, зачем же тянуть песню про белого бычка?

— Испакостил бабе жизнь и бросаешь, а еще — складки платья, усталость даже... И не просто, а с форсом — мол, вот я какой самоотверженный, вниз головой, помните и страдайте. А так и будет — станут помнить, станут страдать! Сукин ты сын, Никита!

Никита Богатов беспокойно задвигался, казалось, стал что-то искать вокруг себя.

— Ну что?.. Что?.. На что я способен? Только на это. Ни на что другое!

— Эт-то, друг, мы еще посмотрим. Виноваты — мимо глядели. Увидели, теперь возьмемся. Я возьмусь! Я из тебя человека сделаю!

И Дюшка насторожился. Он сидел, молчал, слушал, внимательно слушал. Последние слова отца — «человеком сделаю» — напомнили ему слова матери: «Наш отец любит ковать счастье несчастным на их головах. Не заметит, как человека в землю вобьет от усердия». Как бы нечаянно отец не вбил в землю Минькиного отца.

— К делу тебя приспособлю. Наше дело грубое, древесное, славы не отваливает, зато жить дает. Я тебя суну туда, где некогда будет в мечтаниях парить — шевелись давай! Я и с женой твоей по-крупному поговорю...

— Только не это, Федор Андреевич!  
— Молчи уж! Право слова потерял!  
— Не трогайте ее, Федор Андреевич!  
— Не бойсь, плохого не сделаю!  
— Пап! — подал голос Дюшка.  
— Э-э, да ты тут! Ты еще не спишь?  
— Пап! Тебя просят — не делай!  
— А ну спать! Здесь разговоры взрослые, не твоего ума дело!

— Я лягу, пап, только слушай, когда просят. Ты и с мамкой так — она просит, ты не слышишь.

— Ты что? Просит — не слышу. Не приснилось ли?

— А помнишь, мамка жаловалась, что ты ей всего-навсего один раз цветы подарил?.. Это ж она — что!.. А ты не понял.

Негодование — вот-вот взорвется! — затем досада, остывающее недовольство, наконец смущение — радугой по отцовскому лицу.

— Ладно, Дюшка, ложись. Мы тут без тебя решим, — сказал отец.

Дюшка поднялся, подошел к Богатову:

— Если Миньке еще кровь нужна будет, тогда я дам.

— Хороший у вас сын, Федор Андреевич.

— Минька лучше меня, — убежденно возразил Дюшка.

Раздеваясь в соседней комнате, Дюшка видел в раскрытую дверь, как его отец сел напротив Богатова, положил ему на колено руку, заговорил без напора, деловито:

— Мне крановщики нужны. Работа непростая, но платят прилично. Учиться тебя пошлю на курсы, три месяца — и лезь в будку. А то ходишь, шарить, себя ищешь...

Отец все-таки хотел сделать несчастного Никиту Богатова счастливым — сразу, не сходя с места.

Дюшка еще не успел уснуть, когда отец, проводив гостя, подошел, склонился, зашептал:

— Слушай: мне сейчас нужно уехать. Не откладывая! Спи, значит, один. А я утречком постараюсь поспеть до прихода матери.

Но мать пришла раньше.

Дюшка проснулся оттого, что услышал в соседней комнате ее тихие шаги, ежеутренние, уютные шаги, опрокидывающие назад время, заставляющие Дюшку чувствовать себя совсем-совсем маленьким.

Он выскользнул из-под одеяла:

— Мама!

Мать еще не сняла кофты, ходила вокруг стола, не прибранного после вчерашнего чаепития двух отцов и Дюшки.

— Мама! Как?..

У матери бледное и томное лицо — обычное, какое всегда бывает после ночных дежурств. Не видно по нему, что она отдала свою кровь.

— Как, мама?

— Все хорошо, сынок. Опасности нет.

— А была опасность?

— Была.

— Очень большая?

— Бывает и больше... Где отец?

— Он уехал, мам. Еще вечером.

— Куда это?

— Не знаю.

Мать постояла, глядя в окно на большой кран, произнесла:

— Опять у него какую-то запань прорвало.

— Не говорил, мам. Не прорвало.

Мать загляделась на большой кран.

— Тебе нравится, когда тебя хвалят? — спросила она.

— Да, мам.

— Мне тоже, Дюшка... Почему-то мне хотелось, чтоб он сегодня похвалил меня... и погладил по голове.

— Ты же не маленькая, мам.

— Иногда хочется быть маленькой, Дюшка, хоть на минутку.

Пришла Климовна, гладко причесанная, конфетно пахнущая земляничным мылом, принялась охать и ахать насчет Саньки:

— Не хочет собачья нога на блюде лежать, так под лавкой навалается.



О Миньке на этот раз она ничего плохого не сказала, ушла на кухню, деловито загремела посудой.

По улице зарычали первые лесовозы. День начинался, а отца все не было. Мать ходила из комнаты в комнату, не снимая с себя рабочей кофты. Дюшка думал о ее словах: хочется быть маленькой и чтоб отец погладил ее по голове. Думал и смотрел в окно, ждал отца, который так нужен сейчас матери. Климовна собирала на стол завтрак, и Дюшке пришлось оторваться от окна.

Отец вырос на пороге с каким-то газетным пакетом, который бережно держал перед собой обеими руками. Он улыбался так широко, радостно, что заулыбался и Дюшка.

— Вот! Держи! — Отец шагнул к матери и опустил на ее руки невесомый пакет.

Мать заглянула под бумагу — и порозовела.

— Откуда?

А отец светился, притоптывал на месте, глядел победно.

— Откуда?..

— Ладно уж, похвастаюсь: ночью в город сгонял на катере...

— Так ведь и в городе не достанешь ночью-то.

— А я... — Отец подмигнул Дюшке. — Я с клумбы... Милиции нет, я раз, раз — и дай бог ноги!

До города по реке было никак не меньше ста километров, не удивительно, что отец опоздал.

— Мам, что там?

Она осторожно освободила от мятой газеты букет — нервно вздрагивающие цветы, белые, с узорной сердцевинкой. И Дюшка сразу понял — нарциссы! Хотя ни разу в жизни их не видел. Нарциссы не росли в поселке Куделино, а когда отец дарил их матери, Дюшки не было еще на свете.

Самым знаменитым человеком в поселке вдруг стал... Колька Лысков. Его теперь останавливали на улице, вокруг него тесно собирались взрослые, слу-

шали раскрыв рты. Колька Саньке не помогал, Колька вообще Саньке никакой не друг, не приятель, он даже на дух Саньку всегда не выносил, только боялся его: «Такому — что, такой и до смерти может!» И Колька видел все своими глазами, как Санька Миньку... Колька любил смотреть драки, сам в них никогда не влезал, это знали все ребята. И Колька взахлеб рассказывал, поносил Саньку, хвастался, что его, Кольку, вызывали на допрос в милицию, что он там честно, ничего не скрывая, слово в слово...

Колька стал знаменит, но силы у него от этого не прибавилось, а потому он начал соваться к Дюшке то на перемене, то по дороге из школы:

— Дюшка, а у меня леска есть заграничная, право слово... А хочешь, Дюшка, я для тебя у Петьки старинный пятак выменяю?.. Дюшка, а Санька-то тебя боялся, право слово, я зна-а-аю!

Саньку теперь, должно, уберут из поселка. Дюшка будет первым по силе среди ребят улицы Жана Поля Марата. Не считая, конечно, Левки Гайзера.

Дюшка гнал от себя Кольку:

— Уходи, макака, по шее получишь!

Колька послушно исчезал, но зла не таил, все равно славил Дюшку: «Честный, храбрый нет никого... Один против Саньки!»

Дюшке разрешили навещать Миньку в больнице. На больничной койке укрытый до подбородка Минька казался почему-то большим, почти взрослым, вовсе не таким шкетом, каким он выглядел на улице. Быть может, потому, что из-под одеяла выглядывала лишь одна Минькина голова, а она крупна еще и потому, что Минькино узкое, с проступающими косточками лицо сильно изменилось.

— Минька, — сказал ему Дюшка при первом же посещении, — мы с тобой теперь братья, в нас одна кровь течет.

Как-то на улице подошел Левка Гайзер, в легкой тенниске, мускулистые руки уже прихвачены загаром, под гнутыми ресницами смущение.

— Давай, старик, что называется, выясним отношения. Лично меня гложет совесть, что я у ди-

ректорши рассказал о твоём кирпиче. Вроде бы донес, съябедничал.

— А мне, Левка, совесть и совсем покою не даёт — ни за что ни про что тогда тебе заехал.

— Все ясно, старик... Я тут над твоими кошкаными секундами думал. Что-то в биологии со временем путаница. Медведь и лошадь примерно поровну живут на свете. Но медведь целые зимы спит. А когда спишь, время сжимается, исчезает даже. Выходит, что у лошади больше времени в жизни, чем у медведя. А если на людей перенестись... Я случайно узнал, что бабка Знобишина в один год с Эйнштейном родилась. Эйнштейн умер, бабка живёт, наверное, ещё не один год протянет. Сравни их время. Тут уж такая относительность — с ума сойдёшь. Вот бы разобраться, найти общий закон.

— Левка, ты что? Ты же бесконечность хотел искать, чтоб люди по второму разу жили.

— Что-то я стал остывать к этой проблеме, Дюшка.

— Да как можно, Левка? Важней этого ничего нет!

— Что-то меня отталкивает, старик. Механистично уж очень.

— Механистично!.. Да плевать! Зато важней ничего нет на свете! А я тут, Левка, такое открыл... — И Дюшка запнулся, но только на секунду: была не была, сказал же Миньке, скажет и Левке. — Открыл, что одна девчонка на жену Пушкина похожа!

— Ну и что?

— Как это что, Левка? Может, она второй раз... Может, она в первую-то жизнь женой Пушкина...

— Ерунда, — серьёзно возразил Левка.

— Ты и про кошканы секунды говорил — ерунда. А теперь из-за них важную для людей проблему бросаешь.

— Я же тебе тогда объяснял — бесконечность нужна. А жена Пушкина и всего-то сто лет назад жила — мгновение!

— Сто лет — мгновение? Ну уж!

— Рядом с бесконечностью и тысяча лет мгновение, и миллион!

— Все равно вдруг да... атомы, долго ли им. Разве не может такого?

Левка замялся, кисленько замямлил:

— Теоретически, конечно, не исключено. Но уж слишком мала вероятность. Ничтожна.

— Ага! Все-таки может! — восторжествовал Дюшка.

— Теоретически можешь ты вдруг ни с того ни с сего в воздух подняться.

— Ну, это совсем не то.

— То. Вероятность примерно такая же... Кто эта девчонка, если не секрет?

Дюшка ждал этого вопроса и боялся его. И все-таки он застал его врасплох, кровь ударила в лицо, пришлось поспешно отвернуться. «Если не секрет?» Не назови — не знай что подумает. Левка не Минька, не отмахнешься. И Дюшка сказал в сторону, хотел как можно равнодушной, но не получилось — сорвался предательски голос:

— Римка... Братенева.

— А-а. — Голос у Левки не дрогнул. — Нет, Дюшка. Римка — женой Пушкина... Нет. Девчонка как девчонка.

Стало вдруг просто скучно. «Девчонка как девчонка» — обидел Римку. Лучше бы самого Дюшку. Мускулистые руки, загнутые ресницы, дымчатый пушок над верхней губой — красивый парень Левка Гайзер. Красивый и очень умный.

## 25

А между тем весна шла. Полностью распустились листья на деревьях. Кончились в школе занятия. Миньке в больнице разрешили подниматься с койки, выходить во двор.

Белые нарциссы давным-давно завяли и засохли.

Дюшка вырвал из сочинений Пушкина портрет Натальи Гончаровой, повесил над койкой. Скорей всего, Левка прав: Римка не жила сто лет назад, не умирала, и родилась, как все, и, наверное, как все, проживет всего одну жизнь. Как все, но какое это имеет значение?

Он по нескольку раз в день встречал Римку, и всегда у него обрывалось сердце... По нескольку раз каждый день.

.....

Случилось невероятное. А может, это и должно было случиться рано или поздно.

Дюшка первый раз в году выкупался. Река еще не прогрелась, и Дюшка в прилипшей к телу рубашке, с мокрой головой бежал с берега бодрой рысцой, старался согреться. И наткнулся на нее. Она стояла на тропе, ковыряла носком туфли землю. Нельзя же было проскочить мимо, словно не заметил, да и ноги вдруг перестали слушаться.

Дюшка остановился, она подняла голову, и глаза их встретились. У нее от ресниц падала прозрачная тень, и румянец на щеках какой-то глубинный, пушистый, и колечками волосы у нежных висков.

Она спросила:

— Вода очень холодная?

— Не очень.

— А почему ты дрожишь?

— Не от холода.

— Отчего?

Сам для себя неожиданно он сказал:

— Оттого, что тебя вижу близко.

Она несколько не удивилась, она только опустила ресницы, спрятала под ними глаза. Мягкие тени падали от ресниц, рдел румянец, тронутый незримым пушком, замерли приоткрытые губы. Она ждала, что скажет он дальше, готова слушать затаив дыхание.

И он говорил трудным, горловым, спотыкающимся голосом:

— Римка... я... я... никуда от тебя не могу спрятаться... Я... я... тебя... люблю, Римка.

Тенистые ресницы, застывшее лицо, она слушала, но не собиралась помогать барахтающемуся Дюшке. И Дюшка бросал ей горловые, измятые слова:

— Я знаю, что ты... Что Левка... Я это знаю, Рим-

ка... Левка хороший парень. Очень! Он лучше меня... знаю...

И по ее отстраненному, замороженному лицу прошла смутная волна.

— Если хочешь знать, я даже ряд, Римка... потому что не кто-нибудь, а Левка... Умней его — никого... Рад, что он...

Он вдруг почувствовал, что его несвязная речь походит на заевшую пластинку, и замолк, уставившись на Римкины ресницы.

А над их головами, над рекой, играющей вдребезги расколотым солнцем, плавала чайка, манерно — и так тебе и эдак! — выламывала крылья, одна в синем океане, капризная от обилия свободы.

Римка ковырнула носком туфли землю, выдохнула:

— Он меня — нет...

— Кто, Римка? Левка, Римка? Тебя, Римка? Нет?

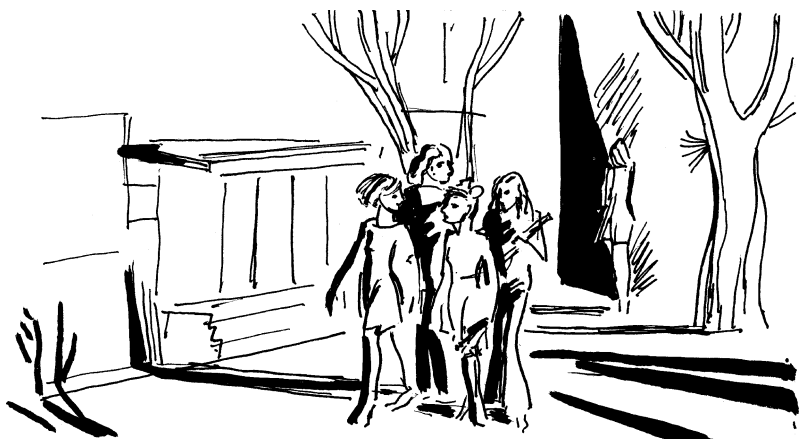
Чуть-чуть кивнула, чуть громче с тоской выдавила:

— Он только книжки свои любит.

Под опущенными ресницами родилась колючая искорка, поиграла робким лучиком и освободилась от плена — прозрачная капелька, нехотя ползущая по глубинному, опущенному румянцу.

Слеза не по нему. Слеза пролита по другому — счастливцу, не осознающему своего счастья. Хоть кричи! И он еще не успел сказать ей, что она похожа на красавицу Гончарову — «чистейшей прелести чистейший образец». И неизвестно, просто ли похожа, обычна ли? Не из глубины ли времен она? Не из тех ли, кому из века в век изумлялись поэты?

Над головой дыбились оглушающе синее небо. В синеве белым лепестком поигрывала свободная чайка. В стороне, судорожась в веселой лихорадке, до рези в глазах сверкала река. Лезла из-под земли умытая зелень. Прекрасный мир окружал Дюшку, прекрасный и коварный, любящий играть в перевертыши.



## НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

### 1

Как и положено, выпускной вечер открывали торжественными речами.

В спортзале, этажом ниже, слышно было — двигали столы, шли последние приготовления к банкету.

И бывшие десятиклассники выглядели сейчас уже не по-школьному: девчата в модных платьях, подчеркивающих зрелые рельефы, парни до неприличия отутюженные, в ослепительных сорочках, при галстуках, скованные своей внезапной взрослостью. Все они, похоже, стеснялись самих себя — именинники на своих именинах всегда гости больше других гостей.

Директор школы, Иван Игнатьевич, величественный мужчина с борцовскими плечами, произнес прочувствованную речь: «Перед вами тысячи дорог...» Дорог тысячи, и все открыты, но, должно быть, не для всех одинаково. Иван Игнатьевич привычно выстроил выпускников в очередь соответственно их прежним успехам в школе. Первой шла та, что ни с

кем не сравнима, та, что все десять лет оставляла других за своей спиной, — Юлечка Студёнцева. «Украсит любой институт страны...» Следом за ней была двинута тесная когорта «несомненно способных», каждый член ее поименован, каждому воздано по заслугам. Генка Голиков был назван среди них. Затем отмечены вниманием, но не превознесены «своеобразные натуры» — характеристика, сама по себе грешащая неопределенностью, — Игорь Проухов и другие. Кто именно «другие», директор не счел нужным углубляться. И уже последними — все прочие, безымянные, «которым школа желает всяческих успехов». И Натка Быстрова, и Вера Жерих, и Со-крат Онучин оказались в числе их.

Юлечке Студёнцевой, возглавлявшей очередь к заветным дорогам, надлежало выступить с ответной речью. Кто, как не она должна поблагодарить свою школу — за полученные знания (начиная с азбуки), за десятилетнюю опеку, за обретенную родственность, которую невольно унесет каждый.

И она вышла к столу президиума — невысокая, в белом платье с кисейными плечиками, с белыми бантами в косичках крендельками, девочка-подросток, никак не выпускница, на точеном личике привычное выражение суровой озабоченности, слишком суровой даже для взрослого. И взведенно-прямая, решительная, и в посадке головы сдержанная горделивость.

— Мне предложили выступить от лица всего класса, я хочу говорить от себя. Только от себя!

Это заявление, произнесенное с безапелляционностью никогда и ни в чем не ошибающейся первой ученицы, не вызвало возражений, никого не насторожило. Директор заулыбался, закивал и поерзал на стуле, удобнее устраиваясь. Что могла сказать, кроме благодарности, она, слышавшая в школе только хвалу, только восторженные междометия в свой адрес. Потому лица ее товарищей по классу выражали де-журное терпеливое внимание.

— Люблю ли я школу? — Голос звенящий, взволнованный. — Да, люблю! Очень!.. Как волчонок свою





нору... И вот нужно вылезать из своей норы. И оказывается — сразу тысячи дорог!.. Тысячи!..

И по актовому залу пробежал шорох.

— По какой мне идти? Давно задавала себе этот вопрос, но отмахивалась, пряталась от него. Теперь все — прятаться нельзя. Надо идти, а не могу, не знаю... Школа заставляла меня знать все, кроме одного — что мне нравится, что я люблю. Мне что-то нравилось, а что-то не нравилось. А раз не нравится, то и дается трудней, значит, этому ненавижающемуся и отдавай больше сил, иначе не получишь пятерку. Школа требовала пятерок, я слушалась и... и не смела сильно любить... Теперь вот оглянулась, и оказалось — ничего не люблю. Ничего, кроме мамы, папы и... школы. И тысячи дорог — и все одинаковы, все безразличны... Не думайте, что я счастливая. Мне страшно. Очень!

Юлечка постояла, глядя птичьими тревожными глазами в молчащий зал. Было слышно, как внизу передвигают столы для банкета.

— У меня все, — объявила она и мелкими, дергающимися шажочками двинулась к своему месту.

## 2

Года два назад был спущен запрет — в средних школах на выпускных вечерах нельзя выставлять на столы вино.

Этот запрет возмутил завуча школы Ольгу Олеговну: «Твердим: выпускной вечер — порог в зрелость, первые часы самостоятельности. И в то же время опекаем ребят, как маленьких. Наверняка они это воспримут как оскорбление, наверняка принесут с собой тайком или открыто вино, а в знак протеста, не исключено, кой-чего и покрепче».

Ольгу Олеговну в школе за глаза звали Вещим Олегом: «Вещий Олег сказал... Вещий Олег потребовал...» — всегда в мужском роде. И всегда директор Иван Игнатьевич уступал перед ее напористостью. Ольге Олеговне нынче удалось убедить членов родительского комитета — бутылки сухого вина и

сладкого кагора стояли на банкетных столах, вызывая огорченные вздохи директора, предчувствовавшего неприятные разговоры в гороно.

Но букетов с цветами все-таки стояло больше, чем бутылок: прощальный вечер должен быть красив и благопристойен, вселять веселье, однако в границах дозволенного.

Словно и не было странного выступления Юлечки Студёнцевой. Произносились тосты за школу, за здоровье учителей, звон стаканов, смех, перекатные разговоры, счастливые, раскрасневшиеся лица — празднично. Не первый выпускной вечер в школе, и этот начинался как всегда.

И только, словно сквознячок в теплой комнате, среди разгоревшегося веселья — охлаждающая настороженность. Директор Иван Игнатьевич несколько рассеян, Ольга Олеговна замкнуто-молчалива, а остальные учителя бросают на них пытливые взгляды. И Юлечка Студёнцева сидела за столом потупившись, связано. К ней время от времени подбегал кто-нибудь из ребят, чокался, перекидывался парой слов — выражал свою солидарность — и убегал.

Как всегда, чинное застолье быстро сломалось. Бывшие десятиклассники, кто оставив свой стул, кто вместе со стулом, передвигались к учителям.

Самая большая, самая шумная и тесная компания образовалась вокруг Нины Семеновны, учительницы начальной школы, которая десять лет назад встретила всех этих ребят на пороге школы, рассадила по партам, заставила раскрыть буквари.

Нина Семеновна крутилась среди своих бывших учеников и только сдавленно выкрикивала:

— Наточка! Вера! Да Господи!

И платочком осторожно утирала слезы под крашеными ресницами.

— Господи! Какие вы у меня большие!

Натка Быстрова была на полголовы выше Нины Семеновны, да и Вера Жерих тоже, похоже, перегнала ростом.

— Вы для нас самая, самая старая учительница, Нина Семеновна!

«Старой учительнице» едва за тридцать, белолица, белокура, подобранно-стройна. Тот первый, десятилетней давности, урок нынешних выпускников был и ее самым первым самостоятельным уроком.

— Такие большие у меня ученицы! Я действительно старая...

Нина Семеновна утирала платочком слезы, а девочки лезли обниматься и тоже плакали — от радости.

— Нина Семеновна, давайте выпьем на братершафт! Чтоб на «ты», — предложила Натка Быстрова.

И они рука за руку выпили, обнялись, расцеловались.

— Нина, ты... ты славная! Очень! Мы все время тебя помнили!

— Наточка, а какая ты стала — глаз не отвести. Была, право, гадким утеночком, разве можно догадаться, что вырастешь такой красавицей... А Юлечка... Где Юлечка? Почему ее нет?

— Юлька! Эй! Сюда!

— Да, да, Юлечка... Ты не знаешь, как часто я о тебе думала. Ты самая удивительная ученица, какие у меня были...

Возле долговязого физика Павла Павловича Решникова и математика Иннокентия Сергеевича, с лицом, стянутым на одну сторону страшным шрамом, собрались серьезные ребята. Целоваться, обниматься, восторженно изливать чувства они считают ниже своего достоинства. Разговор здесь сдержанный, без сантиментов.

— В физике произошли подряд две революции — теория относительности и квантовая механика. Третья наверняка будет не скоро. Есть ли смысл теперь отдавать свою жизнь физике, Павел Павлович?

— Ошибаешься, дружок: революция продолжается. Да! Сегодня она лишь перекинулась на другой континент — астрономию. Астрофизики что ни год делают сногшибательные открытия. Завтра физика вспыхнет в другом месте, скажем в кристаллографии...

Генка Голиков, парадно-нарядный, перекинув ногу за ногу, с важной степенностью рассуждает — преисполнен уважения к самому себе и к своим собеседникам.

Возле директора Ивана Игнатьевича и завуча Ольги Олеговны толкучка. Там разоряется Вася Гребенников, низкорослый паренек, картинно наряженный в черный костюм, галстук с разводами, лакированные туфли. Он, как всегда, переполнен принципами — лучший активист в классе, ратоборец за дисциплину и порядок. И сейчас Вася Гребенников защищает честь школы, поставленную под сомнение Юлечкой Студёнцевой:

— Наша альма-матер! Даже она, Юлька, как бы ни заносилась, а не выкинет... Нет! Не выкинет из памяти школу!

Против негодующего Васи — ухмыляющийся Игорь Проухов. Этот даже одет небрежно — рубашка не первой свежести и мятые брюки, щеки и подбородок в темной юношеской заросли, не тронутой бритвой.

— Перед своим высоким начальством я скажу...

— Бывшим начальством, — с осторожной улыбкой поправляет его Ольга Олеговна.

— Да, бывшим начальством, но по-прежнему уважаемым... Трепетно уважаемым! Я скажу: Юлька права, как никогда! Мы хотели наслаждаться синим небом, а нас заставляли глядеть на черную доску. Мы задумывались над смыслом жизни, а нас неволили — думай над равнобедренными треугольниками. Нам нравилось слушать Владимира Высоцкого, а нас заставляли заучивать ветхозаветное: «Мой дядя самых честных правил...» Нас превозносили за послушание и наказывали за непокорность. Тебе, друг Вася, это нравилось, а мне нет! Я из тех, кто ненавидит ошейник с веревочкой...

Игорь Проухов в докладе директора отнесен был в самобытные натуры, он лучший в школе художник и признанный философ. Он упивается своей обличительной речью. Ни Ольга Олеговна, ни директор Иван Игнатьевич не возражают ему — снисходительно улыбаются. И переглядываются.

Своего собеседника нашел даже самый молодой из учителей, преподаватель географии Евгений Викторович — над безмятежно-чистым лбом несолидный коровий залез, убийственно для авторитета розовощек. Перед ним Сократ Онучин:

— Мы теперь имеем равные гражданские права, а потому разрешите стрельнуть у вас сигарету.

— Я не курю, Онучин.

— Напрасно. Зачем отказывать себе в мелких житейских наслаждениях. Я лично курю с пятого класса. Нелегально, разумеется, — до сегодняшнего дня.

И только преподавательница литературы Зоя Владимировна сидела одиноко за столом. Она была старейшая учительница в школе, никто из педагогов не проработал больше — сорок лет с гаком! Она встала перед партами еще тогда, когда школы делились на полные и неполные, когда двойки назывались неудами, а плакаты призывали граждан молодой Советской страны ликвидировать кулачество как класс. С тех лет и через всю жизнь она пронесла жесткую требовательность к порядку и привычку наряжаться в темный костюм полумужского покроя. Сейчас справа и слева от нее стояли пустые стулья, никто не подходил к ней. Прямая спина, вытянутая тощая старушечья шея, седые до тусклого алюминиевого отлива волосы и блекло-желтое, напоминающее увядший цветок луговой купальницы лицо.

Заиграла радиола, и все зашевелились, тесные кучки распались, казалось, в зале сразу стало вдвое больше народу.

.....

Вино выпито, бутерброды съедены, танцы начали повторяться. Вася Гребенников показал свои фокусы с часами, которые прятал под опрокинутую тарелку и вежливо доставал из кармана директора. Вася делал эти фокусы с торжественной физиономией, но все давно их знали — ни одно выступление самодеятельности не проходило без пропавших у всех на глазах часов.

Дошло дело до фокусов — значит, от школьного вечера ждать больше нечего. Ребята и девчата сбивались по углам, шушукались голова к голове.

Игорь Проухов отыскал Сократа Онучина:

— Старик, не пора ли нам вырваться на свежий воздух, обрести полную свободу?

— Мы мыслим в одном плане, братер. Генка идет?

— И Генка, и Натка, и Вера Жерих... Где твои гусли, бард?

— Гусли здесь, а ты приготовил «пушечное ядро»?

— Предлагаю захватить Юльку. Как-никак она сегодня встряхнула основы.

— У меня лично возражений нет, братер.

Учителя один за другим потянулись к выходу.

### 3

Большинство учителей разошлись по домам, задержались только шесть человек.

Учительская щедро залита электрическим светом. За распахнутыми окнами по-летнему запоздало незрела ночь. Вливались городские запахи остывающего асфальта, бензинового перегара, тополиной свежести, едва уловимый, жалкий, стертый след минувшей весны.

Снизу все еще доносились звуки танцев.

Ольга Олеговна имела в учительской свое насиженное место — маленький столик в дальнем углу. Между собой учителя называли это место прокурорским. Во время педсоветов отсюда часто произносились обвинения, а порой и решительные приговоры.

Физик Решников с Иннокентием Сергеевичем пристроились у открытого окна и сразу же закурили. Нина Семеновна опустилась на стул у самой двери. Она здесь гостя — в другом конце школы есть другая учительская, поменьше, поскромней, для учителей начальных классов, там свой завуч, свои порядки, только директор один, все тот же Иван Игнатьевич. Сам Иван Игнатьевич не сел, а с насупленно-распаренным лицом, покачивая пухлыми борцовскими плечами, стал ходить по учительской, задевая за стулья. Он явно старался показать, что говорить не о чем, что какие бы то ни было прения неуместны — время позднее, вечер окончен. Зоя Владимировна





уселась за длинный, через всю учительскую стол — натянута-прямая, со вскинутой седой головой... снова обособленная. У нее, похоже, врожденный талант — оставаться среди людей одинокой.

С минуту Ольга Олеговна оглядывала всех. Ей давно за сорок, легкая полнота не придает внушительности, наоборот, вызывает впечатление мягкости, податливости — домашняя женщина, любящая уют, — и лицо под неукротимо вьющимися волосами тоже кажется обманчиво-мягким, чуть ли не бесхарактерным. Энергия таилась лишь в больших, темных, неувядающе красивых глазах. Да еще голос ее, грудной, сильный, заставлял сразу настораживаться.

— Ну так что скажете о выступлении Студёнцевой? — спросила Ольга Олеговна.

Директор остановился посреди учительской и произнес, должно быть, заранее заготовленную фразу:

— А собственно, что случилось? На девочку нашла минута растерянности, вполне, кстати, оправданная, и она высказала это в несколько повышенном тоне.

— За наши труды нас очередной раз умыли, — сухо вставила Зоя Владимировна.

Ольга Олеговна задержалась на увядшем лице Зои Владимировны долгим взглядом. Они не любили друг друга и скрывали это даже от самих себя. И сейчас Ольга Олеговна, пропустив замечание Зои Владимировны, спросила почти с кротостью:

— Значит, вы думаете, что ничего особенного не произошло?

— Если считать, что черная неблагодарность — ничего особого, — съязвила Зоя Владимировна и с досадой хлопнула сухонькой невесомой ладошкой по столу. — И самое обидное — одернуть, наказать мы уже не можем. Теперь эта Студёнцева вне нашей досягаемости!

От этих слов вспыхнула Нина Семеновна, густо, до слез в глазах:

— Одернуть? Наказать?! Не понимаю! Я... Я не встречала таких детей... Таких чутких и отзывчи-

вых, какой была Юлечка Студёнцева. Через нее... Да, главным образом через нее я, молодая, глупая, неумелая, поверила в себя: могу учить, могу добиваться успехов!

— А мне кажется, произошло нечто особенное, — чуть возвысила голос Ольга Олеговна.

Директор Иван Игнатьевич пожал плечами.

— Юлия Студёнцева — наша гордость, человек, в котором воплотились все наши замыслы. Наш многолетний труд говорит против нас! Разве это не повод для тревоги?

Громоздящиеся над темными глазами волосы, бледное лицо — Ольга Олеговна из своего угла требовательно разглядывала разбросанных по светлой учительской учителей.

#### 4

Припасена большая круглая бутылка «гамзы» в пластиковой плетенке — «пушечное ядро». Сократ Онучин прихватил свою гитару. Трое парней и три девушки из десятого «А» решили провести ночь под открытым небом.

Самым видным в этой группе был Генка Голиков. Генка — городская знаменитость, открытое лицо, светлоглаз, светловолос, рост сто девяносто, плечист, мускулист. В городской секции самбо он бросал через голову взрослых парней из комбината — бог мальчишек, гроза шпанистой ребятни из пригородного поселка Индии.

Это экзотическое название произошло от весьма обыденных слов — «индивидуальное строительство», сокращенно «индстрой». Когда-то, еще при закладке комбината, из-за острой нехватки жилья было принято решение — поощрять частную застройку. Выделили место — в стороне от города, за безымянным оврагом. И пошли там лепиться дома — то тят-ляп, на скорую руку, сколоченные из горбыля, крытые толем, то хозяйски добротные, под железом, с застекленными террасками, со службами. Давно вырос город, немало жителей Индии переселилось в

пятиэтажные, с газом, с канализацией здания, но Индия не пустела и не собиралась вымирать. В ней появлялись новые жители. Индия — пристанище перекасти-поля. В Индии свои порядки и свои законы, приводящие порой в отчаяние милицию.

Недавно там объявился некий Яшка Топор. Ходил слух — он отсидел срок «за мокрое». Яшке подчинялась вся Индия, Яшку боялся город. Генка Голиков недавно схлестнулся с ним. Яшка был красиво брошен на асфальт на глазах его оробевших «шестерят», однако поднялся и сказал: «Ну, красавчик, живи да помни — Топор по мелочи не рубит!» Пусть помнит сам Яшка, обходит стороной. Генка — слава города, защитник слабых и обиженных.

Игорь Проухов — лучший друг Генки. И наверное, достойный друг, так как сам по-своему знаменит. Жители города больше знают не его самого, а рабочие штаны, в которых Игорь ходит писать этюды. Штаны из простой парусины, но Игорь уже не один год вытирает о них свои кисти и мастихин, а потому штаны цветут немислимыми цветами. Игорь гордится ими, называет: «Мой поп-арт!»

Картины Игоря пока нигде не выставлялись, кроме школы, зато в школе они вызывали кипучие скандалы, порой даже драки. Для одних ребят Игорь гений, для других ничтожество. Впрочем, подавляющее большинство не сомневалось — гений! На картинах Игоря деревья сладко-розовые, а закаты ядовито-зеленые, лица людей безглазые, а цветы реснично-глазастые.

И еще славен Игорь Проухов в школе тем, что может легко доказать: счастье — это наказание, а горе — благо, ложь правдива, а черное — это белое. Никогда не угадаешь, что загнет в следующую минуту. Потрясающе!

Натка Быстрова... Уже на улицах встречные мужчины оглядываются ей вслед с ошалевшими лицами: «Ну и ну!» Лицо с чеканными бровями, текучая шея, покатые плечи, походка с напором, грудью вперед — посторонись!

Еще недавно Натка была обычной долговязой, угловатой, веселой, беспечно пренебрегающей науками девчонкой. Всем известно, что Генка Голиков вздыхает по ней. А вздыхает ли по Генке Натка — этого никто не разберет. Сам Генка тоже.

Вера Жерих, Наткина подруга, рыхловато-широкая, вальяжная, лицо крупное, мягкое, румяное. Она не умеет ни петь, ни плясать, ни горячо спорить на высокие темы, но всегда готова всплакнуть над чужой бедой, помирить поссорившихся, похлопотать за провинившегося. И ни одна вечеринка не обходится без нее. «Компанейская девка» — в устах Сократа Онучина это высшая похвала.

О себе же Сократ говорил: «Мама сделала меня смешным по обличью и по вывеске — папину фамилию окрутила с древнегреческим женихом. Уникальный гибрид — антик с алкашом. Чтоб, глядя на меня, люди не лопались от смеха, я обязан быть стильным». А потому Сократ, несмотря на школьные запреты, умудрился отрастить до плеч волосы, принципиально их не расчесывал, носил на невытой шее девичью цветную косынку, на груди — амулет, камень с дыркой на цепочке, куриный бог. И никогда не стиранные, донельзя узкие, с рваной бахромой внизу джинсы. И гитара через плечо. И суетливо вертляв — лицо из острых углов, серое, гримасничающее, с веселыми, без ресниц глазками. Непревзойденный исполнитель песен Высоцкого.

Генка считается врагом Индии, Сократа принимают там как друга — всем одинаково поет его гитара. Всем, кто хочет слушать. Даже Яшке Топору...

Шестой была Юлечка Студёнцева.

Сократ кривлялся, выдавал под гитару о Жирафе в «желтой жаркой Африке», влюбившемся в Антилопу:

Поднялся галдеж и лай,  
И только старый Попугай  
Громко кр-р-рык-нул из ветвей:  
«Жыр-раф-ф бал-шой —  
Яму вид-ней!»

Юлечка, держась за руки с Наткой и Верой, несласуровое каменное личико.

Город внезапно заканчивался обрывом, падающим к реке. Здесь самое высокое место. Здесь, над обрывом, разбит скверик. В центре его вздымался вровень с молодыми липками обелиск с мраморной доской, повернутой к городу. Доска была густо покрыта фамилиями погибших воинов:

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ — рядовой

БАЗАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ — рядовой

БУТЫРИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ — старший сержант...

И так далее, тесно друг к другу, двумя столбцами.

Нет, воины пали не здесь и не лежали под памятником посреди сквера. Война и близко не подходила к этому городу. Те, чьи имена выбиты на мраморной доске, закопаны безвестно в приволжских степях, на полях Украины, среди болот Белоруссии, в землях Венгрии, Польши, Пруссии, бог знает где. Эти люди здесь когда-то жили, отсюда они ушли на войну, обратно не вернулись. Обелиск на высоком берегу — могила без покойников, каких много по нашей стране.

Мир за гребнем берега утопал в первобытной непотребленной тьме. Там, за рекой, — болота, перелески, нежилые места, нет даже деревень. Плотная влажная стена ночи не пробивается ни одним огоньком, а напротив нее убегают вдаль сияющие этажи, ровные строчки уличных фонарей, блуждающие красные светляки снующих машин, холодное неоновое полыхание над крышей далекого вокзального здания — огни, огни, целая звездная галактика. Обелиск с именами погибших в дальних краях, схороненных в неведомых могилах, стоит на границе двух миров — обжитого и необжитого, щедрого света и непокоренной тьмы.

Он поставлен давно, этот обелиск, до появления на свет всей честной компании, которая явилась сюда с гитарой и бутылкой «гамзы». Эти парни и девушки видели его еще во младенчестве, они много лет

тому назад, едва осилив печатную грамоту, прочитали по складам первые фамилии: «Артюхов Павел Дмитриевич — рядовой, Базаев...» И наверняка тогда им не хватило терпения дочитать длинный список до конца, а потом он примелькался, перестал привлекать внимание, как и сам обелиск. До него ли, когда окружающий мир заполнен куда более интересными вещами: будка «Мороженое», река, где всегда клюют пескари и работает лодочная станция, в конце сквера кинотеатр «Чайка», там за тридцать копеек, пожалуйста, тебе покажут и войну, и выслеживание шпиона, и «Ну, погоди!» с удачливым Зайцем — обхохочешься. Мир с мороженым, пескрями, лодками, фильмами изменчив, не изменчив в нем лишь обелиск. Быть может, каждый из этих мальчишек и девчонок, чуть повзрослев, случайно натыкаясь взглядом на мраморную доску, задумывался на минуту, что вот какой-то Артюхов, Базаев и остальные с ними погибли на войне... Война — далекое-далекое время, когда их не было на свете. А еще раньше была другая война, Гражданская. И революция. А раньше революции правили цари, среди них самым знаменитым был Петр Первый, он тоже вел войны... Последняя война для ребят едва ли не так же старинна, как и все остальные. Если б обелиск вдруг исчез, они сразу бы заметили это, но, когда он незыблемо стоит на своем месте, нет повода его замечать.

Сейчас они пришли к обелиску потому, что здесь, возле него, красиво даже ночью — лежит рассыпанный огнями город внизу, шелестят пронизанные светом липки, и ночь бодряще пахнет рекой. И пусто в этот поздний час, никто не мешает. И есть скамейка, есть тяжелая, круглая, как ядро старинной пушки, бутылка «гамзы». Красное вино в ней при застойно-равнодушном, бесцветном свете ртутных фонарей выглядит черным, как сама ночь, напирющая на обрывистый берег.

Бутылка «гамзы» и один на всех стакан.

Сократ передал гитару Вере Жерих, со знанием дела стал откупоривать «пушечное ядро».

— Фратеры! Пьем по очереди кубок мира!

Игорь скромно попросил:

— Если нет возражений, то я...

Возражений быть не могло, обязанность Игоря Проухова, общепризнанного мастера высокого стиля, — провозглашать первый тост.

Сократ, нежно обнимая бутылку, нацедил ночной влагой полный стакан.

— Давай, Цицерон! — подбодрил Генка.

Игорь крепко сбит, кудлат, между разведенными скулами — рубленый нос, крутые салазки в темной дымке — зарождающаяся художническая борода, отрастить которую Игорь поклялся еще перед экзаменами. Он поднял стакан, мечтательно нацелился на него носом, минуту-другую выдерживал молчание, чтоб все прониклись моментом, чтоб в ожидании откровения испытали в душе некую священную зябкость.

— Друзья-путники! — с пафосом провозгласил он. — Через что мы сегодня перешагнули? Чего мы добились?..

Сократ Онучин во время паузы успел произвести нехитрый обмен — бутылку Вере, себе гитару. И он в ответ ударил по струнам и заблеял:

— Сво-бода раз! Сво-бо-да два! Сво-о-обо-о-да!

Это Игорю и было надо — точку опоры.

— Этот гейдельбергский человек хочет свободы! — возвестил он. — А может, вы все того же хотите?

— А почему бы и нет, — осторожно улыбаясь, подкинул Генка.

— Для всех свободы или только для себя?

— Не считай нас узурпаторами, мальчик с бородкой.

— Для всех! Сво-боды?! Очнись, толпа! Подлецу свобода — подличай! Убийце свобода — убивай! Для всех!.. Или вы, свободомыслящие олухи, считаете, что человечество сплошь состоит из безобидных овец?

В пренебрежении к слушателям и состояла обычно ораторская сила Игоря Проухова. Расправив плечи, с темным подбородком и светлым челом, он принялся сокрушать:

— Знаете ли вы, невежды, что даже мыши, убогие создания, собираясь в кучу, устанавливают порядок: одни подчиняют, другие подчиняются? И мыши, и обезьяны-братья, и мы, человеки! Се ля ви! В жизни ты должен или подчинять, или подчиняться! Или — или! Середины нет и быть не может!

— Ты, конечно, хочешь подчинять? — спросил Генка.

Повторялось то, что тысячу раз происходило в стенах школы, — Игорь Проухов вещал, Генка Голиков выступал против. У философа из десятого «А» был только один постоянный оппонент.

— Кон-нечно, — с величавой снисходительностью согласился Игорь. — Подчи-нять.

— Тогда что ж ты возишься с кисточками, Гай Юлий Цезарь? Брось их, вооружись чем потяжелее. Чтоб видели и боялись — можешь проломить голову.

— Ха! Слышишь, народ? — Нос Игоря порозовел от удовольствия. — Все ли здесь такие простаки, что считают — кисть художника легка, кистень тяжелее, а еще тяжелее пушка, танк, эскадрилья бомбардировщиков, начиненных водородными бомбами? Заблуждение обывателя!

— Виват Цезарю с палитрой вместо щита!

— Да, да, дорогие обыватели, вам угрожает Цезарь с палитрой. Он завоюет вас... Нет, не пугайтесь, он, этот Цезарь, не станет пробивать ваши качественные черепа и в клочья вас рвать атомными бомбами тоже не станет. Забытый вами, презираемый вами до поры до времени, он где-нибудь на мансарде будет мазать кисточкой по холсту. И сквозь ваши монолитные черепа проникнет созданная им многокрасочная отравка: вы станете радоваться тому, что радует нового Цезаря, ненавидеть то, что он ненавидит, послушно любить, послушно негодовать, окажетесь в полной его власти...

— А ежели этого не случится? Ежели черепа обывателей окажутся непроницаемыми? Или такого быть не может?

— Может, — согласился Игорь спокойно и важно.

— И что тогда?



— Тогда произойдет в мире маленькое событие, совсем пустячное, — сдохнет под забором некий Игорь Проухов, не сумевший стать великим Цезарем.

— Вот это я как-то себе отчетливой представляю. Игорь вознес над головой стакан.

— Я, бывший раб школы номер три, пью сейчас за власть над другими! Желаю вам всем властвовать кто как сможет!

Священнодейственно навесив над стаканом нос, Игорь сделал опустошающий глоток, царственным жестом не глядя отвел стакан к Сократу, уже держащему наготове бутылку, дождался, пока тот дольет, протянул Генке:

— Старик, ты оттолкнешь протянутую руку?

Генка принял стакан и задумался. Невнятная улыбка блуждала у него на лице. Наконец он потрянул волосами:

— За власть?.. Пусть так! Но извини, Цезарь, я выпью не с тобой.

И он шагнул к Натке.

— Пью за власть! Да! За власть над собой!.. — Генка выпил до дна, с минуту глядел повлажневшими глазами на невозмутимую Натку. — Сократ! Наполни!

Но Сократ скупенько плеснул до половины — девчонке хватит, бутылка-то не бездонная.

— Ну, Натка... — попросил Генка. — Ну!

Натка поднялась, распрямилась, переняла стакан — в движениях картинная лень. Лицо ее было в тени, освещены только лоб да яркие брови. И рука — оголенная до плеча, бескостно-белая, струящаяся, лишь бледные пальцы, обнимающие черный сгусток вина в стакане, в беспокойном изломе.

— Натка, ну!

Игорь Проухов наблюдал со стороны с едва сочащейся снисходительно-мудрой улыбкой.

Натка пошевелилась, со строгой пеленой в потемневших глазах, подняла стакан:

— Когда-нибудь, Гена, за власть... Не за свою. За чью-то... над собой... Сейчас рано. Сейчас... — Вскинутый стакан в белой струящейся руке. — За свободу!



И запрокинула голову, показав на мгновение ослепительно колыхнувшееся горло.

Генка сразу поскучнел, а в мудрой улыбке Игоря появился новый оттенок — столь же снисходительное сочувствие.

А Сократ уже хлопотал возле Веры.

— Мне — за власть? — У Веры блаженно раздвинуты румяные щеки.

— Не стесняйся, мать, не стесняйся.

— Надо мной всегда кто-нибудь будет властвовать.

— За них, мать, за них хлебай. Приходится.

— За них! Пусть их власть не будет уж очень тяжелой.

— Виват, мать, виват! Честный загибон... Юлька, твоя теперь очередь... Эй, Цезарь с палитрой, слушай, как тебе Юлька перо вставит!

Юлечка приняла стакан, долго разглядывала черное вино.

— Власть... — произнесла она. — Игорь, ты сказал, даже мыши подчиняют друг друга. И ты собираешься перенять — живи по-мышинному, сильный давит слабого?.. Не хочу!

Юлечка оторвала взгляд от стакана, уставилась на Генку — беспокойно-тревожные глаза пойманной птицы, сжатые губы. Генка невольно поежился, а Юлечка двинулась к нему. Ей пришлось обогнуть Натку, неподвижно-величественную, как богиня в музее.

— Гена... — подойдя вплотную, запрокинув лицо, дрогнувшим голосом. — Вот я сегодня перед всеми... призналась: не знаю, куда идти. Но ведь и ты еще не знаешь. Давай выберем одну дорогу. А? Я буду хорошим попутчиком, Гена, верным...

Генка растерянно молчал.

— Пойдем вместе, возьмем Москву, любой институт. А?..

Генка стоял, пряча глаза, с порозовевшими скулами. Даже Игорь озадаченно замер. Сократ с бутылкой сучил ногами. Для всех откровение Юлечки — неожиданность.

А с бледного лица — тревожно блестящие, требовательно ждущие глаза.

Генка смотрел под ноги, молчал. И Натка возвышалась в стороне изваянием.

— Ладно, Гена... — Замороженный голос. — Я знала — ты не ответишь. Сказала это, чтоб себя проверить: могу при всех, не сробею, не дрогну...

И вызывающе решительное личико Юлечки сморщилось, она отвернулась. В неловкой судороге тонкая рука, обхватившая стакан.

— Почему?! — сдавленный выкрик в сторону. — Почему я все эти годы — одна, одна, одна?! Почему вы меня сторонились? Боялись, что плохое сделаю? Не нравилась? Или просто не нужна?... Но почему?!

Вера Жерих надвинулась на Юлечку всем своим просторным, мягким телом, обняла:

— Юлеч-ка!.. Тебя кто-то за ручку... Да зачем? Ты сама других поведешь.

Игорь со стороны обронил:

— А ты, оказывается, отчаянная, Юлька. Вот не знали.

Сократ засуетился:

— Слезы, фратеры! Сегодня! Я вам спою веселое!

— Не надо. Уже все...

Юлечка отстранила Веру и улыбнулась, и эта улыбка, жалкая, дрожащая, осветила ее серьезное лицо.

— Можно, я выпью за тебя, Натка? За твое счастье, которого у меня нет. К тебе тянутся все и всегда будут тянуться... Завидую. Не скрываю. Потому и пью...

Натка не пошевелилась. Натка не возразила. Сократ ударил по струнам.

## 5

Зоя Владимировна устала считать, сколько раз в своей жизни она провожала выпускников из школы, и почти всегда эти праздничные выпускные вечера оставляли в ней столь тягостный осадок, что казалось — все кончено, дальше нет смысла жить.

Почтительно удивлялись: она учит уже сорок лет! На самом деле еще больше, почти полвека, хотя ей

самой было не столь уж и много от роду — шестьдесят пять.

Ее родная деревня, холщовая и лапотная, имела до революции только двух грамотеев — бывшего волостного писаря, который требовал от мужиков, чтоб его называли баринком, и спившегося дьячка-расстригу. Даже местный богатей Панкрат Кузовлев, крупно торговавший льном и кожами, не умел расписываться в казенных бумагах.

В начале двадцатых годов в деревню прислали учителя, бойкого парнишку с покалеченной на польском фронте рукой. Он принял не только за детишек, но и за взрослых, вошло в уличный быт новое слово «ликбез».

Детишки быстрее баб и мужиков осваивали букварь, сами становились учителями. Зойка, шестнадцатилетняя дочь Володьки Ржавого, деревенского коновала и лихого балалаечника, натаскивала потеющих от натуги бородачей читать по слогам: «Мы не рабы. Рабы не мы».

Через два года сельсовет направил ее в учительское училище, после него она попала в лесной починок, еще более глухой, чем родная деревня. Там ее ждал пустой, оставшийся после сосланного кулака пятистенки — его надлежало сделать школой.

Сначала эта школа состояла из одной первой группы, в ней рядом с малышами сидели починковские парни и девки, пытавшиеся женихаться на уроках. Потом стало четыре группы: все в одной комнате, перед одной доской, и учительница на всех одна — Зоя Владимировна.

После годичных курсов усовершенствования ее перебросили в рабочий поселок. Он на ее глазах стал городом. Сносились старые дома и старые школы, строились новые, светлые и просторные, понаехали педагоги с институтским образованием. А Зоя Владимировна, как прежде, билась с учениками, больше всего сил отдавала самым ленивым, самым неподатливым, не любящим ни школу, ни учителей-мучителей.

Педагоги с институтским образованием поглядывали на нее свысока, но она забивала их своей доб-

росовестностью — до самоотречения. Она не вышла замуж, не обзавелась семьей: до того ли, когда все время, все силы — ученикам, только им! Неподатливым — в первую очередь.

И каждый раз, когда эти ученики оканчивали школу, приходили на прощальный вечер, нарядные, казалось, выросшие со времени последнего экзамена, Зоя Владимировна оставалась в одиночестве. Ученики толпились вокруг других учителей, с другими обнимались, целовались, пили, спорили, и никому в голову не приходило подойти к ней, обняться, поговорить по душам, кинуть хотя бы торопливое: «Прощайте!»

Все силы, все время, из года в год, из десятилетия в десятилетие, забывая о себе, — только для учеников! А ученики забывают о ней, не успев переступить порог школы. Так ради чего она бьется как рыба об лед? Ради чего она жертвовала своим?.. Не хочется жить.

Но она жила, не уходила на пенсию, потому что без школы не могла. Без школы совсем пусто.

Неуважение учеников к себе она еще как-то переносила — попривыкла за много лет. Но вот неуважение к школе... Выступление Юлии Студёнцевой казалось Зое Владимировне чудовищным. Если б такое отмолил кто-то другой, можно бы не огорчаться, но Студёнцева! На руках носили, славили хором и поодиночке, умилялись! Предательство, иначе и не назовешь. А Ольга Олеговна выгораживает, видит какие-то особые причины: «Повод для тревоги...»

Зоя Владимировна оборвала молчание.

— Уж не считаете ли вы, Ольга Олеговна, — с нажимом, с приглушенным недоброжелательством, — что тут виноваты мы, а не сама Студёнцева?

И Ольга Олеговна искренне удивилась:

— Да она-то в чем виновата? Только в том, что сказала что думает?

— Я вижу тут только одно — плевков в сторону школы.

— А я — страх и смятение: ничем не увлечена, не знает, куда податься, что выбрать в жизни, к чему приспособить себя.

— Вольно же ей.

— Ей?.. Только одна Студёнцева такая? Другие все целенаправленные натуры? Знает, по какой дороге устремиться, Вера Жерих, знает Быстрова?.. Да мы можем назвать из всего выпуска, пожалуй, только одного увлеченного человека — Игоря Проухова. Но его увлечение возникло помимо наших усилий, даже вопреки им.

— Лично я никакой своей вины тут не вижу! — отчеканила Зоя Владимировна.

— Вы никогда не требовали от учеников — заучивай то-то и то-то, не считаясь с тем, нравится или не нравится? Вы не заставляли — уделяй ненаврядящемуся предмету больше сил и времени?

— Да ребятам нравится собак гонять на улице, в подворотнях торчать, в лучшем случае читать братьев Стругацких, а не Толстого и Белинского. Вы хотели, чтоб я потакала невежеству, дорогая Ольга Олеговна?

Ольга Олеговна разглядывала темными загадочными глазами лицо Зои Владимировны, неизменно сохранявшее покойный цвет увядшей купальницы.

— Что же... — проговорила Ольга Олеговна. — Придется объясниться начистоту.

— А вы, значит, что-то скрывали от меня? Вот как!

— Да, скрывала. Я давно наблюдаю за вами и пришла к выводу — своим преподаванием вы, Зоя Владимировна, в конечном счете плодите невежд.

— К-как?!

— Очень извиняюсь, но это так.

— Думайте, что говорите, Ольга Олеговна!

— Попробую сейчас доказать. — Ольга Олеговна повернулась к директору: — Иван Игнатьевич, вы не против, если я ради эксперимента устрою вам коротенький экзамен?

Директор устало опустил на стул: он понял, что короткого разговора уже не получится — придется терпеть долгий спор, один из тех, которые вызывают взаимное раздражение, ломают устоявшиеся

отношения и почти никогда не дают ощутимых результатов.

— Не припомните ли вы, Иван Игнатьевич, в каком году родился Николай Васильевич Гоголь?

— М-м... Умер в пятьдесят втором, а родился, представьте, не помню.

— А в каком году Лев Толстой закончил свой капитальный роман «Война и мир»?

— Право, не скажу точно. Если прикинуть приблизительно...

— Нет, мне сейчас нужны точные ответы. А может, вы процитируете наизусть знаменитое место из статьи Добролюбова, где говорится, что Катерина — «луч света в темном царстве»?

— Да боже упаси, — вяло отмахнулся директор.

И Ольга Олеговна с прежней решительностью снова обратилась к Зое Владимировне:

— Мы с Иваном Игнатьевичем забыли дату рождения Гоголя, почему она должна остаться в памяти наших учеников? А ведь из таких сведений на восемьдесят, если не на все девяносто девять, процентов состоят те знания, которые вы, Зоя Владимировна, усиленно вбиваете. Вы и многие из нас... Эти сведения не каждый день нужны в жизни, а порой и совсем не нужны, потому и забываются. Девяносто девять процентов из того, что вы преподаете! Не кажется ли вам, что это гарантия будущего невежества?

У Зои Владимировны на увядшем лице проступили мученические морщинки.

— Я напрасно преподаю... — выдавила она с горловой спазмой.

— До недавнего времени и я так думала, — не спуская недобро тлеющих глаз, ответила Ольга Олеговна.

— Странно... Теперь не думаете?

— Теперь пришла к убеждению, что такое преподавание не проходит безнаказанно. И не только невежество его последствия.

Зоя Владимировна, напряженно вытянувшись, встречала прямой взгляд Ольги Олеговны — ждала.



— Преподносим неустойчивое, испаряющееся, причем в самой категорической, почти насильственной форме — знай во что бы то ни стало, отдай все время, все силы, забудь о своих интересах. Забуди то, на что ты больше всего способен. Получается — мы плодим невнимательных к себе людей. Ну а если человек невнимателен к себе, то вряд ли он будет внимателен к другим. Сведения, которыми мы пичкаем школьника, улетучиваются, а тупая невнимательность остается. Вас это не страшит, Зоя Владимировна? Мне, признаться, не по себе.

У Зои Владимировны побелели тонкие губы.

— И на меня... — тихо, с внутренней дрожью. — Почему-то на одну меня — обличающим перстом, я больше всех виновата! А может, вы... вы все-таки виновнее? Вы же завуч, и много лет. Кому, как не вам, и карты в руки?

— Вы прекрасно знаете, какими картами мне приходится играть. У вас, Зоя Владимировна, козыри в руках покрупнее. Любые мои замечания вы с легкостью отбивали: мол, полностью придерживаюсь утвержденных учебных программ. С одной стороны — устаревшие программы, с другой — косные привычки самих преподавателей, а посередине — школьный завуч. Более беспомощной фигуры в нашей педагогике нет.

— Вы даже против программ! Вы хотите перевернуть обучение в стране? Не много ли вы хотите?

— Я просто хочу, чтоб учителя, с которыми я работаю, открыли глаза на опасность... Грозную опасность, Зоя Владимировна! Я ее и раньше чувствовала, но сейчас она для меня открылась с особенной отчетливостью. Так ли уж редко мы выпускаем людей ничем не интересующихся, ничем не увлеченных? Но должны же они занять чем-то себя, свой досуг. Хорошо, если станут убивать время безобидным забиванием козла, ну а если водкой... Мало ли мы слышим о пьяных подростках! Вспомните нашумевшее два года назад судебное дело. Три подгулявших сопляка семнадцати-восемнадцати лет среди бела дня на автобусной остановке пырнули ножом женщину.

Так просто, за косой взгляд, за недовольное слово — трое детей остались без матери.

Директор досадливо крикнул:

— Ну, знаете ли!

— Они же не с нашей улицы, из чужой школы. Вы это хотите сказать, Иван Игнатьевич?

— И на солнце бывают пятна. Не связывайте патологическое уродство с нашим обучением.

— А вы забыли, что в прошлом году уже нашего ученика, Сергея Петухова, милиция задержала в пьяном виде. Он не убивал, да! Но к водке-то потянулся! Почему? Семья испортила? Нет, семья хорошая: мать — врач, отец — инженер, оба уважаемые люди, в рот не берут спиртного. Товарищи дурные сбили с пути? Но эти товарищи, как оказалось, тоже бывшие ученики, их-то кто испортил? Был пьян, попал в милицию. Можно ли поручиться за пьяного недоросля, что он не совершит преступления?

Иван Игнатьевич ничего не ответил, смотрел в пол, сосредоточенно сопел. Нина Семеновна глядела на Ольгу Олеговну от дверей остановившимися глазами. Физик Павел Павлович хмурился и курил. На искаленном шрамом лице математика Иннокентия Сергеевича подергивался живчик — верный признак, что взволнован.

Зоя Владимировна в общей тишине медленно-медленно поднялась со стула.

## 6

Юлечка Студёнцева выпила за Наткино счастье, и Натка не возразила, не фыркнула в ответ — приняла. А раз так, то стоит ли расстраиваться, что она, Натка, не поддержала его, Генки, тост. Просто, как всегда, показывает норов, дурит. Пусть себе...

И Генка освобожденно оглянулся.

Перед ним стояли товарищи. Все они родились в один год, в один день пришли в школу, из семнадцати прожитых лет десять знают друг друга — вечность! И Генка вспомнил щуплого мальчишку — большая ученическая фуражка, налезаящая на ос-

трый нос, короткие штанишки, тонкие ноги с исцарапанными коленями. Это Игорь Проухов, начавший теперь уже обрастать бородой. Помнит, и хорошо, Сократа Онучина: мелкий вьюн, пискляв, шумен, совался постоянно под руку, а в драках кусался. И Юлечку помнит, она, кажется, и не изменилась, даже подросла не очень — была серьезная, такой и осталась. А вот Натку, как ни странно, в те давние времена, в первый год учебы, Генка совсем не помнит. Веру Жерих тоже... Трудно поверить, что Натка долгое время могла не замечаться.

Перед Генкой стояли его товарищи, и только теперь он остро почувствовал, что скоро придется расставаться, иные люди войдут в его жизнь, иной станет сама жизнь. Какой?.. Кто знает эту тайну тайн? Сжимается сердце, но нет, не от страха. Генка привык, что все кругом его самого побаивались и уважали. Тайна тайн — в неизвестном-то и прячутся неведомые удачи. Странно, что Юлька Студёнцева — тоже ведь удачлива! — сегодня какая-то перекрученная. В попутчики вдруг навязывалась... Генка был благодарен Юлечке и жалел ее.

— Это хорошо же, хорошо! — заговорил он с силой. — Тысячи дорог! На какую-то все равно попадешь, промашки быть не может. Ни у тебя, Юлька, ни у меня, ни у Натки... Вот Игорю труднее — одну дорогу выбрал. Тут и промахнуться можно.

— Старичок! Без риска нет успеха! — отбил Игорь.

Юлечка с горячностью возразила:

— Даже если Игорь и промахнется... Тогда у него будет, как у нас, те же тысячи без одной дороги. Счастливей, как все. Он что-то не хочет такого счастья, и я не хочу! Хочу тоже рисковать!

— Человек — забыли, фратеры, — создан для счастья, как птица для полета! — провозгласил важно Сократ. — Лети себе, куда несет. — Он забренчал: — «Эх, по морям, морям, морям! Нынче здесь, а завтра — там...» Вот так-то!

— Птица-то и против ветра летает, — напомнил Игорь. — А ты не птица, ты пушинка от одувачика.

— Пушинки-то с семечком. Куда ни упадем — корни пустим... — Генка с хрустом потянулся. — И вы-рас-тем!

— На камни может семечко упасть, — напомнила Юлечка.

Натка молчала, как обычно, с невозмутимостью, застыв в отдыхающей позе — вся тяжесть литого тела покоится на одной ноге, рука брошена на бедро. Она лениво пошевелилась, лениво произнесла:

— Летать. Мыкаться. Лучше ждать.

Вера вздохнула:

— Тебе, Наточка, долго ждать не придется. Ты, как светлый фонарь, издалека видна, к тебе счастье само прилетит.

— Какие мы все разные! — удивилась Юлечка.

Сократ неожиданно с силой ударил по струнам, заголосил:

— «За что вы Ваньку-то Морозова? Ведь он ни в чем не виноват!..» Праздник у нас или панихида, фратеры?

— И то и другое, — ответил Игорь. — Погребаем прошлое.

Вера Жерих снова шумно вздохнула:

— Скоро разлетимся. Знали друг друга до донышка, сроднились — и вдруг...

— А до донышка ли мы знали друг друга? — усомнился Игорь.

— Ты что? — удивилась Вера. — Десять лет вместе — и не до донышка.

— Ты все знаешь, что я о тебе думаю?

— Неужели плохое? Обо мне? Ты что?

— А тебе не случилось обо мне плохо подумать?.. Десять же лет вместе.

— Не случилось. Я ни о ком плохо...

— Завидую твоей святости, мадонна. Генка, ты мне друг, — я всегда был хорош для тебя?

Генка на секунду задумался:

— Не всегда.

— То-то и оно. В минуты жизни трудные чего не случается.

— В минуты трудные... А они были у нас?

— Верно! Даже трудных минут не было, а мысли бывали всякие.

Юлечка встrepенулась:

— Ребята! Девочки!.. Я очень, очень хочу знать... Я чувствовала, что вы все меня... Да, не любили в классе... Говорите прямо, прошу. И не надо жалеть и не стесняйтесь.

Глаза просящие, руки нервно мнут подол платья.

Генка сказал:

— А что, друзья мы или нет? Давайте расстанемся, чтоб ничего не было скрытого.

— Не выйдет, — заявил Игорьь.

— Не выйдет, не додружили до откровенности?

— А если откровенность не понравится?..

— Ну, тогда грош цена нашей дружбе.

— Я, может, не захочу говорить, что думаю. Например, о тебе, — бросила Генке Натка.

— Что же, неволить нельзя.

— Кто не захочет говорить, тот должен встать и уйти! — объявила Юлечка.

— Об ушедших говорить не станем. Только в лицо! — предупредил Генка.

— А мне лично до лампочки, капайте на меня, умывайте, только на зуб не пробуйте. — Сократ Онучин провел пятерней по струнам. — Пи-ре-жи-ву!

— Мне не до лампочки! — резко бросила Юлечка.

— Мне, пожалуй, тоже, — признался Игорьь.

— И мне... — произнесла тихо Вера.

— А я переживу и прощу, если скажете обо мне плохое, — сообщил Генка.

— Прощать придется всем.

— Я остаюсь, — решила Натка.

— Будешь говорить все до донышка и открытым текстом.

— Не учи меня, Геночка, как жить.

— С кого начнем? Кого первого на суд?

— С меня! — с вызовом предложила Юлечка.

— Давайте с Веры. Ты, Верка, пайнька, с тебя легче взять разгон, — посоветовал Игорьь.

— Ой, я боюсь первой!

— Можно с меня, — вызвался Генка.

— Фратеры! — завопил плачуще Сократ. — Мы же собрание открываем. Надоели и в школе собрания!

Эх, дайте собакам мяса,  
Авось они подерутся!  
Дайте похмельным кваса,  
Авось они перебьются!

— Заткнись!.. Ничего не таить, ребята! Всем на-  
распашку!

— Собрание же, фратеры, с персональными де-  
лами! Это надолго! Вся ночь без веселья!

Генка встал перед скамьей:

— Господа присяжные заседатели, прошу занять  
свои места!

Генка несколько не сомневался в себе — в шко-  
ле его все любили, перед друзьями он свят и чист,  
пусть Натка услышит, что о нем думают.

## 7

Зоя Владимировна поднялась со своего места, ис-  
сушенно-плоская, негнущаяся, с откинутой назад седой  
головой, на посеревшем, сжатом в кулачок лице —  
мелкие, невнятно поблескивающие глаза.

— Вы против школы поднялись, Ольга Олегов-  
на, а с меня начали. Не случайно, да, да, понимаю.  
И правы, трижды правы вы: та школа, которой вы  
так недовольны сейчас, та школа и я — одно целое.  
Всю школу, какая есть, вам крест-накрест перечерк-  
нуть не удастся, а меня... Меня, похоже, не так уж  
и трудно...

Ольга Олеговна не перебивала и не шевелилась,  
сидела в углу, подавшись вперед, глазницы до кра-  
ев залиты тенями. И шелестящий голос Зои Влади-  
мировны:

— Вы, наверно, помните Сенечку Лукина. Как не  
помнить — намозолил всем глаза, в каждом классе  
по два года отсиживал и всегда норовил на третий  
остаться. Только о нем и говорили, познаменитей Су-

дёнцовой была фигура. Как я тащила этого Сенечку! За уши, за уши к книгам, к тетрадям, по два часа после уроков каждый день с ним. Подсчитать бы, какой кусок жизни Сенечка у меня вырвал. И сердилась на него, и жалела... Да, да, жалела: как, думаю, такой бестолковый жизнь проживет? Двух слов не свяжет, трех слов без ошибки не напишет, страницу прочитает — потом обольется от натуги. Не закон бы о всеобщем обучении, выпихнули бы Сенечку из школы на улицу, а так с натугой большой вытянули до восьмого класса. И вот недавно встретила его... Узнал, как не узнать, улыбается от уха до уха, золотой зуб показывает, разговор завел: «Чтой-то у вас, Зоя Владимировна, пальцецо немодно, извиняюсь, сколько в месяц заколачиваете?.. Я ныне на тракторе, выходит, вдвое больше вас огребаю — мотоцикл имею, хочу дом построить...» Он же радовался, радовался, что не такой, как я! И правда, мне завидовать нечего. По шестнадцать часов в сутки работала год за годом, десятилетие за десятилетием, а что получила?.. Болезни да усталость. Ох как я устала! Нет достатка, нет покоя. И уважения тоже... Почтенная учительница, окруженная на старости лет любовью учеников, только в кино бывает. Но, думалось, есть одно, чего отнять нельзя никакой силой, никому! — вера, что не зря жизнь прожила, пользу людям принесла, и немалую! Как-никак тысячи учеников прошли через мои руки, разума набрались. Считают, для человека самое страшное — быть убитым. Но убийцы-то могут отнять только те дни, которые еще предстоит прожить, а прожитых дней и лет никак не отнимут — бессильны. Но вы, Ольга Олеговна, все прошлое у меня убить собираетесь, на всем крест ставите!

Ольга Олеговна не шевелилась — сплюснутые губы, немигающие, упрятанные в тень глаза.

— А если вас вот так, как вы меня, вместе со всем прошлым! — придушенно воскликнула Зоя Владимировна. — Поглядите на меня, поглядите внимательно! Вот перед вами стоит ваша судьба — морщинистая, усталая, педагогическая сивка, которую

укатали крутые горки на долгой дороге. На меня похожи будете. Смотрите — не ваш ли это портрет?

Зоя Владимировна судорожно стала искать в рукаве носовой платок, нашла, приложила к покрасневшим глазам.

— Последнее скажу: любила свою школу и люблю! Да! Ту, какая есть! Не представляю иной! Рассадник грамотности, рассадник знаний. И этой любви и гордости за школу никто, никто не отнимет! Нет!

Она еще раз приложила к глазам скомканный платочек, испустила прерывистый вздох, спрятала платок в узкий рукав.

— Будьте здоровы.

И двинулась к выходу, волоча ноги, узкая костистая спина перекошена.

И никто не посмел ее остановить, молча провожали глазами... Только Нина Семеновна, сидевшая у дверей, приподнялась со стула со смятым и растерянным лицом, вытянувшись, пропустила старую учительницу.

## 8

На скамье — тесно в ряд все пятеро: Сократ с гитарой, Игорь, склонившийся вперед, опираясь локтями на колени, Вера с Наткой в обнимку, Юлечка в неловкой посадке на краешке скамьи.

И Генка перед ними — с улыбочкой, отставив ногу в сторону.

Если б он сел вместе со всеми, находился в общей куче, быть может, все получилось бы совсем иначе. Он сам поставил себя против всех — им осуждать, ему оправдываться. А потому каждое слово звучало значительней, серьезней, а значит, ранимей. Но это открылось позднее, сейчас Генка стоял с улыбочкой, ждал. Новая игра не казалась ему рискованной.

Все поглядывали на Игоря, он умел говорить прямо, грубо, но так, что не обижались, он самый близкий друг Генки, кому, как не ему, первое слово. Но на этот раз Игорь проворчал:



— Я пас. Сперва послушаю.

И Сократ глупо ухмылялся, и Натка бесстрастно молчала, и Юлечка замороженно глядела в сторону.

— Я скажу, — вдруг вызвалась Вера Жерих.

Странно, однако, — Вера не из тех, кто прокладывает другим дорогу: всегда за чьей-то спиной, кто-то повторяет, кому-то поддакивает. Она решилась! Уселись поплотнее, приготовились слушать. Генка стоял, отставив ногу, и терпеливо улыбался.

— Геночка, — заговорила Вера, напустив серьезность на широкое щекастое лицо, — знаешь ли, что ты счастливчик?

— Ладно уж, не подмазывай патокой.

— Ой, Геночка, обожди... Начать с того, что ты счастливо родился — папа у тебя директор комбината, можно сказать, хозяин города. Ты когда-нибудь нуждался в чем, Геночка? Тебя мать ругала за порванное пальто, за стоптанные ботинки? Нужен тебе новый костюм — пожалуйста, велосипед старый не нравится — покупают другой. Счастливчик от роду.

— Так что же, за это я должен покаяться?

— И красив ты, и здоров, и умен, и характер хороший, потому что никому не завидуешь. Но... Не знаю уж, говорить ли все? Вдруг да обидишься.

— Говори. Стерплю.

— Так вот ты, Гена, черствый, как все счастливые люди.

— Да ну?

Генка почувствовал неловкость — пока легкую, недоуменную: ждал признаний, ждал похвал, готов был даже осадить, если кто перестарается — не подмазывай патокой, — а хвалить-то и не собираются. И нога в сторону и улыбочка на лице, право, не к месту. Но согнать эту неуместную улыбочку, оказывается, невозможно.

— Гони примерчики! — приказал он.

— Например, я вывихнула зимой ногу, лежала дома — ты пришел меня навестить? Нет.

— Вера, ты же у нас одна такая... любвеобильная. Не всем же на тебя походить.

— Ладно, на меня походить необязательно. Да разобраться — зачем я тебе? Всего-навсего в одном классе воздухом дышали, иногда вот так в компании сидели, умри я — слезу не выронишь. Меня тебе жалеть не стоит, а походить на меня неинтересно — ты и умней, и самостоятельней. Но ты и на Игоря Проухова, скажем, не похож. Помнишь, Сократа мать выгнала на улицу?

— Уточним, старушка, — перебил Сократ. — Не выгнала, а сам ушел, отстаивая свои принципы.

— У кого ты ночевал тогда, Сократ?

— У Игоря. Он с меня создавал свой шедевр — портрет хиппи.

— А почему не у Гены? У него своя комната, диван свободный.

— Для меня там не совсем комфортабель.

— То-то, Сократик, не комфортабель. Трудно даже представить тебя Генкиным гостем. Тебя — нечесаного, невытого.

— Н-но! Прошу без выпадов!

— Ты же несчастненький, а там дом счастливых.

— Да что ты меня счастьем тычешь? Чем я тут виноват?

Генка продолжал улыбаться, но управлять улыбкой уже не мог — въелась в лицо, кривенькая, неискренняя, хоть провались. И все это видят — стоит напоказ. Он улыбался, а подымалась злость... На Веру. С чего она вдруг? Всегда услужить готова — и... завелась. Что с ней?

— Да, Геночка, да! Ты вроде и не виноват, что черствый. Но если вор от несчастной жизни ворует, его за это оправдывают? А?

— Ну, старушка-забавница, ты сегодня даешь! — искренне удивился Сократ.

— Черствый потому, что полгода назад не навестил тебя, над твоей вывихнутой ногой не поплакал! Или потому, что Сократ не ко мне, а к Игорю ночевать сунулся! Ну, знаешь...

— А вспомни, Геночка, когда Славка Панюхин потерял деньги для похода...

— А не помнишь, кто выручил Славку? Может, ты?!

— Аг-га-а! Знала, что этот проданный велосипед нам напомним! Как же, велосипед загнал, не пожалел для товарища... Но ты сам вспомни-ка, как сначала-то ты к этому отнесся? Ты же выругал бедного Славку на чем свет стоит. А вот мы ни слова ему не сказали, мы все по рублику собирать стали, и только тогда уж до тебя дошло. Позже всех... Нет, я не говорю, Гена, что ты жадный, просто кожа у тебя немного толстовата. Тебе ничего не стоило сделать благородный жест — нá, Славка, ничего не жаль, вот какая у меня широкая натура. Но только ты не последнее отдавал, Геночка. Тебе старый велосипед уже надоел, нужен был новый — гоночный...

И ударила кровь в голову, и вьедливая улыбочка наконец-то слетела с лица. Генка шагнул на Веру:

— Ты!.. Очухайся! Эт-то свинство!

Вера не испугалась, а надулась, словно не она его — он обидел ее:

— Не нравится? Извини. Сам же хотел, чтоб до дна, чтоб всё откровенно...

И замолчала.

Игорь серьезен, Сократ оживленно ерзает, Натка холодно-спокойна, откинулась на спинку скамьи рядом с надутой Верой — лицо в тени, маячат строгие брови.

— Ложь! — выкрикнул Генка. — До последнего слова ложь! Особенно о велосипеде!

И замолчал, так как на лицах ничего не отразилось — по-прежнему замкнуто-серьезен Игорь, беспокоен Сократ, спокойна Натка и надута Вера. Будто и не слышали его слов. Как докажешь, что хотел спасти Славку, жалел его? Даже велосипед не доказательство! Молчат. И как раздетый перед всеми.

— Кончим эту канитель, ребята, — вяло произнес Игорь. — Переругаемся.

Кончить? Разойтись? После того как оболгали! Натка верит, Игорь верит, а сама Вера надута. И настороженно, выжидающе блещут с бледного лица глаза Юлечки Студёнцевой... Кончить на этом,

согласиться с ложью, остаться оплеванным! И кем? Верой Жерих!

— Нет! — выдавил Генка сквозь стиснутые зубы. — Уж нет... Не кончим!

Игорь кашлянул недовольно, проговорил в сторону:

— Тогда уговоримся — не лезть в бутылку. Пусть каждый говорит что думает — его право, терпи.

— Я больше не скажу ни слова! — обиженно заявила Вера.

Генку передернуло: наговорила пакости — и больше ни слова. Но никто этим и не думает возмущаться — Игорь сумрачно-серьезен, Натка спокойна. И терпи, не лезь в бутылку...

Генка до сих пор жил победно — никому не уступал, не знал поражений, себя даже и защищать не приходилось, защищал других. И вот перед Верой Жерих, которая и за себя-то постоять не могла, всегда прибивалась к кому-то, он, Генка, беспомощен. И все глядят на него с любопытством, но без сочувствия. Словно раздетый — неловко, хоть провались!

— Можно мне? — Юлечка по школьной привычке подняла руку.

Генка повернулся к ней с надеждой и страхом — так нужна ему сейчас поддержка!

— Не навестил больную, не пригласил ночевать бездомного Сократа, старый велосипед... Какая все это мелочная чушь!

Серьезное, бледное лицо, панически блестящие глаза на нем. Так нужно слово помощи! Он, Генка, скажет о Юлечке только хорошее — ее тоже в классе считали черствой, никто ее не понимал — зубрилка, моль книжная. Каково ей было терпеть это! Генка даже ужаснулся про себя — он всего минуту сейчас терпит несправедливость, Юлечка терпела чуть ли не все десять лет!

— Я верю, верю — ты, Гена, не откажешь в ночлеге и велосипед ради товарища не пожалеешь... — Блестящие глаза в упор. — Даже рубаху последнюю отдашь. Верю! А когда бьют кого-то, разве ты не бро-

саешься спасти? Ты можешь даже жизнью жертвовать. Но... Но ради чего? Только ради одного, Гена: жизни не пожалеешь, чтоб красивым стать. Да! А вот прокаженного, к примеру, ты бы не только не стал лечить, как Альберт Швейцер, но через дорогу не перевел бы — побрезговал. И просто несчастного ты не поддержишь, потому что возня с ним и никто этому аплодировать не будет. От черствости это?.. Нет! Тут серьезнее. Рубаха, велосипед, жизнь на кон — не для кого-то, а для самого себя. Себя чувствуешь смелым, себя — благородным! Ты так себе нравишься любишь, что о других забываешь. Не черствость тут, а похуже — себялюбие! Черствого каждый разглядит, а себялюбца нет, потому что он только о том и старается, чтоб хорошим выглядеть. А как раз в тяжелую минуту себялюбец-то и подведет. Щедрость его не настоящая, благородство наигранное, красота фальшивая, вроде румян и пудры... Ты светлячок, Гена, — красиво горишь, а греть не греешь.

Юлечка опустила веки, потушив глаза, замолчала. И лицо ее сразу — усталое, безразличное.

— Это ты за то... отказался в Москву с тобой?.. — с трудом выдавил Генка.

— Думай так. Мне уже все равно.

Генка затравленно повел подбородком. Перед ним сидели друзья. Других более близких друзей у него не было. И они, близкие, с детства знакомые, оказывается, думают о нем вовсе не хорошо, словно он враг.

Он взял себя в руки, придушенно спросил:

— Ты это раньше... что я светлячок? Или только сейчас в голову пришло?

— Давно поняла.

— Так как же ты... в Москву?..

— За светлячком можно в чащу лезть сломя голову, за себялюбцем в Сибирь ехать, не только в Москву. Тут уж с собой ничего не поделаешь, — не подымая глаз, тихо ответила Юлечка.

Ночь напирала на обрыв. От нее веяло речной сыростью. Перед всеми как раздетый... Светлячок, надо же!

Чтоб только не растягивать мучительную тишину, Генка хрипло попросил:

— Игорь, давай ты.

— Может, кончим все-таки? Врагами же расстанемся.

— Спасает, благодетель?

— Что-то мне неохота ковыряться в тебе, старик.

— Режь, не увиливай!

— Н-да-а...

Игорь Проухов... С ним Генка сидел на одной парте, его защищал на ребячьих потасовках. Как часто они лежали на рыбалках у ночных костров, говорили друг другу самое сокровенное. Много спорили, часто не соглашались, бывало, сердились, ругались даже, но никогда дело не доходило до вражды. Игорь не Юлечка Студёнцева. Вот если б Игорь понял, как трудно ему, Генке, сейчас: дураком выглядит, без вины оболган, заклеямен даже — светлячок, надо же... Если б Игорь понял и сказал доброе слово, отбрил Веру, возразил Юльке — а Игорь может, ему нетрудно, — то все сразу бы встало на свои места.

Но просить при всех о помощи, сознаваться, что слаб, Генка не мог, а потому произнес почти с угрозой:

— Режь! Только учти, я тебя тоже жалеть не стану.

Эх, если б Игорь понял, не поверил угрозе, мир остался бы прежним, где дружба свята, правда торжествует, а ложь наказывается...

Но Игорь поскреб небритый подбородок, не глядя Генке в глаза, угрюмо сказал:

— Не пожалеешь?.. Само собой. Что ж...

## 9

За Зоей Владимировной закрылась дверь. С минуту никто не шевелился.

Скрипнул стул под Иваном Игнатьевичем, директор решительно поднялся, грудью повернулся к Ольге Олеговне, насупленно-строгий и замкнутый:

— Не кажется ли вам, что вы сейчас обидели человека? Сильно обидели и незаслуженно!

У Ольги Олеговны немигающие, широко открытые глаза, но неподвижное лицо все равно кажется каким-то слепым. Тяжелая копна вознесенных волос и расправленные плечи.

— Мне очень жаль, что так получилось. — Голос сухой, без выражения.

— Не сочтите за труд извиниться перед ней.

Иван Игнатьевич редко сердился, но когда сердился, всегда становился церемонно-вежливым: «Не сочтите за труд... Смею надеяться... Позвольте рассчитывать...»

— Извиниться? За что?

Неподвижное лицо Ольги Олеговны ожило, взгляд вновь стал подозрительно-настороженным.

— Вы только что, любезная Ольга Олеговна, сказали, позвольте напомнить: «Мне очень жаль, что так получилось». Надеюсь, сожаление искреннее. Так сделайте же следующий шаг — извинитесь!

— Мне жаль... Наверное, как и каждому из нас. Жаль, что у Зои Владимировны долгая жизнь оканчивается разбитым корытом.

— Разрешу себе заметить: разбитое корыто — довольно рискованное выражение.

— А разве она сейчас сама не призналась в этом?

— Не станете же нас уверять, уважаемая Ольга Олеговна, что долгая жизнь Зои Владимировны не принесла никакой пользы?

— Пользы?.. Сорок лет она преподает: Гоголь родился в таком-то году, Евгений Онегин — представитель лишних людей, Катерина из «Грозы» — «луч света в темном царстве». Сорок лет одни и те же готовые формулы. Вся литература — набор сухих формул, которые нельзя ни любить, ни ненавидеть. Не волнующая литература — вдумайтесь! Это такая же бессмыслица, как, скажем, не греющая печь, не светящий фонарь. Получается: сорок лет Зоя Владимировна обесмысливала литературу. Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов глаголом жгли сердца людей. По всему миру люди горят их пламенем —

любят, ненавидят, страдают, восторгаются. И вот зажигающие глаголы попали в добросовестные, но, право же, холодные руки Зои Владимировны... Сорок лет! У скольких тысяч учеников за это время она отняла драгоценный огонь! Украла способность волноваться! Вы в этом видите пользу, Иван Игнатьевич?!

Иван Игнатьевич сердито засопел, спрятал глаза за кустистыми пшеничными бровями.

— Но она еще была преподавателем и русского языка, научила тысячи детей грамотно писать. Хоть тут-то признайте, что это немалая заслуга.

— Научить правильно писать слово — и отучить его любить. Это все равно что внушать понятия высокой морали и вызывать к ним чувство безразличия.

— Странный вы человек, Ольга Олеговна, — огорченно произнес Иван Игнатьевич. — Вдруг взорвались — готовы крушить и проламывать головы только потому, что девочка-выпускница задела вас за живое.

— Вдруг?.. Неужели для вас выступление Студенцевой неожиданность?

— Да уж, признаюсь: от любого и каждого ждал колена, только не от нее.

— И вы считали, что у нас в школе все идеально, не нужно освобождаться от старых навыков?

— Положим, не все идеально и от каких-то привычек нам придется освобождаться.

— Но тогда придется освободиться и от тех, кто безнадежно увяз в этих старых привычках.

— Освободиться от Зои Владимировны?.. Немедленно? Или можно подождать немного, хотя бы того не столь далекого дня, когда она сама решит оставить школу?

— Недалекого дня? А когда он наступит? Через год, через два, а может, через пять лет?.. За это время сотни учеников пройдут через ее руки. Я преклоняюсь перед вашей добротой, Иван Игнатьевич, но тут она, похоже, дорого обойдется людям.

Иван Игнатьевич, опустив борцовские плечи, недовольно разглядывал Ольгу Олеговну.



— Мне кажется, вы собираетесь выправить накренившуюся лодку, черпая решетом воду, — сказал он с досадой.

— То есть?

— То есть мы освободимся от Зои Владимировны, а на ее место придет молодой учитель, только что окончивший наш областной пединститут. И вы рассчитываете, что он-то непременно будет горящим. Вам ли не известно, что в областной пединститут, увы, идут те, кто не сумел попасть в другие институты. Десять против одного, что на смену Зое Владимировне придет неспособный раздувать святой огонь Пушкина и Толстого. Не рассчитывайте на Прометеев, дорогая Ольга Олеговна.

Ольга Олеговна не успела ответить, как по учительской прокатился глуховатый басок:

— Зоя Владимировна опасна больше других? Сомневаюсь.

Директор шумно повернулся, Ольга Олеговна подобралась: подал голос учитель физики Решников.

— Что ты хочешь этим сказать, Павел? — спросила Ольга Олеговна.

— Хочу сказать: «Врачу, излечися сам!»

— Ты считаешь, что я?..

— Да.

— Зои Владимировны?..

— В какой-то степени.

— Объясни.

И Решников поднялся, нескладно высокий, крепко костистый, с апостольским пушком над сияющим черепом, лицо темное, азиатски скуластое, плоское, как глиняная чаша.

## 10

Игорь Проухов сидел на скамье и целился твердым носом в Генку — всклокоченная шевелюра, светлое чело, темный подбородок.

— Тебя тут по-девичьи щипали. Вот Юлька сказала: прокаженного через дорогу не переведет, для

себя горит, не для других. А кто из нас в костер бросится, чтоб другому тепло было?

— Может, я брошусь, — отозвалась Юлечка.

— Готов встать перед тобой на колени... За него рюченье я тебя, старик, не осуждаю. Считаю: если уж гореть до пепла, то ради всего человечества. Почему я, он или кто другой должен собой жертвовать ради кого-то одного, хотя бы тебя, Юлька? Что ты за богиня, чтоб тебе — человеческие жертвоприношения?

— А я не жертв вовсе, я отзывчивости хочу. За отзывчивость, даже чуточную, я сама собой пожертвую.

— Э-э! — отмахнулся Игорь. — Сама хоть с крыши вниз головой, лишь бы вовремя схватили, не то ушибиться можно. Верка лучше Генку нацупала: баловень судьбы, любое дается легко.

— Уж и любое! — усмехнулась молчавшая Натка.

Генка вздрогнул, кинул на Натку затравленный взгляд.

— Допускаю исключения, — с едва проступившей улыбочкой согласился Игорь.

И Генка вскипел:

— Красуешься, философ копеечный! Хватит. По делу говори!

И призрачная улыбочка исчезла с лица Игоря.

— Может, не стоит все-таки по делу-то? А?.. Оно не очень красивое.

— Нет уж, начал — говори!

— Дело прошлое, я простил тебя — ворошить не хочется.

— Простил? Нужно мне твое прощение!

— Тебе не нужно, так мне нужно. Как-никак много лет дружили... Догадываешься, о чем я хочу?..

— Не догадываюсь и ломать голову не стану. Сам скажешь.

— Учти, старик, ты сам настаиваешь.

— Цену себе набиваешь!

— Ладно. Почему не уважить старого друга... Почтеннейшая публика, мы с ним часто играли в дис-

путы, и вы нам за это щедро платили — своим умилением...

— Хватит кривляться, шимпанзе!

— Мой друг бывает очень груб, извиним его. Грубость баловня судьбы: я, мол, не чета другим, я сверхчеловек, сильная личность, а потому на дух не выношу тех, кто хоть чуть стал поперек...

— Сам ярлыки клеишь, обзываешься, как баба в очереди, а еще обижаешься — груб, извиним!

— Мы обычно спорим на публику, но однажды схлестнулись с глазу на глаз. Он стал свысока судить о моих картинах, а я сказал, что его вкусы ничем не отличаются от вкусов какого-нибудь Петра Сидорыча, который не морщится от кислой банальности. И, представьте, он согласился: «Да, я — Петр Сидорыч, рядовой зритель, то есть народ, а ты, мазилка, антинароден». Я засмеялся и сказал, что преподнесу ему на день рождения народную картину — лебедей на закате, и непременно с надписью: «Ково люблю — тово дарю!» Он надулся, и, казалось, ничего особенного, все осталось как было — ходили по школе в обнимочку.

— Вот ты о чем!.. О выступлении...

— Да, о том. Должна была открыться выставка школьного рисунка. Не у нас — в областном Доме народного творчества. Событие! С этой выставки лучшие работы должны поехать в Москву. Хотелось мне попасть на эту выставку или нет?.. Хотелось! И он это знал. Но... Но выступил на комитете комсомола... Что ты там сказал обо мне, Генка?

— Сказал что думал. Хвалить я тебя должен, если у меня с души прет от твоих работ?

— Но при этом ты ходил со мной в обнимочку, показательно спорил, играл в волейбол... И ни слова мне! За моей спиной...

— А что я мог тебе сказать, если и сам не знал, о чем пойдет речь на комитете...

— За моей спиной ты продал меня!

— Я говорил только то, что раньше... Тебе! В глаза!

— Нет, мне передали: ты даже растленность мне вклеил... В глаза-то говорил пообкатанней, боялся — отобью мяч в твои же ворота.

— А тебе не передали, что я талантливым тебя называл?

— Вот именно, чтоб легче подставить ножку... Ходил в обнимочку, а за пазухой нож держал, ждал случая в спину вонзить.

С минуту Генка ошеломленно таращил глаза на Игоря, а тот целился в него носом — отчужденно-спокоен.

— Ты-ы!..

Игорь пожал плечами:

— Сам просил — я не набивался.

— Ты-ы!.. Ты-ы меня!.. Носил за пазухой!

— Сказал факты, а вывод пусть делают другие.

Генка, сжав кулаки, шагнул на Игоря:

— Я те-бе!..

Игорь распрямился, выставил темный подбородок.

— Давай, — тихо попросил он. — Ты же самбист, научен суставы выворачивать.

Генка остановился, хрипло выдохнул.

— Сволочь ты!

— Я сволочь, ты святой. Кончим на этом. Аминь.

— И правда, кончим! — откликнулась Вера с жалобно округлившимися глазами. — Господи! Если б я знала...

— А ты ждала, что я все съем!

— Пусть меня лучше, не надо его больше, ребята. Пусть лучше меня!.. — Вера всхлипнула.

— Пожалела. Спасибо большое! Только я не нуждаюсь в жалости! Давайте, давайте до конца! Все раскройте, чтоб я видел, какие вы... Сократ, валяй! Ну! Твоя очередь!

Генка кричал и дергался, а Сократ, как ребенка, прижимал к животу гитару.

— Я бы лучше вам спел, фратеры.

— Тут на другие песни настроились, разве не видишь? Не порти хор.

— А я что, Генка... У нас с тобой полный лояль.

— Не бойся, его не ударил и тебя бить не стану. Дави!

— Для меня ты плохого никогда... Конечно, что я тебе: Сократ — лабух, Сократ Онучин — бесплатное приложение к гитаре. А кто из вас, чуваки, относится с серьезным вниманием к Сократу Онучину? Да для всех я смешная ошибка своей мамы. У нас же праздник, фрaterы. Мы должны сегодня петь и смеяться, как дети.

Эх, дайте собакам мяса,  
Авось они подерутся!..

— Моя очередь.

Натка не спеша разогнулась, твердые груди проступили под тонким платьем, блуждающая улыбочка на полных губах, под ресницами — убийственно покойная влага глаз.

Никому сейчас не до улыбок. Генка замер с перекошенными плечами...

## 11

Двадцать с лишним лет назад они пришли в школу — трое педагогов со студенческой скамьи, два парня с колодками орденов и медалей на лацканах поношенных пиджаков и девица с копной волос, с изумленно распахнутыми глазами. Школа встретила их по-разному.

Иннокентия Сергеевича — уважительно. Раненый под Белгородом, он слишком наглядно носил на себе след войны — пугающий лиловый шрам на лице, и в то же время он не кичился фронтовым прошлым, не требовал привилегий, держался скромно, преподавал толково, о нем сразу же установилось прочное мнение: надежный работник, образец для подражания.

Павел Павлович Решников, тоже фронтовик, трижды раненый, награжденный орденами, с ходу вошел в конфликт со школой. Он считал, что школьные программы по физике устарели — нельзя преподавать лишь законы Ньютона, когда современная наука живет открытиями Эйнштейна, — начал пре-

подавать по-своему. Остальных преподавателей тогда вполне устраивали привычные программы, все они были старше Решникова, а потому резонно замечали, что яйца курицу не учат, на экзаменах с пристрастием спрашивали с учеников не то, чему их учил Павел Павлович. До полного разрыва со школой у него не дошло, он по-прежнему преподавал физику не строго по программам и не по учебникам, но делал это уже осторожно — инспекторские проверки никогда не заставляли его врасплох, его ученики достаточно хорошо знали программный материал. Сам же Павел Павлович являлся в школу, чтоб дать уроки и исчезнуть. Ни с кем из учителей он не сходил, не вступал в споры, не навязывал своих взглядов. Его кто-то назвал однажды — вечный гастролер. На это он спокойно возразил: «Смотря для кого. Ученики меня так не назовут». У Павла Павловича среди учеников всегда были избранники, которых он приглашал даже к себе на дом, снабжал книгами.

Ольгу Олеговну школа сначала встретила равнодушно — молодой преподаватель истории, ничем, собственно, не выделяющийся. Она выделилась не преподаванием, не педагогическим мастерством, а неукротимым правдолюбием. Ольга Олеговна могла во всеуслышание произнести то, о чем все осмеливались лишь шептаться по углам, заклеить подхалимов, обличить зарвавшихся, не считаясь ни с их властью, ни с их авторитетом. Она всегда шла напролом — пан или пропал — и почти всегда выходила победителем. В школе менялись директора, Ольга Олеговна оставалась бессменным завучем вот уже пятнадцать лет.

Она часто упрекала Решникова «за отшельничество», но уважала его за преданность своей науке. Науке, а не предмету — физике! Она сама давно уже не скрывала недовольства существующими учебными программами. Решников и Ольга Олеговна скорей были единомышленниками, врагами же — никогда! И вот сейчас Решников поднялся, чтобы выступить против нее.

— Объясни.

Из-под сияющего лба Решников внимательно и

долго вглядывался в Ольгу Олеговну, сидящую с вызывающе вскинутой головой.

— Тут ты вся: зовешь — делай, и не замечаешь, что уже делается. Кричишь — вперед! И хватаешь за полу — стой, не смей шевелиться!

— Не говори шарадами, Павел.

— Хочу сказать, что я много лет стараюсь развивать увлечения своих учеников, а ты меня постоянно одергивала: пестуешь любимчиков!

— Я и сейчас против, чтоб кто-либо из педагогов выделял любимчиков. И какая тут связь с увлечением?

— Прямая.

— Не вижу.

— Я люблю свою науку, мечтаю подарить ей талантливых ученых. Надеюсь, что ты не собираешься тут меня осуждать?

— Нет.

— Но тогда можно ли меня судить, что я прохладен к тем, кто, мягко выражаясь, от природы не даровит к физике, не любит ее?

— Наверное, нельзя.

— Вот именно, как нельзя упрекать меня и за то, что я пристрастен к тем ученикам, в которых природа вложила способность увлекаться физикой. И чем больше ученик увлечен, тем сильнее он должен мне нравиться. Естественно это или нет, Ольга Олеговна?

Ольга Олеговна помолчала секунду, тряхнула волосами:

— Естественно!

— Но нужно ли скрывать мне это естественное чувство, делать вид, что для меня все ученики одинаковы, ничем друг от друга не отличаются?

На этот раз Ольга Олеговна не ответила.

— Делать вид — не отличаются, и стараться не отличать неспособных от способных, равнодушных от увлекающихся. Да как же мне после этого развивать увлечение, за которое ты так горячо ратуешь? Но если я начну отличать, а значит, и выделять одних перед другими, ты же первая меня попрекнешь: любимчиков пестуешь! И ты, право, недалеко от

истины: да, я каких-то люблю больше, каких-то меньше. Люблю потому, что они надежда той науки, преподаванию которой я посвятил жизнь, люблю потому, что рассчитываю — с моей помощью они могут стать чрезвычайно ценными членами общества.

— Ну а как быть с остальными?.. — спросила Ольга Олеговна. — С теми, Павел, кто не оказался достойным твоей любви?

— Я им стараюсь дать общее понятие о физике. Не больше того.

— Они для тебя второй сорт люди, парии. Не так ли?

— Э-э нет! Я никак не исключаю, что среди них могут быть не менее, а еще более талантливые натуры. Но уже не в моей области. Лицейист Пушкин, увы, был зауряден в математике, наверное, и в физике тоже, если б ее преподавали в Царскосельском лицее. Представь, что я стану развивать природные способности нового Пушкина, я, не сведущий в поэзии, не чувствующий ее. Нет, пусть им занимаются другие, иначе загублю драгоценный талант.

Ольга Олеговна склонила к столу отягощенную волосами голову.

— Хорошо, Павел, согласимся, что тут ты прав. Но разве эта моя вина столь велика, что дает тебе право говорить — я опаснее Зои Владимировны?

Решников досадливо крикнул:

— Зоя Владимировна своего огня не раздует, но и моего не потушит. А ты можешь потушить.

— Что бы ты хотел от меня?

— Одного — не мешай мне возделывать свой сад.

— Каждый должен возделывать свой сад? И только?..

— Да. Без помех!

— В одиночку?

— Если я в своем труде рассчитываю на кого-то, я или плохой работник, или просто-напросто лодырь.

Сидевший рядом с Решниковым Иннокентий Сергеевич повернул к нему асимметричное суровое лицо.

— Ты так сердито разругал сейчас Ольгу и так жалко посоветовал, — произнес он.



— Это все, что я знаю.

— Теперь все делается коллективно — все! — от канцелярских скрепок до космических ракет. А ты нам предлагаешь убого-единоличное — пусть каждый возделывает свой сад.

— Всю жизнь я единолично справлялся со своими обязанностями. Всю жизнь мне лезли помогать — и большей частью только мешали.

— Ремесленник-одиночка, оглянись кругом — ты последний из своего племени! Все твои собратья остались где-то в позднем Средневековье. Прикажешь миру вернуться вспять? Не выйдет, Павел.

У Иннокентия Сергеевича под глазом, выше рваной скулы, подергивался живчик.

## 12

Натка, неприступно-прямая на скамейке, глядела мимо Генки влажными глазами.

— Гена-а... — с ленивенькой растяжечкой, нутряным, обволакивающим голосом. — Что тут только не наговорили про тебя, бедненький! Даже пугали — нож в спину можешь. Вот как! Не верь никому — ты очень чистый, Гена, насквозь, до стерильности. Варился в прокипяченной семейной водичке, куда боялись положить даже щепоточку соли. Нож в спину — где уж.

— Нат-ка! Не издевайся, прошу.

— А я серьезно, Геночка, серьезно. Никто тебя не знает, все видят тебя снаружи, а внутрь не заходят. Удивляются тебе: любого мужика через голову бросить можешь — страшен, берегись, в землю вобьешь. И не понимают, что ты паинька, сладенькое любишь, но мамы боишься, без спросу в сахарницу не залезешь.

— О чем ты, Натка?

— О тебе, только о тебе. Ни о чем больше. Целый год ты меня каждый вечер до дому провожал, но даже поцеловать не осмелился. И на такого паиньку наговаривают — нож в спину! Защитить хочу.

— Нат-ка! Зачем так?.. — Генка прятал глаза, говорил хрипло, в землю.

— Не веришь мне, что защищаю?

— Издеваешься... Они — пусть что хотят, а тебя прошу...

— Они — пусть?! — У Натки остерегающе мерцали под ресницами влажные глаза. — Я — не смей?.. А может, мне обидно за тебя, Генка, — обливают растворчиком, а ты утираешься. И потому еще обидно, что сами-то обмирают перед тобой: такой-рассяжкой, черствый, себялюбек негреющий, а шею подставить готовы — накинь веревочку, веди Москву завоевывать.

— Злая ты, Натка, — без возмущения произнесла Юлечка.

— А ты?.. — обернулась к ней Натка. — Ты добрей меня? Ты можешь травить медвежонка, а мне нельзя?

— Травить?! Нат-ка! Зачем?!

Натка сидела перед Генкой прямая, под чеканными бровями темные увлажненные глаза.

— Затем, что стоишь того, — жестким голосом. — И так тебя и эдак пихают, а ты песочек уминаешь перед скамеечкой. Чего тогда с тобой и церемониться. Трусоват был Ваня бедный... Зато чистенький-чистенький, без щепоточки соли. Одно остается — подержать во рту да выплюнуть.

Натка отвернулась.

В листве молодых лип равнодушно горели матовые фонари. На поросший неопрятной травой ровный край обрывистого берега напирала упругая ночь, кой-где проколота шевелящимися звездами. Ночь все так же пахла влагой и травами. И лежал внизу город — россыпь огней, тающих в мутном мареве. Искрящаяся галактика, окутанная житейским шумом: кто-то смеялся среди огней, где-то надрывно кричала радиоло, тархтел мотоцикл.

— Жалкий ты, Генка, — безжалостно сказала Натка в сторону.

И Генка дернул головой, точно его ударили в лицо.

— Н-ну, Натка!.. Ну-у!.. — из горла хриплое.

Он был одним из самых благополучных учителей школы. Уж он-то возделывал свой сад с примерным усердием.

Иннокентий Сергеевич подымал к Решникову свое суровое, шрамом стянутое на одну сторону лицо.

— Ты-то должен знать, что ремесленники повымерли не случайно, — говорил он неторопливым глуховатым голосом. — Люди бродили бы по миру нагие и голодные, если б сейчас каждый ковырял в одиночку свой сад дедовской мотыгой.

— Почему обязательно мотыгой? — невозмутимо возразил Решников. — Я лично пользуюсь всем тем, что предлагает современная педагогика. И смею думать, что сверх того кое-что сам изобретаю.

— Может, ты изобрел паровую машину и тайком ею пользуешься в своем единоличном садике?

— Не нуждаюсь ни в какой машине.

— То-то и оно, все нуждаются в машинах, все — от доярки до ученого-экспериментатора, а вот нам с тобой хватает классной доски, куска мела и тряпки. Мы с тобой вооружены, как был вооружен дедушка педагогики Ян Амос Коменский триста лет тому назад. И пытаемся поспеть за двадцатым веком. Удивительно ли, что нам приходится надрывать-ся. Все работают по семь часов в сутки, мы — по двенадцать, по шестнадцать, а результаты?..

Решников снисходительно усмехнулся:

— Увы, еще не изобретены машины для производства духовных ценностей, скажем, для произведений живописи, литературы, музыки, равно как и для передачи знаний.

Иннокентий Сергеевич дернул искалеченной щекой:

— А разреши спросить тебя, глашатай физики: открытие Галилеем спутников Юпитера — духовная ценность для человечества или нет?

Решников нахмурился и ничего не ответил.

— Молчишь? Знаешь, что эту духовную ценность Галилей добыл с помощью механизма под названи-

ем телескоп. А синхрофазотроны, которыми пользуются нынче твои собратья физики, разве не специально созданные машины? Эге! Еще какие сложные и дорогостоящие. Ими ведь не картошку копают, не чугун выплавляют. Знания давно уже добываются с помощью машин, а вот передаются они почему-то до сих пор, так сказать, вручную.

— Может, ты даже представляешь, как выглядит та паровая машина, на которую собираешься посадить педагогов? — спросил Решников.

— Предполагаю.

— А ну-ка, ну-ка!..

— Будем исходить из существующего ремесленничества. Миллионы учителей по стране преподают одни и те же знания по математике, по физике, по прочим наукам. Одни и те же, но каждый своими силами, на свой лад. Как в старину от умения отдельного кустаря-сапожника зависело качество сапог, так теперь от учителя зависит качество знаний, получаемых учеником. Попадет ученик к толковому преподавателю — повезло, попадет к бестолковому — выскочит из школы недоучкой. Вдуматься — лотерея. А не лучше ли из этих миллионов отобрать самых умных, самых талантливых и зафиксировать их преподавание хотя бы на киноленте. Тогда исчезнет для ученика опасность попасть к плохому учителю, все получают знания по одному высокому стандарту...

— Стоп! — перебил Решников. — По стандарту!.. Бездушная кинолента, выдающая всем одинаковую порцию знаний... Да ведь мы с тобой только тем и занимаемся, что стараемся приноровиться к каждому в отдельности ученику — один усваивает быстрее, другой медленней, третий совсем не тянет. Да что там говорить — обучать живых, нестандартных людей может только живой, нестандартный человек.

И снова Иннокентий Сергеевич дернул щекой.

— Заменить тебя кинолентой?.. Да боже упаси! Хочу лишь снять часть твоего труда. Однообразного труда, Павел. Тебе уже не придется по нескольку раз в каждом классе втолковывать то, что ты втол-

ковывал в прошлом году, в позапрошлом, три и четыре года назад. Стандартная кинолента даст тебе время... Вре-мя, Павел! Чтоб ты мог нестандартно, творчески заниматься учениками — способным преподавал сверх стандартной нормы, неспособных подтягивал до стандарта. Тебе остается лишь тонкая работа — доводка и шлифовка каждого человека в отдельности. Каждого!

— Все-таки топчи дорогу своими ногами. Может, ты предлагаешь не локомотив, а просто посошок для облегчения моих натруженных ног?

— А ты хотел бы такой локомотив, который бы полностью устранил тебя?

— Зачем мне тогда и жить на свете, — отмахнулся Решников.

— То-то и оно, нет еще машины, которая исключала бы человека. И будет ли?

— О чем вы спорите?! — выкрикнула забытая Ольга Олеговна. — Как преподнести знания — механизированным или не механизированным путем! Юлия Студёнцева до ноздрей нами набита этими знаниями, а тем не менее... Снова мне, что ли, повторять: у нас часто формируются люди без человеческих устремлений! А раз нет человеческого, то животное прет наружу вплоть до звериности, как у тех парней, что ножом женщину на автобусной остановке... В локомотиве спасение — да смешно! Машиной передавать человеческие качества!..

Решников удовлетворенно хмыкнул:

— Вот и вернулись на круги своя: я человек, что-то любящий, что-то презирающий в мире сем, я передаю свое ученикам, вы — свое, пусть каждый мотыжит свой сад... Если мне вместо мотыги предложат сподручный трактор, я, пожалуй, не откажусь, но детей трактору не доверю.

Иннокентий Сергеевич с минуту молчал — странное, неподвижное лицо, одна его половина разительно не походит на другую, — затем обронил холодно и спокойно:

— Не доверю?.. А сами себе мы доверяем?..

Пять человек на скамье под фонарями, тесно друг к другу, и Генка нависает над ними.

— До донышка! Правдивы!.. Ты сказала — я черств. Ты — я светлячок-себялюбец. Ты — в предатели меня, нож в спину... А ты, Натка... Ты и совсем меня — даже предателем не могу, жалкий трус, тряпка! До донышка... Но почему у вас донышки разные? Не накладываются! Кто прав? Кому из вас верить?.. Лгали! Все лгали! Зачем?! Что я вам плохого сделал? Тебе! Тебе, Натка!.. Да просто так, воспользовались случаем — можно оболгать. И с радостью, и с радостью!.. Вот вы какие! Не знал... Раскрылись... Всех теперь, всех вас увидел! Насквозь!..

Накаленный Генкин голос. А ночь дышала речной влагой и запахами вызревающих трав. И густой воздух был вкрадчиво-теплым. И листва молодых лип, окружающая фонари, казалось, сама истекала призрачно-потусторонним светом. Никто этого не замечал. Подавшись всем телом вперед, с искаженным лицом надрывался Генка, а пять человек, тесно сидящих на скамье, окаменело его слушали.

— Тебя копнуть до донышка! — Генка ткнул в сторону Веры Жерих. — Добра, очень добра, живешь да оглядываешься, как бы свою доброту всем показать. Кто насморк схватит, ты уже со всех ног к нему — готова из-под носа мокроту подтирать, чтоб все видели, какая ты благодетельница. Зачем тебе это? Да затем, что ничем другим удивить не можешь. Ты умна? Ты красива? Характера настойчивого? Шарь не шарь — пусто. А пустоту-то показной добротой покрыть можно. И выходит — доброта у тебя для маскировки!

Вера ошалело глядела на Генку круглыми, как пуговицы, глазами, и ее широкое лицо, казалось, покрылось гусиной кожей. Она пошевелилась, хотела что-то сказать, но лишь со всхлипом втянула воздух, из пуговично-неподвижных глаз выкатились на посеревшие щеки две слезинки.

— Ха! Плачешь! Чем другим защитит себя? Одно

спасение — пролью-ка слезы. Не разжалобишь! Я еще не все сказал, еще до донышка твоего не добрался. У тебя на донышке-то не так уж пусто. Куча зависти там лежит. Ты вот с Наткой в обнимочку сидишь, а ведь завидуешь ей — да, завидуешь! И к Юльке в тебе зависть, и к Игорю... Каждый чем-то лучше тебя, о каждом ты, как обо мне, наплела бы черт-те что. Добротой прикрываешься, а первая выскочила, когда разрешили, — можно дерьмом облить...

Вера ткнулась в Наткино плечо, а Юлечка выкрикнула:

— Гена!

— Что — Гена?

— Ты же не ее, ты себя позоришь!

— Перед кем? Перед вами? Так вы уже опозорили меня, постарались! И ты старалась!

— Сам хотел, чтоб откровенно обо всем...

— Откровенно?.. Разве ложь может быть откровенной!

— Я говорила, что думала.

— И я тоже... что думаю.

— Не надо нам было...

— Ага, испугалась! Поняла, что я сейчас за тебя возьмусь!

И без того бледное точеное личико Юлечки стало матовым, нос заострился.

— Давай, Гена. Не боюсь.

— Вот ты с любовью лезла недавно...

— Ты-ы!..

— А что, не было? Ты просто так говорила: пойдём вместе, Москву возьмем?

— Как тебе не стыдно!

— А притворяться любящей не стыдно?

— Я притворялась?..

— А разве нет?.. Сперва со слезами, хоть сам рыдай, а через минуту — светлячок-себялюбец. Чему верить — слезам твоим чистым или словам?.. И ты... ты же принципиальной себя считаешь. Очень! Только вот тебя, принципиальную, почему-то в классе никто не любил.

— Как-кой ты!..

— Хуже тебя? Да?.. Я себялюбивый, а ты?.. Ты не из себялюбия в школе надрывалась? Не ради того, чтоб первой быть, чтоб хвалили на все голоса: ах, удивительная, ах, необыкновенная! Ты не хотела этого, ты возмущалась, когда себялюбие твое ласкали? Да десять лет на голом себялюбии! И на школу сегодня напала — зачем? Опять же себялюбие толкнуло. Лезла, лезла в первые и вдруг увидела — не вытанцовывается, давай обругаю.

— Как-кой ты!..

Бледная от унижения Юлечка — осунувшаяся, со вздрагивающими веками, затравленным взглядом.

Не выдержал Игорь:

— Совсем свихнулся!

И Генка качнулся от Юлечки к нему:

— Старый друг, что ж... посчитаемся.

Игорь криво усмехнулся:

— Не до смерти, не до смерти, пожалей...

Генка с высоты своего роста разглядывал Игоря, сидящего на краешке скамьи бочком, с вызывающим изломом в теле — одно плечо выше другого, крупный нос воинственно торчит.

— А представь, — сказал Генка, — жалею.

— Вот это уж и вправду страшно.

— Нож в спину... Я — тебе?! Надо же придумать такое. А зачем? Вот вопрос.

Игорь, не меняя неловкой позы, презрительно отмолчался.

— Да все очень просто: на гениальное человек нацелен. Искренне, искренне о себе думаешь — Цезарь, не меньше!

— Тебе мешает, что кто-то высоко о себе...

— Цезарь... А любой Цезарь должен ненавидеть тех, кто в нем сомневается. Голову отрубить, Цезарь, мне не можешь, одно остается — навесить что погаже: такой-сякой, нож в спину готов, берегитесь!

— Ты же ничего плохого за моей спиной обо мне не говорил, дружил и не продавал?

— Да почему, почему сказать о тебе плохо — преступление? Неужели и в самом деле ты думаешь, что тебя в жизни — только тебя одного! — станут лишь



хвалить? И никого не будет талантливей тебя, крупнейей? Ты самый-рассамый, макушка человечества! Да?

— Я себя и богом представить могу. Кому это мешает?

— Тебе, Цезарь! Только тебе! Уже сейчас тебя корчит, что не признают макушкой. А вот если в художественный институт проскочишь, там наверняка посильней тебя, поспособней ребята будут. Наверняка, Цезарь, им и в голову не придет считать тебя макушкой. Как ты это снесешь? Тебе же всюду ножи в спину мерещиться станут! Всюду, всю жизнь! От злости сгоришь! Будет вместо Цезаря головешка. Ну разве не жалко тебя?

Генка нависал над Игорем; тот сидел, вывернувшись в неловком изломе, выставив небритый подбородок.

— Ловко, Генка... мстишь... за нож в спину...

— Больно нужно. И незачем. Ты же сам с собою расправишься... Под забором умру... Не знаю, может, и в мягкой постели. Знаю, от чего ты умрешь, Цезарь недоделанный. От злости!

Игорь коченел в изломе, блуждал глазами.

— Ну, спасибо, — сказал он сипло.

— За что, Цезарь?

— За то, что предупредил. Честное слово, учту.

Генка оскалился:

— Исправишься? Гениальным себя считать перестанешь?

— Хотя бы...

— Давно пора. Какой ты, к черту, Цезарь!

Матовые фонари висели в обложных сияющих облаках листья, лицо Генки под их сильным, но бесцветным светом, отбрасывающим неверные тени, было бескровно-голубым, кривящиеся губы черными. Изломанно сидящий Игорь перед ним.

— Рад?! — наконец выдохнул Игорь.

Генка сильней скривил рот и ничего не ответил.

— Рад, скотина?!

И Генка оскалился. Тогда Игорь вскочил, задыхаясь, закричал в смеющееся голубое лицо:

— Я же не палачом, не убийцей мечтал!.. Мешаю! Чем?! Кому?!

Генка скалил отсвечивающие зубы.

— И ты мечтай! Кто запрещает?! Хоть Цезарем, хоть Наполеоном, хоть Христом Спасителем! Не хочешь! Не можешь! И другие не смей!.. Скотина завистливая!..

Взлохмаченный носатый Игорь, дергаясь, выплясывал перед долговязым Генкой. Тот слушал и скалил зубы.

## 15

— Дадим себе отчет: о чем мы сейчас мечтаем? Только о том, чтоб лучше готовить учеников? Нет! Готовить лучших людей! Мечтаем усовершенствовать человеческую сущность. А об этом мечтали с незапамятных времен. Можно сказать, мечта рода людского.

Решников хмыкнул:

— Гм!.. Не по Сеньке шапка. Задача не школьного масштаба.

— Не школьного?.. А разве школа как общественное учреждение не масштабное явление? Укажите такое место на карте, где бы не было школы. Назовите хоть одного человека, который бы сейчас прошел мимо школы. Кому и заниматься масштабными задачами, как не вездесущей школе с ее миллионной армией учителей.

— Но ты начал с того, что мы не верим сами себе, — напомнила Ольга Олеговна Иннокентию Сергеевичу.

— Не верим потому, что никто из нас не чувствует себя бойцом великой армии, каждый воюет в одиночку. Вот ты, Ольга, завуч школы, много мне можешь помочь?.. Тем более что ты по образованию историк, тогда как я преподаю математику. А много ли помогает мне горно с его методическим кабинетом? И от областных организаций, и от нашего министерства нагоняев — да, жду, требований, приказов — да, но только не помощи! Я боец великой

просветительной армии, нас миллионы, но я, как и каждый из этих миллионов, один в поле воин. Один!.. Школа — масштабное явление, но я-то этого никогда не чувствую.

— И кинолентой рассчитываешь объединить нас, одиночек? — спросил с усмешкой Решников.

— Хотя бы! Если кинолента несет в себе знания и опыт лучших учителей.

— Если лучших!.. На практике-то мы часто сталкиваемся с иным. Разве не выпускаются сейчас плохие учебники, почему же не быть плохим учебным кинолентам? У этой песенки два конца.

— Первый паровоз, первый многоверетенный прядильный станок тоже попервоначалу были крайне несовершенными, но вытеснили же они в конце концов ломового извозчика и пряху-надомницу, — спокойно возразил Иннокентий Сергеевич.

— Эге! Ты, вижу, мечтаешь совершить в педагогике промышленную революцию!

— Разумеется. А зачем нужна тогда паровая машина, если она не совершит переворота?

Наступило неловкое молчание.

Иннокентий Сергеевич сидел, расправив плечи, высоко подняв асимметричное лицо, над измятой, стянутой рубцами скулой жил, настороженно поблескивал светлый глаз.

Ольга Олеговна исподтишка приглядывалась из своего угла: двадцать лет, считай, вместе, а не подозревала, что он, Иннокентий, недоволен школой. Один из самых благополучных учителей. Благополучные тяготятся своим благополучием. Юлия Студенцева тоже была самой благополучной ученицей в школе.

— Хе-хе! — неожиданно колыхнулся на своем стуле директор Иван Игнатьевич. — Чем мы тут занимаемся? В облаках витаем. Мосты воздушные возводим. Хе-хе! Всемирные проблемы, революционные преобразования... А не пора ли нам спуститься на грешную землю, друзья?..

Игорь выкричался и потух, отвернулся от Генки — руки в карманах, взлохмаченная голова втянута в плечи, одна нога нервно подергивается. Генка, сведя белесые брови, уже без улыбки, хмуро глядел Игорю в затылок.

Юлечка, не спускавшая с Генки блестящих глаз, снова выдохнула:

— Н-ну, как-кой ты... опасный!

И Генка вскипел:

— Думали, барашек безобидный, хоть стриги, хоть на куски режь — снесу! Я вам не Сократ Онуцин!

— Старик!.. За что?..

Генка досадливо повел на Сократа плечом:

— Тебя всего грязью обложили — отряхнешься да песенку проблеешь.

— Он взбесился, фратеры!

Сократ, прижимая к животу гитару, подавленно оглядывался.

— Что я ему плохого сделал, фратеры?

Игорь Проухов изучал землю и подергивал коленом.

Напружиненно поднялась Натка — вскинутая голова, покатые плечи.

— С меня хватит! Я пошла.

И Генка рванулся к ней:

— Нет, стой! Не уйдешь!

Она надменно повела подбородком в его сторону:

— Силой удержишь?

— И силой!

— Ну попробуй.

— Бежишь! Боишься! Знаешь, о чем рассказывать буду?

Натка ужаленно развернулась:

— Не смей!

— Ха-ха! Я же трус, не посмею — побоюсь.

— Генка, не надо!

— Ха-ха! Мне хочется — и что ты тут сделаешь?!

— Генка, я прошу!..

— Ага, просишь, а раньше?.. Раньше-то пинала — трус, размазня!

— Прошу, слышишь?

— А ты на колени встань, может, пожалею.

— Совсем свихнулся!

— Да! Да! Свихнулся! Но не сейчас, чуть раньше, когда ты меня... Ты! Хуже всех! Злей всех! Всех обидней!

— Очнись, сумасшедший!

— Очнулся! Всю жизнь как во сне прожил — дружил, любил, уважал... Теперь очнулся!.. Слушайте!.. Ничего особенного — картина с натуры, моментальный снимочек...

— Не-го-дай!

— Негодяй! Да! Особенно перед тобой. Я же почти два года в твою сторону дышать боялся. Если ты в классе появлялась, я еще не видел тебя, а уже вздрагивал. Негодяй и трус — верно! Даже когда издали на тебя глядел, от страха обмирал, но глядел, глядел... Как ты голову склоняешь, как ты плечом поведешь... Я, негодяй, смел думать, что лучше ничего, чище ничего на всем, на всем свете! И ты меня, негодяя, мордой за это, мордой! И вправду, чего тебе жалеть меня.

— Гена-а... — дрогнувшим голосом. Натка вдруг вся обмякла, словно из нее вынули пружину. — Пошли отсюда. Слышишь, вместе... Хватит, Гена.

— Ага, будь послушненьким, чтоб потом снова всем: трус, жалок, хоть в какой узелок свяжу!.. Нет, Натка, теперь не обманешь, ты с головой себя выдала. Красивая, а душа-то змеиная! Как раньше любил, так теперь ненавижу! И лицо твое, и тело твое, которое ты мне...

— За-мол-чи!!!

— Злись! Злись! Кричи! Мне даже поиграть с тобой хочется... в кошки-мышки. Ну, не буду играть, лучше сразу... Слушайте: это недавно было, после экзаменов по математике...

— Прошу же! Прошу!

— Пошел я на реку, и, конечно, я, негодяй, шел по бережку и думал... о ней. Я же всегда о ней ду-

мал, каждую минуту, как проснусь, так и думаю, думаю, раскисаю... Значит, иду и думаю. И вдруг...

— Последний раз, Генка! Пожалеешь!

— Смотрите, снова напугать хочет. Как страшно!.. И вдруг вижу в воде у самого бережка — она...

— Рассказывай! Рассказывай! Весели! Давай! — закричала Натка, и ее крик отозвался где-то в глубине ночи смятенно-суматошным «вай! вай! вай!».

— Купается... Из воды только плечи и голова. Меня-то она раньше заметила — смеется...

— Давай! Давай! Не стесняйся!

«Вай! вай! айся!» — отозвалась ночь.

— Я же не ждал, я только думал о ней. А потом — я трус... Встал я столбом и рот раскрыл как дурак — ни туда ни сюда, «здравствуй» сказать не могу...

— О-о-о! — застонала Натка.

— А она знай себе смеется: уходи, говорит, я голая...

Натка всхлипнула и схватилась руками за горло — изломанные брови, растянутый гримасой рот, преобразившаяся разом, судорожно-некрасивая.

— Голая... Это она-то, на которую издалека взглянуть страшно. Уходи!.. Кто другой — не трус, не жалкий слюнтяй, — может, ближе бы подошел, тарыбары, стал бы заигрывать. А я не мог. И как тут не послушаться — уходи. На улице издалека вижу — вся улица сразу меняется. И я... я задом, задом да за кусты. Там, за кустами, встал, дух перевел и честно отвернулся, чтоб нечаянно как-нибудь, чтоб, значит, взглядом нехорошим... Но уши-то не заткнешь, слышу — вода заплескалась, трава зашуршала, значит, вышла из воды... И рядом же, пять шагов до кустика... Она! И холодно мне, и жарко...

Натка медленно опустила от горла руку, низко-низко склонила голову — плечи обвалились, спина горбилась.

— Шевелилась она, шевелилась за кустом, и вот... вот слышу: «Оглянись!» Да-а...

Натка горбилась и каменела, лица не видно, только гладко расчесанные на пробор волосы.

— Да-а... Я оглянулся. Я думал, что она уже оделась... А она... Она как есть... Я и в одежде-то на нее... А, черт! Об одном талдычу — ясно же!.. Она вся передо мной, даже волосы назад откинула. И небо синее-синее, и вода в реке черная-черная, и кусты, и трава, и солнце... Она, мокрая, белая, — ослепнуть! Плечи разведены, и все распахнуто — любуйся! И зубов полон рот, смеется, спрашивает: «Хороша я?»

— Мразь! — дыханием сквозь зубы.

— Сейчас — может быть. Сейчас! Но не был мразью! Нет! Глядел. Конечно, глядел! И захотел бы, да не смог глаз оторвать. И шевельнуться не мог. И оглох. И ослеп совсем... Солнце тебя всю, до самых тайных складочек... Горишь вся сильнее солнца, босые ноги на траве, руки вниз брошены, платье скомканное рядом, и улыбаешься... зубы... «Хватит. Уходи». То есть хорошего понемножку... И я послушался. А мог ли?.. Тебя!.. Тебя не послушаться, когда ты такая. Мог ли?.. А теперь-то понимаю — ты хотела, чтоб не послушался. Хотела, теперь-то знаю.

— Мразь! Недоумок!

— Опять ошибочка. Тогда — да, недоумок, тогда — не сейчас. Сейчас поумнел, все понял, когда ты меня трусом да еще жалким назвала. Мог ли я думать, что ты не богиня, нет... Ты просто самка, которая ждет, чтоб на нее кинулись...

Натка натужно распрямилась — лицо каменное, брови в изломе.

Вместо нее откликнулась Юля Студёнцева:

— Господи! Как-кой ты безобразный, Генка! — В голосе брезгливый ужас.

— По-самочьи обиделась, свела сейчас счеты: трус, мол, а почему — не скажу... Это не безобразно? Ну так мне-то зачем в долгу оставаться? Да и в самом деле теперь себя кретином считаю: такой случай, дурак, упустил!.. До сих пор в глазах стоишь... Груды у тебя в стороны торчат, а какие бедра!

И Натка вырвалась из окаменелости, большая, гибкая, метнулась на Генку, вцепилась ногтями, крашенными к выпускному празднику, в лицо.

— Подлец! Подлец! Подлец!!!





Голова Генки моталась из стороны в сторону. Наконец он перехватил руки, секунду сжимал их, дико таращась в Наткины брови, на его щеках и переносье проступали темные полосы — следы ногтей.

— Тьфу!

Натка плюнула в его исцарапанное лицо. Генка с силой толкнул ее на скамью. Испуганно взвизгнула подмятая Вера Жерих.

Задев плечом не успевшего откаться Игоря, Генка кинулся к обрыву.

С откоса из темноты долго был слышен бестолковый шум суматошных шагов.

Плотная, плоская ночь — как стена, как конец всего мира. Ночь пахла речной илистой сыростью.

## 17

Повернувшись в сторону бесстрастно-сумрачного учителя математики пухлой грудью, красным лицом, возбужденный, весело недоумевающий, Иван Игнатьевич всплескивал большими руками, сыпал захлебывающейся скороговорочкой:

— Иннокентий Сергеевич! Как же вы — вы! — на маниловщину сорвались? Лапушка Манилов мосты до Петербурга мысленно строил, вы же мечтаете — хорошо бы деткам нашим увлекательные учебные картинки показывать, знания по самому высокому стандарту без труда выдавать. Если б это говорили не вы, а кто-нибудь из молодых педагогов, хотя бы наш новый географ Евгений Викторович, вчерашний студент, я бы нисколько не удивился. Но вы — человек трезвый, разумный, многими годами на деле проверенный, и нате вам — в миражи ударились!

— В миражи? — Иннокентий Сергеевич оборвал веселую директорскую скороговорку. — А рассчитывать, что можно поправить нашу педагогику кустарным способом, мотыжа в одиночку свой садик, не вера в миражи?

— Мой садик — сугубая реальность, — сухо бросил со стороны Решников, — а твои упования, согласись, из области фантазии.

— Не такая уж фантастика — показ учебных фильмов. Мы и сейчас уже их время от времени показываем, — напомнил Иннокентий Сергеевич.

— Но пока революцию они нам не делают. Не-ет! — снова обрушился Иван Игнатьевич. — Революция-то случится — если случится еще! — когда специальные киностудии по всей стране станут выпускать не единицами, а тысячами такие фильмы. От нас сие не зависит, значит, нам ждать прикажете — кто-то когда-то сверху революцию сотворит. А до тех пор нам сложа ручки сидеть, Иннокентий Сергеевич, дорогой? Дети-то не смогут ждать этой высокой революции, они к нам стучаться будут — принимайте, учите, воспитывайте, мы растем, развития требуем.

— Ну что ж, будем по старинке-матушке — каждый в своем закутке, в одиночку...

— Да нет, нет! Не получается у нас в одиночку! Да оглянитесь, как живем, — трясем друг друга, на ковер бросаем. Вон сейчас Ольга Олеговна Зою Владимировну бросила на лопатки, Павел Павлович — Ольгу Олеговну, вы, Иннокентий Сергеевич, — Павла Павловича, я вот вас пробую положить. И это называется жить в одиночку? Где уж...

— Бросаем на ковер, а результат? — резко спросила Ольга Олеговна из своего угла.

— А разве мы в таких битвах не добивались результатов? Вспомните, какой была наша школа лет семь тому назад. Нас тогда душили — даешь высокий показатель, и баста! Отметки приходилось завышать, полных балбесов боялись на второй год оставить, до отчаяния доходили — думалось, рассадником невежества школа станет. И сходились вот так, и на ковер друг друга швыряли, и сплачивались, и разваливались, снова сплачивались, пока не победили. Теперь не показатели, а какие-никакие, но твердые знания даем. Результат это? Да! Но и этого, называется, мало — недель ученика, кроме знаний, еще высокими личными качествами! Вот сейчас у нас первая битва прошла, маленькая, так сказать, примерочная и пока безрезультатная. Сколько их будет, этих битв? Не знаю. Скоро ли поймем за кончик

хвоста желаемый результат? Тоже не знаю. Но убежден в одном: рано ли, поздно — чего-то добьемся. Тянем-потянем — и вытянем репку. Сами! Не ожидая, что кто-то нам руку протянет.

— Завидный у вас характер, Иван Игнатьевич, — произнесла Ольга Олеговна, подымаясь с места.

— Тренированный, Ольга Олеговна, тренированный. Вам-то известно, что меня чаще других на ковер бросают. Привычка выработалась духом не падать... Есть предложение: кончить на сегодня нашу вольную борьбу, разойтись по домам. Время-то позднее.

## 18

На скамье под освещенными липами металась Натка, каталась лбом по деревянной спинке:

— Он!.. Он!.. Я же его любя, а он!.. Сам-кой! О-о-о!..

Вера Жерих топталась над ней:

— Наточка, он же не только тебя, он всех... И меня тоже... А я, видишь, ничего...

— Перед всеми!.. Зачем?! Зачем?! И все вывернул!.. Не было, не было у меня тогда в мыслях дурного! Он — сам-ка!.. Подлец!

Игорь нервно ворошил свою взлохмаченную шевелюру, ходил, как маятник, от одного конца скамьи до другого, слепо натыкаясь на Сократа, прижимающего к животу гитару, на Юлечку Студёнцеву, вобравшую голову в кисейные плечики.

— Лучше бы убил меня, чем так!.. Лучше! Честней!

— Наточка, он же всех...

Сократ, не спускавший глаз с Натки, задумчиво спросил:

— А меня-то он за что? А?..

Никто ему не ответил, каталась лбом по твердой спинке скамьи Натка.

— Как-кой он! — Юлечка вся передернулась — от белых бантов в косичках до щиколоток.

— Лучше бы убил!

Игорь внезапно остановился, развернулся всем телом, уставил твердый нос на бьющуюся в истерике Натку.

— Он и есть убийца, — заговорил Игорь. — Только бескровный. Такие вот высмотрят в человеке самое дорогое, без чего жить нельзя, и...

— Как-кой он безобразный!

— Нен-на-в-ви-жу! Нен-на-в-ви-жу! — металась Натка.

— Разве не все равно, каким путем убить жизнь — ножом, ядом или подлым словом. Без жалости подлец! И ловко, ловко!..

— Меня-то он за что? Я, фратеры, даже спас его. Яшка Топор подстраивал, я шепнул Генке... — Сократ, как младенца, укачивал гитару.

— У всех нашел самое незащищенное, самое дорогое — и без жалости, без жалости!.. Всех, и даже Натку...

Натка перестала метаться, припав лбом к спинке скамьи, замерла, согнувшись.

Юлечка снова передернулась:

— Как-кой он, однако... Бесстыдный!

— Фратеры, а ведь Яшка Топор снова его стережет, — объявил негромко Сократ.

— Два сапога — пара, — процедил сквозь зубы Игорь.

Натка оторвалась лбом от спинки скамьи, упираясь рукой, с усилием распрямилась — выбившиеся волосы падают на глаза, нос распух, губы вялые, бесформенные.

— Я сегодня такое узнал, фратеры... Не хотел говорить Генке сразу, думал — праздник испорчу. Хотел шепнуть, когда домой пойдем.

Игорь с досадой передернул плечами:

— Какое нам до них дело!

— Мне — дело! — произнесла Натка.

У нее твердело лицо, губы сжались, под упавшими волосами скрытно тлели глаза.

— Мне — дело! — повторила она громче, с гневным звоном в голосе.

— А-а, ну их! Пусть перегрызутся. — Игорь неприязненно отвернулся в сторону обрыва.

— И тебе есть дело! — Спрятанные за упавшими волосами Наткины глаза враждебно ощупывали Игоря.

Игорь не ответил, упрямо смотрел в сторону.

— Убийца же — сам сказал. Убийцу наказывают. А ты можешь?..

— При случае припомню.

— Не ври! Кишка у тебя тонка. А вот Яшка Топор может...

— Не хочешь ли, чтоб я помогал Яшке?

— Яшка сам справится, лишь бы не помешали.

— Ну и пусть справляется. Плевать. Для меня теперь Генка чужой.

Под спутанными волосами — враждебные глаза. Обернувшись на Натку, Игорь невольно поежился. Натка спросила:

— Вдруг кто из нас захочет помешать Яшке, как ты тогда?

— Никак. Мне-то что.

— Врешь! Врешь!.. Нен-на-виж-жу! И ты нен-нави-дишь!

— Да чего ты от меня хочешь?

— Хочу, чтобы Яшке не помешали! По старой дружбе, из жалости или просто так, из благородства сопливого. Хочу, чтоб все слово друг другу дали. Сейчас! Не сходя с места! От тебя первого хочу это слово услышать!

— Лично я ни Яшке, ни Генке помогать не собираюсь.

— Даешь слово?

— Пожалуйста, если так тебе нужно.

— Даешь или нет?

— Да слышала же: у нас с Генкой все кончено, с какой стати мне к нему бежать.

Натка минуту вглядывалась в Игоря недружелюбно мерцающими из-под упавших волос глазами, медленно повернулась к Сократу:

— А ты?.. Ты хотел шепнуть?.. Снова не хочешь?

— Я как все, фратеры. Генка и меня... ни за что ни про что...

Натка подалась к Вере:

— А ты?

— Что, Наточка?

— Что? Что? Не понесешь завтра на хвосте?

— Но Яшка, Наточка... Он же зверь.

— И верно, фратеры, Яшка на этот раз шутить не будет... Он страшненькое готовит.

И Натка вскипела:

— Уже сейчас раскисли! А завтра и совсем... Разжалобимся, перепугаемся, вспомним, что Яшка злой, Яшка страшненький, и — простим, простим, спасти наперегонки кинемся! Нен-на-виж-жу! Всех буду ненавидеть!

— Мое дело предупредить, фратеры. А там решайте. Как все, так и я. Мне-то зачем стараться перед Генкой.

— Ну, Верка?

— Наточка, если уж все...

— И все-таки жаль?

— Противен он мне.

— Даешь слово, что ни завтра, ни послезавтра — никогда не проговоришься?

— Да... даю.

Натка развернулась к Юлечке:

— Ты?

Юлечка, подняв кисейные плечики, стояла с прижатыми к груди кулачками, бледная, с заострившимся носом, с губами, сведенными в ниточку.

— Что тянешь? Отвечай!

— А если Яшка покалечит... или убьет?

— Если б Яшка звал Генку в карты играть, то и разговора бы не было.

— Даже если убьет?..

Натка медленно-медленно поднялась со скамьи, раскосмаченная, с упрятыми глазами, распухшим носом, искривленным ртом, шагнула на Юлечку:

— Жалеть прикажешь? Мне — его? Весь город завтра узнает, пальцами показывать станут: сук-ка!.. Мне жить нельзя, а ему можно? Да я бы его своими

руками!.. Нен-на-виж-жу! Не смей!.. Не смей дорогу перебегать! Только шепни... Мне терять нечего!

Натка кричала, напирала грудью на побледневшую до голубизны, сжимавшую на груди маленькие кулачки Юлечку.

Игорь не выдержал, сердито крикнул:

— Хватит! О чем мы — Яшка, Генка... Да в первый раз такой треп слышим? Кто-то сболтнул, Сократ услышал, а мы заплясали. Ничего не случится, вот увидите — звон один.

— Нет, фратеры, не звон. — Узкое лицо Сократа вытянуто, голос приглушен, руки, держащие гитару, беспокойны. — Точные сведения, верьте слову.

— Кто тебе накапал? Не темни!

— Скажу. Только — могила. Если Яшка дознается, был Сократ Онучин — и нет его. Я не Генка, Яшке меня — раз чихнуть.

— Да кому нужно Яшке на тебя капать! Здесь Яшкиных приятелей нет. Выкладывай!

— Пашку Чернявого из Индии знаете?

— Это ты там всех знаешь, мы к ним в гости не ходим.

— Маленький такой, рожа в веснушках, волосы белые. Потому и прозвали Чернявым, что совсем на чернявого не похож. Он у меня, фратеры, уроки берет... по классу гитары. Так вот он мне под страшным секретом... Из верных рук, фратеры, из верных, верьте слову.

— Что сказал тебе Чернявый?

— Генка гоняет на велосипеде по Улыбинскому шоссе. Так?

— Ну так.

— А шоссе мимо чего идет, помните?

— Шоссе длинное.

— Мимо Старых Карьеров, фратеры. Вот когда Генка мимо Карьеров погонит, этот Пашка Чернявый и выскочит...

— Один? На Генку?

— Ты слушай... Будет Пашка в рваной рубахе и портрет в крови. Специально разукрасят. Значит, выскочит он таким красивым и закричит: «Помо-

гите! Убивают!» Ну а Генка мимо проскочит, не остановится? Нет уж, сами знаете, козлом поскачет, куда укажут. «Помогите!» Чего ему не помочь, когда самбо в руках. Но в Карьерах-то его и встретят... Яшка с кодлой. В прошлый раз Генка Яшку красиво приложил. Теперь Яшка все учтет. Так что, ой, мама, не жди меня обратно — самбо не поможет.

## 19

Уже зашевелились, чтоб подняться, проститься, разойтись по домам, закончить затянувшийся вечер, а вместе с ним и очередной учебный год. Обычный год, напряженно-трудный, принесший под занавес неожиданное огорчение.

Но тут все увидели, что Нина Семеновна, забыто сидевшая в стороне, собранным в комочек платочком промокает слезы с наведенных ресниц — плачет втихомолку.

— Что с вами, Нина Семеновна?

— Да так, ничего.

Ольга Олеговна устало опустилась рядом с Ниной Семеновной:

— Сегодня нам всем не по себе...

Нина Семеновна, комкая платочек, прерывисто вздохнула:

— Все о Юлечке думаю, и вот стало так жаль...

Директор Иван Игнатьевич укоризненно покачал головой:

— Бросьте-ка, бросьте! Юлию Студёнцеву жалко. Не страдайте за нее. Девушка настойчивая, сами знаете, свое возьмет.

— Да мне не ее, а себя... — Нина Семеновна выдавила виноватую улыбку.

Ольга Олеговна заглянула под ее опущенные ресницы:

— О ней думаете — себя жаль?

— Я же на Юлечку надеялась очень. Да, все эти годы... Глупость, конечно, но мечтала: открою утром газету, а там ее имя, включу вечером телевизор — о ней говорят... Нет, нет, не слава мне была



нужна! Есть люди, необходимость которых очевидна, они время несут на своих плечах. Можно ли, скажем, наступление нашего двадцатого века представить без Марии Кюри... Думалось, вдруг да Юлечка... А я-то ее у порога школы встретила. От меня значительный человек через времена двинулся, как большая Волга от маленького источника. И вот сегодня... Сегодня я поняла — не случится. Да, да, вы правы, Иван Игнатьевич, за Юлечку беспокоиться нечего — свое возьмет. Но только свое, а на меня-то уже не хватит. Наверное, будет толковым инженером или врачом, каких много. А значит, я не исключительной удачи учитель, нет... таких много. Право, стыдно даже, какие глупости говорю, но настроила себя, чуть ли не все десять лет настраивала и ждала — будет, будет у меня сверхудача! Теперь вот поняла, и до слез... Не смейтесь, пожалуйста.

Все молчали, рассеянно глядели каждый в свою сторону.

— Молоды вы еще, очень молоды! — вздохнул Иван Игнатьевич. — Кто из нас в молодости не мечтал великана в мир выпустить из своих рук!

— И, как правило, взмывали не те, от кого ждешь полета, — с горечью проговорила Ольга Олеговна. — Никто из нас не отличал особо Эрика Лобанова, а нынче профессор, и уже известный.

— Но это... — Нина Семеновна даже задохнулась от волнения, — это же доказательство нашей близорукости — не разглядеть в человеке, чем он значителен. Так можно и гения просмотреть!

Наверное, впервые за весь вечер Ольга Олеговна улыбнулась, покачала головой, увенчанной тяжелой прической:

— Мы не провидцы — обычные люди. Самые обычные. Предвидеть гения, тем более научить гениальному, — нет, нам не по силам. Научить бы самому простому, банальному из банального, тому, что повторялось из поколения в поколение, что вошло во все расхожие прописи — вроде уважай достоинство ближнего, возмущайся насилием... Собственно, научить бы одному: не обижайте друг друга, люди!

— Научить?! — воскликнула Нина Семеновна. — Кого? Юлечку! Гену Голикова! Игоря Проухова! Они все, все еще в детстве были удивительно отзывчивы на доброту. С самого начала, еще до школы, все добры от природы. И уж если они станут обижать друг друга, то тогда... Тогда остается только одно — повеситься на первом же гвозде от отчаяния.

Иннокентий Сергеевич повернул к свету изрытую сторону лица, тронул свой страшный шрам.

— Не исключено, что вот это украшение подарил мне вовсе не злой от природы человек. И я должен был каких-то детей оставить сиротами, не ведая озлобления.

И Нина Семеновна с испугом отвела глаза, с жаром проговорила:

— Я готова каждый день повторять: Господи, дай мне силы отдать жизнь тем, кого учу! Господи, не обмани меня, сделай их всех счастливыми!

— Стоит ли молиться! — отозвалась Ольга Олеговна. — Мы и без молитв делаем это — отдаем жизнь.

— Вот именно. И Зоя Владимировна тоже, — напомнил Иван Игнатьевич.

Ольга Олеговна встала, засмотрелась в темное распахнутое окно, за которым лежала притихшая улица.

— Мальчики и девочки, мальчики и девочки, как вы еще зелены! Нет, не готовы к жизни... — Помолчала и, не отрываясь от окна, спросила: — Интересно бы послушать, что они сейчас говорят о своем будущем?

— Пусть поют и веселятся. Думать о будущем им предстоит завтра.

Учителя задвигали стульями, стали подыматься.

## 20

Фонари освещали уголок сквера под липами — пять человек и пустая скамья. Сократ замолчал.

Юлечка, выставив на Натку острый подбородок, спросила:

— Слышала?

— Слышала! — Ответ с вызовом. — Ну и что? Я ненавижу его! Раньше любила. Открыто говорю: лю-би-ла! Теперь нен-навижу! Не прощу!

«Щу!» — отозвалось в ночи.

— Мне даже кошку жаль, когда ее бьют и калечат. Тут человек.

— Пусть каждый как хочет, Натка, — вступился Игорь.

— Опять заело у тебя, исусик. Убийцей же его называл, теперь простить готов. Трепач ты!

— Яшке помогать — не жди, не буду!

— Так помогай Генке! А сам говорил — они друга друга стоят, два сапога...

— Я к Генке не побегу, но других за руку хватать не стану.

— А я... — Юлечка задохнулась. — Я и Яшку бы... Да! Предупредила, если б кто-то убивать его собирался.

— Побежишь? Скажешь? Только попробуй!

— А что ты со мной сделаешь? За волосы удержишь?

— Попробуй... Все попробуйте! Только заикнитесь!

— Игорь! Ты слышишь? Игорь! Ты хочешь художником... Наверно, радовать людей хочешь. Наверно, думаешь: посмотрят люди твои картины — и добрей станут. Разве не так, Игорь? Добрей! А сам сейчас... Пусть бьют человека, пусть калечат, даже убить могут — тебе плевать. Сам не пойду, других держать не буду, моя хата с краю... Игорь! Пойдем к Генке вместе!

Прижимая ладошки к груди, натянуто-хрупкая, дрожащая, Юлечка тянулась к Игорю, на выбеленном лице просяще горели темные глаза. Игорь морщился и отводил взгляд.

— Черт! Ты думаешь, он шевельнул бы пальцем, если б нас Яшка...

— Стари-ик! — слабо изумился Сократ. — Надо быть честным, старик! Генка за нас всегда. Даже за незнакомых на улице... И ты знаешь, как он Яшку приложил.

— То раньше... Раньше он за меня готов был черту рога сломать. А вот теперь... сомневаюсь.

— Тут что-то не то, фратеры. «Раньше — не сомневаюсь». Значит, хорош был раньше, а на него накинудись. Зачем? Что-то не то...

— А кто накинудись? Кто?! — с отчаянием закричал Игорь. — Я на него? Ты не слышал, как я говорил ему — не будем, не надо, кончим! Нет! Сам, сам напрашивался! Угрожал еще — не жди, не пожалею! А что ему сказали? Да то, что было. А он про нас понес что? Про каждого! На меня как на врага. И на тебя тоже, хотя ты ни слова плохого о нем... Все ему вдруг враги. И нас, врагов, ему любить и защищать? Да смешно думать! Ну а мне-то зачем врага спасти? Он мне теперь чужой, посторонний!

Сократ тоскливо промолчал, мигал красными веками, оглаживал гитару.

Юлечка снова подалась на Игоря:

— Пусть он плохой, Игорь. Пусть чужой. Но не кошку — человека... собираются бить!

И снова Игорь сморщился, влез пятерней в растрепанные волосы.

— Ч-черт! Что же делать? Он мне в душу плюнул, а я к нему на полусогнутых...

Натка, каменея губами и скулами, слушала.

— Ну, поговорили? — сказала она резко. — Хватит! Теперь я скажу. Попробуйте помешать Яшке! Только заикнитесь! Пеняйте на себя! Тогда я сама к Яшке пойду, тогда я скажу ему, кто помешал...

Рука Сократа задела за струны, и гитара издала густой, тающий звук.

— Ага! Поняли — Яшка не простит, вместо Генки вас... разукрасит.

— Наточка! — всхлипнула Вера.

— Плоха? Мне теперь на все плевать! Хуже уже не стану.

Натка возвышалась со вскинутой головой, с гневливым мерцанием за упавшими на лицо волосами.

— Фратеры-ы... — тоскливо выдавил Сократ.

Игорь, не подымая глаз, сутулился, казалось, стал меньше ростом. У Юлечки торчит вперед ост-

рый подбородок, глаза остановились, утратили блеск.

— Фратеры-ы!.. Яшка меня первого...

— Иди! — с высоты своего роста кинула Натка Юлечке. — За волосы держать — больно нужно.

И Юлечка, не спуская с Натки остановившихся глаз, тихо произнесла:

— Пойду.

— Юлька! — заволновался Сократ. — Ты Яшку не знаешь, Юлька! Он любого!.. И меня и тебя... Он не посмотрит, Юлька, что ты девчонка.

— Одна пойду. Донеси Яшке...

Сократ поводил зябко плечами, суетливо топтался:

— Игорь! Старик! Скажи ей, дуре... Ты-то знаешь, какой он, Яшка. Она и себя, и всех нас... Меня Яшка первого... Ему убить — раз плюнуть.

— Слышишь, Игорь, — раз плюнуть. Так помогите Яшке, он без тебя не справится!

Игорь дрожащей рукой провел по лицу:

— Да ну вас всех к черту. — Вяло, без энергии: — С ума посходили... — И вдруг вскинулся на Сократа: — Ты что голову тут морочишь? Страшен! Страшен! Убить — раз плюнуть. Да никого он не убьет — ни Генку, ни тебя. Что он, без головы, что он, не понимает — за такое ему вышку врежут. Ну, прочит Генку, если тот сам им раньше руки не переломает.

— Нет, фратеры! Нет! — задохнулся Сократ.

— Он пугает, Юлька! Ничего не случится, цел Генка останется!

— А если случится, тогда что?

— Да Яшка же знает: чуть что — его первого щупать станут. Кому своей головы не жаль!

— Игорь, ты не трясись! Ведь я уже не зову тебя. Я одна все сделаю. Сам не трясись и Сократа успокой, вон как он от страха выплясывает.

— Юль-ка-а... — Сократ заговорил сдавленным шепотом. — Ты сообрази, Юлька, почему Яшка Карьеры выбрал. Думаешь, место глухое, потому... Глухих мест без Карьеров много. А в Старых Карь-

ерах захоронения есть. Слышала — туда из комбината всякую ядовитую пакость свозят. Яшка все продумал, фратеры, стукнут они Генку — и... в яму, за табличку, где череп с косточками, куда даже подходить запрещено. Хватятся — человек пропал, где его искать? Сперва же по реке да по кустам шарить будут. Пока шарашатся, глядишь, яму заполнят, цементом зальют, землей сверху закидают. Захоронения же! А там, говорят, какие-то страшные кислоты, они все разъедают — и мясо, и кости. Был человек да растаял, ничегошеньки от него не осталось. Яшка может каждого так...

Захлебывающийся шепот Сократа оборвался.

Не раз в эту ночь наступали тихие паузы, но такой тишины еще не обрушивалось. Далеко-далеко гудело шоссе, связывающее город с не засыпающим на ночь комбинатом. Сам город спал, разбросав в разные стороны прямые строки уличных фонарей.

И сияла над головой застывшая листва лип, и высился обелиск павшим воинам, и дышала ночь речными запахами.

Генка Голиков... Он только что стоял здесь — белая накрахмаленная сорочка, облегающая широкую грудь, темный галстук, крепкая шея, волосы светлой волной со лба. Обиженный Генка, обидевший других! Рост сто девяносто, лепное лицо, крутой лоб, белесые брови, волосы светлой волной... И в запретном месте заполненные ядовито-зловонными, разъедающими все живое отходами ямы... Для Генки... Генка Голиков — и ямы...

Тихо-тихо кругом, гудит далекое шоссе, спит украшенный огнями город, ночь дышит речной сыростью.

Слово «убить» было произнесено раньше. И не раз. Но до этой тихой минуты никто из вчерашних школьников не в силах был представить себе, что, собственно, это такое.

Теперь вдруг представили. Через несовместимое: Генка — и ямы...

Ольга Олеговна и директор Иван Игнатьевич шли по спящему городу. Иван Игнатьевич говорил:

— Мы вот в общих проблемах путались, а я все время думал о сыне. Да, да, об Алешке... Вы же знаете, он не попал в институт. И глупо как-то. Готовился, и настойчиво, на химико-технологический, а срезался-то на русском языке — в сочинении насадил ошибок. Пошел в армию... Нет, нет, я вовсе не против армии, мне даже хотелось, чтоб парень понюхал воинской дисциплины, пожил в коллективе, чтоб с него содрали инфантильную семейную корочку. Не армия меня испугала, а сам Алешка. Собирался стать химиком, никогда не мечтал о воинской службе, но спокойно, даже, скажу, с облегчением встретил решение, сложившееся само собою, помимо него. Армия-то его устраивает потому только, что там не надо заботиться о себе: по команде поднимают, по команде кормят, учат, укладывают спать. Каждый твой шаг размечен, записан, в уставы внесен — надежно. Что это, Ольга Олеговна, — отсутствие воли, характера? Не скажу, чтоб он был, право, совсем безвольным. Он как-то взял приз по лыжам. Не просто взял, а хотел взять, готовился с упорством, нацеленно, волево. А характер... Гм... Да сколько угодно! Что-что, а это уж мы в семье чувствовали. Но вот что я замечал, Ольга Олеговна, он слишком часто употреблял слова «ребята сказали... все говорят... все так делают». Все носят длинные волосы на загривке — и мне надо, все употребляют словечко «пахан» вместо «отец» — и я это делаю, все берут призы по спортивным соревнованиям — и мне не след отставать, докажу, что не хуже других, волю проявлю, настойчивость. Как все... Так даже не легче жить! Отнюдь! Надо тянуться за другими, а сколько сил на это уходит. Не легче, но гораздо проще. Легкость и простота — вещи неравнозначные. Проще существовать по руководящей команде, но, право же, не обязательно легче.

Ольга Олеговна остановилась.

— Как все — проще жить? — переспросила она. Остановился и Иван Игнатъевич.

Над ними сиял фонарь. Пуста улица, темны громаздящиеся одно над другим по отвесной стене окна, спал город.

— Да ведь мы все понемногу этим грешим, — виновато проговорил Иван Игнатъевич. — Кто из нас не подлаживается: как все, так и я.

— А вам не пришло в голову, что люди из породы «как все, так и я» непременно примут враждебно новых Коперников и Галилеев потому только, что те утверждают не так, как все видят и думают? К Коперникам — враждебно, к заурядностям — доверчиво.

— М-да... Недаром говорится в народе: простота хуже воровства.

— Воровства ли? Не простаки ли становились той страшной силой, которая выплескивала наверх гитлеров? «Германия — превыше всего!» — просто и ясно, объяснений не требует, щекочет самолюбие. И простак славит Гитлера!

— М-да... Но к чему вы ведете? Никак не уловлю.

— К тому, что мы поразительно слепы!

— А именно?

— Целый вечер спорили — дым коромыслом. И на что только не замахивались: обучение и увлечение, равнодушие и преступность, ремесленничество и техническая революция. А одного не заметили...

— Чего же?

— На наших глазах сегодня родилась личность! Событие знаменательное!

— М-да... Но, позвольте, все кругом личности — вы, я, первый встречный, если б такой появился сейчас на улице.

— Все?... Но вы, Иван Игнатъевич, сами только что сказали: кто из нас не грешит — как все, так и я, под общую сурдинку. Смазанные и сглаженные личности — помилуйте! — не нелепость ли? Вроде сухой воды, зыбкой тверди, лучезарного мрака. Личность всегда исключительна, нечто противоположное «как все».



— Если вы о Студёнцевой, так она и прежде была исключительна, не отымешь.

— Она отличалась от остальных только тем, что это «как все» удавалось ей лучше других. И вдруг взрыв — не как все, себя выразила, не устрашилась! Событие, граничащее с чудом, Иван Игнатьевич.

— Ну уж и чудо. Зачем преувеличивать?

— Если и считать что-то чудом, то только рождение. Родилась на наших глазах новая, ни на кого не похожая человеческая личность. Не заметили!

— Как же не заметили, когда весь вечер ее обсуждали.

— Заметили лишь ее упреки в наш адрес, о них говорили, их обсасывали, и ни слова изумления, ни радости.

— Изумляться куда ни шло, ну а радоваться-то нам чему?

— Нешаблонный, независимо мыслящий человек разве не отрадное явление, Иван Игнатьевич?

— М-да... — произнес Иван Игнатьевич, с сомнением ли, с осуждением или озадаченно — не понять.

Они двинулись дальше.

Их шаги громко раздавались по пустынной улице — дробные Ольги Олеговны, тяжелые, шаркающие Ивана Игнатьевича. Воздух был свеж, но от стен домов невнятно веяло теплом — отдыхающие камни нехотя отдавали дневное солнце.

## 22

Слово «убить», которое так часто встречалось в книгах, звучало с экранов кино и телевидения, вдруг обрело свою безобразную плоть.

Натка на пригибающихся ногах, слепо вытянув вперед руки, двинулась к скамье.

Вера сдавленно всхлинула. Игорь — остекленевший взгляд, одеревеневший нос, темный подбородок — стал сразу похож на старичка, даже штаны спадают с худого зада.

Виновато переминался Сократ с гитарой. Юлечка застыла в наклоне — вот-вот сорвется бежать.

А тишина продолжалась. И шумело далеко в ночи за городом шоссе.

Вера всхлинула раз, другой и разревелась:

— Я... Я вспомнила...

— Нам теперь будет что вспомнить, — глухо выдал из себя Игорь.

— Я... Я в кабинете физики... трансформатор... пережгла. Один на всю школу и... дорогой. Генка сказал... — Плечи Веры затряслись от рыданий. — Сказал, это он сделал. Я не просила, он сам... Сам на себя!

— А меня... Помните, меня из школы исключили? — засутился Сократ. — Мне было кисло, фратеры. Мать совсем взбесилась, кричала, что отравится. Кто меня спас? Генка! Он ходил и к Большому Ивану, и к Вещему Олегу. Он сказал им, что ручается за меня... А мне сказал: если подведу, набьет морду.

Игорь судорожно повел подбородком.

— О чем вы? — выкрикнул он сдавлено. — Трансформатор!.. Генка никогда не был таким... Таким, как сегодня! Трансформатор... Вы вспомните другое: я, ты, Сократ, все ребята нашего класса, да любой пацан нашей школы ходил по улице задрал нос, никого не боялся. Каждый знал — Генка заступится. Генка нашим заступником был — моим, твоим, всех! А сам... Он сам обидел кого-нибудь?.. Просто так, чтоб силу показать... Не было. Никого ни разу не ударил!.. И вот нас сегодня...

— Опомнись! — резко оборвала Юлечка. — Мы же раньше его обидели! Все скопом. И я тоже.

— А я... Я ведь не хотела... — заливалась слезами Вера. — Я откровенно, до донышка... Он вдруг обиделся... Не хотела!

— Юль-ка-а! — качнулся Игорь к Юлечке. — Скажи, Юлька, как это мы?.. Чуть-чуть не стали помощниками Яшки.

— Стали! — жестко отрезала Юлечка. — Согласись помочь Яшке. Молчанием.

На скамье в стороне сидела Натка, прямая, одревеневшая, с упавшими на глаза волосами, с увядшими губами.

— Нет, Юлька! Нет! — Тоскливое отчаяние в голосе Игоря. — Нет, не успели! Слава богу, не успели!

— Согласились молчать или нет?

Бледное, заострившееся личико, округлившиеся, тревожно-птичьи глаза в упор. Игорь сжался, опустил взгляд.

— Согласились или нет?!

Игорь молчал, опущенные веки скрывали бегущие зрачки. Молчали все.

Натка, окоченев, сидела в стороне.

— Раз согласились, значит, стали!.. Уже!.. Пусть маленькими, пятиминутными, но помощниками убийцы!

Игорь схватился за голову, замычал:

— М-мы-ы! М-мы-ы — его!..

— А я не хотела! Не хотела! — захлебывалась Вера.

— А я хотел? А другие? М-мы — его!

Игорь мычал и качался, держась за голову.

Натка, деревянно-прямая на скамье, подняла руки, неуверенно, неловко, непослушными пальцами, как пьяная, стала заправлять упавшие волосы. Так и не заправила, обессиленно уронила руки, посидела, мертво, без выражения глядя перед собой, сказала бесцветно:

— Я пойду...

И не двинулась.

Тишина. Далеко за городом шумело шоссе.

Игорь опустил руки, обмяк.

— Юль-ка... — снова просяще заговорил он. — Не были же такими... Нет... Ни Генка, ни мы...

Тишина. Обмерший город внизу — темные кварталы, прямые строчки уличных фонарей да загадочный неоновый свет над вокзалом. Шумело шоссе.

— Юль-ка... Я чувствовал, чувствовал, ты помнишь?

Глядя в сторону, Юлечка ответила тихим, усталым голосом:

— Не лги... Никто из нас ничего не чувствовал... И я тоже... Каждый думает только о себе... и ни в

грош не ставит достоинство другого... Это гнусно... вот и доигрались...

Опираясь на спинку скамьи, Натка наконец с трудом поднялась:

— Я пошла... к нему... Никто не ходите со мной. Прошу.

И опять застыла, нескладно-деревянная, слепо уставясь перед собой.

Все косились на нее, но сразу же стыдливо отводили глаза и... упирались взглядами в обелиск, в мраморную доску, плотно покрытую именами:

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ — рядовой

БАЗАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ — рядовой

БУТЫРИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ — старший сержант...

Обелиск — знакомая принадлежность города. Настолько знакомая, привычная, что уже никто не обращал на нее внимания, как на морщину, врезанную временем, на отцовском лице. Обелиск весь вечер стоял рядом, в нескольких шагах... Сейчас его заметили — отводили глаза и вновь и вновь возвращались к двум столбцам имен на камне с тусклой, выеденной непогодой позолотой.

Нет, выбитые на камне, вознесенные на памятник лежали не здесь, их кости раскиданы по разным землям. Могила без покойников, каких много по стране.

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ — рядовой

БАЗАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ — рядовой... —

и еще тридцать два имени, кончающихся на некоем Яшенкове Семене Даниловиче, младшем сержанте.

Убитые... Умерших своей смертью тут нет. Окаменевшая гордость за победу и память о насилии, совершенном около трех десятилетий назад, задолго до рождения тех, кто сейчас немотно отводит глаза...

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ...

БАЗАЕВ...

Убитые уже не могут ни любить, ни ненавидеть. Но живые хранят их имена. Для того, наверное, чтоб самим ненавидеть убийство и убийц.

Бывшие школьники отводили глаза...

Натка качнулась:

— Я пошла...

Негнущаяся, с усилием переставляя ноги, она прошла мимо обелиска к обрыву.

Долго было слышно, как осыпается земля под ее ногами.

Ночь уже не напирала с прежней тугой упругостью. Призрачная синева проступала в небе, и редкие звезды отливали предутренним серебром.

## 23

Физик Решников и математик Иннокентий Сергеевич жили в одном доме. Они подошли к подъезду и неожиданно вспомнили:

— Э-э! Какое сегодня число?

— А ведь да! Двадцать второе июня...

— Тридцать один год...

— Пошли, — сказал Решников, — у меня есть бутылка коньяку.

Они поднялись на пятый этаж, тихонько открыли дверь, забрались в кухню. Решников поставил на стол бутылку.

— Уже светает.

— Как раз в это время...

В это время, на рассвете, тридцать один год назад начали падать первые бомбы, и двое пареньков в разных концах страны, только что отпраздновавшие каждый в своей школе выпускной вечер, отправились в военкоматы.

За окном синело. За узким кухонным столиком перед початою бутылкой — два бывших солдата.

— Ты можешь представить нынешних ребят в занесенных снегом окопах где-нибудь под Ельней?

— Или у нас под Ленинградом, где мы жрали мерзлые почки с берез?

— В каких костюмах они сегодня были, в каких галстуках!

— Учти, каждый при часах, а первые часы я купил, проработав два года учителем.

— И все-таки в счастливое время они живут.

— Неудивительно, как сказала эта Нина Семеновна, — добры от природы. Должны быть добрее нас.

— Ну, сия гипотеза еще нуждается в проверке... На посошок, Иннокентий?

— Выпьем за то, чтоб они не мерзли в окопах.

А в том же доме, этажом ниже, в своей одинокой тесной комнате не спала, плакала в подушку Зоя Владимировна, старая учительница, начавшая свое преподавание еще с ликбеза.

Нина Семеновна, сегодня неожиданно тоже ставшая старой учительницей, изнемогала от материнской нежности и тревоги: «Какие взрослые у меня ученики! Что их ждет? Кто кем станет? Кем Юлечка? Кем Гена?»

Она жила в новом квартале, на окраине, не спешила сейчас пустыми улицами, через просторные пустые площади, и маленький город, где родственно знаком был каждый тупичок, каждый перекресток и каждый уголок, выглядел сейчас, в мутно-синих сумерках, величественным и таинственным.

Перед подъемом к набережному скверику она неожиданно увидела своих учеников. Они спускались по широкой лестнице — Сократ Онучин с гитарой, встрепанный, как всегда, нахохленный Игорь Проухов, задумчивая, клонящая вниз гладко расчесанную голову Юлечка Студёнцева, и Вера Жерих, увалисто-широкая, покойно-сосредоточенная. Тесной кучкой, молчаливые, заметно уставшие, пережившие свой праздник. Похоже, они уже несут сейчас недетские мысли.

Старая притча: жизнь прожить — не поле перейти. Не первые ли самостоятельные шаги через



жизнь — самые первые! — она сейчас наблюдает? Далеко ли каждый из них уйдет? Кем станет Юлечка?..

Ребята прошли, не заметив Нину Семеновну.

Они проходили мимо школы.

В не обмытой от сумерек рассветной голубизне школа вознесла и развернула все свои четыре этажа размашисто-широких, маслянисто-темных окон. Непривычно замкнутая, странно мертвая, родная и чужая одновременно. Скоро взойдет солнце, и нефтянисто отсвечивающие окна буйно заплавятся — все четыре этажа. Должно быть, это мощное и красивое зрелище.

Запрокинув голову, бывшие десятиклассники разглядывали свою школу в непривычный час, в непривычном обличе. Каждый мысленно проникал сквозь глухие, налитые жирным мраком окна в знакомые коридоры, в знакомые классы.

Вера Жерих шумно и тяжело вздохнула. Юлечка Студёнцева тихо сказала:

— Здесь было все так понятно.

Долго никто не отзывался, наконец Игорь произнес:

— Мы научимся жить, Юлька!

Вера снова шумно вздохнула.

А на реке по смолисто загустевшей воде ползли неряшливые клочья серого тумана. Натка с мокрым, липнувшим к ногам подолом платья, в насквозь мокрых от росы праздничных туфлях бродила по берегу, искала Генку.

Ночь после выпуска кончилась.





## ШЕСТЬДЕСЯТ СВЕЧЕЙ

Кто из нас знает, сколько человек он обидел...

*К. Чапек*

### 1

В зале потушили свет, и ресторанные музыканты — ударник, скрипач, пианист, известные в городе под общим названием Три Жорки, — заиграли туш. Из распахнутой, сияющей потусторонним светом двери в торжественную темноту горячим букетом вплыл зажженный торт. Нервные золотые зерна свечных огоньков, натужно красный пещерный свет, беспокойный блеск стеклянных подвесок в воздухе и сократовский лоб пожилого официанта...

Шестьдесят свечей на юбилейном торте. Как внушительно это выглядит!

Официант со лбом Сократа поставил трепещущий торт передо мной. И я снова удивился его горячему изобилию: шестьдесят свечей, собранных в одно место!

Еще вчера по проспекту Молодости проходил обычный человек в серой фетровой шляпе, в темно-синем длиннополом пальто, старый, почтенный, но

не настолько, чтоб в минуту наступления обеденного перерыва продавщица бакалейного киоска не осмеливалась захлопнуть перед его носом окошечко: «Вас много, а я одна!» Вчера я был простым учителем, каких тысячи в нашем городе.

Сегодня на первой полосе нашей городской газеты помещен мой портрет — солидно носатый, с недоуменными кустиками бровей, с мятыми щеками-мешочками. Шестьдесят лет никто не выделял меня из числа других, а неделю назад вдруг оказалось, что я не простой учитель, а старейший, горожанин не такой, как все, а единственный в своем роде.

Наш город Карасино молод, очень молод. Он много лет переживал свое бурное рождение и бурный рост, жил в строительный лесах, в густой непролазной грязи, в строительном хаосе цементных плит, разбросанных труб, завале битого кирпича. Наконец-то строительство вместе с непролазной грязью отодвинулось на окраины, а город обрел себя. Быть может, он и не был в числе красавцев, но, право же, имел все, что присуще любому городу: многоэтажные дома с балконами и даже лоджиями, витрины магазинов, выпирающие на мостовые, широкие прямые улицы со светофорами, переходами типа «зебра», милиционерами-регулирующими в белых ремнях. У нас два Дворца культуры, около десятка кинотеатров, лодочная станция, респектабельный ресторан «Кристалл» с ультрасовременной джазовой музыкой братьев Шубниковых, в просторечии просто Жорок.

Город Карасино возник, и это стало очевидным фактом для других городов страны и для него самого, ему теперь не хватало только своих традиций и своих героев. Не героев-строителей — крановщиков, экскаваторщиков, монтажников, каменщиков, а героев-жителей, героев-граждан.

И вот я, рядовой учитель, один из многих, Николай Степанович Ечевин, оказался в героях.

Мне исполнилось шестьдесят лет. Горono послал соответствующие бумаги в соответствующие учреждения: почтить, наградить, присвоить звание. И там,

наверху, проглядывая посланные на меня бумаги, кто-то из дотошных удивился:

— Позвольте, тут написано, что он родился в Карасино...

— Да, он здешний.

— И он все шестьдесят лет тут так и жил?

— Если не считать нескольких лет учебы в педучилище.

— Но здесь написано, что он сорок лет непрерывно работает в школе. В какой школе он работал? Разве в деревне Карасино школа была?

— Была, и, представьте, известная всей России. Да в какой-то степени она и до сих пор существует.

Оказывается, юный город Карасино — не без роду, не без племени, нашелся живой свидетель и участник его истории. Я некий прародитель города, первый его гражданин.

Мой портрет в городской газете, видные руководители, отцы города, съехались на мой юбилей в ресторан «Кристалл». Три Жорки играют в честь меня туш.

И шестьдесят свечей собраны в одно место. По году на свечу, годы растянуты по всей жизни.

## 2

Кончились чествования, забылась газета с моим портретом — брови кустиками, грачиный нос. После этого, наверное, я бы должен с грустью сообщить: «Жизнь моя потекла по старому руслу».

Так-то оно так, по старому. Я, как обычно, вставал в семь, не спеша умывался, обстоятельно брился, вдумчиво завтракал под покорным, кроличьим взглядом моей больной, располневшей жены. Потом я скидывал пижаму и опять не спеша, обстоятельно одевался — галстук под хрустящий воротничок, жилет, пиджак с побелевшими от многократной чистки швами, серая, много ношенная, но сохранившая форму шляпа, темно-синее пальто, старое, добротное, монументально-тяжеловесное.

Я живу далековато от школы, но транспортом пользуюсь редко. Утром я люблю не спеша пройтись,

вот уже несколько лет встречаю на пути одних и тех же людей... Тучного, с толстой палкой и закрученными усами а ля Ги де Мопассан мужчину в какой-то форменной тужурке, долговязого молодого человека с рыжей бородкой и не вызывающими доверия ласковыми, бархатными глазами, утконосую девушку, прогуливающую слюнявого поджарого боксера, встречаю многих, о которых затруднительно что-либо сказать, но я их помню и по выражению лиц вижу — они помнят меня.

Когда я переступаю порог своей школы, прохожу по вестибюлю мимо гипсового пионера со вскинутой рукой, часы у раздевалки показывают без семи минут девять.

Шестьдесят свечей отгорело на юбилейном торте. По году на свечу.

Не то чтобы я прежде совсем не ценил себя — нет! Я необходим, но моя полезность похожа на полезность опорного болта, таких болтов много.

Но вот меня заметили — оказывается, не такой уж я стандартный. Я разрешил убедить себя в этом. Каждый человек индивидуальность, не похожая на других. Хорошо бы каждому изредка напомнить со стороны: «Ты уникален! Ты никем и ничем не заменим!»

Как у любого из нас, у меня были свои недоброжелатели (не хочу называть их врагами — слишком!). Наивно думать, что они все вдруг стали моими преданными друзьями. Но раньше я постоянно на них натыкался — ранил себя, ранил их. Сейчас же я легко и как-то всепрощающе их не замечаю...

Кончились чествования, забылась газета, возвеличивающая меня, но осталась праздничность. И я думал, подмывающее ощущение этой праздничности будет согревать меня до конца моих дней.

### 3

Прошел месяц с небольшим. Всего месяц! Мне еще продолжали приходить поздравительные письма и телеграммы. В каких-то уголках страны мои быв-

шие ученики узнали, что их школьному учителю стукнуло шестьдесят.

Был вечер, над моим столом горела лампа. Несколькое писем лежало в стороне, я не спешил их распечатать. Сперва надлежало съесть рабочую похлебку, потом уже, смакуя, проглотить сладкое.

Передо мной была стопка сочинений десятиклассников.

Я преподаю историю в седьмых — десятых.

Люблю историю... Когда-то к событиям давно минувших веков я относился с молодой страстностью. Я лютой ненавистью ненавидел Святополка Окаянного и восторженно почитал Святослава Игоревича. Все столетия были переполнены моими личными друзьями и недругами. Детское неравнодушие, им частенько болеют даже прославленные историки.

Давно уже нет у меня личного отношения к Святополку Окаянному. Плох он или хорош — наивный вопрос. Он просто часть того времени, той далекой жизни, той почвы, из которой выросли мы с вами. Если бы Иван Калита оказался человеком благородным, то вряд ли ему удалось бы под татарским игом сколотить сильное Московское княжество. Беспринципная лесть и неразборчивое ловкачество — оружие Калиты, не будь его, как знать, сколь долго существовала бы еще татарщина и как бы выглядела теперь наша Россия?

Люблю историю такой, какая есть! Что бы ни случилось со мной, со страной, со всем миром, я уже знаю — бывало и не такое, ничему не удивляюсь. Люблю историю и заставляю серьезно, не по-детски любить ее своих учеников.

Раз в неделю они должны мне написать сочинение. Тема может быть самой неожиданной. По программе ты проходишь революцию 1905 года, а я прошу написать тебя об Иване Грозном. Ты должен знать все, что в веках предшествовало этой революции, даже то, что, казалось бы, никоим образом не было с нею связано.

Меня считают беспощадным учителем, зато скажу, не хвастаясь: мои ученики всегда поражают на экзаменах широтой знаний.

Стопка сочинений десятого «А» класса на моем столе. Каждое в общем-то бесхитростно утверждает: «Борьба Ивана Грозного против родовитых бояр носила прогрессивный характер...»

Сочинение Левы Бочарова. Я его всегда жду, не скрою, настороженно.

Если другие ученики страдают обычно от недостатка способностей, то несчастье Левы — излишне способен, феноменально способен. Пока учитель добивается, чтоб поняли все, Лева уже изнывает от безделья. Он разучился слушать на уроках, он перестал выполнять домашние задания. Он, не смущаясь, даже с удовольствием получает двойку за двойкой, чтоб за короткий срок, одним усилием победно исправить их. Это он называет «играть в поддавки». Он нашел для себя подленькое развлечение — читал дома специальную литературу, чтоб на уроке невинными на первый взгляд вопросами поставить учителя в глупейшее положение. Кое-кто из учителей просто ненавидел Бочарова, случались даже — право, неблагоприятные — попытки завалить его на экзаменах. Но не тут-то было: в отличие от большинства учеников Лева Бочаров любил экзамены любовью спортсмена, верящего в свою непобедимость.

В прошлом году разудалым пренебрежением к учебе Бочаров заразил весь класс — упала дисциплина, упала успеваемость, надо было принимать самые решительные меры. Явились родители Левы, мать — секретарь-машинистка, отец — бухгалтер, оба полные, оба робеюще тихие, с одинаковым выражением скрытой тревоги на помятых лицах. Они из тех, кто никогда не изумлял дерзостью ума, никогда не буйствовал от избытка сил, никогда даже в мыслях не ставил себя выше других. Мне они говорили обычные слова: всего, мол, год до окончания, в институт не попадет... А я понимал и то, что недоговаривали: «Стоит ли жить, если сын окажется неудачником...»

Сочинение Бочарова... На этот раз оно ничем не отличалось от других: «Борьба Ивана Грозного против родовитых бояр носила прогрессивный характер...» Скучное, гладенькое, без блеска правильное.

Следующая тетрадь Зои Зыбковец. Что такое?.. Всего полстранички девичьим почерком.

«Ходил в его (Ивана Грозного) время рассказ, что у одного дьяка он (Иван Грозный)... отнял жену, потом, вероятно узнавши, что муж изъявил свое неудовольствие, приказал повесить изнасилованную жену над порогом его дома и оставить труп в таком положении две недели; у другого дьяка была повешена жена над его обедом» (Н. И. Костомаров. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Т. 1. С. 418).

Такой человек не мог желать людям лучшего. Если он и давил бояр, то просто от злобы. Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга».

И все.

Зоя Зыбковец, очкастая некрасивая девица, не в пример Бочарову собранная, старательная, замкнутотихая и... средних способностей.

От Бочарова получить куда ни шло, но от нее!.. Вот уж воистину в тихом омуте черти водятся! «Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга». И щит из цитаты Костомарова...

Костомаров — один из тех историков, которые готовы попрекать Ивана Калиту за то, что он не высоколобый и не благородный, забывая, что история двигалась вперед отнюдь не усилиями высоколобых.

Как часто педагогу приходится вступать в борьбу с самим собой. Вот и сейчас, кажется, наступила минута такой борьбы.

Я оторвался от тетради Зои...

Итак, Зоя думает по Костомарову, старомодно.

Если б думала «не по-моему» — пожалуйста, твое право. Но старомодно, не в духе времени, не по-нашему...

Может показаться — ущерб невелик. Прости и даже поощри самостоятельность. Но в следующий раз Зоя снова выкопает чьи-то заплесневелые суждения, манера присваивать «не наши» взгляды станет нормой, Зоя начнет не так глядеть, как глядят

другие, не так думать, не так поступать. Значит, противопоставленный обществу человек. Значит, жизнь против течения.

Привычно умиление: такой-то учитель добр, хотя ни для кого, в общем-то, не секрет — доброта и покладистость учителя преступны.

Нужно ставить Зое двойку, нужно отчитать ее завтра на уроке, пусть вынесет весьма заурядное ощущение — впредь неповадно, — пусть обидится. Не будь покладистым!

Но... И не одно, а несколько.

Но не убьешь ли ты этим у Зои любовь к истории?.. По карликовому сочинению видно, что она читает не только учебник, значит, интересуется, значит, любит.

Не восстановишь ли Зою против себя так, что уже только из чувства противоречия будет думать иначе, тянуться к Костомаровым?

Но, наконец, виноват Костомаров, вина же Зои лишь в том, что он подвернулся ей под руку.

Минута борьбы с самим собой. Эта минутная борьба не столь мелочна и незначительна, как может показаться на первый взгляд, тоже, мол, гамлетовский вопрос: «Быть или не быть двойке?» Судьба человека за ней!

Я решил не ставить двойку. Завтра обсудим, выясним.

#### 4

Вечерняя порция рабочей похлебки съедена — с сочинениями покончено. Передо мной письма.

Одно я уже успел прочитать. Оно пришло вместе с посылкой, где лежал... морской кортик. Поздравление от человека, которого, увы, давно не было в живых.

Неизвестный мне капитан второго ранга, некий Пешнев, писал:

«Дорогой Николай Степанович!

Этот кортик когда-то носил лейтенант Бухалов, мой друг и Ваш ученик. Двадцать три года я хра-



нил его у себя. Признаюсь, и сейчас с трудом расстаюсь с этой дорогой для меня реликвией. Но Вы воспитали Григория Бухалова, а ему я обязан всем — и тем, что остался жив, и тем, что стал боевым офицером. В конечном счете я обязан Вам, Николай Степанович. И ничем другим не могу выразить свою благодарность — только оторвав от себя единственную память о лучшем друге, о том человеке, который всегда был мне ближе брата. Примите от меня и от Гриши...»

Многих своих учеников я успел забыть — слыше трех тысяч прошло мимо меня за эти сорок лет, где всех запомнить. Гриша Бухалов... Гришу-то помню...

В ту пору, когда село Карасино еще и не собиралось стать рабочим поселком, появилось на улицах существо — лохматая шапка, сопливый нос, рваная, волочившаяся полами по земле поддевка, большие разбитые лапти. Существо презренное — сынишка гулящей Мотьки, отца не знает. Сама Мотька ушла стряпухой к сплавщикам и не вернулась. У сироты в селе судьба обычна — иди в подпаски, гоняй коров и коз.

Нельзя было взять за рукав, привести в школу, усадить за парту, в списке охваченных всеобучем поставить единицу. Надо вымыть и выпарить эту единицу, надо во что-то одеть и обуть, надо где-то поселить, надо кормить и поить, чтоб снова не одичал, чтоб прилежно сидел за книгой.

Я тогда с год как был женат, и жена ходила беременной, жили в чужой избе. Но у жены раньше, чем у меня, появилась к сироте жалость — мы взяли Гришу Бухалова к себе в дом.

— Зря вы со мной возитесь, проклят я человек, все одно коз пасти.

«Прокляту человеку» в ту пору было только девять неполных лет.

Зимой я отвез жену рожать, вернулся — нет Гриши, сбежал. Его нашли в дальней деревне — ходил по дворам, просил милостыню.

— Ты что же это?

— Да у вас теперь свои дети. Зачем я вам?

Через два года в соседнем районе, в селе Объедково, в бывшей помещичьей усадьбе, организовали межрайонный детский дом. Гриша сам настоял, чтобы мы отдали его туда, а у нас должна была родиться вторая дочь...

Он вырос в красивого паренька — румяный, черномазый, порывистый: «Проклят я человек». Господи! Как давно это было...

Еще до войны его призвали во флот. В войну уже командовал катером. В своем последнем бою он потопил какие-то транспортные суда, осколком оторвало руку, командовал до тех пор, пока не вывел катер из-под огня, спас команду, самого же доставили на берег мертвым. Посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Сейчас в нашей школе пионерский отряд носит его имя, в пионерской комнате висит его портрет — морская фуражка с «крабом», юное правильное застывшее лицо, из которого усердные ретушеры вытравивали какие-либо следы схожести с живым Григорием Бухаловым.

Я вынул из ящика стола морской кортик.

Узкие ножны стянуты начищенными латунными кольцами, крупная рукоять с заполированными глазками — заклепками, потянул за нее, и поползло на свет никелированное жало. Все-таки оружие, а не нарядная игрушка, тещащая мужское тщеславие. Кортик выглядит новеньким, словно только что из оружейной мастерской. Да носил ли его Гриша, погибший четверть века назад? Впрочем, это оружие парадное, его носят нечасто.

Война прошла мимо меня — не слышал свиста пуль, не сидел в окопах. Еще в юности обнаружилось плоскостопие, хотя и теперь, в шестьдесят лет, мои ненормальные ноги мне верно служат — в школу хожу пешком, только походка заметно тяжелая. Но в армию меня не взяли — не годен к строевой службе. Не годен в мирное время, но не в дни войны, медкомиссией в военкомате было уже вынесено решение — направить меня в строительный батальон.

А я тогда недавно стал директором школы. И ушел на фронт заведующий роно, заменить его, кроме меня, никому. Нужен в районе, меня не пустили рыть землянки и таскать бревна... Не слышал свиста пуль, не видел, как умирают на фронте, зато слышал об этом, пожалуй, чаще других.

Мне произносили имя — убит! И я неизменно сразу же вспоминал мальчишку за партой, кудлатого или коротко стриженного, бойкого или застенчивого, добросовестного или шалопая. Со многими из них у меня были ой не гладкие отношения, но тут каждый вызывал смятенное чувство вины, каждый становился непостижимо значительным — отдал жизнь, чтоб жили другие, в том числе и я. Казалось бы, чего мне стыдиться — не спасал себя, не прятался от фронта, нет вины. А поди ж ты, попробуй перед собой оправдаться.

Только смерть Гриши Бухалова вины не вызвала. Была потеря, та родительская, опустошающая прожитое, обворовывающая будущее. Гриша — мое творение, Гриша — часть меня, самое красивое и едва ли не самое значительное в моей жизни. Перед ним нет стыда — дал все что мог.

Гриша Бухалов щедро отблагодарил меня после смерти — правом гордиться!

Много, даже не сосчитать, погибло моих учеников, но, как они гибли, ни про одного не известно. Просто в боях, подходя под общую формулу: «Пал смертью храбрых». А вот гибель Гриши Бухалова в общую формулу не укладывается — сверхрабрый, выдающийся, слава о нем разнеслась по стране. Как мне не гордиться им, а значит, и собой тоже. Гриша — часть меня!

Смертью смерть поправ, Гриша продолжал жить рядом со мной. Жить и поддерживать меня. Спасибо судьбе, что столкнула нас.

Я положил кортик на стол так, чтоб мог всегда его видеть. Конечно же я отдам его в школу, там почтительно положат под стекло на специальном столике возле портрета Героя Советского Союза, комсомольца, лейтенанта Бухалова. Ребятишки станут

обмирать от почтительности... Отдам в школу, но не сразу, сначала сам налюбуюсь досыта.

Гриша Бухалов поздравил старика.

Вскрывая конверт с видом Сочи, я думал, что это одно из писем от случайных, но обязательных знакомых: «Разрешите поздравить от всей души...»

«Вы вряд ли помните меня, — начиналось оно, — тогда как я ежедневно, ежечасно вот уже в течение почти двух десятков лет Вас вспоминаю.

Кто я? Я алкоголик, и это самое яркое мое отличие. Во всем остальном ничтожество: человек без профессии, без семьи, даже не вор, не преступник...»

Странно. Да мне ли это?.. Какая-то белиберда. Я взглянул на конверт. Конверт с видом Сочи, адрес школы, мое имя — все точно.

«...даже не вор, не преступник, хотя легко бы мог стать им. Я просто представитель человеческих отбросов, а обязан этому не столько своему ничтожному характеру, сколько Вам, Николай Степанович Ечевин! Вы искалечили меня! Но если бы только меня одного! Страшно, что Вы стали тем, на кого почтительно и требовательно будут указывать — берите пример.

Почему бы мне хоть единожды не помочь людям, доказать, что все-таки не зря прожил свою паскудную жизнь. Я не могу во всеуслышание сказать: люди добрые, берегитесь! Кто мне поверит, подозрительному философу забегаловок? И я не вижу иного способа заставить меня выслушать, как у б и т ь В а с ! И тогда суд! Пусть суд надо мной станет судом над Вами. Возразите: преступлением открывать правду!.. Но какое же это преступление — уничтожить многолетний очаг общественной заразы. Совесть моя чиста, остальное меня не волнует. Скорей всего, я потеряю жизнь никому не нужного пьянчужки. По мне не станет убиваться жена, не заплачут дети.

Итак, готовьтесь!

*Ваш бывший ученик».*



Ниже еще несколько слов:

«Мне не надо спасать свою шкуру. Это намного облегчает мою задачу, а потому даже могу позволить себе такую роскошь — написать Вам письмо, известить, кто Вы такой и что Вас ждет».

Письмо, написанное на тетрадном разлинованном листке, широкие приседающие буквы нацарапаны плохим пером. Вид письма какой-то отрезвляющий, будничный, в общем-то безобидный.

Был вечер, еще не слишком поздний. За окном внизу с треском проносились мотоциклы — весьма распространенный вид отдыха в городе Карасине. За дверью, тяжело ступая, ходила жена. Скоро она уйдет на кухню, загремит посудой, потом позовет ужинать. А там разойдемся спать — она в свою комнату, а я в свою.

Перед глазами поблескивает горячей латунью офицерский кортик — Гриша Бухалов поздравил старика.

Уютный свет настольной лампы освещает мои руки, крупные, мосластые, с узловатыми венами и золотистой шерсткой. Мои руки, лежащие на письме...

## 5

Скорей всего, гнусная шутка. Кому-то захотелось подкрасить юбилей — мол, в бочку меда ложку дегтя.

Безответственно написать слово «убить»...

Взрослый человек вряд ли решится на такую шуточку, только тот, кто без царя в голове.

Самый падкий в школе на шуточки — Лева Бочаров. Он давно уже ведет веселую войну с учителями. Что-то новое... Не откажешь в изобретательности: «Я алкоголик...» Ишь ты.

«Убить...» — надо сильно ненавидеть, чтоб написать такое.

За что?!

За то, что оберегал дурака от собственной глупости.

Глуп?.. Ну нет, он-то себя считает первым умником: «Задачки с двумя неизвестными щелкаю, как орехи». Пуп земли!

«Убить Вас...» То-то испугается старый дуралей. Лева Бочаров решил пошутить от всего сердца. Он, конечно, догадывается, что шуточка перерастает границы дозволенного, но ведь и сам Лева — личность, не уместяющаяся в обычных рамках. «Убить Вас...» Он слегка презирает всех и считает, что в ответ на это снисходительное презрение все должны отвечать любовью.

Когда видишь себя пупом земли, трудно понять, что люди могут ответить тебе ненавистью. Ненависть со всех сторон! Тут уж будет не до шуточек и не до презрения, сам заразишься бурным ненавистничеством. «Убить Вас...» Мысль-то привычна, почему бы, защищая себя, не исполнить ее на деле...

От сомнения — ненавистничество, от ненавистничества к ножу хулигана короткий шаг.

Вот от чего хотел оберечь!

Не оберек. Шуточка-то — вот она, на столе. Гнусней не придумаешь.

Я постоянно делал Лева мелкие уступочки: «Феноменально способен, светлая голова, чудит — пусть себе...»

В прошлом году он систематически доводил учителя математики до истерики. Конечно, этот учитель не отличался ни глубокими знаниями, ни твердостью характера, ни находчивостью в ответах, на его уроках Лева Бочаров устраивал для класса спектакли. Я осуждал Леву и защищал его: «Феноменально же способен...» А математику пришлось перейти в другую школу.

Недавно мне не хватило решительности сказать «нет» родителям Левы. Уж очень робки, очень любящи, единственный сын — пусть себе.

В юности почти в каждом сидит Лева Бочаров. Юность почти всегда неразумна, самомнительна, эгоистична, лишена самоконтроля. Учитель, по доброте потакающий порокам молодости, — преступник!

Я отыскал в стопке тетрадей сочинение Зои Зыбковец и поставил под ним жирную, красно кричащую двойку. Завтра обсудим?.. Что ж, обсудим!

Нашел заодно и сочинение Левы Бочарова...

Невыразительное сочинение и выразительное письмо легли рядом. Приседающие буквы... В почерках не было никакого сходства, да это и понятно.

«Убить Вас...» Сказано скупое, без нажима. Правда, эти слова торопливо подчеркнуты, но, похоже, не ради того, чтобы произвести впечатление, скорей, автор выделял важный вывод: не вижу иного выхода.

И пришла трезвая мысль: шутник, желающий до смерти напугать своей шуточкой, непременно бы порезвился, уж постарался бы наполнить письмо угрозами.

И «я алкоголик». Что-то уж очень искусное, не молодое, не ученическое. Эдакая хитрость с аморальным креном.

И «страшно, что мир слеп». Забота обо всем мире, обвинение от лица общества, и все для того, чтоб пошутить?

И приписка... «Мне не надо спасать свою шкуру. Это намного облегчает мою задачу...» Что-то продуманное, выношенное, нет, не шуточный экспромт. И если это совместить с «я алкоголик», то с исцарапанного плохим пером листка подымается такая фигура, что содрогнись и зажмурься.

Невыразительное сочинение и выразительное письмо... Я, кажется, напрасно положил их рядом, напрасно вгорячах обрушился на Леву Бочарова. А может, и не сгоряча, скорей всего, просто обманывал себя: неправдоподобно, нельзя верить, куда проще предположить — это же шутка! И свалить на того, кто под рукой, — Лева Бочаров наследил.

Кто он? «По мне не станет убиваться жена, не заплачут дети». Подписался: «Ваш бывший ученик». Признался — я твой убийца.

Кого я мог так сильно обидеть? Не работал прокурором, никого не бросал за решетку, учительствовал, а не судействовал. И он это знает: «Ваш бывший ученик».

Есть, конечно, такие, кто меня не любит, кому я крайне не нравлюсь, как, право же, не все нравят-



ся и мне. Но никогда у меня не возникало желания: хорошо бы убить такого-то. Наверное, и у моих недоброжелателей до этого не дошло. «Ваш бывший ученик». А ученик ли?..

Вспомнил о конверте, схватил его. Конверт с видом Сочи. Тем же испорченным пером нацарапан адрес школы, моя фамилия. Штемпель на марке довольно отчетливый: название известной станции, полсуток езды до нашего города. Опущено письмо вчера.

Письмо дошло, мог прибыть и автор.

Конверт с видом Сочи, солнечного далекого города — места отдыха, места здоровья, места продления жизни.

«Убить Вас...»

За что?!

Я не испытываю страха. Сильнее страха недоумение.

Я искалечил чью-то жизнь, я страшен сам по себе, страшен через моих ядовитых учеников, страшен мой дух... Слишком много взвалил на меня автор письма, чтоб это было правдой.

«Выдающийся... Самоотверженный... ум и совесть нашей педагогики...» Конечно же нет! Я не настолько самонадеян, чтоб безрассудно верить шумному славословию, которое раздавалось во время моего юбилея. Но я никого не убил, не обездолил, ничего не украл, не брал взятки, не растлевал малолетних, не морил голодом престарелую тещу. Я не ангел, часто бываю раздражителен, срываюсь без нужды, нередко поступаю несправедливо, в чем обычно раскаиваюсь. Кто из нас без греха?.. Уж если мне суд, меня убить, то жить на земле придется лишь каким-нибудь исключительным праведникам.

За что?

Если ты выносишь приговор, да еще смертный, изволь уж подробно ознакомить и с составом преступления, а не отделываться общими словами: страшен, ядовит, дух, видите ли, не тот.

— Коля! — донесся из кухни привычный голос жены. — Иди чай пить. Пора.

Я вложил письмо в конверт с видом Сочи, сунул его в ящик стола.

Встал и подошел к окну, заглянул в темную пропасть, заполненную беспечными голосами, смехом, шарканьем ног по асфальту, шумом моторов и шорохом шин — заполненную жизнью. Заглянул в пропасть, но увидел себя, свое отражение в черном стекле — плоский лоб, глубоко запавшие глаза, нос клином.

Он, возможно, дежурит там внизу, в гуще голов и смеха, из глубины звучащей жизни следит сейчас за моим окном — бывший мой ученик, ныне мой убийца.

Я старательно задернул занавеску и тут же усмехнулся: уж он-то, наверное, предусмотрел, что приговоренный им к смерти Николай Степанович Ечевин станет плотней задергивать занавески и тщательно запирает двери.

В тесной светлой уютной кухне за накрытым столом сидела, оплывая вниз на слишком узкой табуретке, жена. У нее горделивая посадка крупной седой головы, озабоченное выражение на широком близоруком лице — знакома, как неизменно повторяющийся сон.

Мы сейчас выпьем по чашке чаю, скажем друг другу несколько ничего не значащих слов и разойдемся спать — жена в свою комнату, а я в свою...

— Тебе с лимоном или без?..

Оказывается, на кухонном окне у нас вовсе нет занавесок, с верхних этажей дома напротив мы здесь просматриваемся насквозь.

## 7

Сквозь сон я услышал — кто-то скребется за окном!

Комната словно затянута грязным табачным дымом, как учительская, где полчаса назад кончился педсовет. Все разошлись, но табачный дым не рассеялся — серо и неприкаянно-сучно.

За окном кто-то скребется, сомнений нет. А окно на пятом этаже.

Удары сердца отдавались в голове. Я не дышал.

«Да это же сон... Я не проснулся...» Трезвая мысль и сам рассвет слишком трезвый — серо и неприкаянно-скучно. И ухаёт сердце не в груди — в черепе. И звуки за окном — железо скребет о железо. Окно на пятом этаже!

Не закричать ли?..

Жену за стеной всполошу, а соседей не скоро раскачаешь.

Не сон, не блажь, явственно железо скребет о железо. Кто-то за окном, кто-то висит над асфальтовой мостовой на уровне пятого этажа.

Непослушной рукой потянул с себя одеяло. Пружины матраца оглушительно завопили. Замер...

Замер и тот, но только на секунду. Снова — железо о железо, осторожно, боязливо, воровски, по ночному преступно.

Холодный пол обжег босые ступни. Последний раз взвизгнули пружины. Я встал.

На цыпочках по холодному полу, по стенке, по стенке, к окну, к косяку, потянулся к занавеске... Сейчас, вот в эту секунду, гляну в лицо своему убийце. Сейчас, при сером рассвете, встреча — он, отчаянный, между небом и землей на высоте пятого этажа, я в комнате, и разделять нас будет только стекло окна.

Ну!.. Рука деревянна, тело неподатливо, каменно, и набатно раздаются в черепе удары сердца. И совсем рядом странные звуки — чужая жизнь, с упрямой осторожностью рвущаяся ко мне. Чужая жизнь и моя смерть.

Ну!.. Занавеска чуть отошла...

Словно воздух из туго накачанного мяча, вырвался страх, я сразу весь обмяк, обессиленно задрожали коленные чашечки, ватной рукой уцепился за косяк, чтоб не упасть.

За окном по карнизу гуляют голуби, цепляясь когтистыми лапками за кровельную обшивку, — железо скребет о железо.

Я перевел дух и решительно откинул занавеску. Голуби трепыхнулись, но не улетели. Пододвинул к окну стул, устало, с наслаждением свалился на него.

Как полная чаша, которую боязно расплескать, лежала пустынная улица, до крыш залитая застойной синевой. Горели вялые фонари, и свет их был дремотен, как и сам город. И мирно кумовали за нечистым, заплаканным стеклом голуби. Молодые деревья купали в синей, осязаемо плотной дымке черные ветви. Голые деревья на весенних утренних заморозках. Через несколько часов их пригреет солнце, начнет шевелить застоявшиеся соки. Скоро набухнут и лопнут почки!

Возможно, они не успеют лопнуть...

Где-то он, без лица, без имени, бывший ученик...

Он существует и носит в себе десятилетиями скопленную, непонятную для меня ненависть. Ненависть прорвется, и почки не успеют лопнуть, выкинуть зеленый лист...

Тишина в городе, тишина и сумрак в моей комнате. По стене притаились фолианты с широкими затылками. Историки прошлого века писали много и обстоятельно. За стеной покойно спит жена.

Я, подтянув под стул босые ноги, с наслаждением глядел в окно. С наслаждением потому, что улица за окном пуста. Он не стоял там, не прятался, а значит, хоть эти минуты можно прожить без страха. С наслаждением потому, что видел просыпающийся мир за окном, а кто знает, сколько раз я еще увижу такое?

С шумом сорвались с окна голуби, и стало совсем безжизненно. Столь непоколебимо тихо и засасывающе-грустно, что невольно пришла на ум мысль: «Словно уже туда переселился...» Если б там было так же покойно и мирно, пожалуй... готов, ничуть не страшно.

И неожиданно я возмутился: «Как он смеет! Что я сделал такого? Что?!» Возмутительна даже не сама угроза — убью! — а вопиющая несправедливость: очаг общественной заразы! Да как он смеет! Что я сделал плохого? Чем нехорош? Сорок лет учил, свыше трех тысяч учеников прошло через мои руки. А нажил ли я за эти сорок лет себе богатство? Ради ли собственного удовольствия я старался? Легка ли моя

жизнь, счастлива ли? Да что в ней было такого, чтоб зачеркнуть? Очаг заразы — чудовищно!

Лежал передо мной спящий город, горели усталые фонари. Мой город, родившийся и выросший на моих глазах, место на земле, приютившее меня. Я глядел на него и перебирал свою жизнь.

## 8

Легка ли она? Счастлива ли?..

Первое, самое первое, что помню, — вкусный запах новой кожи и большой стеклянный шар, заполненный водой. Шар на низеньком подоконнике слепого окна.

Сейчас с высоты пятого этажа я вижу кусок улицы, просторной, с деревьями, с пятиэтажными корпусами, украшенными веселыми балкончиками, похожими друг на друга, как матрешки на полке игрушечной лавки. Это центральная улица нашего города, гордо названная проспектом Молодости. Я родился где-то здесь, неподалеку. Где-то. Кто теперь укажет, в каком точно месте стояла избенка сапожника Степки Ечевина? Село Карасино стало городом Карасином, немало пыльных и муравчато травянистых улочек и проулков подмял под себя безжалостно прямой и широкий проспект Молодости. Но где-то здесь, совсем рядом, стучал по колодке мой отец, принаравливаясь, чтоб собранный стеклянным шаром свет из мутного окошечка падал «под молоток». Где-то здесь шестьдесят лет назад прокричал впервые младенец, крещенный под Николу вешнего.

А шестьдесят ли? Не триста ли?.. В дни моего детства село Карасино знало соху, но не ведало о тракторе, ездило на телегах с грядками, но и слухом не слышало об автомашинах, доходили слухи о чугунках, о «больших самоварах на колесах», но железные дороги еще не приползли сюда, и не пользовалось село ни телеграфом, ни телефонами, хотя считалось не столь уж глухим — мимо проходил тракт на Москву, раз в году со всей округи сюда съезжа-

лись на ярмарку, торговали, гуляли, пили, пели, кто как умел — тоскливо или разухабисто.

Легка ли жизнь? Счастлива ли?

Рос на кислой капусте и картошке, видел много чужих сапог, но щеголял в опорках, прятался от отца, когда тот напивался и буйнил, постоянно слышал надрывный крик матери: «Хлебогады! Чтоб вы все сдохли! Всю кровь мою выпили!»

Но, право, кислая капуста, опорки, пьяные скандалы отца не делали меня несчастным. Детство есть детство — свои радости я имел, в голову не приходило, что жизнь может быть иной.

Незадолго до революции я переступил порог самого высокого — два этажа с мезонином! — самого красивого в округе здания — школы Граубе, стоящей на отшибе от села. Переступил и уже не расстался с ней. Лет десять назад старую школу снесли, вместо нее появилась школа номер пять, торжественно-светлый огромный корпус. А намного раньше совсем забылось имя Ивана Семеновича Граубе.

Но в те годы его имя и его школа были известны по России.

Школа называлась народной. Граубе не считал ее своей собственностью, не брал за обучение денег. Выстроил школу и содержал учителей брат Ивана Семеновича, российский миллионер, железнодорожный магнат, покровитель художников и лошадей, сторонник просвещения, Алексей Семенович фон Граубе.

Жил он далеко, но слухи о нем доходили и до Карасино. Рассказывали, что в его конюшнях перед каждой лошадью в стойле стояло большое зеркало, рассказывали, что он был семь раз женат, что славился среди крестьян щедростью: «Только заикнись — корову даст!» И еще рассказывали, что после революции он ходил по деревням, кормился Христовым именем, бабы потчевали миллионщика чечевичной похлебкой, плакали от жалости.

Иван Семенович был почему-то просто Граубе, без «фон», и небогат, сам получал от брата учительское жалованье. Он окончил Сорбонну, добровольно

забрался в глухое село, куда его брат не успел еще протянуть железную дорогу.

Был он чахоточно тощ, довольно высок, с объемистым лысым черепом. В рассеянном взгляде сквозь золотые очки, в нерешительной складке губ, спрятанных в рыжеватую бородку, даже в легкой сутуловатости постоянно ощущалось что-то сокрушенно-виноватое, почти монашеское. Казалось, он постоянно сдерживается, чтоб не сказать покаянно: «Прости меня, братец». Но он заговаривал, и один лишь звук его голоса, неожиданно сильного, глубокого, насыщенного бархатными басовитыми интонациями, вызывал у каждого смятение. Покаянно виноват, монашески смирен — э-э, нет, будешь слушать его и слушаться, не возразишь, скорей присохнет язык. Ни разу я не слышал, чтобы он повысил голос. Самым высшим упреком из его уст было: «М-да-а!» Коротенькое междометие и поворот спиной, остро выступающими лопатками из-под сукна пиджака. Школяр ты или почтенных лет учитель, но все равно останешься пришит к месту этим «м-да-а!».

Иван Семенович наиболее бедным покупал к зиме валенки, иногда даже полушубки. Иван Семенович постоянно для кого-то выпрашивал какие-то пособия, кого-то выручал, кого-то посылал в город, устраивал бесплатные обеды в школе. И, странно, никому и в голову не приходило благодарить его за это. Благодарят обычных людей за то, что они совершили нечто не совсем для себя обычное. Иван Семенович ни на кого не похож, что ни сделает, так и должно быть, а потому простое «спасибо» как-то не шло к нему.

Не испытывал и я благодарности, хотя почему-то он выделял меня. Получал от него не только валенки, полушубок, книги, но и внимание: «Как дома, Ечевин?» А дома у меня без перемен — отец по пьянке бил горшки, мать была на всю улицу. Я был из беднейшей семьи и прилежен к наукам — этого достаточно для Граубе, чтоб выделить. Благодарности я не испытывал, почтение — да.

У Ивана Семеновича была единственная дочь — Таня, моя ровесница. Мечтательница, выросшая среди отцовских книг.

И мне и Тане исполнилось по четырнадцать лет, когда в школу назначили нового заведующего, Сукова, а Граубе стал простым учителем.

Иван Суков еще молод, открытое лицо, румянец во всю щеку, быть бы ему первым парнем по деревне, да стал школьным вождем. Румяное лицо, вылинявшая гимнастерка, стоптанные сапоги, не разгибающаяся в локте после ранения под Варшавой рука. Он, пожалуй, не уступал в доброте Ивану Семеновичу, хоть последнюю гимнастерку с плеч, зато уже люто ненавидел «буржуйских недобитков». А Иван Семенович Граубе — белая кость, дворянин, университеты за границей кончал, братца-миллионера имел, подарки от него получал, с «фоном» Граубе или без «фона», а для Ивана Сукова — волк в овчине.

Иван Суков. Уже после Граубе он сделал для меня все, чтоб я стал «пролетарским учителем». Это он послал меня на курсы, он силой вырвал у райнаробраза единовременное пособие, чтоб я мог явиться на курсы не бос и наг. И он же, Суков, добился, чтоб меня после курсов определили не на сторону, а в свою старую школу. Суков поставил меня на рельсы, по которым я катился сорок лет, качусь по сей день.

Что еще можно вспомнить?..

Круги. День за днем, как лошадь в приводе: дом — школа — дом, от воскресенья к воскресенью, с перерывами на каникулы, которые выдерживал с трудом, ждал с нетерпением, чтоб начать привычное: дом — школа — дом. День за днем — сорок лет. Был завучем, был и директором своей школы, но не бросал преподавания истории...

Где-то на самых первых кругах женился, одна за другой появились три дочери. Жил всегда туговато. Пока село не разрослось в город, копался на огороде, картошка была подспорьем к не слишком щедрому учительскому окладу. Только теперь, когда остались вдвоем с женой, без особой натуги сводим концы с концами. Всегда на строгом счету каждая



копейка. Правда, особо и не бедствовали, хлеб и кой-какой приварок имел даже в голодные военные годы. На фронт не попал — плоскостопие...

Легкая ли жизнь? Счастливая ли? Нет, будни. Люди решили отметить ее праздником, когда мне стукнуло уже шестьдесят.

«Ваш бывший ученик...»

Человечество просто перестанет существовать, если ученики начнут разбивать черепа своим учителям. Страшнее этого преступления может быть только отцеубийство.

## 9

Улица уже не пустынна, по лиловому асфальту по-хозяйски важно гуляют черные галки. И деревья сейчас чутко ждут, когда из-за высоких домов упадет на них первый луч солнца, кончится окостенение, обмякнет древесная плоть, тронутся к почкам соки.

Полчаса назад я просто хотел видеть лопнувшие почки. Полчаса назад сидел перед окном затравленный зверь. Ничего иного, только желание жить. Сейчас гнев, сейчас готов бороться и сокрушать. Маньяк собирается поднять руку на святое святых, ученик замахивается на учителя.

Голуби на карнизе заставили обливаться холодным потом — стыдно! «Я алкоголик, и это самое яркое мое отличие». Тебе ли бояться его, своей силы не сознаешь. За твоей спиной весь город Карасино! И только ли город?

«Очаг общественной заразы...»

А письмо незнакомого мне капитана второго ранга Пешнева, пославшего кортик лейтенанта Бухалова: «...ничем другим не могу выразить свою благодарность...»

И сам кортик внушительно поблескивает перед глазами.

А поздравительные письма и телеграммы изо всех областей, со всех концов страны...

И все потому, что я «очаг заразы»?!

Да пусть попробует заикнуться, что «очаг», будет взрыв. Как мошка на пламени, сгоришь от людского негодования ты, озлобленный анархист-кустарь. Бывший ученик, не святотатствуй!

Я пришел в себя, почувствовал силы и поддержку. За моей спиной встанет армия нормальных людей. Каждому очевидна опасность — ученик заманивается на учителя! Это противно разуму, грозит бедствием всему роду человеческому!

Но нельзя забывать, что слепая ненависть маньяка родственна взведенной мине: любая неосторожность может оказаться смертельной. Осмотрительность — вот первая заповедь на то время, пока война не кончится. Надо надеяться, что она не будет продолжительной.

Галки, важно разгуливающие по улице, взлетели с водопадным шумом. Тихонько застонало оконное стекло. Сотрясая улицы и обступившие дома, испускающая угрожающий рык, давя морозно лиловый асфальт тупыми скатами, беззастенчиво дребезжа гулким железным кузовом, промчался первый самосвал.

Наш город все еще помешан на строительстве. Новостройки отодвинулись на окраины, но у нас и по центральной улице, по парадному проспекту Молодости, с утра до вечера идут строительные машины. Эта самая ранняя.

И под стеной качнулась фигура первого прохожего. И солнце выплеснулось в просвет между домами, полыхнули окна, от молодых деревьев легли легкие тени.

День родился над городом Карасином, ясный весенний день.

## 10

— Доброе утро, Коля. Как ты спал?

Каждый мой день начинается с этого вопроса — семейный озабоченный лозунг.

Ватно мягкой, грузной поступью вошла жена. В ее располневшей фигуре слоновье добродушие, под застиранным халатом — величавость, сохранив-

шаяся с девичества. Рослая, полнотелая, вальяжная, она когда-то отличалась застенчивой белизной кожи, смущенным румянцем, наивностью голубых глаз. При первом знакомстве казалось — вот воплощение домашнего покоя, уюта, уравновешенности. Но чуть ли не на первой неделе выяснилось — у нее скачущий характер, нечаянного слова или даже беспределного молчания было достаточно, чтоб от нежности перешла к замкнутости, от веселья к слезам, от сентиментальной размягченности к капризам. Тогда-то у нас с ней началась многолетняя война, мелочная и утомительная. Она окончилась скучным миром. Соня мало-помалу утратила порывистость, а вместе с ней и нежный цвет лица, стройность, стала носить очки в тонкой оправе, придававшие ее рыхловатому, в парном румянце лицу какое-то кроткое, беспомощное выражение. Нет, она не перестала любить меня, я ее тоже, но еще я полюбил уединение в стенах дома.

— Доброе утро. Как ты спал?

Я уже повязывал галстук, когда она вошла ко мне. Машинально прибрала брошенную пижаму, повесила аккуратно на спинку кровати, со вздохом опустилась в кресло у окна. В то самое кресло, в котором я провел утро.

— Я думала ночью... — бережно и вкрадчиво начала она, глядя сбоку мне в скулу. — Я думала, Коля... Не надо тебе так с Верой...

Она думала ночью о Вере, у меня же был повод думать об ином. С младшей дочерью Верой — много же крови она нам стоила — у нас самые сложные и острые отношения. Решать их в эту минуту?.. Мне необходимо освободиться от всего, мне сейчас мешает присутствие жены. Прежде чем переступить порог, нужно позвонить в милицию. Об этом звонке Соне лучше не знать. Ее следует выпроводить хотя бы на несколько минут.

— Извини. Не можешь ли ты сходить сейчас к Золотовым? Этот книгочей в прошлую субботу забрал у меня «Домашний быт» Забелина. Очень нужен.

Этажом ниже жил слесарь Золотов, самозабвенный почитатель всякой учености, в подвыпившем

виде навешавший меня с просьбой: почитать чего-нибудь существенное. А существенность книги он измерял ее толщиной, выбирал всегда самые увесистые тома, безразлично какие — пухлые романы Дюма-отца или же ученые труды по истории.

Она долго и осуждающе глядела сквозь очки мне в скулу, вздохнула и молча поднялась. Конечно, обида, конечно, немой упрек в черствости, в бессердечии, но мне не до щепетильности — ради нее самой выпроваживаю, к чему Соне знать о письме.

Я услышал, как захлопнулась за ней входная дверь. Не завязав галстука, я вынул из стола письмо, положил в карман, бросился в прихожую, где висел телефон, снял трубку.

Казалось, просто: набери номер милиции, сообщи все, а уж там их дело обеспечить безопасность.

Я замешкался с запевшей в руке трубкой. Сообщил, но как?.. Оказывается, не так-то легко. Мол, здрасте, получены сведения... Заранее чувствуешь недоуменную немоту на том конце провода. Видавшая виды милиция такого случая наверняка не знает. Не обойдется без вопросиков, вкрадчивых и недоверчивых: как, почему, по каким причинам?.. А черт их знает, эти причины! И все это объясняй какому-то дежурному, который сам решений не принимает, готов доложить по инстанции. А уже в каком виде он преподнесет — неведомо.

Спросить номер телефона начальника управления майора Фомина? Он, кстати, мой ученик. Но именно поэтому-то Фомин отнесется с особым любопытством, с неслужебной заинтересованностью. И он сразу, конечно, не поверит в опасность — нелепо же! — наверняка, как и мне, ему сначала придет мысль: «Гнусная шутка». Придется разубеждать его в этом, а ничего нелепей и унизительней быть не может, непременно вызовешь усмешку: «Эге, затравили медведя». А если все кончится благополучно?.. Не миновать, усмешечка выползет наружу: «Дыма без огня не бывает». Рано или поздно слухи доберутся до школы. Нет ничего страшней для учителя, как

оказаться смешным. За все сорок лет шутом не был никогда, ни на минуту! Разумней всего держаться так, чтоб все видели — тебе нипочем, презираешь: «Опасно! Какие пустяки!» Тогда повода для улыбок не появится, ни у кого не повернется язык сказать: «Дыма без огня...»

Я повесил гудящую трубку на рычаг. Нет, по телефону не выйдет. Неужели и это предусмотрел автор письма? Неужели он догадывался, что быть расчетливо осторожным не так-то просто? Отопри дверь, выйди на лестничную площадку, спустишься по лестнице, от парадного начни свой обычный путь к школе. И на каждом шагу он может ждать. Он не собирается спасти собственную шкуру, самое людное место ему не помеха.

А если сказаться больным?.. Мой дом — моя крепость. Но не до смерти же сидеть в осаде? Придется выйти, подставить себя.

Весь мир, все нормальные люди на моей стороне, а защиты нет. И с тоскою вспомнились утренние деревья под окном, голые ветви в пасмурной дымке. Скоро лопнут почки...

В это время за дверью послышалась грузная поступь жены. Я поспешно вернулся к себе, непослушными пальцами принялся затягивать узел галстука.

Жена вошла, молча положила на стол книги, направилась на кухню готовить завтрак.

Я справился с галстуком, натянул на плечи пиджак, вышел в столовую, по привычке остановился перед трюмо. Желтое лицо, щеки, свисающие дряблыми мешочками, седые, со стальным отливом виски, крупный, неподкупной твердости нос — вон он, Николай Степанович Ечевин, человек, добившийся почета, у кого собираются отнять остаток жизни. От бессонной ночи, от переживаний глаза в зеркале сухо и гордо блестели над крупным носом. На этот раз я нравился самому себе.

Что же, на войне как на войне. Придется рискнуть, выйти наружу. Авось Бог не выдаст, свинья не съест.

Дверь, выпустив меня во враждебную зону, захлопнулась за спиной.

Что я делаю?..

Ради того, чтобы кто-то не усмехнулся по моему адресу, кто-то не обронил: «Дыма без огня...» Да глупо же! Навстречу смерти! Жизньнюю рискую! Так ли трудно вытерпеть непочтительные усмешки? Жизнь и усмешки — надо быть свихнувшимся идиотом, чтоб не понимать, насколько неравноценен обмен. Вернись, пока не поздно!

Я понимал и не мог вернуться, потому что дверь уже захлопнулась, потому что сказал жене — тороплюсь, потому что опять придется встать перед телефоном, потому что не хочу терпеть усмешечек, потому что Бог не выдаст, свинья не съест, потому, наконец, что я уже сделал несколько скованных шагов вниз по лестнице, оторвал себя от дверей.

Ниже этажом я увидел жену слесаря Золотова, вышедшую с мусорным ведром на лестничную площадку, и — надо же — приосанился, против воли напустил на себя отрешенно внушительный вид. Оказывается, для меня важно, как бы эта растрепанная и нечесаная, отдаленно знакомая женщина чего-то не угадала по моей внешности. Я не без величавости ответил на ее «здравствуйте» и прошествовал мимо. Умри, но будь респектабельным.

За распахнутой дверью парадного — солнечный, яркий до боли в глазах, многолюдный и опасный мир. Если б за мной не спускалась с ведром Золотова, я, быть может, помедлил на пороге, но сейчас, задохнувшись от волнения, шагнул вперед, окунулся в шум и солнце.

Город был накрыт густым и пахучим небом. По улице шли заляпанные грязью по крыши кабин тяжелые самосвалы. Они рычали угрожающе и бесшабашно, напоминая городу, который успел забыть и плачущие сосульками карнизы, и отяжелевшие кучи нечистого снега, и мутные ручьи вдоль мостовых, что весна не кончена, она в разгаре. Смотрите, какие мы

грязные, — это ярая весенняя грязь окраин! Глядите, какие мы напористые, — это весна в нас рычит и поет, сотрясает наше машинное нутро. И раскипевшиеся людской сутолокой праздничные тротуары.

— Ах, вам не хочется ль  
Под ручку пройтись?  
— Мой милый! Конечно!  
Хотится! Хотится!

Забывшее ворвалось из далекой молодости, когда еще читал стихи, был способен страдать и пламенеть над строчкою.

Рычат самосвалы, растревожен белый свет. Где-то по раскипяченным улицам ходит моя смерть.

Шестьдесят лет за плечами, не мало. Но за шестьдесят-то лет только сильнее успел привыкнуть к жизни. Именно в шестьдесят, когда не дряхл, не измучен недугами, сильнее веришь в невозможное — в свое бессмертие.

— Ах, вам не хочется ль  
Под ручку пройтись?

Я боялся, но ни сковывающего страха, ни потери не испытывал. Появилось только острое чувство неловкости, словно вышел на люди нагишом — спрятаться бы. И нервическое нетерпение — быстрее, быстрее действуй! Хотя мне предстояло лишь одно привычное действие — знакомой дорогой шагать в школу, и торопиться незачем, будет странно и подозрительно, если я явлюсь в учительскую раньше времени.

Безопасней было бы доехать на автобусе, не сразу бросишься в глаза, в автобусной толкучке убийце трудней развернуться. Но автобус нужно ждать, стоять в очереди, не двигаясь, а это выше моих сил — быстрее, быстрее, мне трудно сейчас заставить себя не бежать молодой рысью, а уж не двигаться, торчать столбом на месте, нет, невозможно.

Я не побежал, даже не позволил себе идти быстро, расправил плечи, степенно двинулся вдоль про-

спекта. Умри, но будь респектабельным. И не проходило ощущение — слишком высок, слишком громоздок, всем бросаюсь в глаза. И вглядывался во встречающих — который же, который? Вглядывался иступленно, почти с надеждой.

Странно, я проходил здесь каждый день и не видел двигающегося навстречу потока, держал в памяти только несколько примелькавшихся лиц. Сейчас я удивился оглушающей пестроте и разнообразию людей: шляпы, кепки, платки, косынки, лица озабоченные, лица углубленные, хмурые, веселые, равнодушные, румяные, морщинистые, бледные, невыспавшиеся... Который же?! Смешно гадать — река течет навстречу, купаешься в ней.

А вот и он, неуклюжий, усатый, мой тяжеловесный Мопассан. Как всегда, столкнулись глазами, как всегда, узнали друг друга, как всегда, появился позыв поздороваться и не поздоровались — расстались... До завтрашнего утра.

Будет ли это завтрашнее?.. Поток навстречу мне — лица, лица. Который же?.. Мой бывший ученик, алкоголик в настоящем. Я убежден, что если вот так же, как с усатым Мопассаном, столкнусь глаза в глаза, то непременно узнаю и вспомню, каким он был в ученичестве, открою для себя, за что он на меня гневается. Стоит столкнуться глазами... Но река течет мне навстречу, купаюсь в ней. Многолюдным стал город, а наша улица центральная, не зря же на отличку от других она гордо называется проспектом.

Мелькнула рыжая бородка, почти родной среди чужих молодой человек с бархатными неискренними глазами.

Не психуй, приди в себя, подумай лучше, не теряя головы: стоит ли вот так катиться туда, куда несет?..

И в самом деле, я, приговоренный к смерти, иду рассказывать о роли разночинцев-шестидесятников в революционном движении. Я не смог позвонить в милицию, а почему? Девичья застенчивость в пикантном положении. Рефлексируешь, угрызаешься, когда надо срочно действовать — ищи автомат, звони в милицию.



Телефонную будку заполняла широченная спина. Мне было очень трудно дожидаться, когда она вывалится наружу, я подозревал всех вокруг, и эту спину в том числе, уж очень она широка...

Наконец дюжий шофер, потный и сердитый от горячего с кем-то разговора, освободил будку, прошагал к стоящему у обочины грузовику. Я нырнул внутрь и поплотней закрыл дверь.

Неожиданно для себя я набрал телефон школы, попросил позвать завуча.

— Надежда Алексеевна, я не могу прийти сейчас... Может, кто-нибудь согласится заменить свои последние уроки на мои первые?..

— Николай Степанович! Николай Степанович! — закудахтала завуч. — Не беспокойтесь, Николай Степанович... Да я сама, сама в случае чего...

Явлюсь лично в милицию, так все-таки лучше, чем распространяться по телефону. Все увидят, что я не потерял головы, иронически отношусь к письму, но... шантаж, извольте принять меры. И ни у кого не повернется язык обмолвиться за моей спиной: «Дыма без огня...»

## 12

Я свернул с проспекта на улицу Лермонтова, упрямо ползущую в гору к старой церкви. По ней неторопливо шли редкие прохожие, время от времени с натугой брал подъем грузовик. Асфальт сух и нагрет, но запахи сырости, запахи еще зимней, непрогретой под асфальтом земли висели в воздухе. Из арок, со дворов обдавало погребной прохладой. Суета осталась за спиной, утренний дремотный покой разлит по улице Лермонтова. Я почувствовал, как мало-помалу становлюсь человеком нормальных размеров.

Вот и церковь, единственное оставшееся в целости наследие села Карасино. Она глядела через дорогу на раскинувшийся внизу новый город Карасино. На тесноту коричнево спекшихся железных крыш, на жестко геометричные, одного крупноблочного покроя здания-близнецы, закрывшие собой

когда-то вольную и ленивую речку Карасинку, на нарядно-сливочные стены лодочной станции и дальше, вглубь, за насыщенно голубую толщу воздуха, на грозово-синие корпуса комбината — родителя города, его кормильца.

Старая церковь среди старых сосен. Когда-то она спесиво сторонилась села, спесиво и властно, как пастырь, глядела через пустырь на избяное стадо. Когда-то здесь был свой, обособленный мирок, под сенью церкви и сосен пряталось нехитрое бревенчатое хозяйство звонаря, ключаря, сторожа, ветхого Амфилохия, деда Фильки в просторечии. А на задах, за церковной каменной стеной, убегали из-под сосен на лысый жаркий пригорок пьяные кресты карасинского погоста. Под каким-то из этих крестов лежали неизвестные мне мои далекие прадеды и прабабки.

Погост давно исчез, жилой квартал похоронил могилы. Давно уже не плавятся под закатным огнем золоченые кресты, давно темны и ржавы купола-луковицы, и белизна церковных стен обманчива, там и сям они скалятся выщербленными кирпичами. Ничего другого не оставило городу село, только эту церковь и эти сосны. Все снесено, перерыто, застроено. Сосны, мне кажется, ничуть не подросли. Они и в годы моего детства были столь же стары и величественны. Подозреваю, даже вороньи гнезда на них все те же.

Сохранилась почти в целости витая железная ограда на кирпичных столбах. Лишь сильно поржавела она да нет узорчатой калитки. И конечно, давно нет деревянной скамьи, стоявшей возле той калитки.

С этой вросшей в землю скамьи село Карасино не походило на себя: река с черной, ртутно-тяжелой водой пряталась в пышные кусты, просевшие драмочные крыши не выглядели нищими, чувствовалось, столетия обдували их, не разрушая, ничего не меняя, непоколебимо покойны, и закаты раскаленным морем разливались над селом, и разбегались по земле розовые певучие тропинки...

Одни закаты умирала над селом тихо и покорно, другие кроваво пятнали серые крыши, зажигали пламя в ленивой реке. К нам часто вылезал дед Филь-

ка, прямой и тощий, как огородное пугало, с ночным мраком в запавших глазницах — не плоть, а тень, не человек, а кладбищенское видение. Каждый раз он говорил одно и то же удивительно мирным, почти баюкающим голосом:

— Любитесь, голуби? Дело Божье. В Писании сказано: «Плодитесь и размножайтесь».

Исчезал бесшумно — не плоть, а тень.

Недавно я услышал, что Татьяна Ивановна Граубе снова вернулась в наш город. Она, разумеется, видела мой портрет в газете, слышала всю шумиху, связанную с моим шестидесятилетием. Раз уж обстоятельства напомнили ей обо мне, то хотел бы я знать, что думает она сейчас про меня?

И вдруг я врос в асфальт, дикая мысль пришла мне в голову.

Но я сразу же свирепо возмутился собой: «Ты с ума сошел! Какие основания?..» И потайной, трезвый голос холодно напомнил мне: «Ты же знаешь, что у нее есть основания».

Заломило поясницу, я вдруг почувствовал, что устал. Надо посидеть, отдохнуть, привести в порядок растрепанное хозяйство в моей седой голове. Надо возразить своему потайному голосу. Таня достаточно умна, чтоб все понять и оправдать...

Я прошел между выщербленными и осыпающимися известкой кирпичными столбами, оказался за церковной оградой, в тени сосен. Я знал, что здесь, под соснами, стоит обыкновенная тяжеловесная садовая скамейка. Не могли догадаться поставить ее под оградой возле столбов, где когда-то была ажурная калитка и где раньше стояла вросшая в землю наша скамья. Отсюда так плохо видно обновленное Карасино, только трубы и башни комбината в синих далах...

### 13

Таня достаточно умна, чтоб понять и оправдать...

Почему она, если не очень красивая, то уж, во всяком случае, не дурнушка, умная, прочитавшая

кучу книг, русских и французских, единственная дочь недоступного для карасинцев Ивана Семеновича Граубе, почему она выделила среди других меня, носатого неловкого парнишку в дерюжных штанах, никак не умного, по ее привередливой мерке?.. Почему?..

Я много, много лет решал для себя эту задачу.

Выбрала среди других... Не такой уж у нее был большой выбор в Карасино. Я носатый, я неловкий, дерюжный, но другие-то парни были ничуть не лучше меня — столь же неструганые и дерюжные.

А простонародно-неструганое в те годы почиталось, как в старину боярская родовитость. Таня, пожалуй, это почтение усвоила во младенчестве от отца, учителя-народника.

Наконец, она просто дочь своего отца, в ней тоже сидела щедрая душа педагога и поэта, которая страстно требовала — делись всем, чем богата. Для людей с педагогической душой нет большей награды, чем чье-то внимание. И она нашла это внимание, и, право, жадное, искреннее, у сына карасинского сапожника Кольки Ечевина.

Господи! Мне же шестьдесят лет, а я все еще помню ее близкое лицо в сумерках, мраморно, по-кладбищенски белеющее, и мрак искрящихся звездной пылью глаз, и ее голос, ручейково-влажный, и шум сосен над головой... Этих самых сосен. Они и сейчас шумят...

Я сидел с закрытыми глазами, слушал далекий шум хвои. Неужели я и до сих пор ее люблю?..

Таня достаточно умна, чтоб понять и оправдать...

Это началось с того, что меня вызвал новый заведующий школой Иван Суков.

Он сидел в граубевском кабинете за большим директорским столом с тумбами, упирающимися в пол львиными лапами, пил чай из железной кружки в скупую прикусочку от ломтя ржаного хлеба, аккуратно положенного на газету.

— Мне вроде бы не след по-бабьи нос совать в молодые дела, где есть сплошной интим, — начал он сумрачно и решительно, — но боюсь, как бы ты, про-

летарий, за красивые глазки свою кровную революцию не продал.

— Ты это о чем? — спросил я.

Я был учеником, Иван Суков заведующим. Мне едва исполнилось четырнадцать лет, Сукову где-то под тридцать. Но такой уж порядок — нет старших, нет младших, все равны, любой и каждый имел право называть главу школы на «ты», иначе тот мог не на шутку обидеться: «Ты эти барские церемонии брось! Тут тебе не старый режим!»

— Сам догадываешься о чем. В истории, брат, примеры тому были наглядные. Вспомни Степана Разина. На что твердый мужик, да тоже чуть по пьянке не влип — на княжну позарился, законное негодование масс вызвал: «Нас на бабу променял». Так-то. Хорошо еще вовремя спохватился, классово чуждый княжеский элемент в набежавшую волну бросил.

— При чем тут княжна?

— Дочь прихвостня крупного капиталиста, твоего скрытого врага, княжны стоит.

— Да какой же Иван Семенович мне враг? Он учил меня, помогал. От отца я ни сапог, ни валенок в жизни не получал, а Иван Семенович в первый же год мне купил.

— Валенки... А он их сам катал? Катал-то их какой-нибудь мытарь, вроде твоего отца. Один Граубе юшку с рабочих жал, да так, что сам сожрать не мог, братцу подкидывал, мол, на спасение твоей и моей души букварей купи ребятишкам, валенки на крайнюю нуждишку подкинь, чтоб мы оба красиво гляделись, чтоб нас простак хвалили. Семейка разбойничков, донга на морозе разденут и пуговицу от рубахи отдадут — грейся, милок, в ножки кланяйся. Темнота ты темнота, классовой ненависти в тебе ни на понюшку.

Иван Суков смотрел с суровой прямоотой в зрачки.

Я и сам понимал: какую-то уступочку себе делаю, закрываю глаза на то, что Иван Семенович не совсем свой для революции человек. Ну а мой отец, чем он революции помог? Как тачал раньше сапоги, так и

теперь тачает, как пил прежде горькую, так и теперь заливает. Но на моего-то отца Суков не замахивается. И я как умел выложил ему это. Иван Суков спокойно возразил:

— Твой отец в стороне, а почему? Темный он элемент. Просвети его, научи, открой глаза, будет свой. А почему в стороне этот Граубе — от темноты, от неучености? То-то и оно, что он нас сам учить собирается. Он нас, а не мы его.

— Ну и пусть учит. Что тут такого?

— Эва! А ежели он научит тебя своего братца любить? Мол, добр был, на бедность валенки давал, зря вы, такие-сякие, немые, против него революцию устраиваете. Ты и теперь верить ему готов. А таких, как ты, целая школа. Можем мы допустить, чтоб в школе враги революции росли? За революцию ты или против?

— За, конечно.

— Тогда и не защищай Граубе.

Я молчал. Иван Суков с прищуром разглядывал меня.

— Молчишь? Мнешься? «Нас на бабу променял»?

И я закричал срывающимся, петушиным голосом:

— А она-то в чем виновата? Она-то не учит, сама учится! Тоже враг!..

Суков не обиделся на мой крик, ожесточенно потер небритую щеку.

— С ней, конечно, не все ясно. Молода, но, поди, отец успел... Вряд ли наших взглядов.

— А если наших?

— Пусть докажет.

— Как?

— Выступит против отца. Честно! Напрямую! Без приседаний! Тогда доказано, девка наша. Вот проведи подготовочку!

«Проведи подготовочку» против родного отца!

Только аморальный тип не посовестится произнести эти слова подростку. Иван Суков аморальный?.. Ой нет! Иван Граубе, человек высокой души, нравственно был нисколько не чище его, не беззаветней, да и не добрей тож.

Жил Суков, как птица небесная, спал то в кабинете на широком кожаном диване, то в сторожке при школе на дощатом топчане, ел когда придется и что придется, обычно на ходу ломоть хлеба, выуженный из кармана. Все имущество — то, что на нем надето, да еще плотницкий сундучок, где хранил единственную смену штопаного бельяшка и дорогой цейсовский бинокль, подаренный ему комдивом: «Прими, товарищ Суков, на всю жизнь и старайся разглядеть в него врагов революции».

Из лапотной и мякинной деревни, из обморочной российской глухомани выбросило этого бесхитрого парня в кипучую гущу классово-борьбы, в разбушевавшийся мировой пожар. Он едва умел читать по-печатному, но всем сердцем принял лозунг, переложенный с французского: «Экспроприируй экспроприаторов!» Цельная натура, он не ведал ни сомнений, ни рефлексий, а потому верил, как в «Отче наш»: род людской расколот пополам на паразитов и тружеников, иных на земле нет. Слова гимна:

Лишь мы, работники всемирной,  
Великой армии труда,  
Владеть землей имеем право,  
Но паразиты — никогда! —

стали для него святым законом. А так как сам он, Иван Суков, с раннего детства тяжело, по-мужичьи трудился, то и себя относил к полноправным властелинам планеты. К любому начальнику он являлся с несокрушимым убеждением, что и страна с ее богатствами, и сам начальник с его учрежденческим столом принадлежат ему, Ивану Сукову. Он не кричал, не возмущался, а лишь щурил свои деревенской голубизны глаза и вразумительно напоминал: «Эй-эй! Опомнись, дорогой товарищ. Ты кому это не даешь, кому отказываешь? Ты хозяину отказываешь, пролетарского хозяина заставляешь себе в ножки кланяться».

Для себя он никогда и ничего не просил, а для других добивался невозможного: школьный сторож Никанор вдруг начал получать зарплату больше са-

мого Сукова, больше любого из учителей; двенадцатилетняя девочка, внучка глухой бабки Рычковой, была проведена персональной пенсионеркой на том только основании, что она «дочь сельского пролетария, безвременно загубленного эксплуататорами». Он многих поставил на ноги, многим дал путевку в жизнь. И мне в том числе.

«Проведи подготовочку...» Мне и в голову не пришло осудить Ивана Сукова за эти слова, посомневаться в их праведности.

Не осуждал, но и не соглашался с ним, не хотел ему верить.

Моя мать ни разу не погладила меня по голове, постоянно мне напоминала, что я «хлебогад», «прорва», «постылое семя». Отец под пьяную руку из меня «давил масло», не помню, чтоб он когда-нибудь купил мне обливной пряник. И что я не «хлебогад», не «прорва», а человек, от которого можно ждать хорошее, убедил меня Иван Семенович Граубе. От него я впервые получил подарки, и не обливные пряники, а валенки и полушубок. Из-за него даже мои родители стали глядеть на меня с надеждой: «Колькато ужотко в люди выйдет».

И вот, оказывается, валенки, полушубок, апостольская возвышающая доброта неспроста... «Семейка разбойничков, донага на морозе разденут и пуговицу от рубахи отдадут...»

Я не хотел верить Сукову, но задуматься он меня заставил.

Иван Семенович содержал школу на деньги своего брата, сам находился на его содержании.

Почему этот брат, известный миллионер-капиталист, помогал учить бедных, даже покупал им валенки и полушубки?

Был слишком добр?

Может, он и разбогател-то от своей доброты, а не оттого, что притеснял трудовой народ?

Я не знал, любить мне или ненавидеть Ивана Семеновича. Время от времени я голосом Ивана Сукова сам себе задавал беспощадный вопрос: «Кто тебе дороже — Иван Семенович Граубе или революция?»



«Проведи подготовочку...»

Носить в себе тяжелые сомнения и скрывать их от Тани — значит не доверять ей, значит заранее записывать ее в число врагов. Я обязан раз и навсегда выяснить с ней все начистоту. Раз и навсегда, без «подготовочки»!

Село внизу рассыпалось раскаленными на закате крышами, и лежала в берегах тяжело-ртутная река.

Таня слушала меня, низко наклонив голову. Был виден ее прямой пробор в темных волосах, полоска известково-белой кожи.

На содержании... От доброты ли содержал? От доброты ли разбогател?.. Почему таких добреньких подмела революция?..

Таня слушала меня и не возражала, сидела с опущенной головой.

— Таня, ты должна выступить!

Она подождала, не скажу ли я еще что-нибудь, спросила в землю:

— Против кого выступить?

— Вот те раз! Говорил тебе, говорил!..

— Против отца выступить?

— Таня: или — или!

И она подняла голову, блестящие недобрые глаза, придушенный голос:

— Скажи, я честный человек?

Я не сразу ответил, я боялся подвоха.

— Молчишь? Может, ты сомневаешься в моей честности?

— Нет! Нет! Не сомневаюсь!

— А я добрая?

— Да.

— А я умная?..

— Да.

На секунду замаялась и спросила все тем же глухим голосом:

— Ты... любишь меня?

Впервые произнесено это слово! Я выдохнул сипло:

— Да.

— Так вот, все во мне от отца! От него честность, доброта и ум, какой имею. Если от таких отцов дети

станут отказываться, знаешь... мир, наверное, тогда выродится.

И встала, хрупкая, легкая, непрочно связанная с землей, плечики вздернуты, тонкая косица падает по узкой, жесткой девчоночьей спине, остроносое лицо заносчиво отведено в сторону. Она не хочет со мной больше разговаривать, она сейчас уйдет от меня, от нас!.. И я выкрикнул:

— Кто тебе дороже, отец или революция?!

— Знаешь... На провокаторские вопросы не отвечаю.

«Провокаторский...» Этого слова я тогда еще не знал, она при мне его ни разу не произносила.

Если дети станут отказываться от отцов, мир выродится. Это было сказано сорок пять лет тому назад.

А сегодня мне самому пришлось вознегодовать: «Человечество перестанет существовать, если ученики будут убивать своих учителей. Больше этого преступления только отцеубийство!»

Сорок пять лет спустя я вдруг повторил Таню.

Нет! Нет! Она слишком умна, должна понять, должна оправдать меня.

## 14

Мне было пятнадцать лет, и я вместе с Иваном Суковым свято верил: сермяжная правда в бедности, и каждый, кто хоть как-то прикасался к богатству, нечист.

Иван Суков проповедовал полное решимости: «Весь мир насилья мы разрушим». Иван Граубе нечто жиденское: «Ученье — свет, неученье — тьма».

Таня ушла от меня к отцу, к ним!

И была простая — проще таблицы умножения — логика: на содержании у богатого, богатым так просто стать нельзя, только насилуя, только грабя и обманывая народ. «Весь мир насилья мы разрушим...»

Таня ушла... Кто тебе дороже, Таня?..

Я не мог ее ненавидеть, и никакой Иван Суков не заставил бы меня: чувствуй к ней это! Не мог нена-

видеть я и ее отца, Ивана Семеновича Граубе. Не было у меня ненависти даже к его нечисто богатому, презренному брату. Но вопрос стоял так: кто мне дороже — они или революция?..

Таня ушла к ним...

Меня родная мать величала «хлебогадом», меня бил пьяный отец, с самого раннего детства на спине и на голове я чувствовал, что такое насилие. «Весь мир насилья мы разрушим...» Таня ушла к ним. Революция мне дороже.

Да, даже ее!

Иван Суков среди прочего неколебимо верил в силу, пронизательность, справедливость коллектива. Один ум хорошо, а два лучше, пять лучше двух, десять — пяти, а целый коллектив уже столь умен, что никогда не ошибается. Ни одно серьезное дело Иван Суков не проводил без общешкольного собрания, где в равной степени учитывалось слово и поседевшего на ниве знаний педагога, и сопливого мальчишки, вчера севшего за парту.

На общее собрание Иван Суков вынес и обсуждение Ивана Семеновича Граубе. Родственные связи с капитализмом, интеллигентские замашки, отрыв от масс и т. д. и т. п. — все это уместилось в одной привычной формулировке «персональное дело».

На таком собрании не выступить, отмолчаться я не мог. Меня бы не исключили за это из школы, но про меня бы говорили, что я потерял классовое чутье, снюхался с чуждым элементом, «нас на бабу променял».

Пусть вспомнит каждый свои пятнадцать лет и ответит: найдется ли более страшное обвинение для человека в таком возрасте?..

Под потолком самого большого класса, в парно надышанном, сдобренном всеми ароматами дурно кормленной плоти воздухе под тусклым стеклом пятилинейной лампы медленно умирал вялый огонек. Только лица сидящих впереди сдержанно бронзовели под его светом, а дальше был мир теней, живущих во мраке, шевелящихся, сопящих, вздыхающих... Иван Семенович Граубе сидел в первом ряду,



у него, как и у всех, было невнятно бронзовое лицо и бронзовая лысина да еще остренько поблескивали очки на носу.

Я излагал бронзовым бесстрастным лицам все то, что уже говорил Тане, то, о чем все это время думал, — свой нехитрый логический ряд. Бронзовые лица — учителя школы — молчали, но тени за ними в своем пещерном мраке подхватывали каждое мое слово. Бронзовым лицам моя логика казалась, верно, слишком простой, а ребятам вполне понятной, близкой.

Я говорил и был непримирим ко всему на свете, и в первую очередь к самому себе. Ради революции я жертвовал самым дорогим для себя — Таней! «В набегавшую волну»! Подвиг, сравнимый лишь с воспетым в песнях подвигом Стеньки Разина.

От Ивана Семеновича Граубе потребовали ответа. Он вышел на свет под лампу, повернулся лицом к бронзовым лицам, к мраку, заполненному тенями. Он гнулся под тяжестью своей объемистой отблескивающей головы. Он долго молчал, рассеянно поправляя на носу очки.

А собрание дышало шумно и ожидающе. Настала захватывающая минута — лев загнан, но еще силен, предстоит схватка!

Как всегда, первые звуки его голоса невольно поразили неожиданной силой, спокойствием, бархатными интонациями.

— Ечевин был моим учеником, — заговорил он. — Я учил его отличать ложь от правды и не научил. Учил ненавидеть зло, уважать добро — не научил. Я жалкий банкрот! Я попусту жил, зря топтал землю, ел хлеб. Тут выкрики, требующие наказать меня. Увы, уже без вас наказан — сильнее невозможно.

Он постоял, сгибаясь под тяжестью собственной головы, повернулся и ушел при общем серьезном и недоуменном молчании.

А утром его нашли в постели уже холодным. На столике лежало письмо: «Прошу никого не винить...» — и ключ от шкафа с химическими реактивами.

Хоронить Граубе неожиданно вышло все село. Бабы плакали, мужики молчаливо стояли без шапок под дождем. Я прятался в самом конце толпы, за спинами.

У Ивана Сукова была чистая совесть, он ни от кого не прятался, даже счел нужным сказать свое слово над гробом покойного: как всегда, призывал верить в грядущую мировую революцию и близкий конец гнивающей буржуазии.

В этот день мой отец напился пьяным и, завалившись домой, принялся меня бить, как давно уже не бил.

— У-у, выродок! От людей совестно! Кругом несут: мол, змея выросил! У-у, рвотное! Мозги вышибу! Так и отца в одночасье за полушку!..

Я молча гнулся под отцовскими кулаками.

Таня какое-то время жила у одной учительницы, потом куда-то уехала.

Лет двадцать спустя, уже после войны, на областной учительской конференции я сидел в зале и слушал очередной доклад. Вдруг я виском ощутил направленный со стороны пристальный взгляд. Я обернулся и увидел: женщина с прозрачно-бледным лицом, в синем шевиотовом костюме, униформе учительниц районного масштаба, отвела глаза. Я узнал ее — Татьяна Ивановна!

Я постеснялся подойти к ней во время перерыва. А постеснялся ли?.. Нет! Она достаточно умна, чтоб понять и простить.

## 15

Сосны шумели у меня над головой. Почтенные сосны, старше города, старше меня.

Тане, Татьяне Ивановне Граубе, в этом году тоже должно исполниться шестьдесят — мы ровесники.

Я сошел с ума! Я думаю, не она ли с непостижимой женской хитростью возвеличила себя — «я алкоголик», подписалась «Ваш бывший ученик»? Таня, дочь Граубе, грозит мне смертью? Несуразная дикость!..

«Выдающийся... самоотверженный... ум и совесть нашей педагогики!» Шумный юбилей! Николай Ечевин завоевывает мир!

А что должно мешать Тане считать меня убийцей своего отца? Причем наверняка таким, который действует из-за угла.

Но нет, нет! Она слишком умна...

Умна, чтоб понять, если я и убийца, то по неведению, не из-за кошелька.

По неведению?.. Отец Тани несколько лет подряд изо дня в день учил меня, а безнадежно глупым меня не считали... Почему должна она оправдывать меня — не ведал-де, что творил?

Я виноват в том, что создал простенький, как частушка, логический постулат: тебя содержит богатый, каждый богатый — враг, значит, враг и ты! Откуда мне было знать в пятнадцать лет, что чаще всего приводит людей к беде слишком простая логика.

Она, дочь известного русского педагога Граубе, сама педагог, не может не считать, что только с чистыми руками и кристальной совестью можно заниматься воспитанием детей.

Человечество перестанет существовать, если ученики будут убивать своих учителей. Боже мой! Я в ее глазах именно такой вот убийца!

И я справил триумфальный юбилей.

Есть ли на свете еще человек, который бы имел столь ощутимый повод ненавидеть меня? Ненавидеть и считать меня опасным для общества.

Но... «Я алкоголик... представитель человеческих отбросов... подозрительный философ забегаловок...»

Ты допускаешь, естественно, что полученное тобой письмо написано поддельным, подложным почерком, тогда столь же естественно, что и портретные черты автора должны быть в нем ложны, как и сам почерк.

И откуда знать, что Таня не нашла себе помощника, который может про себя сказать с чистой совестью: «Я алкоголик» и даже «Ваш бывший уче-

ник». Через меня прошло более трех тысяч учеников, не все они были Григориями Бухаловыми.

Таня?.. Нет! Все-таки невероятно! Не умещается в мозг! Бред!..

Я встал и вышел из-под шумящих сосен. И снова внизу передо мной раскинулся мой город — веселое нагромождение нагретых солнцем железных крыш, каменных стен, тесные пропасти переулков, асфальтовые озера площадей. А давно ли дремлющее среди огородов, как овцы на выпасе, избяное стадо... Не верится, что за одну неполную человеческую жизнь можно навозить столько кирпича и так загроздить землю этаж над этажом.

Земля, на которой я родилась, изменилась, ничего похожего с прежней. Изменился и я, но так ли уж, чтоб ничего похожего?..

## 16

Я словно вынырнул из прошлого, как герой немудреного научно-фантастического рассказа, с легкостью путешествующий во времени. Стою на солнечном тротуаре, каждой порой своего тела ощущаю плывущую мимо жизнь, до оскомины знакомую, до неменяемости страшную. Письмо?.. Да здесь, здесь это письмо, в кармане, напротив сердца. О нем я не забывал даже в стране Прошлого.

Плывет мимо знакомая жизнь, нужно прыгать в ее поток. Я, кажется, шел в милицию за спасением... Перед милицейской фуражкой всегда чувствуешь себя виновным. Там спросят: «А кого вы подозреваете, уважаемый товарищ Ечевин?»

Подозреваю Таню, виноват, Татьяну Ивановну Граубе. Слышал, она недавно вдруг ни с того ни с сего вернулась в родной город, подозрительно!

И Таню вызовут... И Таня подумает: «Каким ты был, таким остался. Бьешь по-прежнему из-за угла...»

Во главе городской милиции стоит Вася Фомин... Он не исчезал надолго из моего поля зрения, уходил на фронт и возвращался, женился, рос по службе, ныне майор, но должность занимает такую, куда



обычно ставят полковников — заметная принадлежность новенького, с иголочки города Карасина. Был когда-то стриженный крепыш, тихоня, аккуратист, себе на уме, в учебе надежный среднячок...

Сколько лет знаю, но сейчас с удивлением почувствовал, что не могу ответить на такой важный для себя вопрос: как бывший ученик Фомин относится к своему старому учителю? Уважает ли? Любит ли?.. Ну, любит, положим. Учителя не обязательно бывают самоотверженными, а ученики благодарными. Знания — не сладкий плод, а горький корень. И чем настойчивей учитель кормит своих учеников этим неудобоваримым корнем, тем меньше шансов рассчитывать ему на их любовь. Конечно, Фомин встретит вежливо, даже внешне любовно — чти и уважай старого учителя, но, как знать, не подумает ли: «Отливаются кошке мышкены слезы...» Бывший ученик...

— Здравствуйте, Николай Степанович.

Полная женщина в обвисшей кофте с двумя набитыми авоськами в руках, на лице взволнованный румянец, словно нежданно-негаданно встретила свою давнюю, неперегоревшую любовь, мать Левы Бочарова. И я наперед знаю ее вопрос:

— Как Лева, Николай Степанович?

— Все в порядке на этот раз.

Сейчас я чувствую себя виноватым перед всеми, хочется искупить какую-то вину, каяться, жаловаться, оправдываться. Хочется умиляться... Но это непедагогично, и я не добавлю ни слова к своему ответу. Однако и такой черствый ответ делает мать счастливой.

— Он слово нам дал, Николай Степанович. Мы с отцом ему сказали: будь, как все. Если что, мы тебе просто не родители, иди работать. Так и сказали. И, честное слово, выполнили бы. Понял, обещание дал.

Я неопределенно промычал. Почему-то меня не обрадовала родительская поддержка. А мать счастлива, цветет молодым румянцем.

— Спасибо вам, это вы нас надоумили и поддержали. Большое спасибо, Николай Степанович.

— М-м... Не за что.

Мы простились. Она двинулась своей дорогой, сгибаясь под раздутыми авоськами, набитыми хлебом, кулками с крупой, бутылками с молоком, — любящая мать, охваченная родительским счастьем, ибо сын пообещал быть, как все.

И я вспомнил последнее сочинение Левы, которое лежит у меня в портфеле. Как у всех, даже хуже...

Мне вдруг захотелось встретиться с Таней. Не с той, какой ее помню, а с сегодняшней, в сущности, незнакомым мне человеком. Встретиться, чтоб выслушать в лицо упрёки. Но это мечтание, а жизнь-то течет, и мне надо успевать за ней.

В милицию мне идти незачем, значит, в школу.

## 17

Сравнительно недавно снесли школу Граубе — бревенчатый дом в два этажа с высокими печами-голландками, с деревянными лестницами, с крашеными изношенными полами, с тесными классными комнатами. Стены той школы хранили камерную уютность, в них всегда ощущался особый, сложный запах — чернил, старых, лежалых книг, копившейся десятилетиями пыли. Последнее время мы страдали от тесноты, но то была теснота скученной семьи.

Старую школу снесли, на ее месте поставлен небольшой магазин обуви, новая выстроена чуть в стороне по проспекту.

Она безупречна, эта новая школа. У нее гордый фасад — красный кирпич с прослойками белого, силикатного. По фасаду развернуты ряды одинаково размашистых окон, стекла больше, чем кирпичных простенков, за широким входом посреди вестибюля безмолвно трубит гипсовый горнист, призывает подняться по лестнице. Коридоры по-больничному светлы. На белых дверях нет табличек — «V класс», «VI класс»... Нет классных комнат, есть только кабинеты — физики, математики, географии, истории, биологии, литературы, русского языка... Они же и

классы, черные доски в них могут быть накрыты белыми экранами — смотри кино, правда, не смотрим, нет учебных фильмов. Есть конференц-зал, который легко превращается в театр. Есть обширный спортзал, где нельзя играть только в футбол. Новая школа раз в пять больше старой. В новой школе нет своих особых запахов, да и своего лица тоже нет — в точности похожа на остальные новые школы города.

Я признаю свою школу и красивой, и удобной, работаю в ней вот уже десять лет, но почему-то не перестаю чувствовать себя новоселом.

Только что кончился перерыв. Коридоры пусты, двери отрешенно закрыты, смутно доносятся из-за них голоса учителей, ведущих уроки. Из разных дверей разные голоса и неясные, сдержанные звуки, создающие насыщенную атмосферу рабочего дня. Она меня всегда взбадривает, попадая в нее, я молодею.

Открывая дверь в учительскую, я услышал раздраженный разговор и невольно поморщился — каркающий голос Евгения Сергеевича Леденева, преподавателя литературы в старших классах.

Старая граубевская школа кончила свой век, магазин обуви — памятник на ее могиле. Но кое-что из той старой школы перекочевало в новую. Кое-что и кое-кто — вещи и люди.

В просторной солнечной учительской стоит длинный, под зеленым сукном стол. Еще до революции Иван Семенович Граубе собирал за ним своих педагогов. В прежних стенах стол казался подавляюще громадным, он не просто занимал всю тесноватую учительскую, он сам собой представлял учительскую, в семейную спайку он объединял еще не слишком разросшийся тогда преподавательский коллектив. И в те времена за этим столом никогда не слышалось раздоров, споры были чинны, сдержанны, учтивы, и учителя подымались из-за олицетворявшего педагогический оплот стола с ощущением надежности, ясности, наперед зная — так похвально, а так запретно.

В новой же учительской старый стол не кажется большим, занимает лишь часть комнаты, и дав-

но уже все педагоги не умещаются за ним во время педсоветов. И все чаще и чаще за этим столом нарушаются мир и согласие, нередко вспыхивают склочные баталии, недостойные тех, кто своим примером призван воспитывать.

Первый в баталиях авангардист Леденев. Он окончил московский вуз, привез с собой столичные (последнего образца!) взгляды и столичную самоуверенность. Он не стесняется в открытую ругать не только утвержденные программы обучения — их все помаленьку поругивают! — но и клянет всю систему просвещения: классы устарели, урочный подход — анахронизм, отец существующей педагогики Ян Амос Коменский — трехсотлетняя древность!

Я не выношу ни его залихватских теориек, ни его самого. Мне крайне неприятен его голос — только язвительный, только напористо крикливый, никогда не нормальный, его угловатое лицо, тонконосое, тонкогубое, обезьяньи подвижное, с недобреньким блеском смородиновых глаз, его собранная, спортивная, наилегчайшего веса фигурка, его манера одеваться с подчеркнутым презрением к общепринятым нормам — не носит галстуков и белых сорочек, является в школу в свитерах дамски бешеной расцветки.

Сейчас в пустой учительской Леденев спорил с завучем Надеждой Алексеевной. Этот спор начался тогда, когда Леденев переступил порог нашей школы, а кончится он наверняка с кончиной добросовестнейшей страдальницы Надежды Алексеевны. Впрочем, на ловца и зверь бежит, Леденев тогда найдет себе новую жертву.

— Я не могу допустить, чтоб дети на уроках слушали безнравственные стишки, воспевающие пьянство! — уже причитающим голосом выдавала Надежда Алексеевна.

А Леденев спокоен. Леденев холоден, сидит, небрежно перекинув ногу на ногу, в своих трещащих от модности брючках. У него своя манера вести спор — быть спокойным до равнодушия и доводить противника до белого каления. И когда выведенный из равновесия противник сорвется, скажет глупость, неточ-

но выразится, Леденев тут взрывается, начинает художественно неистовствовать.

— Во-первых, дети... — хмыкает он. — Этим детям, Надежда Алексеевна, шестнадцать, семнадцать лет. Уверяю вас: все они давно уже знают, что младенцев находят не в капусте.

— Может, вы предложите сделать это предметом преподавания?

— Может, и нужно будет когда-то ввести такой предмет.

Надежда Алексеевна в ответ лишь воздела к люстре руки.

— Во-вторых, как вы выразились, стишки... Извините, не стишки, а великие стихи — рубаи Омара Хайяма. В-третьих, считать шедевры мировой классической лирики безнравственными есть ханжество или крайнее невежество!

— Николай Степанович! — как к свалившемуся с неба спасителю воззвала ко мне Надежда Алексеевна. — Николай Степанович! Вы послушайте только!

Мне неприятен Леденев, но на этот раз и Надежда Алексеевна не вызывает сочувствия. Воистину простота хуже воровства, надо же наброситься с упреками — читает ученикам не запланированного программой Омара Хайяма. И бабий беспомощный вопль: «Спасите, Николай Степанович!»

— Не могу согласиться с вами, Надежда Алексеевна, — сухо сказал я. — Бессмертные рубаи Хайяма не безнравственны, а, напротив, высоконравственны.

Леденев небрежно перебросил ногу на ногу, ухмыльнулся. Его ухмылочка означала и то, что вряд ли я, по его мнению, человек не только старый, но и косный, могу оценить Омара Хайяма и что — ха-ха! потешная ситуация! — Ромео и Джульетта карасинской педагогики вдруг не сошлись мнениями.

А Надежда Алексеевна захлебнулась от отчаяния:

— Николай Степанович! Вы же знаете, что Евгений Сергеевич только то и делает, что вытаскивает на уроки бессмертных! То Омар, то сонеты Шекспира...

— Так вы бы должны за столь широкий охват объявить мне благодарность в приказе, — подсказал Леденев.

— Но на экзаменах-то у ваших учеников будут спрашивать не веселые, извините, все-таки с долей алкоголя стихи, не творчество новомодной поэтессы!..

— Вы хотите, чтоб я нацелил их только на экзаменационную отметку и не позволил молодым людям оглядываться по сторонам? Вы требуете, чтоб я запрещал им видеть многообразный мир человеческой культуры?..

— Но что, если ваши ученики угрожают время на алкогольные и безалкогольные произведения и не сдадут выпускных экзаменов?.. Вы им жизнь ломаете, Евгений Сергеевич! Жизнь! Элементарнейшая человеческая честность должна будить в вас чувство ответственности!

И наконец-то Леденев взвился со стула.

— Ах честность... Вот вы о чем заговорили! Честность по принципу «чего изволите»! Честность по директиве! Честность, которую можно сменить при случае, как поношенную рубаху, если придет иное указание. Чем эта принципиальная честность отличается от трусливой беспринципности?!

Сегодня у меня нет никакого желания закрывать своей грудью Надежду Алексеевну. Я прошел в кабинет директора, бросив ее на растерзание Леденева. А Леденев за моей спиной гремел о казенной добросовестности и добросовестной казенщине, о бесстыдном лицемерии и стыдливой самостоятельности — художественно неистовствовал.

Кабинет директора свободен почти всегда. Наш директор непоседлив. Он свято верит, что у него в школе опытный педагогический коллектив, на который можно полностью положиться, а потому утонул целиком в хозяйственных делах. Летом наша школа первой в городе закончит ремонт, все ученики необеспеченных родителей будут устроены в пионерлагеря, многие учителя во время отпусков получают путевки на курорт... И все это директор проворачивает не из своего кабинета.

Я уселся за директорский стол, открыл портфель, достал пачку проверенных сочинений — Иван Грозный против родовитых бояр...

## 18

Сочинение Зыбковец: «Такой человек не мог желать людям лучшего... Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга». Жирная двойка — не наших взглядов...

А что наше и что чужое?

Странный вопрос, родственник детскому:

Крошка сын

к отцу пришел,

и спросила кроха:

— Что такое

х о р о ш о

и что такое

п л о х о?

В дни моей молодости, где-то в конце двадцатых годов, любой царь осуждался с ненавистью — глава господ, верховный угнетатель, кровопийца народа номер один. Любой царь, в том числе и далекий Иван Грозный. Тогда бы я не сказал Зое: «Не наших взглядов».

Теперь никто не удивляется, когда превозносят кибернетику, а давно ли — буржуазная лженаука, никак не наша.

А каким враждебно не нашим был когда-то монах Мендель! Теперь он полностью наш, в почете и славе.

Был не нашим и Иван Семенович Граубе, пожили дольше, наверняка стал бы нашим.

Что наше, что чужое? «Что такое х о р о ш о и что такое п л о х о?» Могу ли я быть судьей?

И вообще кто я такой, на что я способен?

Вдруг как-то устрашающе полез мне в глаза знакомый кабинет. От фронтовиков приходилось не раз слышать: в минуты смертельной опасности начинаешь видеть то, что в обычном состоянии невозможно заметить. Один уверял меня: незадолго до своей конту-

зии он разглядел на лице сидящего рядом товарища нечто — его конец. Две минуты спустя этот товарищ был убит наповал осколком разорвавшегося снаряда, а мой знакомый сильно контужен. Он узрел будущее.

И сейчас я не обычным зрением, а каким-то особым пронизанием воспринял лицо кабинета. Я увидел не просто широкий полированный стол, телефон на нем, мягкие кресла по углам, я узрел не наглядные, грубо материальные вещи, а скорей то, как эти вещи связаны между собой. Увидел связи, а не предметы, не лицо окружающего мира, а его освобожденное внутреннее выражение — душу сущего.

Стол, за которым я сидел, стоял парадно, столу было отведено тронное место, но сидеть за ним было неудобно, свет из окна косо падал на правую руку, бросал тень на бумагу. А кресла засунуты глубоко в углы, стоят симметрично, но посетителю и в голову не придет ими воспользоваться. Хозяин, оснащавший кабинет, честолюбиво гордящийся мягкой полированной мебелью, повторял лишь то, что обычно без раздумья делают и другие. В таком кабинете, наверное, никогда не родятся дерзкие идеи.

Раньше этого я не видел... Я сейчас увидел многое в себе, чего и не подозревал.

Что наше, что чужое? Что такое х о р о ш о? Что такое п л о х о? Я учитель! Но если я не отвечу на эти вопросы, то как же мне тогда учить других? Как и чему?.. А мне уже шестьдесят лет, жизнь позади...

Непривычно коротенькое ученическое сочинение лежало передо мной. Под ним моей рукой выведена жирная двойка. Я судья...

Назойливо лезет в глаза парадно сиротская душа чисто прибранного, сверкающего лаком заброшенного кабинета. Неуютно. Хочется встать и уйти. Но куда? Где мне теперь уютно?

Открылась дверь, вошла Надежда Алексеевна, лицо из одних багровых щек, тонкая батистовая кофточка сдерживает напор бурно вздымающихся грудей, уставилась мокро сверкающими глазами. Мне так нужно разобраться с самим собой, но придется выслушивать рыдающие жалобы.



— Сил нет! Нет больше сил! Самовлюбленный эгоист! Ничего святого! Наплевать на учеников! Наплевать на интересы коллектива!..

Хлынуло.

Я слушал, глядел на Надежду Алексеевну, на ее багровое лицо, на вздымающиеся груди. Она вот не сомневается, что может быть судьей. Ей наперед известно, что хорошо, что плохо, что наше, что чужое, где правда, где кривда.

— Наши законы для него, видите ли, не писаны! Трудовая дисциплина не обязательна! Что хочу, то и ворочу! Да еще с хамством, с наглой издевочкой. Сколько можно терпеть?..

Как, однако, постарела Надежда Алексеевна, как чудовищно раздалась, потолстела...

Лет двадцать назад явилась в школу студенточка, которой пришлось учиться в голодные военные годы: истощенное в голубизну лицо, прозрачные руки, тощие плечики и шестимесячная завивка. А я уже тогда был учителем, работал директором, исполнял обязанности заведующего роно, проявил настойчивость, чтоб вернуться в школу, к преподаванию. На моих глазах она наливалась осанистой полнотой. С моей помощью научилась понимать, что хорошо, что плохо. Она вот и сейчас это твердо знает, добросовестная ученица.

И вдруг Надежда Алексеевна всхлипнула, поспешно вынула из кармана платочек.

— Господи! И он, он упрекает... В чем? Нечестна, мол, беспринципна!.. Николай Степанович, вы же меня знаете. Двадцать лет без передышки кручусь — днем уроки, вечерами общественные нагрузки, ночами ребячьи тетрадки. Пусть не сорок, как вы, а добрых двадцать лет я прикована к галере школьного обучения! А этот... Этот только что рядом с нами сел за весло и уже упрекает — нечестно гребешь... Выгребика с мое!.. Николай Степанович, что же вы молчите, надеюсь, не думаете обо мне по-леденевски...

— Не думаю, — сказал я. — Вы честный человек, Надежда Алексеевна.

Она мгновенно утешилась, облегченно вздохнула, промокнула платочком глаза.

— Столь же честный, как я сам, — добавил я, возражая с тоской письму, лежащему у меня в нагрудном кармане, напротив сердца.

Надежда Алексеевна встрепыхнулась было, чтоб сообщить с бурным возмущением — нет-де никакой необходимости утверждать очевидную банальность, — но тут раздался звонок.

Я засунул сочинение Зои Зыбковец в портфель, вышел из кабинета, предоставив Надежде Алексеевне немного поостыть в одиночестве.

В пустой учительской сидел Леденев, что-то углубленно читал, тербил черные жесткие волосы.

## 19

Я стоял лицом к окну, спиной к дверям.

За окном виднелся тесный и тихий школьный двор, обсаженный акациями. Выбежали две девчухи в форменных коричневых платьицах и черных передниках — первые ласточки очнувшейся от очередного урока школы. Через минуту двор будет кишеть ребятишками, все высыплют на солнышко.

А за моей спиной просторная школа заполнялась знакомым гулом перемены, учительская — голосами учителей, шумом передвигаемых стульев, легким запахом табачного дыма.

Мне не нужно оборачиваться, чтоб узнать, кто вошел. По хлопку дверей, по голосу, по звуку шагов, даже по шороху платья я представлял себе вошедших учителей, видел их.

Вот, вежливоенько посапывая, уютно уселся в кресло учитель географии Колесников, наверняка щупает ласковым глазом мою спину, ждет, когда обернусь, чтоб любезно поздороваться. Он еще молод, но уже рыхловато полон, с сибаритской ленивой осаночкой, которая, впрочем, ему идет. Он появился недавно, но сразу же вписался в ансамбль школы. Он ладит со мной, ладит с Надеждой Алексеевной, ладит с Леденевым, но себе на уме: без шума, не афишируя,

делает странные вещи — не задает домашних заданий, не проводит на уроках опросы, заставляет учеников вести какие-то дневники путешествий, выставляет за них оценки.

А вот, бесплотно шелестя крепдешином, прошла химичка Берта Арнольдовна. И сразу же за ней раздалась тяжелая поступь низкорослой, коренастой, мужеподобной математички Анны Григорьевны. Сейчас они сойдутся и озабоченно заговорят о только что выставленных, свеженьких, с пылу с жару отметках:

— А Кошкин у меня снова «два» схватил. Не знаю, что с ним и делать...

Всю жизнь устремлены к одному — к благообразно выглядящим страницам классных журналов.

Гулким сварливым кашлем известил о своем появлении другой математик школы, Георгий Игнатьевич Каштан, в ребяческом обиходе Жорка Желудь. Он всего на два года моложе меня, работал до войны в комплексной школе, в деревеньке среди глухих болот, в войну воевал, трижды ранен, увешан орденами. На войне, по слухам, он был удивительно храбр, в школе же ни чудес храбрости, ни примеров энтузиазма не проявлял, скандалил по мелочам, но с оглядкой, побаивался, как бы его не направили куда-нибудь обратно в болота, к черту на кулички. Он знает свой предмет, неплохо его преподносит и почему-то не уверен в себе, мне кажется, что не любит преподавательское дело, болезненно утомляется от уроков, сейчас вот ждет не дождется того дня, когда выйдет на пенсию.

И еще один старый кадровик, Василий Емельянович, учитель физики, добродушнейший человек, все терпящий и всех любящий. Впрочем, не всех. Он тайно недолюбливает двоих — Леву Бочарова и Альберта Эйнштейна. Теория относительности Эйнштейна — мозги свихнешь, а Лева Бочаров назло с ней-то и надоедает на уроках.

Громкие голоса, всплески смеха, шум передвигаемых стульев — учительская ожила на свои десять отмеренных минут, до нового урока.

Я стоял спиной к ней, но видел ее во всех подробностях.

— Николай Степанович, голубчик, здравствуйте! Что же это вы в байроновской позе? Так сказать: «Коварной жизнью недовольный...»

Василий Емельянович, светясь очками, лысиной, золотой коронкой во рту, подошел ко мне.

— А вы знаете, кого я вчера на улице встретил? Представьте себе...

Василий Емельянович всегда со свежими новостями, всегда кого-то внезапно встречает, от кого-то передает приветы.

— Елькина Антона помните?.. Немало же он всем нам крови попортил...

— Елькин?

— Вернулся, так сказать, в родные палестины. И знаете, положительное впечатление на меня произвел. Ничего схожего с прежним. Одет этак основательно — токарь высокой квалификации, женат, двое детей...

— Антон Елькин?..

— Именно! На углу проспекта наткнулся. Не узнал бы, если б он сам меня не окликнул. Поговорили на ходу, о вас он в газете читал...

Антон Елькин...

## 20

Я никогда не поверю в его благообразие. «Ничего схожего с прежним...» То-то и оно, что он никогда не повторялся, никогда не походил сам на себя.

Антон Елькин...

Думается, что каждый учитель, кто достаточно долго проработал в школе и пропустил через свои руки изрядное количество детей, рано или поздно сталкивается с таким — одним из сотен или даже тысяч, — который начинает вызывать обостренную, почти болезненную ненависть или отвращение, порой до ужаса. Ни силой воли, ни профессиональной тренированностью не вытравившь из себя это. Можно лишь спрятать, притвориться, что, мол, нет ничего, но не отделаться.

Как-то до войны первого сентября я явился на первый урок в пятый класс, сформированный из учеников начальных школ. По случаю открытия учебного года я вырядился в белые — тогда модные — отутюженные брюки, в белые, начищенные зубным порошком брезентовые туфли. Я поздоровался с классом, попросил садиться и сам не без ритуальной картинности опустился на стул.

Опустился и почувствовал, что прилип к стулу своими белоснежными, без пятнышка, брюками, прилип основательно, что называется, всей площадью, постепенно ощущая противно теплую, медленно проникающую сквозь ткань клееобразную массу. Ощутил и этакий знакомый смолистый запах, запах сапожной дратвы, сообразил, что сиденье моего черного стула кто-то покрыл слоем гудрона, валявшегося кучами рядом со школой. Если я и сумею незаметно отодрать себя от стула, то мои ослепительные брюки окажутся с тыла в черной жирной гудроновой коросте. Со стороны, наверное, это будет выглядеть как и положено, то есть смешно до коликов.

Я сидел и взирал на класс, а класс простодушно ждал, что скажет новый учитель. Я понял, что веселая затея не была коллективным творчеством.

И тут я увидел автора. Я учуял его шестым чувством и невольно содрогнулся от своего тоскливого ясновидения — он с этой минуты начал против меня беспощадную длительную партизанскую войну. Прилипший к стулу зад — первая вылазка!

Да, его лицо выделялось среди других. Все оно как-то тянулось вслед за носом — короткая, не прикрывающая крупные зубы верхняя губа, покатым подбородком... Мальчишка напоминал мне юного зубастого акуленка, не откровенно злобного, однако хищного. Он смотрел со своей парты на меня округлым от любопытства маленьким глазом, и что-то жестоко-веселое мнилось мне в его взгляде.

— Встань, пожалуйста. Да, да, ты.

И он охотно встал, не сводя с меня веселых пуговичных глаз: «Ты угадал, но попробуй-ка докажи».

А я, приклеенный к стулу, как муха к капле меду, невольно признал его право на торжество.

— Как тебя зовут?

— Тошкой, а че?..

После того, что сделал, он позволял себе роскошь прикинуться дурачком, поиздеваться надо мной.

— Тебя до пятого класса не научили, как нужно отвечать на вопрос учителя?

— А че?.. Как? Не знаю.

И тут-то во мне начала подыматься ненависть. Да, она! И да, сразу!

Рождалось, без дураков, большое, серьезное чувство к несерьезному шпингалету каких-нибудь двенадцати лет от роду.

— Надо отвечать учителю полностью: меня зовут... Называй полностью свое имя и свою фамилию.

— Меня зовут Тошка Елькин.

— Что ж, Тошка так Тошка. Я попрошу тебя, Тошка Елькин, сходить в учительскую и позвать сюда директора.

И опять он с охотой кинулся исполнять мою просьбу.

Он не приходил долго, долго, а я сидел, припаянный седалищем к стулу, и невпопад вел урок. Я начал осознавать, что имею дело не с простым пакостником — артистом своего рода.

И все-таки я его недооценивал.

Да, он привел, и не одного директора, а всех свободных от уроков учителей. Они ввалились в мой класс с тревожными лицами. Загромыхали крышки парт, ученики шумно поднялись с мест, я сидел истуканом.

— Николай Степанович, что случилось?.. — спросил директор. — Ваш ученик сказал, что с вами плохо...

И я попросил с невежливой досадой:

— Пусть кто-нибудь заберет весь класс, выведет его... хотя бы во двор. Оставьте нас вдвоем!

Директор недоуменно пожал плечом, но спрашивать не стал, кивнул: делайте!

Была сутолока, был шум, разговоры, жалобы: «А у меня нога болит», вопросы: «А сумки с собой

братъ?»), и возня, и строгие окрики. Я же сидел, словно каменный сфинкс. Директор с опаской косился на меня.

Наконец дверь захлопнулась и мы остались вдвоем.  
— Так что же, в конце концов, стряслось?

Я уперся локтем в спинку стула, с треском отодрал себя от сиденья.

— Вот что!.. Попросите кого-нибудь раздобыть мне на время штаны.

Директором тогда у нас был вышедший в тираж бывший наркомпросовский работник — высокий, вальяжно-тучный, седой. Он редко одаривал даже улыбкой, а тут стал багроветь, таращить глаза и за-колыхался.

— Ох! Простите!.. Я понимаю... Но ох! Ох!.. Ради бога... Я не могу!..

Антон Елькин...

Два с лишним года между нами шла война. Он пакостил и другим учителям, все от него страдали, но меня он отмечал особенным вниманием.

Я открывал класный журнал, склонялся над ним, чтоб пробежать глазами список учеников, и... начинал ожесточенно, рыдающе, взахлеб чихать. Потом оказывалось, что между страницами класного журнала насыпан тончайший порошок, адская смесь растертого перца с табаком.

Я расстегивал свой портфель и вздрагивал — на учительский стол выскакивала жаба.

Для всех остальных учеников я был строгий и взыскательный учитель, с кем шутить не следует, а для него удобная для потех фигура. Почему? Возможно, потому, что строг и взыскателен, неудобный материал для шутки, тем более лестно проявить свой изощренный артистизм.

Ничего нет унизительнее и опаснее для учителя, чем самооборона. Следует наступать, и я это начал. Во время уроков я подымал Антона Елькина в самые неожиданные для него моменты, я был придирчив к нему, но справедлив, не отказывал в хорошей оценке, если он того стоил, но уже не спускал ни малейшей оплошности. Он, безалаберный, недобросовест-

ный и не очень способный в учебе, сначала пытался выдержать мое пристрастное внимание — выполнял все домашние задания, ловил каждое мое слово на уроках, — но надолго его не хватило, сломался, начал получать двойку за двойкой.

Однажды, как всегда, я подошел к дверям школы за несколько минут до звонка. И вдруг мимо моего носа с шумом, с ветром что-то пролетело. Оказавшаяся случайно рядом веснушчатая шестиклассница недоумевающе разглядывала лежащий на земле кирпич. И я сразу же сообразил: кирпич был сброшен с крыши на мою голову.

Его поймали прямо на крыше. Сима Лучкова, веснушчатая шестиклассница, была живой свидетельницей при расследовании.

— Да, видела, как упал... Большущий-пребольшущий.

У Антона Елькина была только мать. «Одна его воспитывала, безотцовщина, поимейте, ради Христа, это в виду». Не знавшая замужества женщина, мать-одиночка, измученная не только мелочными житейскими заботами, но и своим «маккиавелистым» сынком. Пожалуй, ради нее я готов был простить юного террориста, но, увы, педсовет вынес единодушный приговор — исключить!

Мать Елькина плакала и униженно просила, а он сам упрямо смотрел в сторону с ринувшимся вперед лицом, с лицом, смахивающим на акулю морду, и короткая верхняя губа не прикрывала крупных неровных зубов... Смотрит в сторону, ничего не слышит, не выказывает жалости к матери, не желает расстаться со своей ненавистью, безнадёжен.

Антон Елькин и внезапное письмо...

А я-то грешил — господи! На кого? — на Татьяну Ивановну Граубе, столь же почтенную учительницу, как и я сам. В этом году ей тоже исполнится шестьдесят!

Антон Елькин! Как я мог забыть о нем!..

Учительская жила за моей спиной. Снова требовательно зазвонил звонок — перерыв окончен.



Чья-то рука мягко тронула меня за плечо. Я оглянулся — Надежда Алексеевна с озабоченным лицом.

— Николай Степанович, я вот тут к вам приглядываюсь... Вам что-то не по себе. Может, вам не стоит сегодня идти на уроки? Лучше домой, отдохните немного.

Как это соблазнительно — не пойти на урок!

Я не знаю, как оценить царя Ивана Грозного, не знаю, права ли Зыбковец вместе с Костомаровым, не знаю, как оправдать поставленную вчера двойку, как держаться с ребятами. Вчера входил в класс самоуверенный человек, считавший — каждое изреченное им слово есть истина. Сейчас нет уверенности ни в чем, смута и страх в душе.

Как соблазнительно спрятаться! Остаться бы наедине со своей непонятной болезнью.

Надежда Алексеевна с искренней тревогой заглядывала мне в глаза.

— Нет, отчего же... Я здоров.

Я подхватил свой портфель и, стараясь ни на кого не смотреть, пошел на урок, пугающий, как первый урок в жизни.

## 21

Класс десятый «А» — тридцать восемь человек на перевале из детства в зрелость, девицы с развитыми формами, парни с темным пушком усов. Тридцать восемь человек, нетерпеливо досиживающие последние дни за школьными партами.

Мой класс, я в нем вот уже четыре года классный руководитель.

Тридцать восемь пар глаз уставились на меня с будничным ожиданием — впереди очередной урок, один из многих. Никто не подозревал, что их старый учитель Николай Степанович Ечевин к этому уроку пришел неподготовленным и не прочь сейчас услышать подсказку.

Не спеша я перебрал работы, вынул сочинение Зои Зыбковец, положил перед собой, оглядел класс. Все тридцать восемь ждали...

— Я вам прочту...

И прочел — читата из Костомарова, короткое резюме: «Такой человек не мог желать людям лучшего... Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга».

Класс выслушал недоверчиво и настороженно — неспроста читает, должен клюнуть или погладить. Зоя Зыбковец опустила голову, одно плечо напряженно приподнято, в скованной фигуре мучительное ожидание — клюнет или погладит?

— Вчера я за это сочинение поставил двойку. Вчера поставил, сегодня сомневаюсь. Давайте поговорим.

Прекрасно сознаю — непедагогично. Но сорок лет берег свой авторитет, сорок лет воинственно занимал оборону! Пусть будет передышка, белый флаг на минуту.

Вопрос задан, но класс молчит, класс не верит мне: «На пушку берешь».

Ну, отвечать-то их я могу заставить.

— Шорохова!

Я начал с лучшей.

— Выйти к доске, Николай Степанович?

— Нет, можешь с места.

Лена Шорохова — копна волос, заполненная солнцем и воздухом, румяное открытое лицо с непроходящим выражением горделивой победности, ровные, сумрачно красивые брови.

— Я не согласна с Зоей. Иван Грозный казнил и вешал — мы все это знаем. Но мы знаем, что он завоевал Казань, при нем началось освоение Сибири, при нем на Руси появилось книгопечатание, при нем Россия стала понемногу связываться с Европой через Белое море...

Лена Шорохова — лучшая ученица, чемпион в классе по ответам. Она всегда наперед знает, что я хочу услышать, и почти никогда не ошибается. И сейчас мне нравится ее гордое лицо, ее звучный убежденный голос. Да, именно это я бы и хотел сказать сам в возражение Зое, слово в слово. Способная ученица.

— Так что важнее? — продолжала Лена. — Что

важней? Убийство каких-то дьячковых жен или эти большие, исторические дела?

Лена Шорохова победно села. Класс выслушал ее без какого-либо удивления или восхищения. Класс молчал со скучающим видом: «Ну, все же ясно».

«Убийство каких-то дьячковых жен...» — с пренебрежением.

«Дьячковы жены», наверное, были молоды и красивы, иначе не позарился бы на них пресветлый царь Иван Васильевич.

Красивы, молоды, как Лена Шорохова.

У Лены на открытом румянном лице написано: не надо меня хвалить, не надо, незачем! Пышные, воздушные волосы, крепкие плечи, брови, которые, наверное, уже сейчас сводят с ума парней.

«Убийство каких-то...» В ее возрасте мысль об убийстве даже мышонка должна вызывать отвращение. Для нее естественней впасть в девичий грех сентиментальности. И победное выражение на лице, и класс скучающе молчит. Что тут такого? Так и должно быть. «Убить каких-то...» Лена Шорохова кончает школу, я скоро напишу ей характеристику — способности выше всяких похвал, поведение самое примерное, прилежание самое наилучшее, общественница самая активная и конечно же хороший товарищ... Да, да, хороший товарищ, этого я не забуду написать. Все по самой высшей мерке, каждое слово утверждение — лучшего человека быть не может, идеальна. И с такой характеристикой она выйдет в жизнь.

Гордые брови, сильное, упругое тело — создана любить и быть любимой, рожать детей, стать матерью. Но «убить каких-то» — эка беда.

Лена Шорохова сама, возможно, неспособна убить и мышонка — противно, но убить человека — не маму, не папу, не младшего братишку, совсем незнакомого, — раз нужно, то отчего же... Голосую — за!

На меня напало смятение, а класс сонливо молчал, класс ничего не замечал.

— Бочаров! — позвал я.

Вскочил Лева Бочаров — невысок, подвижен, ра-

стрепан, большеголов, лобаст, тонкая шея с проклюнувшимся кадычком, нос туфелькой, глаза наивны, невинны, голубы.

— Как ты считаешь?

Наивные глаза стали еще наивнее — лазурное небушко, и подумать не смей, что за ними скрываются какие-то каверзные мыслишки.

— Что считать, Николай Степанович? Шорохова ответила, а уж нам где уж...

По классу загуляли улыбочки, запахло развлечением. Бочаров глядел на меня голубым преданным взором.

— Ты с ней согласен?

— Напрасно вы, Николай Степанович, обо мне плохо думаете...

— А если я плохо думаю о Шороховой?

По классу продолжали гулять улыбочки, но глаза Бочарова стали напряженными, сталистыми.

А лицо Лены Шороховой по-прежнему покойно — не надо хвалить! — надменный поворот в сторону Бочарова. Она и мысли не допускает, что ошиблась в ответе, не сомневается, что в конце-то концов я ее похвалю. Она ждет от меня хода конем, который выведет ее в ферзи.

— Ну, что молчишь? — напомнил я Бочарову.

— А что говорить? — В голосе Бочарова вызов. — Вы подскажите, а я скажу. То, что нужно. Всегда готов.

— Что ж... Не хочешь, не надо. Садись.

Но Бочаров встал с желанием возражать: спрашивают — не отвечать, хотят посадить — садиться не следует. Он не любил чувствовать себя побежденным.

— Если начистоту, я за Зыбковец, Николай Степанович.

— Почему?

— Иван Грозный Сибирь осваивал — дело, конечно, большое, но даже ради этого большого дела я не хотел бы ему помогать. Шорохова готова, а я вот нет.

Нос туфелькой, вызывающий лоб, посеревшие, утратившие голубизну глаза. А рядом с Бочаровым

все еще блаженно улыбался Хлынов, здоровый верзила, преданный бочаровский адъютант, всегда ждущий от своего друга веселой шуточки, ради шуточек верно служащий ему увесистыми кулаками.

Хлынов улыбался, но в классе повисло молчание, уже не то дремотно безразличное, какое было после ответа Лены Шороховой, а собранное, настороженное.

Все как-то уловили — сказаны серьезные, стоящие внимания слова.

«Что важней? Убийство каких-то дьячковых жен или эти большие, исторические дела?»

Хлынов жмурится.

— Хорошо, — произнес я, преодолевая легкую сипотцу в голосе. — Ты за Зыбковец, за ее взгляды, но почему ты написал сочинение, похожее на шороховское?

Бочаров сердито покраснел, потемневший взгляд стал злым, колючим.

— А мне, Николай Степанович, наплевать на царя Ивана и не наплевать на отметку, которую вы поставите в журнал.

Молчал класс. Ожидаяще ухмылялся Хлынов. Шорохова глядела мимо Бочарова и презрительно кривила сочную губку. Она надеялась на ход конем с моей стороны.

— Садись, Бочаров.

Он сел.

Молчал класс, молчал и я.

Давным-давно жил грозный царь Иван Васильевич, немало крови он пролил на своем веку. Что было, то было, принимай Ивана Грозного таким, каким он попал в историю.

Я люблю историю здраво и беспристрастно, не снисхожу к симпатиям и антипатиям. Кровав?.. Да, кто спорит! Но кровь-то эта питательна. «Убийство каких-то... жен...» Подумаешь. Как на опаре, поднялось русское великодержавное государство от Балтики до Тихого, от льдов полюса до прокаленных песков Кушки. Люблю историю...

Я, педагог, не воспитал негодования к убийству.

«Борьба Ивана Грозного носила прогрессивный характер...» И можно ли историю воспринимать холодно, без сердца? Не должна ли давным-давно пролитая кровь обжигать нас сегодня, как и кровь свежая?

Молчал класс, молчал и я.

В лице Шороховой появилось беспокойство, видать, начала догадываться, что хода конем не будет. Хлынов перестал ухмыляться, недоуменно косился на друга Лева. А друг Лева сердито прятал глаза.

## 22

После уроков я попросил Лену Шорохову проводить меня. Мне хотелось разглядеть в упор этого человека. Я проучил ее четыре года. Всегда она выделялась, всегда на глазах — лучшая из лучших, украшение земли.

Через меня прошло больше трех тысяч учеников. Это что-то около восьмидесяти классов. В каждом классе непременно была своя Лена Шорохова, а то две или три — лучшие из лучших...

Любил Шороховых, не уживался с Бочаровыми, не замечал таких, как Зоя Зыбковец.

Она идет со мной рядом. Господи! Какой румянец на ее щеках, густой, бархатный, звучный! И какие глаза, темные, встревоженные, с золотой глубинной искрой. Щедра ты, мать-природа! Прекрасен человек!

Улица полуденна, прокалена уже нешуточным весенним солнцем, благоухает бензинным перегаром и тополиной горечью — уж не лопнули ли в ближайшем скверике почки?.. Прохожих достаточно, но они сейчас не суетны, а, скорее, ленивы.

Улица почему-то теперь меня не пугает, хотя я постоянно помню о письме в кармане. На улице я, дичь, скорей всего налечу на охотника — «Ваш бывший ученик», честь имею!

— Какой предмет ты больше всего любишь? — задаю я Лене банальный вопрос.

И она тем не менее сразу не отвечает, загнав со-

болиные брови под беретик, думает. У нее по всем предметам круглые пятерки, какому отдать предпочтение?

— Историю ты любишь?

— Да, Николай Степанович.

— А черчение?

— Черчение? — переспрашивает она удивленно.

Я нарушил субординацию: после истории, своего — понимай, наисущественнейшего! — предмета, я вдруг спрашиваю о каком-то черчении.

— Люб-лю, — неуверенно говорит Лена на всякий случай.

— А математику?

— Люблю.

— А литературу?

— Люблю.

— А биологию?

— Люблю тоже.

— А что же ты не любишь?

Лене неловко от своей любвеобильности, и она несмело поправляется:

— Я вам не совсем верно сказала, Николай Степанович. Черчение я не очень... Кропотливо, время отнимает, а ни уму ни сердцу.

— А кем ты собираешься стать?

— Точно пока не скажу... В какой-нибудь технический вуз.

— В технический?.. Но ты же черчение не любишь, а там это основной предмет. И зачем тебе технический? Ты же любишь историю.

— Что же, я не прочь на историка...

— Или же на физико-математический! Там черчение не нужно, готовят не техников, а теоретиков.

— Я бы туда с удовольствием, только ведь не каждый попадет...

— А биология... Впрочем, мы, кажется, уже дошли. Мне направо... Всего хорошего.

— До свидания, Николай Степанович, — бормочет несколько растерянная Лена.

— А черчение ты полюби... на всякий случай.

— Хорошо, Николай Степанович.

Господи! Какой румянец на ее щеках! И какие брови.

Я шел под напористым весенним солнцем в длинном пологом, слишком теплом пальто, топтал на асфальте свою кургузую тень. Мне надо где-то посидеть, прислушаться, разобраться в своих перепутанных мыслях, решить для себя вопрос: кто таков Николай Степанович Ечевин, проживший на белом свете шестьдесят лет? Что он за человек?

Я свернул в жиденький пустынный, с юными деревьями-удочками скверик при одном из многоэтажных зданий позади проспекта Молодости, присел там на скамеечку.

За оградой хороводились прохожие, в самом скверике кроме меня было только двое — мальчуган лет десяти и собака.

На мальчугане школьная фуражка сбита на затылок, пальтишко с оборванными пуговицами нараспашку, лицо красно и потно. Собака, низкорослая неказистая дворняга с вислыми ушами, со смышленной, почтительной, как у хорошего референта, мордой, с грозным именем Пират.

— Пират! Фу!.. К ноге, Пират!.. К ноге, тебе говорят! Ты слышишь, к ноге же! Ну!.. Молодец, Пират! Умница! Вот возьми...

И референтно-почтительный Пират весело расправляется с куском сахара.

Лена Шорохова... Что ж, она довольно-таки распространённый тип в людской среде — добросовестный попугай. Умеет зазубрить, умеет «с чувством, с толком, с расстановкой» повторить зазубренное. Нравится — не нравится, любишь — не любишь, она просто не должна иметь пристрастий и антипатий, иначе нарушится ее гармоничная округлость ученицы-пятерочкицы. Полюби что-то чуть-чуть сильнее, удели на это чуть-чуть больше времени, глядишь, на другое тебя не хватит, не вытянешь на пятерку, не станешь кругло смотреться.

Николай Степанович Ечевин, тебя упрекают: «Страшно, что Ваши ядовитые ученики — а они есть! — обретут уверенность в себе, начнут отрав-



лять дальше и плодить ядовитых. Страшен Ваш дух! Кто знает, на сколько он переживет Вас, если не помешать».

Я страшен?.. «Бывший ученик», «алкоголик», «философ забегаловок» впадает в ту же ошибку, в какую впали неумеренные карасинцы, превозносившие меня во время юбилея: «Выдающийся... Самоотверженный... Ум и совесть...» Лены Шороховы и те, что хуже ее, появляются не по моей воле, не моими усилиями. В человеческой среде всегда рождается какой-то процент таких вот попугаистых и просто бессердечных особ. Обвиняй за это Господа Бога и не преувеличивай значение Николая Степановича Ечевина!

— Пират! К ноге!.. Вот так, Пиратушка! Вот так... Ну что?.. Что смотришь?.. Нет у меня сахара. Нет. Ты все съел...

Мальчишка говорил нарочито громко, недвусмысленно поглядывал на меня. На что же рассчитывает этот собачий педагог? Не думает ли он, что я ношу с собой сахар специально для таких вот случаев?

— Дяденька, сколько времени?

— А ты, дружочек, в какой смене учишься?

— У нас сегодня уроков нет. У нас Наталья Ивановна заболела.

— Ты откуда?

— Я с Речной улицы.

Речная — другой конец города. Не нашей школы.

— А как же ты здесь оказался?

— Я к нему хожу. — Мальчишка указал на собаку, которая уже умильно и ласково поглядывала на меня. — Он здесь живет. Как свободное время, так к нему. Учить-то надо. Совсем был неученый. Теперь вот... Пират! К ноге!.. Ну, Пират!.. Он сейчас знает, что у меня уже сахара нет. А так очень способный.

— За сахар учится?

Мальчуган сконфузился за корыстолюбивого пса, а вислоухий Пират ничуть, умненько и уважительно поглядывал на меня, как вышколенный гардеробщик, ждущий чаевых.

- Десять копеек сто грамм.
- Какие сто грамм?
- Да сахар, рассыпной...
- Что же с тобой делать, возьми.

Мальчуган почтительно, но как должное принял монетку, быстро снял с себя пояс, накиннул петлей на шею псу, вручил мне конец.

— Подержите, а то убежит... Я быстро, без очереди...

Я остался наедине с псом, не прошедшим полный курс обучения из-за нехватки сахара.

Пират сидел у моих ног с участливо-понимающей мордой, перехватывал мой взгляд и вежливо возил по песку хвостом. Славный пес, ты ни в чем меня не подозреваешь, ты целиком доверился мне, спасибо тебе за это.

Что я делаю? Жалуюсь на недоверие! Я! Тот, кто недавно был вознесен до небес, кто не обойден ни званиями, ни наградами, кого почтительно величают — шутка ли! — первым гражданином своего города. И после этого жаловаться — не понят, нет доверия! Чудовищная неблагодарность.

Да, вознесен. Да, доверяют. Только я ли вознесен? Мне ли доверяют? Не другого ли Николая Степановича Ечевина, вымышленного, имеют при этом в виду? Вознесен и облечен доверием некий идеальный герой. Я не тот, моя жизнь не идеальна, она с прóториями и убытками, я не лучше других, хотя, наверное, и не хуже.

Сорок лет я как умел рассказывал детям о прошлом и свято верил — это им пригодится в будущем. В светлом будущем, только в светлом! Я считал себя его строителем.

Лена Шорохова...

Мне как историку в общем-то хорошо известно, чем кончались усилия тех, кто пытался создать «новый порядок» через «убить каких-то», через лагерь с газовыми камерами и колючей проволокой. Светлое будущее! Лена Шорохова не уберет из этого будущего колючей проволоки.

Мне под ноги упала тень. Пират поднял умную морду, доброжелательно повозил хвостом по земле. Надо мной кто-то стоял.

Сначала в поле моего зрения попали туфли, мужские, монументальные, на толстой подошве, потом пола темно-синего плаща, крупные руки с натруженными венами и, наконец, яркое клетчатое кашне. Я вздрогнул — в клетчатом кашне тонул скошенный подбородок. И оскал рвущихся вперед зубов...

Надо мной стоял и улыбался он... Антон Елькин.

На нем новенькая, чуть посаженная набок шляпа, да и весь он с иголки новенький, необмятый, показательный, как бесхитростно выраженный манекен в витрине провинциального магазина. Только лицо выставочного Елькина не гладкое и не запоминающееся, а потемневшее, сморщенное, по-прежнему порывающееся вперед вслед за острым носом, и по-прежнему верхняя губа не прикрывает хищных зубов.

— Николай Степанович, вы не узнаете меня?

В сквере пусто, не считая Пирата, восседающего вежливо и скучающе. За реденькими подстриженными кустами, за неширокой полосой асфальта юная мамаша толкает детскую коляску к дверям магазина. Пронеслась мимо «Волга»... «Мне не надо спасать свою шкуру. Это намного облегчает мою задачу...» — автор письма не сомневался в своем успехе. И каким гангстером должен стать за это время Антон Елькин?..

— Ну конечно, где вам узнать меня, Николай Степанович. Таких, поди, тыщи прошли мимо вас.

Обмерший на скамейке, молчаливо пялящий глаза, судорожно вцепившийся в ремешок неказистой скучающей собаки — ощущение собственной нелепости придало мне силы, голос мой был чужим, глухим и бесцветным:

— Таких, как вы, немного... Елькин.

И он возрадовался, показывая все свои зубы:

— Узнали! Надо же!.. А я второй день возле школы толкаюсь — вдруг да, думаю, вдруг... Никого так не хотелось встретить, как вас, Николай Степанович.

— Что ж, вот... встретили.

— Надо же! Повезло!

Он топтался, а в любую минуту в скверик могли войти люди, и скоро должен вернуться мальчишка...

— Знаю, знаю, вы меня не любите... да за что?! Подлецом был, каюсь!

Не только в его голосе слышалась непонятная радость, но, странно, глаза его выражали смущение.

— Но теперь я другой, Николай Степанович, совсем другой! Человеком стал. Под Москвой работаю, в научном ОКБ, токарем, шестой разряд имею.

— Очень рад.

— Вот в газетке прочитал о вас и засосало... Над кем измывался, гаденыш! Совесть покою не дает: пакостил вам, а вы... Хотите — верьте, хотите — нет, а вы — да, да! — от паскудничества меня отвадили.

— Хотя теперь-то, Елькин, не издевайтесь. Ничего я с вами поделать не мог.

— Эх, Николай Степанович! Думаете, не знаю — заступались вы за меня, чтоб из школы не исключали... Один вы, все остальные учителя словно с цепи сорвались. А я им столько не насолил, сколько вам...

Уже подбирающийся к старости мой бывший ученик, которого при всем желании я не мог бы назвать удачным. Толща десятилетий, собственно, вся его самостоятельная жизнь — лицо-то в морщинах! — пролегла между нашим расставанием, никак не добрым, и этой минутой. Сейчас вижу в его узко посаженных к переносице глазах подозрительную влагу, и зубастая улыбка вовсе не хищна, а растерянна.

— Неужели вы меня вспоминали? — искренне удивился я, все еще не смея верить.

— Николай Степанович! — с жаром, с содроганием. — Я потом все, все кусочек по кусочку складывал: и как вы меня гоняли на уроках, и как хорошие отметки ставили, ежель отвечал, и «колы» всаживали... Честные «колы», Николай Степанович! Кусочек по кусочку сложилось, как вы за меня, скотину,



воевали. Против меня — за меня! А верно, верно, хотел вас... да, кирпичом! Вас!.. О-о! Уже взрослый был, а как про это подумаю, так кипятком обдает. Стыдно! Стыдно! И за белые брюки стыдно... — Елькин подался вперед, задышал. — Если можете... простите меня — за все разом!

Господи! За прошлое, ушедшее, прощать не только просто, но и приятно.

— Давно вас простил, — ответил я.

И Елькин возликовал, затоптался, замахал рукавами новенького плаща.

— Я знал, знал! Да разве такие, как вы, зло могут помнить?.. Вот ежели бы я... Эх, сделать бы вам что-то, пусть малое, но хорошее! Но где там... Не дано.

— Вы уже сделали, Елькин.

— Что?

— Добрые слова сказали. И вовремя.

Он подавленно махнул рукой.

— Вам? Мои слова?.. Эва! Поди, со всех сторон одни благодарности слышите. От культурных людей, не мне чета... А в газетах сколько хороших слов о вас понаписали...

— А ваши дороже.

— Ну-у...

Пес обрадованно вскочил.

— Вот и я... Спасибо, дяденька.

Мальчишка, запыхавшийся, розовый, счастливый, держал в руке бумажный кулечек — концентрат будущей собачьей мудрости.

— Десять копеек сдачи возьмите... Пират! Ко мне!

У меня отняли собаку, я поднялся, протянул руку Елькину.

— Вы даже не представляете, как мне сейчас помогли.

— Ну-у... — Елькин почтительно подержался за мою руку. — Если такому балбесу большое добро сделали, то хорошие-то ученики, те, кто брать могли, что тогда получили? Ну-у...

Он, задохнувшийся от уважения, все-таки под конец подпортил мне праздник. Хорошие ученики... вроде Лены Шороховой. Да, они брали у меня все,

что давал. Поблагодарит ли в будущем меня Лена Шорохова? И тот бывший, что написал письмо, не из хороших ли учеников?..

Но какой сияющий день обнимает город. Улица насквозь прогрета, обласкана. Тихая улица, отделенная от шумного проспекта величественной баррикадой зданий. Прохожие то ли разнеженно жмурятся от молодого солнца, то ли улыбаются от весеннего счастья тебе, случайному встречному. И можно понять мальчишку, сменявшего школу на покладистую дворняжку, — в такой день невыносимо под крышей, тянет под бездонное небо, на свободу, к отзывчивому другу, к бездумным маленьким радостям. Счастье жить на белом свете — чудесен он!

Самый враждебный из моих учеников благодарил сейчас. С дрожью в голосе. А когда-то целился кирпичом в голову... Благодарил — невообразимо, противоестественно.

Ой ли? Чему, собственно, удивляться? Воевал я или нет за этого неуживчивого балбеса? Защищал или не защищал его?.. Было! Было! Он повзрослел, поумнел, проникся. Чуда нет, все естественно.

Ей-ей, Николай Степанович Ечевин, в тебя верят, а ты разуверился, казнишь себя за грехи, забываешь о достоинствах. Они все-таки есть в тебе, достоинства. И грехи тоже. Кто без грехов? Больше ли их у тебя, чем у других?

Лена Шорохова — твой грех? Да, допустим. Но столь ли он страшен, чтоб им уничтожить себя без пощады? «Убить каких-то» с бездушной легкостью. Ты ужаснулся — бессердечна! Ан нет. Попугай не сознает того, что говорит. Можно ли сомневаться — никогда и никого не убьет в своей жизни. Будет любить, будет любимой, все данные тому налицо. Умопомрачительные брови, цветущее здоровье взывают к жизни, не к смерти. Сейчас сияющий день, зачем портить его Леной Шороховой, во всю силу возрадуйся перерождению Антона Елькина.

Но письмо... Оно у тебя в нагрудном кармане, лежит против сердца. Его написал не Антон Елькин,

а, сколько ни шарь в своей памяти, большего врага нет, не найдешь — никто не испытывал к тебе такой ненависти, чтоб сокрушить череп кирпичом. Кто-то же написал это письмо! Чья ненависть обращена к тебе? Чем ее объяснить?

Светлый день не терпел загадок, объяснение прямо-таки свалилось на меня с синего неба, простое, как любое озарение, подарок свыше.

Тебя поразило признание в письме: «Кто я? Я алкоголик, и это самое яркое мое отличие. Во всем остальном ничтожество...» «Подозрительный философ забегаловок»... Поразился и не увидел — вот он, ответ!

Конечно же среди тысяч твоих учеников должны оказаться и неудачники, и свихнувшиеся ничтожества. Наверяд ли ты в том сильно повинен. Людская жизнь, увы, всегда выбрасывает пену.

Сознавать свое ничтожество и не озлобляться на удачливых? Прочитать в газете о твоём юбилее и не проникнуться злобной завистью?.. А он к тому же и алкаш, пожирающее пламя зависти привык топить в водке, самоотравляя себя при этом — сам признается! — подозрительной философией. И в пьяном угаре растравил себя — возомнил ангелом-мстителем. Элементарно же, письмо — всего-навсего пьяный бред, о котором забывают напрочь, когда приходит похмелье.

Согретая улица передо мной, тонкое голое деревцо застенчиво бросает кружевную тень на просохший асфальт, на складном дюралево-м стулике под стеной — солнечным пятиэтажием — восседал усохший древний старичок, с невозмутимой бессмысленностью созерцающий радостный мир. Даже этот отрешенный дед воззрился с тревожным недоумением, когда я вдруг рассмеялся.

А как мне не смеяться!

Потерявший голову заяц метался сам от себя. И стоит воочию представить себе этого затравленного зайца: солиден и почтенен, обременен прожитым шестидесятилетием, натужно пытается сохранить величавость — умри, но будь респектабелен. Такой-то вот



суетливо убегает и нагоняет себя, честно пытается разделаться с собой и хитрит, увиливает, плетет затейливые петли.

А сколько несусветной подозрительности, изощренной фантазии породил страх! Даже Таню Граубе, добрейшую, любящую, ныне уже пожилую интеллигентную женщину, вообразил... О Господи! Таня — убийца! Совсем спятил, заяц! Ну как не расхохотаться. Устраивает же жизнь веселые шуточки.

Слава богу, что еще не кинулся под защиту милиции: спасите! Милиция — от самого себя... То-то бы веселились люди за твоей спиной. Фу-у, хватит!

Я решительно свернул с тихой улицы к шумному проспекту, к людям, которых только что по-заячьи боялся. Вышагивал и изумлялся своей простоте, качал головой: ну и ну, клюнул на пьяную выдумку.

Ах, хорошо сейчас в буйно весеннем городе. Хорошо и успокоительно-легко в толпе — человек, как и все, один из многих. Вместе с людьми, в окружении их идти и идти без конца...

Но я подошел к своему подъезду. Мой дом для меня не самое веселое и уютное место на земле, но всегда покорно прячусь в нем. И сейчас не могу миновать, должен подняться на пятый этаж...

## 24

Дом — школа — дом — школа. Основная жизнь у меня в школе, там я обычно оставляю девять десятых своих сил. Школа — мой крестный путь до могилы, а дом — лишь транзитный зал ожидания при пересадке с одного дня на другой.

Отперев своим ключом дверь, занося ногу за порог, я услышал негромкие голоса — в доме гостя, не та, что радует сердце. Младшая дочь Вера...

В нашей белой кухоньке уютно и празднично. Стол застелен хрустящей скатеркой. Висящее над крышам, оставившееся в наше окно косматое солнце разбилось, разбрызгалось по чашкам, чайнику, сахарнице — старинный фарфор в обильной позолоте, фамильная реликвия жены.

Жена, устало обмякшая, вдавленная в стул, неповоротливая, виновато и кротко блеснула на меня очками, на рыхлом, расплывшемся лице давно подготовленная мольба: «Ради бога, Коля...»

Бера, тонкая, натянуто прямая, взведенная, ускользающе глянула куда-то мимо моего уха, кивнула головой. У нее малярийно-желтое лицо, высокий, но узкий, сдавленный с висков лоб, худоба ощущается даже в кончике носа, глаза широко распахнутые и непроницаемо пустые, не пускающие чужого взгляда внутрь. И она, как всегда, дурно одета, оскорбляюще для родительского глаза: неизменный серенький жакетик, жмуций под мышками, застиранное ситцевое платье в клоповых цветочках, красные огрубевшие руки вылезают тонкими запястьями из слишком коротких рукавов. Эти белые хрупкие девичьи запястья всегда вызывают у меня саднящее чувство, напоминая мне Веру в нежном возрасте, ласковую Веру, не ведающую о несчастьях.

Она давно несчастна, заразно несчастна, не только сама тонет в беде, родители захлебываются ее неудачами.

Мы с женой не знали от детей особой радости.

Я прилагал все усилия, чтоб две старшие дочери учились хорошо. Наверно, слишком большие усилия. Привыкли, что дома за спиной постоянно стоит строгий отец: «Ты выполнила задание? Ты выучила? Ты прочитала?» Выполняли, учили, в школе были не на плохом счету, краснеть не приходилось, но какого труда это стоило!

Хотелось, чтоб они продолжили дело отца. В мечтах я уже видел себя родоначальником педагогической династии Ечевиных. Дочери не возражали против пединститута. Не возражали, но особенно не стремились — раз надо, так надо, не все ли равно куда. В институте не стоял за их спинами требовательный отец: «Ты выучила? Ты подготовила?» Старшая дочь еще кое-как, с трудом получила диплом и назначение на работу в глухой лесной поселок. Там она поспешно вышла замуж за начальника лесопункта, старого холостяка, нарожала детей, бросила учитель-

скую работу, пишет сейчас скупые письма: «Живы, здоровы...»

Средняя бросила институт в первый же год, устроилась в больницу медсестрой. Странно, никогда она не отличалась ни мягкостью, ни участливостью, напротив, молчалива и нелюдима, но, должно быть, медсестрой оказалась и внимательной, и самостоятельной, и наверняка толковой. Жизнь себе она прокладывала какими-то порывистыми скачками — помогала в операциях ведущему хирургу, метнулась от него на какие-то медицинские курсы, не задержалась там, сдала в медицинский областной институт, через год перебралась в Ленинград, пожелала учиться у какого-то медицинского светила, где-то прирабатывала, как-то жила, училась. Светило после окончания пригласил ее к себе в клинику, а она отказалась, добилась распределения в ту периферийную больницу, где начинала медсестрой. Теперь она там главврачом, держит в ежовых рукавицах медперсонал, в том числе и старого хирурга, которому когда-то помогала оперировать. Больница ее славится по области. Казалось бы, я должен радоваться успехам дочери. Не могу, да и не имею права — добилась всего наперекор мне. И сама она неохотно вспоминает родителей, ни разу не приезжала в гости, не приглашала к себе, писем не пишет, лишь аккуратно шлет поздравления на Новый год, на дни рождения. У нее что-то не ладится с замужеством...

Старшие дочери до обидного похожи на меня — носаты, ширококосты, неладно скроены, да крепко сшиты. Младшая, Вера, росла на редкость миловидной — хрупка, нежна, рыжеволоса, голубоглаза. В мать?.. Пожалуй. Только чудесно улучшенный вариант, без каких-либо следов телесной сырости, душевной варености — легка, звонка, смешлива, остра на язычок.

И училась она хорошо, не приходилось стоять за спиной.

Иногда, видя ее склоненную над столом бронзовую, расчесанную на косой пробор голову, ее белую, тонкую, с трогательной косточкой у основания шеи,

я чувствовал — не перенесу, задыхаюсь, сердце отанавливается от любви к ней. И не только к ней. Я начинал все любить без разбора — ее мать, свою рыхлую слезливую жену, яркость дня, если была солнечная погода, сырую уютную пасмурность, если за окном шел дождь, первого встречного на улице за то, что живет в одно время с ней, под одним с ней небом.

Возле нее я даже ощущал себя как бы бессмертным. Так ли уж важно, что я, нелепый, скрипящий, отнюдь не совершенный, в конце концов исчезну с лица земли. Вон сидит возрожденная из ничего моя кровь, моя плоть, моя молодость. Мое Я будет дряхлеть и распадаться, но никогда до конца не исчезнет. Вон она, с белой шейкой, нежная, хрупкая, совсем непохожая на меня, видоизмененная, улучшенная — мой шаг в вечность, в беспредельное.

Шестнадцать долгих лет я был глубоко убежден, что она появилась на свет с единственной целью — сделать меня, недостойного, счастливым.

И вот в девятом классе...

Это несчастье вползло к нам постепенно — вместе со слухами с улицы, вместе с испытующе пристальными взглядами коллег-учителей, вместе с переменой в характере Веры, ее заплаканными глазами, ее необычайной кротостью, ее беспричинными истериками и, наконец, чудовищно неправдоподобными, но тем не менее очевидными приметам.

Мы не могли в это поверить сразу — долго прятались, оскорблялись, благородно негодовали на гнусных сплетников и... В конце концов пришлось поверить — чудовищно, но это так!

В девятом классе Вера забеременела. Шестнадцать лет!

Бронзоволосое голубоглазое чудо, щедрый родник любви и радости, моя возрожденная молодость, олицетворенное бессмертие... Все шестнадцать лет я верил в это, шестнадцать лет я был пьян своим тихим счастьем.

Она училась в нашей школе. Я тогда, не снимая преподавательского бремени, тащил на себе воз заведования учебной частью.

Теперь, похоже, не столь болезненно относятся к подобным случаям — щекотливы, но не катастрофичны. Тогда нравственность оберегали не в пример строже, если не сказать — беспощадней. И хоть аборт уже не считался уголовным преступлением, но широкая огласка была неизбежной.

Стрясись это с любой из учениц — широкий скандал, бедствие для всей школы. По всему городу суды и пересуды, родители оскорблены в своих лучших чувствах, переполнены страхом за своих детей, роно организует специальные комиссии, облоно засылает угрожающие запросы, вмешиваются городские организации. Моральное разложение в стенах школы, шутка сказать!

С любой из учениц — бедствие, а тут дочь педагога. Я имел за спиной тридцатилетний безупречный педагогический стаж, считался одним из лучших учителей города. И вот этот-то лучший, опытнейший, авторитетнейший не смог достойно воспитать свою дочь, можно ли доверять ему воспитание чужих?

Что ни шаг, я натыкался на недомолвки, на двусмысленные шуточки, слышал за своей спиной похихатывание, купался в липких взглядах, направленных со всех сторон.

И директриса школы, молодая и энергичная бабенка, не работавшая никогда по-настоящему педагогом, а всего лишь руководившая, встречала меня не иначе как с выражением нестерпимой зубной боли, ежедневно бегала в роно советовать: «А на самом деле, не освободить ли Ечевина?..»

И я должен был избегать встреч с родителями учениц, уже вошедших в пору любовных томлений и подходящих к оной.

А домой наведывались любопытствующие и беспардонные соседи, прикрывающиеся маской сочувствия и доброжелательности, норовили решить со мной всепланетный вопрос о нравственном падении в наш суетный и греховный век.

Жена, и в покойное-то время постоянно ожидавшая беды, теперь валялась с примочками и припарками. Удушливо пахло лекарствами.

Выпроводив, соседей, закрывшись, забаррикадировавшись, я, недостойный воспитатель, недостойный отец, наступал на дочь:

— Кто он?

В подурневшее, опухшее от слез, пятнисто-красное лицо:

— Кто он, развратная девка?

И деревянное молчание, и мертвенное равнодушие опухшего лица, и взгляд в сторону затравленных красных глаз. Безобразна и бесчувственна — ни слова в ответ.

Бронзоволосое чудо! Прозрачная молочность кожи, ясная голубизна глаз, неистощимый родник радости... Все, что было, обман. Истинный вид, вот он — безобразна, бесчувственна.

Кто?.. Он неожиданно сам явился ко мне на дом. Крутые плечи, боксерская прическа, до зелени бледное лицо, увиливающий взгляд.

— Я люблю ее. Мы любим... — бессвязная сентиментальная дребедень, взятая напрокат из душеспасительных романов, готов, видите ли, жениться, «благословите, батюшка»!

Учитель физкультуры! Новый удар в спину. Если бы ученик, то к прежнему позору не прибыло бы — моральное разложение как было, так и есть, только до конца выявлено. Но учитель!..

Я представил, каким кипящим фонтаном забрызжет на меня наша директриса. Под ее ногами загорится земля: морально разложились в школе не только ученики, но и учителя! Директриса постарается выскочить из пламени, сунуть туда меня.

Готов жениться, великовозрастный дурак! Готов, будто не знает, что это вопреки законам, писаным и неписаным. Невесте же всего шестнадцать, ни один загс не оформит брака. Готов — ишь ты, самоотверженность! И увиливающий взгляд, и губы дрожат — знает, кошка блудливая, чье мясо съела, пока не поздно, пришел с повинной.

— Я люблю ее... Мы любим...

Этому Казанове с боксерской прической повезло. С общего согласия роно, директрисы, да и меня тоже

решено было не раздувать сыр-бор, а потому Казанову уволили с преподавания физкультуры с нелестной, но, однако, не убийственной формулировкой, предложили исчезнуть из возрождающегося города Карасина. И он поспешно и охотно это сделал.

— Я люблю... Мы любим...

Где уж. С тех пор от него ни звука.

Я сам настаивал, чтоб Веру исключили из школы. Да и как иначе? Могла ли она снова сесть за парту? Ученики глядели бы на нее, как на воплощенную непристойность, презрительно и вождеденно. Я же должен был как-то показать, что не мирволю, наоборот, резко осуждаю поведение беспутной дочери. «На том стою и не могу иначе!»

Не мог, да, признаться, и не хотел. Родник счастья... Как я ее любил! В душу плюнула... Я перестал разговаривать с дочерью.

Ребенок прожил два месяца и умер. Вера устроилась учетчицей на автобазу.

Я мечтал о педагогической династии Ечевиных. Одна дочь у меня домашняя хозяйка, другая мне вопреки врач... Автобаза при строительном управлении — грубый мир шоферни, сердитые, с площадным фольклором споры о простоях, постоянно всплывающие истории о «левых» ездках, о махинациях со стройматериалами.

А когда-то она читала Плутарха из моей библиотеки, знала наизусть куски из «Илиады».

Жена снова лежала с примочками, снова в наших стенах едко пахло нашатырным спиртом. Вера не только устроилась на работу, но и получила койку в барачном общежитии. Рыженькая девочка с молочной шейкой...

Десять лет прошло с тех пор. Был ли в этом десятилетии день, не отравленный судьбой Веры?..

Не советуясь ни с кем, она вышла замуж. Муж, шофер, которого милиция эпизодически лишала права садиться за руль, ее бил. И ко всему у них появился сын...

Неудачи Веры никогда не были только ее собственностью, всегда перекидывались под крышу родного дома. Заразно несчастна!

25

Вера частенько навещала мать, старалась делать это, когда я был в школе. В последнее время, похоже, дочь стала приходить не только к матери.

Вот и сейчас... Гладко зачесанные назад волосы стянуты в узелок на затылке, и кажется, кожа лица так туго натянута, что проступают все кости, ни дать ни взять изнуренная страданиями за весь род людской Богородица.

И скользкий мимо меня взгляд. И робкий взгляд жены: «Ради бога, Коля!»

— Налить?.. — со вздохом, словно с места на место перевалила тяжкую глыбу, спросила жена.

— Налей.

— Отец!.. — неожиданно с чистым звоном в голосе произнесла Вера.

Полная рука жены, протянувшаяся за чашкой, дрогнула.

— Отец! Ты кругом меня обворовал, не воруй последнее.

— Верочка... Ну что я тебе говорила?

— Мама, ты все уступаешь, а я уж к стенке прижата, отступать мне некуда.

Куда девалась непробиваемая пустота в глазах — сухие, синие, горячие, и лицо медное, чеканное. Не смиренница — страсотерпица, от такой покорности не жди.

— Я тебя обворовал? — спросил я. — Может, признаешься: сама себя раба бьет.

— За свое я сполна ответила. Не бей лежачую!

— Ох, Вера, Вера, сук под собой рубишь, — проворчала мать.

Между нами назрела война. Нам крайне нужно поговорить без крика, без слез. Я хочу глядеть ей в глаза, я хочу слышать ее возражения.



В прошлом году Вера преподнесла нам новенькое.

Я давно уже с бессильным страхом ждал, что от жизни в барачной клетушке, от пьянства мужа и его побоев она рано или поздно свихнется. Я боялся, что она сама начнет пить горькую.

Нет, пить она не начала, а стала баптисткой. Дочь учителя, выросшая в сугубо атеистической семье, любившая когда-то книги, хорошо знавшая, что человек произошел от обезьяны, а не от Адама и что души праведников не уносятся в небо.

В городе Карасине было два Дворца культуры и ни одной действующей церкви. Ту старую, что когда-то верно служила селу Карасино, закрыли еще где-то в тридцатом при торжественном сбрасывании колоколов. О баптистах же здесь прежде и слыхом не слыхали. Они тихо выплыли после войны.

Их сначала просто не замечали, а потом принялись с ними бороться — накрывали их моления, писали о них нелестно в газетах. По городу же гуляли разные слухи: баптисты собираются и пляшут нагие... Нет, они от военной службы отказываются...

Один из бывших баптистов, взявшись за ум, отрекся от своих, показывал себя во Дворце культуры, выступал против религии. В конце концов с баптистами смирились, разрешили им собираться открыто — молись, если уж так приспичило, закон не запрещает. И жители города постепенно потеряли к ним интерес, хотя для нормального карасинца баптист все равно оставался темной лошадкой — если он и не пляшет нагишом на сборищах, то все равно живет не по-людски и думает «не по-нашенски», свихнувшийся.

Вера, с ранней юности носившая на себе печать девического позора, жена горького пьяницы, руганная и битая, кругом обездоленная, как нельзя больше подходила для жалости: «Люби ближнего своего» и «Бог есть любовь!».

За горькие испытания, за стойкость в вере, возможно, и за грамотность карасинские баптисты выбрали ее своей старшей, пресвитером — на их языке.

А пресвитер не только глава, он еще и дипломатический представитель, эдакий аккредитованный постоянный посол от баптистов к местным властям. О Вере узнали все, узнали тогда и мы с женой.

Новая пища для пересудов. Новый позор на мою седую голову...

Впрочем, на этот раз меня больше жалели, чем осуждали. Та, которая однажды нравственно упала, уже никого не удивила своим вторичным падением. Все считали, к баптистам ушла морально неизлечимая особа, давно уже ничем не связанная с отцом.

Я тоже не рассчитывал, что отцовские убеждения ей помогут, как не помогли ей кулаки мужа. А муж ее, оказывается, был убежденным атеистом. В пьяном виде усиленно убеждал: «Бога нет, сука!»

Но у Веры сын, мой внук...

Могу ли я спокойно наблюдать со стороны, как ребенка шести лет делают святошей?..

Я давно мечтал вырвать его из грязи, из бедности, оградить от кулаков и матерной ругани пьяного отца. Но я не имел достаточно веских причин, чтоб с помощью закона отобрать внука. Пил и безобразничал отец — и то поди-ка еще докажи! — а мать внешне вела себя безупречно, нельзя наказывать ее лишением материнства.

Теперь сама мать дает повод.

Я не хотел бы еще раз обижать Веру, заставлять ее страдать.

Не хотел бы, но... Как всегда, Вера выступает в роли врага самой себе. И, как всегда, через мое посредничество!

Вбивать ребенку сказки о Боге, о райских куцах, о бесхитростном бессмертии души!.. Вбивать их сейчас тому, кто станет жить в те дни, когда начнутся полеты с планеты на планету, когда высокомыслящему человеку будут помогать им созданные мыслящие машины, когда, возможно, человек совершит наконец то, что извечно приписывалось лишь Господу Богу: из неживой природы сумеет создать уже не имитацию жизни, а саму жизнь!.. И в такой-то мир всечеловеческого могущества пустить эдакую ветхоза-

ветную особь, поклоняющуюся Отцу, Сыну и Духу Святому, покорно считающую себя рабом Божиим, устрашающую Божией кары... Не значит ли это пустить в мир духовного уroda?!

И этот урод — мой внук, сын Веры.

Я знаю — он единственная радость в ее отравленной жизни. Она любит сына и калечит его.

Я это вижу. Вижу и не спасу.

Почему?

Потому что не хочу ранить и без того израненную дочь. Потому что мне жаль ее. Пусть себе тешится.

Эта утеха стоит человеческой жизни!

Вера — вечный враг сама себе... через мое посредничество.

## 26

Сухие синие, мимо глядящие глаза.

Я стараюсь в них заглянуть.

— В чем я повинен, Вера? — спрашиваю я. — В том, что тогда осудил тебя? А мог я не осудить?..

Вера молчала.

— Или, по-твоему, я, учитель, должен был поддерживать столь... ну, небезупречное, скажем, поведение школьницы?.. Что, мол, такого — норма. От таких нравственных норм тлен и ржа пойдут по нашему обществу!..

Вера молчала, глядела в сторону.

— Или я должен пренебречь общими интересами?! Лишь бы спасти от позора дочь?! Ради родственности измени всему?

Она медленно заговорила:

— Помнишь, как-то ты мне рассказывал о язычниках, которые для своих богов убивали людей... Задабривали...

— Уж не хочешь ли ты тут найти сходство со мной?

— Те дикари считали: заколем одного человека — всему племени польза. Общая польза требует...

— Да-а... Отец-язычник бросил на заклятие родную дочь!..

Вера не отвечала, глядела в сторону.

— А может, ты все-таки поверишь в то, что я охотнее бы бросил себя на заклятие, чем тебя?..

Вера молчала.

— Себя ради общего... Неужели не веришь?

Вера скривила губы.

— Верю... И других, и себя. Ты ни к кому не добр, отец. Даже к себе.

— Не добр?.. Страшнее всего, Вера, вредное добро, сладкий яд.

— Разве бывает такое?.. Немасляное масло, безвоздушный воздух, вредное добро?

— А вспомни, как часто калечит детей материнская доброта!

— Не трогай это!

— Ты себе жизнь искалечила, где гарантия, что не искалечишь и сыну?

— Коля... Ради бога, Коля!

— Соня, Вера же наверняка сама не хочет, чтоб жизнь Ленки походила на ее собственную. Или я не прав?

— Ты прав. Не хочу! Потому и должен сын быть со мной, а не с тобой, отец.

— Но что ты можешь ему дать? Покойное детство? Так сама знаешь, что оно не будет покойным с отцом, напивающимся до белой горячки. Знания?.. Так его окружает обстановка невежества. Стремление к большим делам?.. А ваше стремление назад — к Христу, к его учению двухтысячелетней давности.

Она сидела выпрямившись, лицо ее угрожающе одеревенело, глаза ее поблескивали нездоровым, лихорадочным блеском.

— Не молчи, Вера, скажи: что ты дашь сыну?

— Что?.. — горловым голосом переспросила она. — Свою любовь. От любви несчастными не бывают, отец.

— Пусть я неспособен любить, но тут же сидит твоя мать. Она-то может любить или нет? Неужели и в ней сомневаешься?

— Дышать не надыхалась бы на Ленечку, Вера.

— Мама! Ты и на меня надыхаться не могла, а что вышло? Твою любовь отец съедает.

Сухие, блестящие, лихорадочные глаза... А я любил Веру, наверное, люблю и сейчас. Это моя единственная большая любовь в жизни. Таню Граубе я любил по-мальчишески, незрело, еще несерьезно. Жену как-то слишком трезво, слишком ровно...

— Ко мне опасно Леньку подпускать, а к мужу твоему — не опасно, — сказал я почти сварливо.

— Он лучше тебя, отец. Какое сравнение, — убежденно произнесла Вера.

И я задохнулся.

— Вот как... Лучше... Спроси свою мать, помнит ли она, чтоб я валялся пьяным, чтоб когда-нибудь замахнулся на нее...

— Он от любви дерется, а ты душишь... от любви.

Мне стало вдруг все безразлично — добро и зло, праведность и неправедность, любовь и ненависть, все испарилось во вспыхнувшем негодовании. Я безнадежен, я исчадие! Да господи, думайте все что вам угодно! И я сказал скрежещущим, несмазанным голосом:

— Кончим. Все равно не пойдем. Что смогу, все сделаю, чтоб взять к себе внука.

Минута молчания. Вера на этот раз смотрела мне прямо в переносицу обжигающими глазами. Я любил ее? Люблю сейчас? Ложь! Ненавижу! Столь же сильно, как и она меня.

— Ты сможешь... — Голос глухой и какой-то вязкий. — Ты почетный, к тебе прислушаются. Сможешь, но не смей!

— Угроза?

— Да!

— Вера... Ради бога, Вера!

— Мама, я не себя защищаю.

— Ради бога, Верочка...

Вера встала. Она была высока и стройна поджарой, угловатой стройностью больной женщины.

И я понял, чем она мне угрожает! Упало сердце, заколодило дыхание — неужели посмеет?.. Замкнутое, ожесточенное лицо — да, посмеет, не так уж и дорого ей своя неудавшаяся жизнь.

— Ве-ра... — С трудом справляюсь с непослушным голосом. — Ты все-таки знаешь, что я тебя люблю, Вера.

Она, сведя челюсти, молчала.

— Знаешь, что и я тогда не выживу... Потому что люблю, Вера, люблю!..

— Оставь меня в покое, — глухо, в сторону, не шевеля губами, не дрогнув ни одним мускулом.

— То есть не люби, забудь?.. А можно это приказать себе, Вера?

О, опять упрямое, нелюдимое молчание.

— Я, наверно, плох, Вера, но ты хуже меня. На любовь — ненависть! Умру сама, а отомщу...

Молчание. Непробиваемое молчание. И я обессилен.

— Иди... — устало согласился я. — И радуйся — ты победила.

Но все же ждал, ждал от нее слова жалости, хотя бы одного слова — должна же опомниться! Нет...

— Прощай, — неумолимо и беспощадно. — Больше не приду кланяться.

У нее на ногах были тяжелые мужские сапоги, и поступь в них была туповато-увесистая, материнская.

Хлопнула дверь, она вышла.

— Коля... Ради бога, Коля!

## 27

Жена, издав свой слабый призыв к миру, возвышалась сейчас над неприбранным столом — массивный и беспомощный идол дома.

А я вдруг почему-то припомнил, как мы когда-то ходили по грибы за Жулибинские пожни. Верочке тогда было уже лет десять-одиннадцать.

Деревня Жулибино до сих пор стоит на своем месте, сохранились и пожни за ней, и обширное грибное разнолесье. Только теперь все это — деревню, затянутые кустарниками пожни, леса — перечеркивает новое, раскатанное до синевы шоссе, соединяющее город Карасино с остальным миром. Ныне за

грибами ездят уже на автобусах целыми учреждениями, коллективами, с ящиками пива, с проигрывателями и аккордеонами...

Люблю собирать грибы. Люблю душную тишь леса, запах корневой влаги, запах земли и прелой листвы, тонкий, невнятный, какой-то недоказуемый запах самих грибов. Люблю палые желтые листья на жесткой приосенней траве, литую дробь черники на кочках, румяное полыхание брусники, и в моем сердце каждый раз случается легкий обвал, когда глаза нащупывают бархатный затылок затаившегося гриба.

Вере было лет десять-одиннадцать...

Не скажу, чтоб тогда был грибной на отличку год. Не из тех, когда из лесу тянутся вереницы со стонущими от тяжести корзинами. Просто был разгар сезона, и нам, наверное, чуть-чуть повезло — попали в лес перед очередной волной грибников. Нам то и дело приходилось вынимать из травы, из-под корней то находившихся, твердо литых, словно развесные гиришки, подростков, то развесистых, с рыхлыми шляпками стариков. Что ни гриб, то физиономия!

Помнится, у меня на душе было не совсем спокойно. Я тогда замещал ушедшего в отпуск директора школы и должен был переслать в районные инстанции какую-то важную заявку. Мне не успели подготовить бумаги, а потому в тихом лесу меня точил червь ответственности.

В тени, на прохладной траве, мы раскинули скатертку, разложили багровые помидоры, огурцы, копченую, маслянисто потеющую колбасу. Шелестела листва над головой, и где-то в буйной зелени, в глубоком овраге, в чреве земли усердно шевелился ручеек. Жена хмурилась и улыбалась, а Верочка, наоборот, была сурово-сосредоточенна, худа, черна от солнца. В свои десять лет она успела стать страстной до исступления охотницей за грибами, в лесу на ее мордашке всегда появлялось выражение: «Я сюда не шутить пришла».

Как, однако, хорошо, только вот проклятая заявка!..

Мы ели брызжущие соком помидоры, пили пахнущий березовым веником чай из термоса, а наши глаза, поблуждав по сторонам, возвращались к корзинам. Уж очень они были изобильны — по самый верх заполнены крепкими шляпками! И суетливо жил в чреве земли ручей...

Неожиданно Вера вздернула голову, во всей ее худенькой подобранной фигуре появилось эдакое устремленное выражение, как у собаки, учуявшей дичь. Ничего не говоря, она поднялась, сомнамбулически двинулась к кустам, остановилась, пригнулась и... сдавленно крикнув, упала на колени.

— Смотрите! — Вера пружинно вскочила, поднимая над головой обеими руками какой-то предмет. — Смотрите!

Ее лицо было искажено. Мы глядели и сами понемногу заражались веселым ужасом.

— Смотрите! Вот!

Несколько козых скачков, Вера приблизилась к нам, протянула тонкие, опаленные солнцем девчончьи руки... В них было что-то несуразное, до безобразия грубо измятое.

Жена первая воскликнула, в точности повторив сдавленный выкрик Веры. Крикнул от изумления и я.

В тонких немощных руках девчонки был гриб... Да нет, не гриб, а величественное сооружение природы, модель неведомого мира. Шляпа, словно географический континент с изрезанной береговой линией, с заливами и бухтами, с долинами и наплывами плоскогорий, с бугристыми хребтами и жаждущими влаги озерами, выеденными улитками. Шляпа — континент, а нога — беременный Атлант, коряв, скалист, источен протоками. Извергает же из себя такое мать-земля!

Перед лицом чуда вдруг стали жалкими наши ordinarily внушительные корзины, побледнели все прошлые удачи и даже забылась не поданная своевременно срочная заявка. Извергает же такое!.. Господи! Да все трын-трава!..

Вера несла гриб к дому, как хоругвь. Встречные женщины охали, мужчины провожали нас красно-речивой немотностью.



Городской автобус, провозивший нас по развороченным строительством улицам, гудел, как растревоженный улей. Люди никогда не бывают равнодушны к чуду.

На следующий день к Вере нагрянул фотокорреспондент местной газеты, недавно ставшей из мелкоформатной районной большеформатной городской.

Мутненькая фотография девочки с чудовищным до безобразия грибом была помещена на четвертой странице: «Десятилетняя Вера Ечевина, собирая грибы в лесу, нашла... местные старожилы не помнят такого...»

В ту осень наша Вера подняла на ноги добрую часть населения города, воскресенье за воскресеньем в лес двигались полчища. Люди неравнодушны к чуду.

Что-то легкое, освежающее жизнь принес тогда этот маленький случай.

А заявка... Ровно ничего не случилось оттого, что я подал ее на два дня позже.

Но, как всегда, что-то все-таки портило нашу легкую радость. Жена почему-то пугалась, суеверно повторяла:

— Ох, не к добру! Ох, удача с грибами всегда к беде!

Почему же я сейчас вдруг вспомнил тот далекий и в общем-то ничтожный случай?

Это, наверное, был самый счастливый день в жизни Веры. В моей тоже...

Она ушла от меня с угрозой.

А может, я неправильно эту угрозу понял...

Берин муж имеет право с полным основанием сказать про себя: «Я алкоголик!» Возможно даже, что он был когда-то и моим учеником, среди тех трех тысяч, что прошли через мои руки...

Вера всегда отличалась неумеренностью, она не остановится ни перед чем, чтоб отстоять от меня своего сына.

А знаменитый чудо-гриб был съеден вместе с другими грибами...

Жена возвышалась над неприбранным столом, упрямо и смятенно вглядывалась в меня сквозь очки.

— Коля... — произнесла она негромко.

Я вздрогнул, ее голос слишком спокоен для такой минуты.

— Да, Соня?

— Скажи, в самом деле, добрый ты человек или злой?

Величественная, неподвижная, расплывшаяся по стулу — моя жена, мой крест и моя опора. Почти четыре десятилетия мы живем тесно друг с другом. Ни я не изменял ей, ни она мне. Четыре десятилетия взаимной верности — может, это противоестественно, может, подвиг терпения, а может, как знать, тут-то и есть истинная родственность душ? Не дай бог, если она умрет раньше. Пустота окажется рядом со мной, страшная, бездонная пропасть, которую уже ничем не смогу заполнить. Сорок лет друг с другом, но я давно полюбил и уединение в стенах своего дома... Она задает мне вопрос. Станный?.. Да нет, обычный, который ей стоило бы задать сорок лет тому назад.

Я вздохнул и ответил:

— Бей уж прямо, Соня, не стесняйся.

— Ошибаешься, не скажу «нет». Ты добрый.

— Тебе идет роль миротворицы. В молодости ты другой была.

— В молодости?.. Вот молодость-то я и вспомнила сейчас. Как ты меня заставлял: не усидчива — переломи себя, легкомысленна — читай серьезные книги, будь такой да будь этакой. А меня, девку, на танцульки тянуло и вместо Маркса и Плеханова «Графа Монте-Кристо» почитать. И скандалила, и сцены устраивала. О господи, как давно это было, не верится даже, было ли... Хотел добра, слов нет. Или не так?..

Я молчал.

— И что получилось, Коля? Стала я умной, начитанной?.. Да нет же, клушей комнатной стала. Книг

серьезных так и не осилила, кухонный передник не снимала, жиром вот заплыла...

— Соня, не надо...

— Старших дочерей заставлял учиться, дышать им не давал, не смей от книг головы поднять, и что же?.. А как ты Верочку... Разве можно подумать, что со зла да с ненависти... Нет, конечно...

— Не надо, Соня.

— Всю жизнь целишься сделать хорошее, да дьявол за твоей спиной путает, твой мед дегтем оборачивает. Не виню тебя... Но от твоей-то безвинности другим не легче, Коля.

Она с усилием поднялась, выросла на фоне жаркого, заполненного садящимся солнцем окна — громоздкая, монументально-горделивая. Голос ее был по-прежнему пугающе тих:

— Вот что я тебе скажу, Коля: ты мне добра желал, старшим дочерям желал, Вере желал, не желай его Ленке — хватит! Одного да обереги от своей доброты.

## 29

Я закрылся в своей комнате. На моем столе благородно поблескивал кортик лейтенанта Бухалова. Добрый я человек или злой?

Гриша Бухалов ответил бы, не задумываясь: да, добрый, другого мнения и быть не может. Антон Елькин, столь не похожий на Гришу, неожиданно для меня — тоже!

А Вера иного мнения.

И неизвестный автор письма...

Кто же такой Николай Степанович Ечевин, проживший уже на свете шесть десятков лет?

Я не приспособленец и не карьерист. Бóльшую часть своей жизни я отдал нелегкому труду. Я работал по двенадцать, четырнадцать, а то и по шестнадцать часов в сутки! Я никогда не гнался за длинным рублем, за свои сорок трудовых лет не нажил себе ни палат, ни чинов, ни громкой славы. Меня выделили и обласкали в шестьдесят лет! Несколько

раз мне представлялась возможность занять некий командный пост. Я не воспользовался случаем.

Если Гриша Бухалов проявил себя, «смертию смерть поправ», то я всей своей долгой нелегкой жизнью, кажется, доказал, что жил не для себя!

Но все это не дает прямого ответа на вопрос: добрый я или злой?

Лена Шорохова произнесла на уроке недобрые слова, и, увы, мне приходится признать, что и я повинен в ее опасной недоброте. Я, добрый, оказывается, породил недоброе!

Так что же я за человек?

И как мне стать иным?

Вчера я намерен был написать Лене Шороховой хвалебную характеристику: «Способна сверх всяких похвал, поведение примерное, хороший товарищ». Сегодня у меня открылись на нее глаза, сегодня такую характеристику я писать не хочу.

Может, это и есть первый шаг, чтобы стать иным?

Как просто его сделать. Когда нужно, сядь за стол, положи перед собой бумагу и... «склони голову, гордый сикамбр, сожги то, чему поклонялся!..».

За окном густо бронзовел закат. Снаружи свершалось обычное космическое действо — одним своим боком наша планета отворачивалась от светила. Одним своим боком, где расположен мой материк, моя страна, мой город, мой дом, я... Из сумеречного кабинета, из тесной соты я, личинка, слежу за величаво-бездушным движением Вселенной и терзаюсь своим: как мне, личинке, изменить свое поведение?

Хочу стать иным, совершать иные поступки! Я не хозяин себе, черт возьми!..

Лена Шорохова сама никого не убьет, но проголосует: «Я — за!»

Бронзовел закат за окном, и тревога вползала мне в душу.

Сесть за стол, написать на листе бумаги вместо одних слов другие, вместо ошибочных верные, беспощадно отражающие то, что есть, характеристику: бойтесь ее! И после этого открыть перед ней дверь

из школы в жизнь. Жестоко же ты наказываешь девушку с гордыми бровями. Только за что? Не за то ли, что ты не сумел научить ее человечности и отзывчивости, не развил чувства самостоятельности, передал ей свое ледяное бесстрашие к истории, к той крови, которая когда-то зло окрашивала века и народы. Передал ей свое, а теперь содрогаешься — бойтесь ее!

Ничего себе — хочу стать иным. Свои мутные грехи собираюсь свалить на девчонку! Педагог с сорокалетним стажем! Ну нет, этого я не сделаю.

Но характеристику-то Лене Шороховой писать придется.

Так заведено, не мне отменять. Такие характеристики пишутся каждый год, я написал их тысячи... Не миновать и теперь! Несколько строк, неполную страницу...

Не свалю на девушку ошибки своей долгой и невнятной жизни. До этого не опущусь. Тогда что мне остается? Писать по-старому: «Способна сверх всяких... Хороший товарищ...» Раньше как думал, так и писал, я был искренен, не кривил душой. Но теперь-то думаю иначе...

Бронзовел закат, планета равнодушно загоняла в космическую тень мой материк, меня вместе с ним. В своей уютной, обогретой соте корчилась личинка. Нет, сам я сидел за столом неподвижно, нахохлившись, корчился и стонал во мне мой жалкий дух: хочу быть добрым и честным! Личинка жаждет стать Человеком!

Я всегда охотно протягивал осуждающий перст на своего ближнего: «Ты сподличал! Ты солгал! Дурной человек, как ты смеешь?!» Я был строг к другим и считал: стоит только этим другим захотеть, как они легко перестанут лгать и подличать. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих!» Возьми себя в руки и ты станешь хорошим.

Я готов взять себя в руки — хочу быть чистым, всей душой ненавижу ложь! Но мне придется писать характеристику на Лену Шорохову... В твердой памяти, в светлом сознании, при отращении ко лжи я буду лгать.

До сих пор я что думал, то и говорил, как говорил, так и поступал, теперь же буду думать одно, а говорить и поступать иначе. Я чуть поумнел, и правда оказалась противопоказанной мне. Никто не заставляет, никто не насилует меня — солги, превознеси недостойную.

Я собираюсь лгать и двурушничать по своей воле.

Хочу быть иным — лучше, чем был! Хочу искренне!

Не могу. И не знаю почему. Никого не упрекнешь, даже себя...

Люди добрые! Гибнет человек, сам видит это и бессилён остановиться — ратуйте!

### 30

Хотя через окно с улицы доносились голоса и смех, грохот проезжавших мотоциклов, но тишина облепила меня вплотную. Я сидел, оглушенный ею.

В моей жизни происходила очередная катастрофа — в эту минуту я становился менее качественным человеком по сравнению со вчерашним Ечевинным. Тот был более цельной и прямодушной натурой.

Но и тому угрожают. Ученик готов поднять руку на учителя.

В общем-то ученики постоянно поднимались на учителей. «Платон мне друг, но истина дороже!» Коль такое случается, значит, мир не в застое.

Не «убить Вас», а «Платон мне друг...». Тот, кто сказал эти слова, проявил силу своих убеждений, ему не нужно было прибегать к угрозам. Те, кто защищал свои убеждения с помощью ножа или плахи, скорей всего, сами не очень-то верили в них. Пугали и жили в обнимку со страхом.

«Убить Вас...» Мой грозный Робеспьер, какое сжигающее бессилие ты пережил, прежде чем написать эти слова? «Убить Вас!» — отчаяние курицы, бросающейся на лису, зыбкая соломинка утопающего.

Недавно на весенней обогретой улице, под юным весенним солнцем я поборол страх, смеялся над собой: «Потерявший голову заяц, бегущий от самого себя». Право, уморительно, если картинно представить.

Но не зря же мне не хотелось возвращаться домой, чуял, что там меня сторожит мой преследователь, мое второе беспощадное Я. Снова смятенно беги от него и прячься. Зачем? Можно ли спрятаться от себя?

Кортик Гриши Бухалова на моем столе. Гриша! Гриша! Ты моя удача, ты светлейший момент в жизни. И как мало было таких вот удач, едва ли не единственная.

Антон Елькин считает, что вся моя жизнь состоит из светлых удач. Этот ученик никогда не понимал своего учителя: ни тогда, когда пакостил втихомолку на уроках, ни тогда, когда сторожил с кирпичом на крыше... Не понимает и теперь. Я ничего не сделал Антоше Елькину — ни дурного, чтоб ненавидеть, ни хорошего, чтоб преклоняться. Увы, не я его исправил — исправила жизнь. Мы-то расстались на кирпиче.

Гриша, Гриша... Ты поздравил, и твое поздравление я принимаю с чистым сердцем. Но что бы ты сказал обо мне, Гриша, если б узнал: Таню Граубе, учившую меня вместе с отцом азбуке человечности, я решился подозревать — «убить Вас»? Сказал бы: спятил старик. Нет, Гриша, скорей, потерялся.

А только что мелькнуло подозрение, уже совсем дикое... Мелькнуло! Было! Не след прятаться! Подозрение против родной дочери — не готовит ли то самое «убить Вас». Она пригрозила, и страх затмил мне разум.

Она всю свою недолгую жизнь страдает от любвеобилия — к парню с боксерской причесочкой, к беспутному мужу, к сыну... Любвеобилие еще никогда не толкало на убийство, на отцеубийство тем более, к самоубийству же — ой нередко!

Гриша! Гриша! Гляжу на твой кортик и верю только тебе. А тебя давно нет на свете. Я наедине сам с собой, не могу сладить, не на кого опереться.

И кто-то послал мне все-таки письмо. С пьяной или трезвой угрозой, какая разница. Кто-то, кому я сделал какое-то зло.

Кто он?

Нет, не помню.

Когда-то кого-то я переехал. Не помню, не обратил внимания.

«Убить Вас!»

Что же ты все-таки за человек, Николай Степанович Ечевин?

Похоже, я теперь начинаю больше бояться себя, чем убийцу.

### 31

За окном навалились сумерки, зажглись фонари, шумел проспект, поздно, по-вечернему. Я сидел за столом и искал решения.

Я должен кому-то показать письмо.

Показать не для того, чтоб позвать — спасите! Неведение страшной смерти. Я для себя *terra incognita*, а в неизведанные земли в одиночку не ходят. До сих пор я блуждал в самом себе один. Нужен товарищ, нужен сопутчик. Пусть он прочитает письмо, пусть влезает мне в душу. Нужен взгляд со стороны, пусть недружелюбный, но внимательный, все замечающий.

Жене письмо не покажешь. За сорок лет срослись — не отступишь в сторону, не взглянешь со стороны.

У меня достаточно преданных и верных товарищей. Верна, например, Надежда Алексеевна. Ей — письмо?.. Будут ахи и охи, заломленные руки, звонки в милицию. Друзья, лечащие от недугов милицией...

Да мне здесь и не нужен друг. В друзья мы обычно выбираем себе единомышленников, тех, кто видит так же, думает так же, похожих на себя. Но что может тебе подсказать такой друг? Подскажет тот, кто на тебя не похож.

Больше всего со мной не схож Леденев.

Он юн, а я стар.

Я ценю традиции. Он готов их ломать.



Он не выносит меня, я его.

Он резок и прям до грубости.

Уж он-то не станет заламывать руки с ахами и охами, звонить в милицию.

Правда, он недоверчив ко всему, что исходит от меня, может шарахнуться в сторону. Нужно быть уж совсем толстокожим животным, чтоб повернуться спиной, когда шестидесятилетний человек прибежал на ночь глядя. В неизведанные земли в одиночку не ходят...

Телефона у Леденева не было, но, где он живет, я знал. Не столь давно по просьбе директора школы я хлопотал в горисполкоме о получении жилплощади троим неустроенным учителям. Среди них был Леденев. Хлопоты были длительные и упорные, а потому я запомнил адреса.

В темноте, ощупью я натянул в передней пальто, нахлобучил шляпу, открыл дверь, оставив свою тихую и темную семейную крепость, в глубине которой пряталась от меня жена.

Вдоль освещенного проспекта с пулеметным грохотом проносились мотоциклы, плыли по мостовой принаряженные парочки, в посвежевшем воздухе висел молодой, беспечный смех.

Возможно, что убийца рядом, следит... Мне безразлична его близость, но я уже не паникую, как утром, не спеша шагаю к остановке автобуса, даже с удовольствием представляю себе себя — степенный, прямой, с устремленным носом, само спокойствие. Наверное, я сейчас должен вызывать у убийцы уважение.

Я постоял в очереди, дождался автобуса, нырнул в его жиденький, желтый, как болотная водица, свет, уселся на свободное место, пододвинулся к окну, пуская рядом какого-то рабочего в потертом ватнике, с брезентовой сумкой, похоже водопроводчика.

Мокрое окно автобуса прятало плывущий мимо город и показывало в черном зеркале мою застывшую физиономию — твердый крупный нос из-под поля шляпы, незнакомую складку крепко сжатых губ.

Незнакомую, с болевым изгибом, с признаками стона, рвущегося наружу. Пожалуй, напрасно опасаясь, что Леденев не примет меня всерьез, с такой физиономией нужно скорее бояться излишне серьезной встречи: «Прошу вас, прилягте, выскочу позвонить в больницу!»

Мой сосед устойчиво дремал, утопив на груди небритый подбородок, едва скрывая козырьком мятой кепки серые веки. И кажется, в уголках его губ притаилась горчинка. Мне теперь у любого и каждого уже чудится болевой изгиб, запертый стон. У этого человека, покойно сложившего руки на брезентовой сумке с нехитрым инструментом, быть не может той катастрофы, какая случилась со мной. Труд его нагляден, значит, нагляден и его место в жизни. Наверное, он сегодня сменил несколько кухонных кранов, отремонтировал подтекавшие батареи парового отопления, починил неисправную канализацию, которая кому-то отравляла жизнь, — сделал свое, не очень сложное, никак не выдающееся, но можно ли сомневаться, что нужное и полезное дело. Его и завтра в каких-то квартирах будут с нетерпением ждать, ему и в голову, наверно, не придет гордиться своей нужностью. Его труд нагляден и ясен, мой для меня — нет. Педагог с сорокалетним стажем, сколько уроков ты посвятил защите Ивана Грозного, не замечая, что проповедуешь снисхождение к убийце?..

Сосед дремал, смежив серые веки, а я завидовал... Осознай, добрый человек, свое счастье! Как бы я хотел сейчас испытать твою честную усталость.

— Вокзал! — объявил кондуктор. — Конечная остановка.

Вокзальная площадь щедро залита огнями. Светятся витрины магазинов, предлагая прохожим хлебные батоны, коробки с геркулесом. В новом кафе — стиль модерн — за стеклом, словно на выставке, пьют и закусывают посетители. Вокзальная площадь, на ней всегда людно, всегда полно легковых машин и автобусов. Даже когда сам город спит, здесь жизнь не прекращается.

Но шаг в сторону за первый же угол — и темно, скудно освещенные улицы: Первая Привокзальная, Вторая Привокзальная... Шаг в сторону, и окраина города, редкие прохожие, редкие машины.

Несколько пассажиров автобусов усердно топали сзади меня. Пройдем мы, и стихнет шум шагов, только голоса электровозов будут здесь нарушать тишину.

## 32

Дом был новый, несколько месяцев назад заселенный, но тускло освещенная лестница уже так пахла жареным луком и детскими пеленками, словно через эти стены прошел не один десяток поколений.

В старину лестничным проходам уделяли едва ли не большее внимание, чем внутренним покоям. И в публичные храмы, и в частные дома вели широкие, торжественные ступенчатые марши. Гость, подымающийся по ним, невольно шаг за шагом настраивался на возвышенный лад, шаг за шагом проникался значительностью предстоящей встречи. Лестница как бы возносила человека над суетной землей. Нынче же лестница — самая прозаическая, самая досадная часть пути, ее пытаются избежать, втискиваясь в еще более прозаический ящик лифта, на современной лестнице приходят или приземленно трезвые мысли, или же тут просто несешь в себе тоскливую скуку будней.

В этом блочном доме лифта не было, шагать же мне пришлось на пятый этаж. И я с каждой ступенькой трезвел, освобождался от угара. «Кому повем печаль мою?» Старик с выпученными от тревоги глазами прибегает к мальчишке. В лучшем случае ты можешь рассчитывать на вежливое безучастие, в худшем — на откровенную издевку. Разве этот мальчишка умнее и опытнее тебя? И какая пища для пересудов. Собираешься всенародно вывесить грязное бельё...

Ступенька за ступенькой на пятый этаж. Еще на первых ступеньках я понял, что совершаю глупость, но обратно не повернул.

Без энтузиазма я нажал кнопку звонка. Он открыл дверь сразу, без минутного промедления, словно стоял и ждал меня с нетерпением. В дешевом нитяном тренировочном костюмчике, мальчишески стройный, недоверчиво подобранный и решительный, словно боксер легкого веса — в стойку не стал, но готов встать.

— Извините, Евгений Сергеевич, но мне нужно... нужно с вами...

— Признаться, я жду сейчас другого человека, — бесцеремонно перебил он меня, сердито отводя глаза в сторону.

— Евгений Сергеевич!

Взгляд мне в лицо, легкое смятение в темных глазах.

— Входите.

Ярко освещенная, новенькая, какая-то безалаберно веселая, звонкая комната. Она по-настоящему не обжита и не обставлена. Смятая кровать, заваленный книгами стол. Венчает пирамиду книг бутылка с коньячной этикеткой, в ее горлышко вставлена пушисто-озорная веточка вербы.

— Прошу вас...

Леденев придвинул мне единственный стул, сам сел на смятую койку, задрал острое колено, обхватил его цепкими пальцами, устался на меня поблескивающими черно-смородиновыми глазами. Его сухощавое смуглое бровастое лицо от настороженности стало чуточку асимметричным — одна бровь вздернулась, один угол рта поджат, одна скула острее и рельефней.

— Евгений Сергеевич... — мучаясь от неловкости, начал я с тем хмурым упрямством, с каким говорят старики, вынужденные обращаться с просьбой к молодым удачливым начальникам. — Вопрос в лоб: я похож на преступника? Только честно.

Леденев усиленно выламывал бровь.

— Однако...

— Смирись сегодня с моими странностями, Евгений Сергеевич. Так похож ли я?..

— На преступника? Нет.

— Только честно, ради бога, честно, Евгений Сергеевич! Я пришел к вам не за комплиментами.

— Нет.

— Откуда у вас неожиданное снисхождение ко мне?

— Не заставляйте наговаривать на вас того, что не думаю.

— Но, если начистоту, я знаю, что думаете вы обо мне не очень-то лестно.

— Значит, мне нет нужды еще и это валить на вас.

— Ну, спасибо. А я, признаться, готов был услышать самое худшее.

— Самоуничижение... Странно. Кажется, вы всегда гордились собой.

Острое, задрванное вверх колено, заломленная бровь, блеск черных ярких глаз. Кажется, стоит мне сделать излишне резкое движение, как он одичавшей кошкой отскочит в сторону.

Он мне не верит, и могу ли я его упрекать за это? Ворвись он ко мне на ночь глядя, я бы, наверное, так же упрямо и нетерпеливо ждал камня из-за пазухи.

И я попытался проломиться сквозь его неприязнь:

— Мне худо, Евгений Сергеевич, худо! Случилось так, что я вдруг стал разглядывать себя с изнанки. Наверное, каждый с изнанки не столь красив, как с фасада... Сегодня на уроке одна из учениц в угоду мне оправдывала убийцу... Понимаете — в угоду мне!

— Николай Степанович, зачем это мне?..

— Зачем?.. Вы спрашиваете?..

— Именно мне, а не кому-то другому, более близкому вам человеку?

— Наверное, затем, что я вам не нравлюсь. Теперь для меня ценно, очень ценно услышать неусловливую оценку своей особы. Я сейчас сам не нравлюсь себе.

— Так сказать, вы собираетесь исправиться.

— То есть, на ваш взгляд, не вовремя спохватился, надо бы раньше, а не тогда, когда стукнуло шестьдесят?

— Пожалуй. Впрочем, я полностью согласен с нашей добрейшей Надеждой Алексеевной, которая постоянно твердит: исправиться никогда не поздно.

— Евгений Сергеевич, вы сейчас бьете лежащего. Леденев решительно повернулся ко мне:

— Простите, Николай Степанович, но я вас не понимаю. Испытываете неуважение к себе, когда вас только что не носят на руках, когда в школе ваш культ, когда ученики преисполнены к вам робкого почтения, их родители — гордости и восторга, администрация — заботы. Наверное, только я один из ваших коллег не испытываю к вам ревнительного чувства. Иль вы уж столь неумеренны, что на небосклоне своей славы не терпите даже этого жалкого облачка?

Я было потянулся рукой к карману, где лежало письмо, я уже готов был вручить ему то, что скрывал от родных и близких, ему, человеку, неприязненно относящемуся ко мне...

Но тут в коридоре раздался звонок.

Леденев пружинисто вскочил, кинулся за дверь. А я остался наедине с веточкой вербы в коньячной бутылке.

А из-за дверей доносилось:

— Наконец-то!.. Что ты так долго?..

Счастливое освобождение в голосе. Как, однако, я неприятен ему.

В дверях появилась девушка. Нет, мне не знакома. Нет, не из нашей школы. Пальто пелеринкой, блеск крупных пуговиц, круглое разрумянившееся, с милыми застенчивыми ямочками лицо. Увидев меня, она застыла: смущена, растеряна, огорчена — третий лишней.

Леденев вытанцовывал вокруг нее.

— Снимай пальто... Ну-ка, ну-ка!.. Э-э, да не дождь ли на улице?

— Дождь. В этом году первый. — Не ответ, а песня светлым альтом.

Леденев ревниво и решительно обернулся ко мне:

— Прошу извинить... Я говорил вам, что жду... В любое время к вашим услугам. А сейчас прошу извинить...

Мне указывали на дверь.

Наверняка, как только я закрыл дверь, произошел разговор:

— Кто это?

— А-а, старый хрыч... — следует мое имя и отчество, возможно с титулами.

Наверняка это не первое вымечтанное свидание — очередное, привычное, иначе Леденев не встречал бы девушку в жевано-тренировочном костюме, а уж, конечно, приоделся бы чуть попарадней.

Человек пришел к человеку со своей вселенской бедой!

Фонарь, окруженный облачком влажной радужной пыли, освещал мокрый траурный асфальт. Первый дождь в этом году. Ранние весенние дожди ничем не отличаются от осенних, они холодны и уныло-противны. Киснувшие в пыльной влаге фонари, нефтяной жирный блеск асфальта, осень, ощущение, что у тебя украдено лето.

Я намеревался посвятить его в тайну из тайн, показать письмо, открыть свой смертный приговор. Разговор оборван в самом начале...

«Кому повем печаль мою?» Темно, сыро, украдено лето, украдено последнее.

Я лениво двинулся по пустой неприветливой улице.

Человек к человеку... Старик к мальчишке. От великого отчаяния к последнему прибежищу.

А он сторонник передовых взглядов. Он считает ископаемым Яна Амоса Коменского. Он любит Достоевского и постоянно декларирует его слова: «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей!» Его возмущает, что слово «добро», старое, испытанное слово, оружие разнохарактерных религий, постепенно уходит из обихода. Уж он-то за «убить каких-то» по макушку втоптал бы в землю Лену Шорохову.

Человек пришел к тебе с бедой. Ты указал ему на порог — не хочу слушать, сгинь!

В дикое Средневековье, прежде чем отнять у преступника жизнь, приводили к нему священника — исповедуйся. Хоть ты и не достоин жить, но твое человеческое достойно внимания — расскажи, излейся, готовы терпеливо слушать.

Указать на порог и бросить с пренебрежением «убить каких-то» — не сходно ли? Как то, так и другое порождено полнейшим безразличием, душевной омертвелостью к ближнему. Прямое убийство, право же, более человеколюбиво. Убийца подымает руку, значит, испытывает злобу, ненависть — сильное чувство. Убийца не равнодушен, по-своему внимателен.

Невежественное Средневековье изобрело исповедь. Даже инквизиторы старались с возможным вниманием взглянуть в душу тех, кого посылали на каторгу. Леденеву же на пороге двадцать первого века будет примерно столько же лет, сколько сейчас мне...

Я вяло брел по улице, по обочине нефтянисто-черной реки, под мокро-пыльным светом фонарей. Освещенные окна домов глядели поверх моей шляпы равнодушно и неприветливо. Люди ревниво попрыгали от заблудившегося прохожего вместе со своим нехитрым счастьем. Светят наглухо закрытые окна, задернуты занавески, арочные въезды во дворы заполнены вязким мраком, пустынна улица. Только где-то сзади побухивали чьи-то шаги в такт моим, с ленью, без спешки. Похоже, такой же заблудившийся...

Средневековье... Исповедь... Я вспомнил Веру.

Вот кто может меня выслушать. «Бог есть любовь!» Не покажет на порог, будет внимание, наверное, даже дочерние слезы будут. У меня к тому же есть вступительный взнос: «Вера, твой сын останется с тобой». Вступительный взнос живой душой — пусть останется с пьяницей отцом, с матерью-святошей...

«Кому поведом печаль мою?»

Шаги за моей спиной, заблудшие, ленивые, под стать моим. Но что-то в них настойчивое, неотступное.

И я оглянулся.

Запыленная жидким светом фонарей улица упиралась в ночь. Под глухой стеной черной ночи, на



окраине света, у побережия нефтянисто-черной асфальтовой реки — одинокая фигура. Она споткнулась оттого, что я обернулся. Человек ощутил направленный на него взгляд.

Кепчонка, ватник, руки заняты чем-то... И, еще не разглядев толком, я узнал — он! Тот водопроводчик, что подсел ко мне в автобусе. Всю дорогу он дремал, всю дорогу он не обращал на меня внимания, вспомнились его сомкнутые серые веки. Они слишком добросовестно были сомкнуты! Вспомнились и губы в окружении щетины — болевой изгиб... Я еще тогда завидовал ему...

Улица упиралась в ночь, и мутной влагой засеян воздух.

Он только споткнулся под моим взглядом, но не остановился, не метнулся, чтобы спрятаться. Он продолжал идти на меня.

Ночь в конце улицы, ночь, поглотившая дома и фонари. И шаги по мокрому асфальту: туп-туп, туп-туп!..

Шаг за шагом, ближе, ближе... Туп-туп! Туп-туп!..

И Леденев, Вера, жена, Зыбковец, Лева Бочаров, Лена Шорохова, Антон Елькин, старая церковь, Таня Граубе — вавилонская башня, нараставшая в течение дня, рухнула и рассыпалась. Ничего нет, только: туп-туп, туп-туп!.. Сейчас встретимся с глазу на глаз.

И я вдруг хлебнул воздух, бросился бежать...

Нет прошлого, нет будущего, есть минута, отделяющая его от меня. Жизнью не дорожил, смерти не боялся, страшной смерти ты сам, твоя взбунтовавшаяся совесть...

И нет совести, есть минута, одна неполная минута в какой-нибудь десяток-другой шагов.

Туп-туп-туп!.. Он бежит за мной, он старается проглотить спасительную минуту. Туп-туп-туп — стук рабочих ботинок по асфальту. Он моложе, он выносливей, мой бывший ученик... Только бы не сдало сердце, только бы хватило воздуха!..

Впереди вокзальная площадь. Там люди, много людей...

Туп-туп-туп!.. Он моложе.

Только бы хватило воздуха. К людям! К людям! В гущу людей! Живых, не спрятавшихся за стены, отзывчивых.

Туп-туп-туп!.. Ближе! Спасительная минута... Нет! Он моложе...

Ты храбрился — он не страшен, страшусь суда совести!.. Ты еще не знал, что такое страх. Страх травоядного перед хищником. Туп-туп-туп!

Рвется сердце, не хватает воздуха.

И уже молочный свет люминесцентных фонарей впереди. Уже площадь на виду, и тени прохожих, и машины...

### 34

Вырвался. Круто завернул за угол.

Шарахнулась от меня какая-то женщина...

Еще немного, еще подальше... Но сил уже нет, и сердце молотит где-то под горлом, и не могу дышать, не хватает воздуха.

Я припал к первому же столбу с раскрытым ртом, с дергающимися коленками, непослушными пальцами суетливо искал, за что бы зацепиться.

Тишина, хотя сердце набатно бьется на всю площадь. Тишина, хотя вижу, как разворачивается автобус, слышу звук его мотора. Тишина и голоса людей, идущих мимо. Тишина, не слышу — туп-туп-туп!

Оглядываюсь на угол дома, из-за которого я только что выскочил. Угол, а за ним сразу темная сырая улица с редкими фонарями, с мрачными арками, без прохожих. Он там притаился, он должен сейчас показаться.

Закричать? Созвать людей?.. Но воздуха не хватает, чтоб дышать, а уж кричать-то и подавно. И ноги не держат, любое лишнее усилие сбросит на землю, к подножию столба.

И к чему кричать, когда его нет. Тишина, весь мир заглушен моим подержанным сердцем. Но и сквозь набат своего сердца «туп-туп» я услышал бы. Тишина.

Я провел рукой по лбу, вытирая пот. Шляпы нет — потерял...

В черном небе раскаленная надпись над крышей вокзала: «К А Р А С И Н О» — вывеска моего родного города.

Напротив ярко освещенное кафе, оно без окон, просто застеклена вся стена, от мостовой до второго этажа. Там, за стеклом, в медовом свете сидели люди и всенародно, напоказ закусывали.

Мимо прошагал военный, по лаковому козырьку его фуражки рубиновой змейкой скользнула вокзальная надпись. Военный покосился на меня с превосходством и сочувственно: «Ну и нагрузился же ты, папаша!»

Лицо женщины, сменившее лицо военного. Женщине не до меня, углублена, озабочена, как бы скорей добраться до дому...

И где-то за сверкающей огнями широкой грудью вокзального здания, горделиво несущего вывеску моего города, успокоенно покрикивал маневровый паровозик.

Сердце перестало оглушать весь мир, из горла оно опустилось в грудь, колотилось уже в ребра. Я стал ощущать отрезвляюще сырой воздух, но все еще дрожали колени.

Вместе с отрезвляющим воздухом вернулись и трезвые мысли: «Герой. Целый день храбрился, шатался по улицам, в милицию не пошел, а тут откуда такая прыть?..» Даже трудно разобрать, стыд это или укор себе за неосмотрительность. Нет, все-таки стыд, но какой-то ватный, как мое обмякшее, огрузневшее тело. Выходя из дома Леденева, я думал, что у меня отнято все, больше ничего отнять нельзя, только постылую жизнь. Жизнь цела, но что-то все-таки отнято...

Гордость!

Гордился собой, что пренебрегаю смертью, что истина дороже жизни. Хотел даже встречи с ним, надеялся, что не дрогну. И рванул затравленным зайцем... Шляпу потерял... «Ну и нагрузился же ты,

папаша...» Отнято, наверное, самое, самое последнее, а жизнь осталась.

— Здравствуйте, Николай Степанович, — тихий голос за спиной.

Я даже не вздрогнул, я, кажется, ждал этот голос. Я медленно, медленно обернулся.

Прижимая локтем брезентовую сумку, стоял он. Брюки с пузырями на коленях, мокрый ватник коробом, потасканное круглое лицо в знакомой щетине, красный, невпечатляющий нос — не страшен. Под сплюсненной кепчонкой смутный и далекий блеск глаз. И я заворуженно загляделся в эти глаза.

— Вы шляпу обронили, возьмите.

— Спасибо. — Я взял шляпу, стал чистить ее рукавом.

Помолчали.

— А вы, оказывается, отчаянный человек. Думал, как сурок, будете в своей норе прятаться. Нет, целый день свежим воздухом дышите, даже в скверике отдыхали.

— Что же не подошли? О вас думал.

— Вспомнить хотели, кто я такой?

— Не сумел.

— И то, каждого не запомнишь, да и лет прошло изрядно.

— Почему только сейчас объявились? Сколько удобных минут было... Хотя бы в сквере, а того лучше в подъезде...

— А вы думаете, мне удобно в затылочек? Не кошелек собираюсь отнять. Я судья вам, дорогой Николай Степанович, судья! Хочу глядеть вам в глаза, хочу услышать ваши оправдания. Оправдывайтесь! Если пожелаете, конечно...

— Пожелаю, отчего же...

— Вот и хорошо. Безнадежным дураком никогда вас не считал. Если не возмущаете, то в том кафе... с удобствами и при свете.

Я все еще не мог оторвать плечо от столба.

— Ну что ж вы? Заело?

— Обождите, дайте отдышаться. Я же не молодецкий — такие кроссы устраивать.

Кафе называлось «Березка». В городе недавно появилось несколько таких кафе — пластиковая роскошь, шедевры горпитовской лирики: «Березка», «Ласточка», «Ромашка». Они сменили дощато-фанерные безымянные «пиво-воды», как пятиэтажные дома сменили покосившиеся бараки.

Здесь было много света и много воздуха и, судя по тому, что полно свободных столиков, мало выпивки.

Перед тем как пересечь дорогу к кафе, мой опекун произнес:

— Смотрите, не вздумайте... Шаг вправо, шаг влево, как когда-то наставляли меня...

Мы заняли столик, вовсе не укромный, не у стены, в стороне, и не в углу, а на самой середине, напротив стеклянной стены. Мы заняли столик и сразу же попали в витрину кафе, в число показательно закусывающих.

По одну сторону за соседним столиком уныло ел яичницу человек командированно-периферийного вида, с тусклым галстучком на несвежей сорочке. По другую — нешумная компания молодежи, спиной ко мне девица, одетая в кричаще канареечный свитер, волосы рассыпаны по канареечным плечам.

Много света, и со всех сторон глаза, даже с улицы. Как не походило это место на те места, где, по моим представлениям, должны происходить убийства. Да и сам убийца не производил впечатления. Без своей кепки он оказался совершенно лыс, глазки мелкие, водянисто-серые, нос воробьино задорный, простуженно красный после гуляния под дождем. На вид ему можно дать сорок, а то и все пятьдесят. Нет, не могу узнать, безнадежно. Сколько прошло людей мимо, класс за классом...

Мой убийца деловито прислонил к столу спинки свободных стульев.

— Будет занято.

Столь же деловито вынул из сумки какой-то пакет из толстой серой бумаги (в такие пакеты в бу-

лочных отвешивают сушки и ванильные сухари). Пакет лег на стол тяжело и как-то неплотно.

— Так вот, — водянистые глазки в упор, — назначаю вас своим собственным адвокатом.

И я вдруг понял, что наконец-то нашел того, кто выслушает меня со вниманием, — можно исповедоваться до конца.

— На суде обычно первое слово дается обвинению.

— Можно начать и с обвинения. Вижу, вы меня так и не узнаете?

Я с настойчивой пытливостью вглядывался в него — плоская лысина, нос стручком, что-то есть в складке губ зыбко знакомое... На эту горькую складочку я обратил внимание еще в автобусе.

— Не вспомню, — со вздохом признался я.

— Моя фамилия Кропотов. Сергей Кропотов, — произнес он сухо.

— Обождите, обождите... Тот самый, у которого отец?..

— Да, тот самый.

— Сережа Кропотов, такой тихий и милый мальчик... Трудно поверить.

Он равнодушно вздохнул.

— Двадцать лет спустя, роман с продолжением...

Я вглядывался в него и всеми силами старался увидеть под одутловатой, тяжело-свинцовой физиономией девичьи-акварельное лицо с зачесом русых волос, паренька в выгоревшей байковой куртке с молнией. Кажется, я уловил сходство, смутное, как шум морского прибоя в раковине, поднесенной к уху.

Он был самым обычным из моих учеников: вполне прилично учился, недурно рисовал, оформлял обще-школьную стенгазету, выбирался в разные комиссии и комитеты. К нему я не испытывал никогда ни большой любви, ни сильной антипатии. Однажды я спас его от исключения из школы.

— Да, пожалуй... Сережа Кропотов. Но как вы изменились!

Он промолчал с выражением суровой торжественности на небритой физиономии.

— За что же вы меня?.. Право, теряюсь в догадках.

— Вы слишком спешите, Николай Степанович, — с победной небрежностью усмехнулся он и пошевелил громоздкий пакет на столе.

Похоже, он давно готовился к своей праведной роли и сейчас играл ее слишком усердно, потому переигрывал.

Мать его, помнится, служила то ли делопроизводителем, то ли инкассатором. Он был единственным сыном, всегда отутюженный, заштопанный, умытый — эдакий наглядный экспонат материнского усердия: «Мы не хуже других». Впрочем, в те годы «не хуже других» стать было не трудно, только-только прошла война, все еще жили впроголодь, одевались не форсисто.

Отец его еще в сорок первом пропал без вести. Таких — не живых и не убитых — в те годы было немало. Редко кто из них возвращался, чаще в военкомате переносили их фамилии в списки погибших, чтоб семья могла получать законную пенсию.

Но вдруг полтора года спустя после окончания войны отец Кропотова объявился в Карасино. Он спрятался в доме и не показывался на улице, но досужая молва расписывала его портрет: «Зачервивел, в коросте весь... Стариком выглядит... Из-под Воркуты прибыл, защитничек родины».

Уже не помню, на каком школьном собрании и кто первый выразил недоверие Сергею Кропотому: «Скрывает, что отец его изменник родины, был полицаем у немцев...» Обычно тихий Сергей тут раскричался со слезами на глазах — отец его не изменник, к немцам он попал раненым, он, Сергей Кропотов, гордится своим отцом...

Наш директор школы, монументально-величавый старик, занимавший когда-то высокие должности, был по природе человеком очень добрым, умудренно-покладистым, однако весьма осторожным, любил повторять: «В наше горячее время каждый должен быть немного пожарником».

Сначала он сделал вид, что не замечает разгоревшегося сыр-бора вокруг Кропотова-сына, авось пожар сам по себе погаснет. Но к нему в кабинет явилась делегация из ребят-активистов. Они поставили вопрос ребром: Сергей Кропотков защищает своего отца — изменника родины, если Кропотова не исключат из школы, они через голову директора вынуждены будут обратиться в более высокие инстанции.

Директор их выслушал, похвалил за бдительность, пообещал принять меры, выпроводил и вызвал меня.

— Как по-вашему, следует исключать Кропотова из школы? — спросил он.

— Нет.

— Ну и прекрасно. Постарайтесь спасти его.

— Каким путем?

— Это уж ваше дело. Только боже вас упаси выглядеть защитником отца Кропотова. Кажется, он и на самом деле в поддавки с немцами играл.

Я не стал действовать вслепую, решил навести справки. Оказалось, что дело Кропотова-старшего чрезвычайно запутано: при отступлении наших войск он был взят в плен немцами, установлено — выпущен ими на поселение, а значит, имел перед ними какие-то заслуги или, того хуже, давал им какие-то обещания; но в то же время есть сведения — был связан с нашим партизанским отрядом, оказывал крупную помощь. Неизвестно кому, немцам или партизанам, служил он не за страх, а за совесть. По недостаточности улик его освободили из заключения, но не от подозрений — выслан по месту жительства, запрещено выезжать, обязан отмечаться...

Я оставил после уроков Сергея Кропотова... Нет, я сейчас, конечно, не помню, что именно ему говорил. Много мне на веку приходилось вести таких вот душевспасительных бесед — это одна из будничных обязанностей любого педагога. Дословно не помню, но в общих-то чертах нетрудно догадаться о чем... Нет, мол, оснований утверждать, что его отца судили несправедливо, не следует кричать и возмущаться, противопоставлять себя коллективу и т. д. и т. п. Осторожно втолковывал, осторожно урезонивал...



Мне искренне хотелось спасти Сережу Кропотова. И кажется, я преуспел в этом — он благополучно окончил школу.

## 36

К нам подошла официантка.

— Я вас слушаю.

Уставилась поверх наших голов, нацелив заточенный карандаш в блокнот.

— Бутылку минеральной и... яичницу, — поспешно ответил Кропотков.

— А мне чего-нибудь покрепче, — попросил я.

У меня сильно зашибал отец, зато я всю жизнь был примерным трезвенником, выпивал по большим праздникам. Сейчас меня тоже начинало охватывать ощущение если не праздничности, то, во всяком случае, исключительности минуты.

— Водки не держим. Коньяк «Пять звездочек», — сообщила официантка.

«Пять звездочек», наверно, дорого, хватит ли денег? — подумал я и тут же про себя усмехнулся: — А придется ли еще расплачиваться-то?»

Передо мной сияло кафе — травянисто-зеленый пластик пола, белые стены, крапленные черным под бересту, желтые спинки стульев, маслянисто-темная стеклянная стена, кое-где матово отпотевшая. Здесь?! Здесь скоро начнется паника, девица в канареечном свитере, что сидит ко мне спиной, истерично закричит, а сельскому командировочному, вернувшись домой, будет что порассказать. Я почувствовал медный привкус во рту.

— Так берете или нет коньяк? Второй раз спрашиваю.

— Не берет, — вдруг решительно сказал за меня Кропотков. — Сегодня мы, красавица, пьем минеральную. Еще бутылочку боржоми и яичницу.

Я не стал спорить, и официантка, устало покачивая бедрами, удалилась.

— Не рассчитывайте спить меня. Не выйдет! — заносчиво произнес Кропотков.

— А ежели я собирался пожить напоследок?.. — усмехнулся я. — Вам, наверное, безразлично какого?..

— Нет, не безразлично! Не хочу иметь дело с невменяемым. Еще раз напоминаю — здесь суд! Суд беспристрастный и праведный!.. — запальчиво и с пафосом.

— Ладно, не будем ссориться по мелочам, к делу! Начинайте свою обвинительную речь. — Я уселся поудобнее и уставился на Кропотова.

Он снова пошевелил пакет на столе, скользнул по мне тусклыми, словно оцинкованными глазами, заговорил:

— Начну с того, что вам, наверное, необязательно даже знать. Мой отец... Он и в самом деле месяц служил полицаем.

Я пожал плечами. К чему мне теперь эта чужая новость двадцатилетней давности.

— И все это время он был связан со своим партизанским отрядом. Командир отряда жив, недавно выступил в печати, упомянул добрым словом моего отца. Да! Налицо документ! Вот эта газета!.. — Кропотов картинным, отработанным жестом полез во внутренний карман своего замусоленного пиджака.

Я остановил его:

— Верю, что невиновен. Дальше.

Кропотов взвился:

— Невиновен! Ишь как легко! Вы бы тогда так вот пели.

— Ни тогда, ни теперь не брал и не беру на себя судейских полномочий.

— Вот именно, на себя не брали, а меня заставили осудить.

— Не заставлял, скорей, советовал.

— А что такое совет учителя? Не осудишь — погибнешь, осудишь — будешь благоденствовать. Что это, как не своеобразное духовное насилие опытного и искушенного над неопытным?!

И меня взорвало:

— Послушайте, вы! Бывший Сережа Кропотов! Уж если вы взялись судить, то судите, а не занимайтесь

художественной подтасовкой. Я насильник? Как же! Я ведь тогда действовал из желания навредить вам, а не принести пользу.

Его глаза вдруг заблестели, щеки затряслись, он захлопал влажным смешком.

— Хе-хе! Вам не стыдно говорить о пользе? Хе-хе!.. — И выпятил грудь. — Взгляните на меня! Взгляните внимательней! Не отводите взгляда!.. Видите, я в славе, я в почестях, я в богатстве! Мне пошла на пользу ваша высокая и бескорыстная забота! Вы меня облагодетельствовали!..

Мне начинал действовать на нервы этот краснобай.

Я спросил:

— Хотите взвалить ответственность на меня за свои неудачи? Вы бы и без меня стали тем, кто есть.

Кропотов, бывший мой ученик, будущий мой убийца, минуту пробыл в задумчивости, наконец сказал важно и миролюбиво:

— Вот это-то мы и должны выяснить — стал бы я без вас... Итак, вы уговаривали меня отмежеваться от отца... А знаете ли вы, кто вам помогал в этом?

— Знаю — ваша мать.

— И не только! Мой отец тоже! Мой отец был величайшей души человек! Он считал: жизнь его безнадежно изломана войной, ему уже не прибудет и не убудет, самое страшное, если покалечат еще жизнь сыну... Словом, он был ваш верный, ваш горячий союзник!..

— Значит, вы с таким же успехом можете повесить свое обвинение на отца, как и на меня, — заметил я.

И он вдруг бурно восторжествовал:

— Ага! Я этого ждал! Я ждал этого!.. Прячетесь!..

— Прячусь? От кого?

— От своей совести. Ишь как, с моим отцом одинаков!.. — Кропотов подавился смешком и расправил плечи, холодно взглянул на меня оцинкованными глазами. — Вы помните то собрание?

— О каком вы говорите?

— Да о том самом, где сын публично каялся за родного отца. Какая была тишина! Какое захватывающее зрелище!.. Я выполнял ваш благой совет, осуждал...

— А без меня вы бы этого не сделали?

— Нет! — ответил Кропотков и повторил с жаром: — Нет, нет! Отец, мать требовали... Я бы их не послушался, я бы не принял жертвы отца... Но вот стал убеждать человек посторонний, авторитетный, умный, бескорыстный... Да, да! Ваше бескорыстие сыграло свою злую роль!.. Я перестал верить своей совести, поверил вам! Какая была тишина, когда я говорил: осуждаю!.. Смотрите на меня, смотрите!.. Именно с этих слов началось мое «позабыв, позаброшен». После этих слов я стал сиротеть. Стремительно! Сиротеть и портиться!..

— Обычные жалобы неудачника: меня, хорошего, дурной мир обидел, — произнес я сердито.

Казалось, он не слышал меня, повторял, глядя в сторону:

— С этих слов... С них!.. Я произнес их, а пришел-то домой, к отцу. Я жил рядом с отцом и стыдился смотреть ему в глаза. Я знал, что этим его обижаю, но ничего не мог поделать. Мучительно быть рядом с человеком, о котором недавно принародно говорил ужасные слова. Для отца же единственной наградой за этот позор могла быть лишь моя сыновья близость. А тут еще мать... Она хотела задобрить отца, старалась говорить с ним заискивающе-ласково, со мной грубо: «Лешенька, ты таблеточки свои принял?.. Ты, идол, чего стоишь столбом? Беги, принеси отцу водички!» Отца это коробило, а меня, молодого дурака, оскорбляло: я же не хотел, они оба сами меня уламывали, сами же теперь презирают меня. Я первый начал срываться — кричал на мать. Мать ударялась в слезы, вопила, что она из себя жилы тянет ради нас. Отец молчал и смотрел волком...

Кропотков не расправлял плеч, не вздергивал подбородка, на этот раз не играл в судью, а рассказывал. Его одутловатое лицо покрылось легкой



красочкой, глаза беспомощно блуждали по столу, а руки беспокойно сжимались и разжимались — черствые руки рабочего. На минуту он поднял покрасневшее лицо, размягченные, почти жалобные глаза, подождал вопрошающе — не возражу ли?.. Я не возражал, мне нечего было сказать. И тогда он снова опустил голову и заговорил. Он, наверное, как и я, давно искал человека, который бы его со вниманием выслушал. Со вниманием, заинтересованно... Он не ошибся, я его слушал затаив дыхание.

— Помните у Чехова в «Трех сестрах»... Помните, там твердили: «В Москву! В Москву!..» У нас в семье появился такой же припев: «Уехать! В Череповец, к Соне!..» Сестра отца, Соня, нас не знала и в нас не нуждалась, но нам казалось, что во всем виновато Карасино, стоит только вырваться из этого гноища, как все станет по-прежнему, мы будем любить друг друга, жертвовать друг для друга собою. Мы уехали, правда, не к тете Соне в Череповец... Э-э, зачем вам подробности?.. Я тогда уже крупно не ладил с матерью, по примеру отца тоже начал пить, впутался в уголовную историю, попал под суд. Какая цепь! Какое гнусное ожерелье! Одно тянуло за собой другое... А началось со слов, которые я произнес на собрании...

Кропотов пригнулся к столу, сжал лысину руками, замолчал.

А за соседним столиком расшумелась молодежь, перестреливалась тугими научно-техническими терминами и громкими именами: «Инвариантность!.. Неэвклидов континуум!.. Де Бройль! Дирак!..»

Звенело у меня в ушах от молодых голосов и рябило в глазах от волос девицы, рассыпанных по канареечным плечам.

Да, так оно и было, я виновен, но, право же, невольно. Сегодня весь день я занимался раскопками, пласт за пластом вскрывал свою совесть, подымал наружу окаменевших уродцев. Знал бы Кропотов, что среди этих уродцев открылись мне куда более неприглядные, чем тот, которым он сейчас тычет мне в нос.

Как, однако, люди завясят друг от друга. Двадцать лет назад я имел несчастье неудачно посоветовать. Я хотел спасти человека этим советом! И вот он передо мной: «Я алкоголик... Представитель человеческих отбросов... Вас убить!» Живой укор, грозное обвинение!

Я спросил его:

— Вы все-таки не отрицаете, что я хотел тогда вам помочь?

Он пошевелился, отнял руки от лысины, ответил устало и вызывающе:

— Не отрицаю. И что из этого?

— Из этого следует новый вопрос: можно ли судить человека за то, что он хотел помочь другому? Помочь!

И он снова вскинулся: небритый, помятый, негодующий, смешной и грозный.

— Да! — выдохнул он. — Да! Помощь Иуды... Скажите, что она неподсудна!

— Помилуйте, какой я Иуда. Я не собирался продавать вас за тридцать сребренников, наоборот...

— Николай Степанович! — торжественно провозгласил мой помятый, простуженно-красноносый судья. — Вы не прохвост! Нет! Будь вы обычным прохвостом, я бы и не подумал покушаться на вашу жизнь. Черт с вами, одним прохвостом больше, одним меньше — так ли уж страшно.

— Неужели искренний, пусть заблуждающийся человек страшней беспринципного прохвоста?

— Заблуждающийся — да! Заблуждающийся страшней!

Глаза его потускнели и потяжелели, спина распрямилась, плечи раздвинулись, в голосе послышались прежние нотки судейского превосходства. Кажется, я затронул нужную струну. По всей вероятности, у него давно уже разработано соло на тему заблуждений и преступности, наверное, он много лет исполнял его за кружкой пива. «Заблуждающийся страшней!» — победность в голосе. Похоже, я сейчас услышу философское обоснование приговора: «Убить Вас!»

— Обычный прохвост делает гнусности, скажем, клеветает, но в глубине-то души понимает, что поступает плохо. Он всего-навсего нарушает правила. А тот, кто искренне убежден, что клевета под каким-то соусом или другое что-то в этом роде необходимо человечеству, этот, извините, уже не просто нарушает правила, он возводит подлость в правило! Вы, Ечевин, не подлец, вы вредная людям идея!

Он глядел мне в переносицу холодными матовыми глазами. Одутловатые щетинистые щеки, птичий нос и... горделиво-алчное выражение непримиримости.

Врачу — исцелился сам! Он тоже не человек, а идея, не простой убийца, а жрец, очищающий мир от скверны. Что станется с этим миром, если житейские заблуждения начнут наказываться смертью? Что такое хорошо? Что такое плохо? Кто знает это точно? Кто из нас не заблуждался в жизни, не сбрасывал с себя своих заблуждений, чтоб принять новые? Не смей заблуждаться — смерть! Страшной духовной диктатуры не придумаешь. Матовые глаза, щетинистые щеки, птичий нос — судья суровый и праведный, судья, защищающий мир, не меньше!

Нетрудно опровергнуть этого доморощенного судью вместе с его подозрительной праведностью. Нетрудно кому-то беспристрастному, но только не ему самому. Наверняка не год и не два, а много лет сочинял свое философское кредо, как ни зыбко оно и ни уязвимо, но помогало ему сносить и оскорбительные несчастья, и презрение окружающих — значительным-де занимаюсь, лелею спасение человечества. А спасал-то он сам себя — от самонеуважения. Мне нынче это так понятно. И вину я перед ним все-таки чувствую. Безнадежно опровергать — не услышит, не воспримет, ничего не получится, кроме скандальной склоки. Ну не-ет, не унижусь до нее, даже если суждено погибнуть, постараюсь быть выше своего судьи. Пусть почувствует, на кого замахивается.

— Итак, — спросил я, — вы меня приговорили за заблуждения?

— Не за случайные и не за малые!



— На основании одного лишь события... двадцатилетней давности?

Судья, охраняющий человечество от меня, надулся от важности.

— Нет, Николай Степанович, не пройдет! Тот двадцатилетний случай только толчок, я давно уже слежу за вами, собираю на вас материал, давно взвешиваю, имеете ли вы право жить на белом свете.

— И что же вы собрали?

— Кое-какие сведения о некоторых ваших учениках.

— Например?

— Например, Щапов, ныне директор областного сельхозинститута. Ваш ученик?

— Мой, ну и что?

— Вы помните, на чем он вылез?

— Откуда мне знать, я не слежу за его научными работами.

— А их у него, собственно научных, нет. Он вылез на том, что был одним из экзекуторов профессора Долгова, презренного менделиста-морганиста. После смерти Долгов оправдан и прославлен, имя его присвоено институту, а директором этого института сейчас... Щапов.

— Даже если он, Вася Щапов, и злодей, при чем тут я, его школьный учитель? Он мог стать им и без меня.

— А вспомните, что писал Щапов недавно, во время вашего юбилея: «Наставник, которому я благодарен буду до конца своих дней...» Вы плодите щаповых, щаповы плодят себе подобных — расплозается по миру зловещая гниль. И вас славят за это!

— Почему вы выбрали из моих учеников Щапова? Наверное, знаете Женю Макарова — довольно известный вирусолог, его-то научные труды вне подозрений. Он тоже откликнулся на юбилей — благодарен... Пусть это пустая вежливость, пусть не я помогу стать Жене ученым, но и не испортил же его! А вот Гриша Бухалов... Да, да, на моем счету есть и такие...

— А на вашем ли? Неужели вы считаете себя настолько могущественным, что способны вытравить в любом и каждом все то, что вложили природа и общество? Не заноситесь!

Бесстрастность на небритой физиономии, морозом скованные глаза — мессия! Убийством восстанавливать справедливость! Могу ручаться, что Щапов, которым он возмущается, ни разу в жизни не помышлял о таком. Глядя прямо в его мелкие зрачки, я заговорил:

— Я выучил Гришу Бухалова не только азбуке и таблице умножения. Я первый ему рассказал, что такое Родина, за которую он погиб. Вы можете отнять у меня жизнь, но отнять таких, как Гриша Бухалов, для вас непосильно.

И мой суровый судья отвел глаза, с минуту молчал, потом произнес, как мне показалось, уважительно:

— Знал, что вы будете защищать себя умело. Но... — судья тряхнул лысой головой, — попробуйте развить вашу защиту дальше, скажите, что Щапову вы рассказывали о Родине не то, что Бухалову.

— Бухалов Гриша был мне почти сыном, много ближе Щапова! Значит, и получил от меня больше. Так по кому же мерять мое?

— Быть к вам ближе, получить от вас больше... Да вспомните дочь, Ечевин, родную дочь.

И я поспешно оборвал его:

— Не трогайте этого! Ради бога! Прошу!

Он замолчал, разглядывая меня в упор, кажется, в его глазах сквозь холодную оцинкованность проступило сочувствие.

Выходит, он еще и добросовестный судья — осведомлен не только о школьных, но и о моих семейных делах. Впрочем, неудивительно — весь город говорит о моей беде с Верой.

— Не буду трогать, — согласился он. — Но тогда и вы уж защищайтесь поосторожнее.

Появилась официантка, поставила перед нами бутылки с боржоми и тарелки с яичницей-глазуньей.

— А так ли уж нужно мне защищать себя перед вами? — спросил я, когда официантка удалилась.

— То есть?.. — насторожился Кропотов.

— У меня есть забота поважней.

— А именно?

— Защищаться перед своей совестью.

Кропотов криво усмехнулся:

— Дешевка. Не купите. Не выйдет!

— Как вы думаете, прочитав ваше письмо, должен был я оглянуться на себя, порыться в прошлом — за что же, собственно, меня так? А?..

— Н-ну, положим.

— А как вы думаете, вспомнил я о вас?..

— Вроде нет.

— То-то и оно, Кропотов. Я увидел у себя грехи покрупнее, попронзительнее. Почему только ваша история достойна мучений совести, а не те, что мне вспомнились первыми?.. Право, мне теперь не до вас.

— Хотите растрогать меня кротостью? Не клюну!

— Хотел... Совсем недавно мечтал с вами увидеться, кротчайше заявить: вы можете меня убить, но помните, что убьете другого человека. Я изболелся! Я прозрел. Я переродился. Между мной и моим однофамильцем из вчерашнего дня нет ничего общего. Убейте меня, но это будет убийство без необходимости.

— И вы рассчитывали, что я раскисну, расчувствуюсь, облобызаю вас в медовые уста.

— Я верил — переродился! — и рассчитывал заразить вас своей верой.

— А сейчас?

— Нет.

— Чего так?

— Я недавно понял, что не могу по-иному, по-новому поступать. Не могу, скажем, написать иную характеристику своей ученице! Стать иным рад бы, но нет... Не выношу себя и не могу измениться. Вы понимаете меня, Кропотов?

Он молчал, тревожно таращил на меня глаза. Он — человек, не уважающий себя, бессильный перед собой. Кто-кто, а он-то понимал меня.

— Спасибо вам, Кропотов, за письмо и будьте вы за него прокляты! Действуйте и не надейтесь, что стану просить о прощении.

— Самобичевание сопливое! — выдавил он хрипло и неуверенно.

Я рассмеялся ему в лицо.

— Что, судья, опоздал? Я сам себя осудил. Благородная часть дела сделана, осталась лишь грязная работа — будь палачом, дружок, и не гневись — сам затеял.

Его руки, раздавленные руки чернорабочего, лежащие рядом с таинственным пакетом, сжались в кулаки, глаза тлели зло и затравленно.

— Надеешься, трещинку дам? Не выйдет!

— Э-э, Кропотов, да не я вас, а вы меня боитесь.

И Кропотов сразу угас, опустил глаза.

— Да... боюсь, — признался он не своим, каким-то глубинно-угрюмым голосом. — Провожать на тот свет человека... не привык. Боюсь и не хочу.

— Сочувствую. Могу лишь облегчить вам работу — буду услужливым.

— Лжешь! — передернулся Кропотов. — Лжешь, негодяй! А почему бежал от меня?.. Молодым галопом ударил, о годах забыл! Оттого, что себе опостылел, бежал? Лжешь!

— Тогда бежал, сейчас не хочу. Неужели не понятно, что в человеке живет проклятое самосохранение, не в мозгу, где-то в желудке. Молодой галоп случился прежде, чем успел подумать... И сейчас во мне, что скрывать, сидит эдакий шерстистый чертик. Жив курилка! Не отделаюсь до конца.

— На пушку берете! Не выдержу, мол, дам трещинку...

— Бросьте — на пушку! Почему вы так беспокоитесь, почему горячитесь? Потому, что верите мне. И как не верить, мы же братья по несчастью...

— Ну вот и до братства договорились.

— Вы тоже несносны сами себе, потому и игру выдумали: бросить себя, постылого, на костер... И прекрасно! Мы, так сказать, друг для друга взаимовыгодны, вы через меня отделяетесь от своего постылого Я, одновременно освобождаете и меня от того же. Для меня самый легкий выход — минутка неприятности, как в зубоврачебном кабинете.

Кропотов молча взял пакет, стал разглядывать его и свои рабочие руки, хмурясь, моргая, то сдвигая в узелок губы, то растягивая их, все усталое лицо нервически гримасничало. И я снова почувствовал во рту медный привкус.

— Дозрел, скотина, — сказал он. — Хочешь отделаться моими руками.

Медный привкус все еще оставался, но ощущение подмывающей опасности исчезло, мне вдруг стало скучно, появилось раздражение против этого нерешительного человека — судья-каратель, тоже мне. Несерьезный птичий нос, тусклая лысина, мешки под глазами, после первого же несчастья так и не сумел встать на ноги, хотел, наверное, много, но ничем не заявил о себе... Жертве по призванию вершить суд не дано.

— Вот... Можешь взять себе.

Пакет тяжело стукнул рядом с моей тарелкой.

— А если я не решусь?..

Кропотов побагровел, глаза его стали белыми.

— Ну и живи! Задыхайся в собственной вони!

— А дух?.. Мой дух, Кропотов?.. Вы же его собирались прикончить.

— Почему я за твой поганый дух должен больше тебя отвечать?

И я негромко рассыпался не своим, презрительно-горьким смешком.

— Но что будет с человечеством, Кропотов, с человечеством, которое вы от меня хотели спасти?.. Как быстро вы о нем забыли!

— Нет вас — были, да вышли, дым остался.

— Лжете, Кропотов! Как всегда, себе лжете. Поняли простое — во мне себя увидели. Или я не прав? Родные братья, хотя и не близнецы.

— Ловко выгораживаетесь!

Злое возбуждение слетело с меня, я вздохнул.

— Нет, не выгораживаюсь. И в доказательство готов взять подарок. Что называется, постараюсь оправдать ваши надежды.

Он гнулся к столу, к остывающей яичнице, прятал от меня лицо, выставляя неопрятную лысину.

Ярко освещенное крикливо-цветастое кафе — белое и черное, зеленое и желтое, и за столиками благополучные люди. Небритый, нездоровый, враждебный человек напротив меня. Жаль его, жаль себя. Запрокинуть бы голову до хруста в шее, завять по-волчьему на тощенькие современные люстры — о пропущенной жизни, от зависти к тем, кому жить предстоит.

Я взял пакет и чуть не выронил его из рук — он оказался тяжелей, чем я думал.

— Кропотов, — сказал я мстительно, — ты напрасно мне это отдаешь. Оно тебе самому нужно.

Он промолчал. Я повернулся, хотел крикнуть официантку, чтоб расплатиться за бутылку минеральной, нетронутую яичницу, и тут Кропотов застонал:

— Да скорей же!.. Не тяни! С глаз долой!

— Будь здоров, Немезида.

Бережно прижимая пакет к животу, я двинулся к выходу.

### 37

Известно, что Людовик XVI держался храбро во время казни. Талейран будто бы назвал это «храбростью женщины в момент, когда она рожает». Я испытал угрюмое хмельное удальство, приобщился к отваге висельника.

Этот хмель продолжал кружить мне голову, когда кафе осталось за спиной, когда автобус вез меня к дому.

Нет, я не гордился победой над человеком, который приехал убить меня. Он не стоил того, он из тех, кого в жизни побеждает каждый встречный. Но, похоже, я победил себя. Пакет оттягивал карман моего пальто — военный трофей, взывающий к действию.

Прозревший крот не в состоянии жить под землей во мраке. Раз он прозрел, то должен видеть солнечный свет. А мир, где светит солнце, не для крота, крот приспособлен к потаенной кротовой жизни. Но все равно будь благодарен прозрению, за минуту ярко-го света с честью прими расплату!

Автобус вез меня к дому. Он был почти пуст в этот уже довольно поздний час.

Хлыщеватый паренек — брючки слишком узки, полы пальто подрезаны чересчур высоко, головной убор отсутствует — глядится в ночное стекло окна: «Как я хорош». Нарцисс.

Две девицы громко болтают о какой-то Капке, которая «ломается, как копеечный пряник».

Сейчас я имею право свысока смотреть и снисходительно судить. Ни один из встречных наверняка не пережил такого дня, какой только что пережил я, ни один не прошел через такой пристрастный и жестокий суд совести, через какой прошел я. Наверяд ли кто из них когда-либо вынесет себе столь суровый приговор. Пакет оттягивает карман моего пальто, он не просто взят добровольно, он отвоеван мною вместе с высоким правом судить самого себя.

Я сошел на остановке возле своего дома.

Будь благодарен прозрению, крот, слепо проживший жизнь в шестьдесят юбилейных свечей. Другие кроты не поймут.

Мимо меня промчался с грохотом мотоцикл — парень вез за спиной девушку. Это, наверное, самый последний из мотоциклов, несущий на себе досужих отдыхающих.

Закрываются магазины, и то кафе возле вокзала, наверное, уже тоже закрывается, не совсем еще пьяного Кропотова выставляют на улицу. Последние прохожие спешат по мостовой.

Вдоль проспекта застыли молодые липки, прогретшиеся за день на солнце, испытывавшие живое шевеление сока — деревья с налившимися почками. Почки скоро лопнут...

Все еще сеял дождь, фонари вспарывали мокрый асфальт судорожными полосами. Город засыпал, успокоенный и освобожденный. По его улицам уже не ходит убийца, к любому углу приближайся с доверчивостью. Но одной рукой я придерживаю отягощенный пакетом карман.

Что ж...

Не снимая пальто, через столовую при неверном свете фонарей с улицы я прошел в свою комнату, плотно прикрыл дверь, прислушался. Жена, похоже, спала... или продолжала от меня прятаться в недрах нашего затемненного жилья.

Возможно, она глядит сейчас в потолок, перебирает в уме нашу с ней жизнь. Она, кажется, и на самом деле была несчастлива со мной, хуже того, как-то однообразно, уныло несчастлива. У меня хоть ежедневная смена: дом — школа — дом, а у нее только: дом — дом — дом — равнина и в ней овраги.

Спит или думает?.. Ждет ли покорно заранее известного утра? «Доброе утро, Коля. Как ты спал?» — лозунг дома. Прости, Соня, утро у тебя будет недобрим, тебе придется перебраться еще через один страшный овраг. Всей душой хочу, чтоб он был у тебя последним. Постарайся набраться сил, одолей.

Включил свет.

На письменном столе среди разложенных книг, тетрадей — морской кортик. Гриша Бухалов — светлое пятно моей биографии. Впрочем, кошмарное сегодня подарило мне встречу с Антоном Елькиным. А сколько таких Антонов, искренне считающих меня солью земли. Письма и телеграммы все еще идут со всех концов страны. Письма и телеграммы, искренние и признательные... Может ли быть страшной обвинение, чем восторг, которого ты не заслуживаешь?

У меня есть единственное достоинство — не отыметь! — не злодей, не прохвост, честный человек. Это признал даже мой судья Сергей Кропотков. Остаюсь честным до конца, признаю: Гриша Бухалов погиб, а Лена Шорохова жива и будет жить!

Я задернул занавеску на окне, спрятался от всего города.

Что ж... Запустил руку в карман пальто, прорвал пакет. Ладонь сразу же удобно легла на отрезвляюще холодную рукоять. Вытянул, отбросил обрывки бумаги. Наган...



...Старый, пятнистый, маслянисто лоснящийся, хищный и тонкий ствол увенчан крупной мушкой — военный трофей, взывающий к действию.

Пошевелив пальцем барабан, я заметил, что его глазницы пусты. Неужели не заряжен? Издевка? Шуточка вкупе с письмом? И уже невольно хлынуло в грудь облегчение. Но в эту секунду в глубине гнезда вкрадчивый блеск. Наган заряжен. Всего одним патроном, но заряжен.

Тоже мне мастер — новое презрение к Кропотову. С одной пулей на охоту. А если бы промах?.. Если б осечка?.. Осечка может случиться и в моих руках. Может случиться, может — нет. И откуда он эту допотопную чудовину выкопал?

Я взвешивал в руке старый наган. Он солидно тяжелый, он много раз ржавел, от этого пятнист, его где-то прятали, как прячут преступные мысли, — не игрушка, в выброшенном вперед стволе щучья хищность. Я взвешивал его и раздумывал о нем.

Молчаливый, как могила, преданный, как может быть предан не друг, а оружие. Наверняка его биография полна тайн.

Наверняка служил еще в Гражданскую, потому что по виду очень стар. Может, его носил за поясом матрос с широкой душой, опьяненный революцией, пускал из него в распыл юнкеров. А может, юнкер, вчерашний барчонок, озверевший от несчастья — у папы содрали генеральские погоны, разорили родовое гнездо, — стрелял по солдатам. Может, таскала его активистка из прототряда, добывавшая у мужиков хлеб для голодных детей, активистка в кумачовом платочке, сама голодная и рваная, окруженная угрюмой мужицкой ненавистью. А может, кулацкий сынок направил из-за угла этот ствол на активистку, и легла на землю девчонка, и кровь мочила красную косынку... Молчит старый наган, служащий всякому, кто возьмет его в руки.

Скорей всего, служил нечистым рукам, иначе не достался бы Кропотову. Наверняка последние долгие годы он вел подпольную жизнь, отлеживался по застрехам на чердаках, в земле, обмотанный промас-

ленными тряпками, в дымоходах, просто в глубине сундуков и чемоданов. Возможно, время от времени выходил он из своего подполья под покровительством ночи, и какими кровавыми преступлениями кончались его короткие прогулки?.. Не найден, не уличен, не арестован, теперь почти беззуб, но еще раз укусить может, вырвать еще одну жизнь...

Кропотов Сергей с бережной заботой привез его в брезентовой сумке — бывший ученик своему учителю.

Молчит старый наган, служивший всякому, верно служивший. Кропотов отказался от его службы.

Медленно, медленно, без щелчка я взвел клыкастый курок, и барабан послушно пошевелился, мерцающая пуля спряталась, встала напротив ствола. Медленно, медленно я стал поворачивать ствол к себе. В упор — жирная тьма отчеканенного зрачка. В упор преданный взгляд честного оружия.

Положить палец на собачку, мягко нажать... И та, спрятавшаяся, вкрадчиво поблескивающая, пробьет череп.

Я всей кожей ощущал кричащую тишину заснувшего дома.

Жирный зрачок в упор. В последний раз проверь, так ли ты делаешь. В последний раз спроси: почему не хочешь, чтоб в день твоего рождения зажглась шестьдесят первая свеча?

Тебе вообще не нравится жизнь?..

Да нет, жирная тьма, до краев заполнившая хищный ствол, тебя корбит. Хочется видеть, как лопнут почки, хочется ходить под густым пахучим небом, дожидаться, когда деревья отяготятся листвой, пожелтеют, облетят... А светлая праздничность первого снега! А зимний вечер в тепло натопленной комнате с умной книгой наедине!.. Нет, жизнь хороша, и благословен род людской на своей планете. Ты не ненавистник и не мизантроп. Но почему-то ты взвел курок?

От странной несовместимости. Я не должен писать на Лену Шорохову похвальную характеристику и в то же время я ее непременно напишу...

Что ты есть?

Ты сегодня много думал над этим вопросом и не ответил себе. Скорей добр, чем зол, честен, а не подл, желаешь быть полезным, но приносишь несчастья другим. Что ты есть и почему ты собой недоволен?

Не потому ли, что всегда тянулся к тому, что проще, шел туда, где полегче?

Легче согласиться с Иваном Суковым, чем защищать Ивана Семеновича Граубе. Легче бросить Таню «в набежавшую волну», чем сохранить ее на всю жизнь. Мне легче писать похвальные характеристики Лене Шороховой, чем заставить ее задуматься. И осудить Веру было легче, чем разделить с ней ее беду...

Ох как трудна жизнь — вся из несовместимых противоречий!

Нажми на спуск, но прежде составь эпитафию: «Неудовлетворительно жил и бесполезно умер».

Стоп! Не спеши!

Неудовлетворительно?.. А такая ли это заслуга — быть довольным собой? Во всем хорош, безупречен, в голову не придет судить себя. И не возникнет желание что-либо изменить, что-то создать новое — зачем, когда и так хорошо, удовлетворен. Много ли от довольного пользы?

Неудовлетворительно... Не грехи — вполне удовлетворялся, вот этим-то теперь и не нравишься себе. Очнулся, но поздно, ох, поздно! Сгорело шестьдесят свечей! Однако не все прогорело, кое-что осталось... И пугает — в том, что осталось, открылось трудное, непосильное. Действительно, как быть с Леной Шороховой? Да плюнуть на нее и нажать курок. «Бесполезно умер» — нашел чем удивить. Попробуй-ка удивить жизнью...

Я отвернул от себя наган и двумя руками бережно, бережно отпустил курок, положил наган на стол. Подозрительное оружие с темной биографией легло рядом с оружием, чья судьба чиста, ясна, величественна, — с морским кортиком Гриши Бухалова.

А Гриша все-таки мой. И даже Антон Елькин... Нет, нет, не могу похвалиться: я сделал из тебя, Антон, человека. Полностью такое не возьму на себя.

Но не зря же ты помнил меня. И я действительно тебя защищал. Не защитил?.. Так казалось мне, но не тебе, Антон. Гриша Бухалов у меня один, Антонов Елькиных много...

Кропотов подумает, что я струсил.

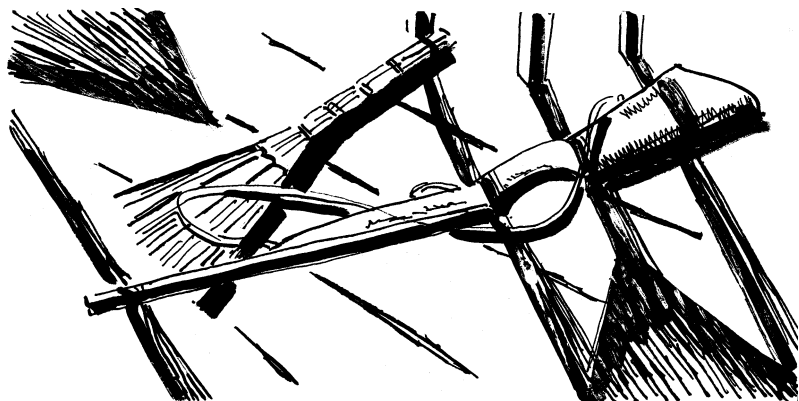
Кропотов Сережа, мой ученик. Он тоже отворачивался от противоречий, тянулся к тому, что проще. Казалось бы, просто взять в руки наган, совершить очистительный выстрел. Выстрел, после которого на Земле окажется еще один труп.

Старый наган покоился на столе рядом с морским кортиком Гриши Бухалова.

Гриша Бухалов... За его спиной находился экипаж катера и вся страна. Гриша Бухалов умер, «смертию смерть поправ»? Это утверждение жизни, никак не смерть.

Людовик XVI умер бесстрашно, зато жил трусливо. Нет уж, пусть в день моего рождения зажжется шестьдесят первая свеча.





## РАСПЛАТА

### Часть первая

#### 1

В глубине дома номер шесть по улице Менделеева во втором часу ночи раздался выстрел. Дверь квартиры на пятом этаже распахнулась, из нее вырвалась растерзанная, простоволосая женщина с ружьем в руках, ринулась вниз по лестнице, кружа с этажа на этаж, задыхаясь в бормотании:

— Бож-ж мой!.. Бож-ж мой!.. Бож-ж-ж!..

Спящий город уныло мок под дождем, расплывшиеся фонари, держа на себе громаду холодной и сырой ночи, уходили вдаль, в черную преисподнюю. Женщина с ружьем, отбежав от подъезда, остановилась, дико оглянулась.

Дождь вкрадчиво шептал, дом уходил в небо черной глыбой (темней дегтярной ночи), лишь с дремотной усталостью тускло светились окно над окном по лестничным пролетам да высоко, на пятом этаже, горели ясно и ярко еще два окна. Выстрел никого не разбудил.

Женщина издала стон и, прижимая ружье, бросилась по пустынной улице под фонарями, по лужам на асфальте, в кухонном развевающемся халатике, в тапочках на босу ногу:

— Бо-ож-ж мой!.. Бо-ож-ж!..

Дверь квартиры, откуда выскочила женщина, стояла распахнутой, из нее на сумеречную лестничную площадку щедро лился ровный свет. В этот заполудночный час, когда все запоры замкнуты, одна семья старательно укрылась от другой, огромный дом от фундамента до крыши коченел в обморочной каталепсии, разверстая светоносная дверь могла бы испугать любого — вход в иной мир, в потустороннее, в безвозвратность! Но пугать было некого, все кругом спали...

В дверях появилась тень по-теневому бесшумно, тонкая, угловато-ломкая — насильственные, неверные движения незрячего существа. Человек-тень остановился на пороге, ухватился рукой за косяк. Казалось, его, потустороннего жителя, страшил этот оглушающе тихий, спящий мир. Наконец он собрался с духом и шагнул вперед — долговязый парнишка в майке и узких джинсах, тонкие ноги с неуклюжей журавлиной поступью.

Посреди лестничной площадки он снова остановился, недоуменно оглядываясь — три двери были бесстрастно глухи. Парнишка судорожно вздохнул, двинулся дальше осторожно, робея, как слепой, вниз ощупью по ступенькам лестницы, шорох его шагов срывался вниз, на дно лестничного колодца.

Он спустился всего на один этаж, толкнул себя к обитой черным дерматином двери и встал, тупо уставясь. Тишина, сковывающая весь дом, сковала и его. Он словно задремал стоя, минуту, может больше, не шевелился. Наконец с усилием выпрямился и нажал на кнопку. За обитой дверью, за глухой каменной стеной послышался въедливо живой звук звонка. Парнишка зябко передернул голыми плечами и снова оцепенел. Ни шороха, ни скрипа, тяжелое молчание дома. Он вновь заставил подняться



непослушную руку, на этот раз звонок долго сверлил закованную в бетон тишину.

Смачно дважды щелкнул замок, дверь приоткрылась.

— Кто тут?.. — сиплый со сна, недоброжелательный мужской голос.

— Это я... — с конвульсивным выдохом.

Досадливое короткое кряканье, выразительное, как ругательство, и обреченное. Дверь распахнулась — твердый подбородок в суточной щетине, насупленный лоб, но выражение длинного, помятого сном лица брюзгливо-кислое и голос сварливый, нерешительный:

— Опять у вас кошацья свадьба?

— Василий Петрович, я... — У парнишки судорогой свело челюсти.

— Сами покою не знаете и другим не даете...

— Я отца убил, Василий Петрович!

Василий Петрович распрямылся в дверях — в сиреневой трикотажной рубашке, узкоплечий, высокий, нескладно-костистый, с заметным животиком, выступающим над полосатыми пижамными брюками. Он втянул в себя воздух и забыл выпустить, мелкие глаза стали оловянными, стылými. А парнишка тоскливо отводил взгляд в сторону.

— Милицию бы вызвать, Василий Петрович...

И мужчина очнулся, рассердился:

— Милицию?.. Ты шуточски шутить среди ночи!.. Чего мелешь?..

— Я... его... из ружья.

За спиной Василия Петровича всплеснулся вихревой шум, вспыхнул яркий свет, мелькнули пружинно вскинутые тонкие косички, бледное лицо в болевой гримаске, тонкая рука, стягивающая ворот халатика у горла.

— Коля! Что?!

Василий Петрович попытался загородить собой парнишку:

— Марш отсюда! Без тебя!.. Без тебя!..

— Что, Коля?!

Коля молчал, гнул голову, прятал лицо.



— Сонька! Кому сказано — не суйся!  
— Ко-ля!!  
— Соня... Я — отца... Милицию бы...  
— Папа, что он?.. Скажи, папа!  
— Эдакое в чужой дом нести... Стыда у них ни на грош! — снова сварливо-бабье, беспомощное в голосе Василия Петровича.

Из глубины квартиры выплыла женщина в косо натянутом платье — спутанные густые волосы, лицо сглаженное, остановившееся, бескровная маска.

— Мама! — кинулась к ней Соня. — У них что-то страшное, ма-ма!

— Но почему он к нам? Что мы, родня ему близкая?

— Мама!!

И мать Сони слабо вступилась:

— Да куда же ему идти, Вася?

Парнишка глядел в пол, зябко тянул к ушам голые плечи.

— Василий Петрович, в милицию... позвоните.

За спиной Василия Петровича мелькнули пружинные косички, повеяло ветерком от разметнувшихся пол халатика, Соня кинулась в глубь прихожей, раздался мягкий стрекот телефонного диска.

— Алло! Алло! — высокая, на срыве колоратура. — Аркадий Кириллович, это я, Соня Потехина!.. Аркадий Кир-рил-ло-вич!.. — Всхлип со стоном. — У Коли Корякина... Приезжайте, приезжайте, Аркадий Кириллович! Скорей приезжайте!..

Соня звонила не в милицию, а их школьному учителю.

А по темному, мокрому, пустынному городу бежала женщина в халатике, прижимая к груди ружье. Слипшиеся от дождя волосы закрывали лицо.

— Бо-ож-ж мой... Бо-ож-ж!..

## 2

Аркадий Кириллович жил неподалеку — всего какой-нибудь квартал, — но как, однако, неуклюж и бестолков бывает внезапно разбуженный человек, за

десятилетия мирной жизни отвыкший вскакивать по тревоге. Пока опомнился, осмыслил, ужаснулся, пока в суете и спешке одевался — носки проклятые запропастились! — да и резво бежать под дождем в свои пятьдесят четыре года уже не мог, вышагивал дергающейся походочкой.

Дом по-прежнему спал, по-прежнему вызывающе светились лишь два окна на пятом этаже.

Из подъезда выдвинулся человек — угрожающе массивный, утопивший в плечах голову, — полуночный недобрый житель. Приблизившись вплотную, он заговорил плачущим, зыбким голосом:

— Дети — отцов! Дети — отцов! Доучили!..

— Кто вы?

— Не узнали?

— Василий Петрович! Где тут узнать.

Отец Сони Потехиной в просторной дошке с меховым воротником, делавшей его внушительно плечистым.

— Все-таки помните — и на том спасибо. Я вот вас встречать выбежал...

Натянутый на лоб берет, невнятный в темноте блеск глаз и то ли раздраженный, то ли просто раздерганный голос:

— ...встречать выбежал, чтоб поделиться: был там, видел! Дети — отцов! Дети — отцов! Конец света!..

— «Скорую» вызвали?

— Нужна теперь «Скорая», как столбу гостинец. В упор разнес... В самое лицо, паршивец... Сын — в отца!

— Пошли! Вдруг да помочь можно.

— Ну не-ет! С меня хватит. Не отдышусь... А вы полюбуйтесь, вам ох как нужно! Авось да поймете, что я теперь понял.

— О чем вы?

— О том, что страшненькое творите. Такой хороший, такой уважаемый, тянутся все — советик дайте... Очнуться пора!

— Ничего не пойму.

— Конечно, конечно... Может, потом поймете. Сильно надеюсь! — Василий Петрович вцепился в ру-

кав, приблизил к лицу Аркадия Кирилловича дрожащий подбородок, жарко дыхнул: — Ненормальными дети растут. Не замечали? И Сонька моя тоже ненормальная...

Аркадий Кириллович с досадой освободился от его руки:

— Отложим выяснения. Теперь не время!

— Не время, нет! Поздновато. Случилось уже, назад не вернешь. Раньше бы выяснить!..

Последние слова Василий Петрович уже кричал в спину учителя.

Темные лестничные пролеты выносили Аркадия Кирилловича на скупо освещенные площадки — первый этаж, второй, третий... Он поднимался, и росла неясная тревога, вызванная неожиданной встречей с Василием Петровичем, — похоже, упрекал его, и с непонятым раздражением. До сих пор гнало одно — стряслось несчастье, нужна помощь! И спешил, не спрашивая себя — чем поможет, что сделает? Сейчас с каждым шагом наваливалось смутное ощущение — откроется неведомое, оборвется привычное. Впервые пришла оглушающе простая мысль — его ученик убил! Странно, что сразу не оглушило — его ученик! Не связывал с собой...

А с Василием Петровичем Потехиным он был в хороших отношениях, знал его даже не только как родителя одной из учениц — не так давно принимал участие в его судьбе, выслушивал жалобы, давал советы, направлял к нужным людям... Потехин раздражен — непонятно.

После крутой лестницы заколодило дыхание и сердце нервно билось в ребра. Аркадий Кириллович остановился на последнем этаже.

Перед ним распахнутая дверь, из которой щедро лился свет. Кусок паркетного пола с половичком, кусок стены, обклеенной бледными обоями, с какой-то журнальной картинкой — синее с красным, что-то сочное, но не разберешь издали. Кусочек обжитого мирка, каких больше сотни в этом доме, сотни в соседних домах, сотни тысяч во всем городе. И каждый наособицу. Семьи, как люди, не схожи друг с

другом. Вход в мир? Да нет, этот мир уже рухнул. Он стоит в пяти шагах от катастрофы. И с новой силой охватило тяжелое, почти суеверное предчувствие — стоит шагнуть ему в эту распахнутую дверь, как его жизнь, налаженная, устоявшаяся, сломается. За этой ярко освещенной дверью его ждет не только покойник, а и еще что-то неведомое, опасное, от чего можно уберечься, только отступив.

Но что-то пригнало же его к этой двери, что-то властное, среди ночи. Отступить не может.

Отдышавшись, Аркадий Кириллович двинулся к двери, заранее испытывая и брезгливость, и подымающее возбуждение — окунается в атмосферу преступления, о какой много приходилось читать, но самому окунуться — ни разу.

Картинка, висевшая на стене против входа, — реклама, вырезанная из иностранного журнала: у синего моря, на оранжевом пляже красная, зализанная, устрашающе длинная машина с откидным верхом, возле нее улыбалась всеми зубами загорелая поджарая блондинка в предельно скудном купальнике.

В конце коридора, у дверей в комнату — тоже распахнутых, входи! — валялась мужская туфля, нечищенная, поношенная, с крупной ноги. Аркадий Кириллович осторожно перешагнул через нее.

Он в свое время видел немало убитых — речка Царица в Сталинграде была завалена смерзшимися, скрюченными трупами в уровень своих обрывисто-высоких берегов. Но там мертвые — часть пейзажа искромсанного, изуродованного, спаленного и... привычного.

Здесь же ярко, заплочным бешеным накалом горела под потолком люстра с пылающими хрустальными подвесками и напоенный яростным светом воздух застыл в тягостной неподвижности. Парадно большой телевизор в сумрачной лаковой оправе смотрел слепо и равнодушно плоской туманно-серой квадратной рожей. Широкая кровать бесстыдно смята, одна из подушек валялась на полу. И всюду по сторонам сверкают осколки разбитой стеклянной вазы.

А под переливчатой накаленной люстрой через всю комнату наискосок — он, распластаный по полу, удручающе громоздкий. Тонкая, синтетически лоснящаяся рубашка обтягивает широкую мощную спину, голова в кудельных сухих завитках волос прилипла к черной, до клейкости густой луже на паркете. От нее прокрался под раскоряченные ножки телевизора столик же дегтярно-черный, вязко-тягучий ручеек. И торчащие крупные ступни в несвежих бежевых носках, и одна рука неловко вывернута в сторону, мослаковатая, жесткая, с изломанными ногтями — рабочая рука. Аркадий Кириллович почувствовал поднимающуюся тошноту; в помощи этот человек уже не нуждался.

### 3

То была их вторая встреча.

Года три назад Аркадий Кириллович поднялся в эту комнату (тогда она выглядела обычно и совсем не запомнилась). Коля Корякин — еще шестиклассник — плохо учился, вызывая грубил учителям, часто срывался на истерику. И тогда-то в школе заговорили: у мальчика неблагополучная семья, отец пьет, скандалит, сыну приходится прятаться от него по соседям. Надо было принимать какие-то меры, и, как всегда, срочно. Меры, а какие?.. В распоряжении школы есть всего одна, прекраснодушно-ненадежная — поговорить с непутевым родителем, позвать к его совести. Никакой другой силой влияния учителя не наделены.

За эту не сулящую успеха операцию никто не брался — взялся он, Аркадий Кириллович.

Он явился утром в воскресенье с расчетом, чтоб не напороться на пьяного отца. Перед ним предстал рослый мужчина, еще заспанный, в натальной рубашке не первой свежести, со спутанной соломенной волосней, с тем ошпаренным цветом лица, который бывает лишь у особого типа блондинов. Само же лицо, правильное, с твердым крупным носом, плоским квадратным подбородком, выражало затаенное брезгливое

страдание — след похмелья, выбеленно-голубые на парной красноте глаза были увиливающе-угрюмы.

Аркадий Кириллович сразу понял, что этого человека никакими увещеваниями не проймешь, вежливость он примет за робость, искренность — за желание обмануть, сострадание к сыну — за притворство. И потому Аркадий Кириллович заговорил со спокойной категоричностью, за которой должна была чувствоваться расчетливая агрессия, дающая понять — грубости не потерплю, возражений в повышенных тонах слушать не буду.

— Если в семье обстановка не изменится, — заключил он короткую и энергичную декларацию, — жизнь вашего сына окажется искалеченной. Хотите взять на свою совесть эту вину?

Темные губы скривились, белесые глаза убежали в сторону, упрямое, вызывающее выражение — видали мы таких праведничков! — не вырев, скисло на воспаленной физиономии, лишь раздраженность прорвалась сухим скрипом в голосе.

— Мое дело — накормить и обушь. Голодным мой сын не сидит, нагим не ходит. А воспитывать там — ваша забота. Вам за это держава деньги платит.

Спорить и доказывать бессмысленно. Аркадий Кириллович встал, стараясь поймать увиливающий взгляд, жестко произнес:

— Зарубите себе на носу: случится что с вашим сыном, нам даже не придется предъявлять особые доказательства вашей вины. Они слишком очевидны, так что — берегитесь!

Корякин-отец не взвился — стерпел, поверил в угрозу. Хотя какая там угроза — ни Аркадий Кириллович, ни школа ничем его не могли наказать. Детское воспитание подавляюще зависит от родителей, а родители же полностью независимы от педагогов. Но в ту минуту Корякин-отец был трезв, а значит, и не храбр.

Встречаясь вновь нужда отпала — Коля Корякин вдруг резко изменился, из трудных учеников стал нормальным.

И вот — плашмя поперек комнаты, вязкая лужа крови на паркете... Сын — отца.

Аркадий Кириллович вздрогнул — в мертвой комнате неожиданно раздался хрип!.. Но хрип взорвался громоподобным звоном — бом-м! бом-м! бом-м! Часы на стене в черном длинном деревянном футляре отбили три часа ночи. Они одни втихомолку жили в этой комнате, в застекленном оконце мелькал ясный лик маятника. Сразу же стало слышно размеренное тиканье — скупые, вкрадчивые и неумолимые шажки времени.

И Аркадий Кириллович очнулся: а, собственно, почему он здесь? Зачем ему видеть этот труп, испытывать тошноту? Он же сорвался с постели ради того, кто пока жив, — Коли Корякина, своего ученика. Коля находится этажом ниже...

Страшный и простой факт, которому он все еще не осмеливается верить, — вот под яростно пылающей люстрой жертва... его ученика! Учил Колю Корякина не биному Ньютона, не далеким Крестовым походам, а тому, как страдали за людей Пушкин, Толстой, Достоевский...

Оказалось, надо совершить усилие, чтоб отвернуться от убитого. Аркадий Кириллович, волоча непослушные ноги, двинулся прочь, старательно переступил через разношенную туфлю на пороге комнаты, прошептал мимо соблазнительно улыбающейся блондинки у синего моря, но у распахнутой в спящий мир двери повернул... на кухню. Не готов к встрече. Надо — пусть не понять — хотя бы обрести равновесие.

Кухня уютно-тесная, белая, оскорбительно покойная, приборностью и порядком притворяющаяся — не ведает, что случилось рядом за стеной. Узенький столик у стены покрыт клеенкой с веселыми цветочками. Аркадий Кириллович тяжело опустился за него.

#### 4

Женщина с ружьем оказалась почти на окраине города, в новом районе, где дома без конца повторяют друг друга, где фонари реже, дождь, кажется, сыплет гуще, закоулки темней, а ночь глуше, неуютней, безнадежней.





Женщина свернула за угол одного ничем не отличающегося от других пятиэтажного здания, тихо постанывая: «Бож-ж... Бож-ж...», — протрусила наискосок через просторный двор, оказалась у флигелька, каким-то чудом уцелевшего с прежних, дозастроечных времен, сохранившего среди утомительно величавого стандарта свою физиономию, облупленную, скривившуюся, унылую.

Женщина пробарабанила в окно, и оно, помешкав, вспыхнуло, вырвав из тьмы одичавшее, залепленное мокрыми волосами лицо, зловеще залоснившиеся стволы ружья...

Маленькая комнатуха была беспощадно освещена свисавшей с потолка голой лампочкой. Переступив порог, женщина с грохотом выронила ружье, бессильно опустилась на пол, и сильный, гортанный полукрик-полустон вырвался из ее горла.

— Тихо ты! Соседей побудишь.

Рослая старуха, впустившая ее, глядела сонно, недобро, без удивления.

— Ко-оль-ка-а!.. Отца-а!.. Насмерть!

Женщина надсадно тянула худую шею в сторону старухи, сквозь волосы, запутавшие лицо, обжигали глаза.

Старуха оставалась неподвижной — пальто, наброшенное на костлявые плечи поверх ночной рубахи, босые, уродливые, с узловатыми венами ноги, жидкие, тускло-серые космы, длинное, с жесткими морщинами, деревянное лицо — непробиваема, по-прежнему недоброжелательна.

— Евдокия-а! Колька же!.. Отца!.. Из ружья!..

Легкое движение вскосмаченной головой — мол, понимаю! — скользящий взгляд на двустволку, затем осторожно, чтоб не свалилось пальто, старуха освободила руку, перекрестившись в пространство, неспешно, почти торжественно:

— Царствие ему небесное. Достукался-таки Рафашка!

Всем телом женщина дернулась, вцепилась обеими руками себе в горло, забилась на полу:

— В-вы!.. Что в-вы за люди?! Кам-ни-и! Кам-ни!! Он никого не жалел, и ты... Ты — тоже!.. Ты же мать ему — слезу хоть урони!.. Камни-и-и бесчувственные!!

Старуха хмуро глядела, как бьется на полу рядом с брошенным ружьем женщина.

— Страш-но-о!! Страш-но-о среди вас!!

— Ну хватай, весь наш курятник переполошишь.

Тяжело ступая босыми искривленными ногами по неровному, массивным, оставшимся с прошлого века половицам, старуха прошла к столу, налила из чайника воды в кружку, поднесла женщине:

— Пей, не воротись... Криком-то не спасешься.

Женщина, стуча зубами о кружку, глотнула раз другой — обмякла, тоскливо уставилась сквозь стену, оклеенную пожелтевшими, покоробленными обоями.

— Дивишься — слезы не лью. Оне у меня все раньше пролиты — ни слезинки не осталось.

Минут через пятнадцать старуха была одета — длинное лицо упрятано в толстую шаль, пальто перепоясано ремешком.

— Встань с пола-то. И сырое с себя сыми, в кровать ляг, — приказала она. — А я пойду... прощусь.

По пути к двери она задержалась у ружья:

— Чего ты с этим-то прибегла?

Женщина тоскливо смотрела сквозь стену и не отвечала.

— Ружье-то, эй, спрашиваю, чего притащила?

Вяло пошевелившись, женщина выдавила:

— У Кольки выхватила... да поздно.

Старуха о чем-то задумалась над ружьем, потрянула укутанной головой, отогнала мысли.

— Кольку жаль! — с сердцем сказала она и решительно вышла.

## 5

Он считал: педагог в нем родился одной ночью в разбитом Сталинграде.

Кажется, то была первая тихая ночь. Еще вчера с сухим треском лопались мины среди развалин, путаная канитель пулеметных длинных и лающе-ко-

ротких автоматных очередей означала линию фронта, и дышали «катюши», покрывая глухими раскатами изувеченную землю, и на небе расцветали ракеты, в их свете поживались причудливые остатки домов с провалами окон. Вчера была здесь война, вчера она и кончилась. Поднялась тихая луна над руинами, над заснеженными пепелищами. И никак не верится, что уже нет нужды пугаться тишины, затопившей до краев многострадальный город. Это не затишье, здесь наступил мир — глубокий, глубокий тыл, пушки гремят где-то за сотни километров отсюда. И хотя по улицам среди пепелищ валяются трупы, но то вчерашние, новых уже не прибавится.

И в эту-то ночь неподалеку от подвала бывшей одиннадцатой школы, где размещался их штаб полка, занялся пожар. Вчера никто бы не обратил на него внимания — бои идут, земля горит, — но сейчас пожар нарушал мир, все кинулись к нему.

Горел немецкий госпиталь, четырехэтажное деревянное здание, до сих пор счастливо обойденное войной. Горел вместе с ранеными. Ослепительно золотые, трепещущие стены обжигали на расстоянии, теснили толпу. Она, обмершая, замороженная, подавленно наблюдала, как внутри, за окнами, в раскаленных недрах, время от времени что-то обваливается — темные куски. И каждый раз, как это случалось, по толпе из конца в конец проносился вздох горестный и сдавленный — то падали вместе с койками спекшиеся в огне немецкие раненые из лежачих, что не могли подняться и выбраться.

А многие успели выбраться. Сейчас они затерялись среди русских солдат, вместе с ними, обмерев, наблюдали, вместе выпускали единый вздох.

Вплотную, плечо в плечо с Аркадием Кирилловичем стоял немец, голова и половина лица скрыты бинтом, торчит лишь острый нос и тихо тлеет обреченным ужасом единственный глаз. Он в болотного цвета тесном хлопчатобумажном мундирчике с узкими погончиками, мелко дрожит от страха и холода. Его дрожь невольно передается Аркадию Кирилловичу, упрятанному в теплый полушубок.

Он оторвался от сияющего пожарища, стал оглядываться — кирпично раскаленные лица, русские и немецкие попеременно. У всех одинаково тлеющие глаза, как глаз соседа, одинаковое выражение боли и покорной беспомощности. Свершающаяся на виду трагедия ни для кого не была чужой.

В эти секунды Аркадий Кириллович понял простое: ни вывихи истории, ни ожесточенные идеи сбесившихся маньяков, ни эпидемические безумия — ничто не вытравит в людях человеческое. Его можно подавить, но не уничтожить. Под спудом в каждом нерастраченные запасы доброты — открыть их, дать им вырваться наружу! И тогда... Вывихи истории — народы, убивающие друг друга, реки крови, сметенные с лица земли города, растоптанное поля... Но историю-то творит не Господь Бог — ее делают люди! Выпустить на свободу из человека человеческое — не значит ли обуздать беспощадную историю?

Жарко золотились стены дома, багровый дым нес искры к холодной луне, окутывал ее. Толпа в бессилье наблюдала. И дрожал возле плеча немец с обмотанной головой, с тлеющим из-под бинтов единственным глазом. Аркадий Кириллович стянул в тесноте с себя полушубок, накинул на плечи дрожащего немца, стал выталкивать его из толпы:

— Шнель! Шнель!

Немец без удивления, равнодушно принял опеку, послушно трусил всю дорогу до штабного подвала.

Аркадий Кириллович не доглядел трагедию до конца, позже узнал — какой-то немец на костылях с криком кинулся из толпы в огонь, его бросился спасать солдат-татарин. Горящие стены обрушились, похоронили обоих. В каждом нерастраченные запасы человечности. Историю делают люди.

Бывший гвардии капитан стал учителем и одновременно кончал заочно пединститут.

Школьные программы ему внушали: ученик должен знать биографии писателей, их лучшие произведения, идейную направленность, должен уметь по

заданному трафарету определять литературные образы — народен, реакционен, из числа лишних людей... И кто на кого влиял, кто о ком как отзывался, кто представитель романтизма, а кто критического реализма... Одного не учитывали программы — литература-то показывает человеческие отношения, где благородство сталкивается с подлостью, честность с лживостью, великодушие с коварством, нравственность противостоит безнравственности. Отобранный и сохраненный опыт человеческого общежития!

Ты возмутился хозяйкой Ваньки Жукова, жалующегося в письме к деду: «Взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать». Но не странно ли — ты совсем не возмущаешься, когда знакомый старшеклассник просто так, походя, ради удовольствия отпускает затрещину пробегающему мимо малышу. Сильный на твоих глазах обижает слабого потому только, что он сильный. Достойный ли ты человек, если относишься к этому равнодушно?

Вы прочитали роман Толстого «Воскресение», давайте пофантазируем: что, если бы Нехлюдов от внутренней трусости или стыда отвернулся от Кати Масловой? Как бы он жил дальше? Женился? Обзавелся семьей? Был бы спокоен?..

Литература помогла Аркадию Кирилловичу завязать в школе сложное соперничество за достоинство: кто чувствовал в себе силу, выискивал случай кинуться на защиту слабого; слабый гордился собой, если мог сказать нелестную правду в глаза сильному; невиновный сносил наказание за чужие грехи молча, но горе тому, кто трусливо допустит, чтоб за его вину наказали другого...

Во всем этом, да, было много игры и много показного. Но можно ли сомневаться, что со временем у детей показное благородство не станет привычкой, а игра — жизнью? В последние годы даже инспектора гороно публично отмечали: ученик сто двадцать пятой школы своим поведением завидно отличался от учеников других школ.

Аркадий Кириллович верил, что от него идут в большую жизнь духовно красивые люди, не способные ни сами обижать других, ни мириться с обидчиками, не терпящие подлости и обмана, сознающие свое моральное превосходство. И те, с кем будут они сталкиваться, невольно начнут оглядываться на себя. В любом человеке таятся запасы человечности. Аркадий Кириллович ни на минуту не забывал перемешанную толпу бывших врагов перед горящим госпиталем, толпу, охваченную общим страданием. И безывестного солдата, кинувшегося спасать недавнего врага, тоже помнил. Он верил: каждый из его учеников станет запалом, взрывающим вокруг себя лед недоброжелательства и равнодушия, освобождающим нравственные силы. Историю делают люди. Он, Аркадий Кириллович Памятнов, рядовой педагог, вносит в историю свой скромный вклад...

Он верил сам и заставлял верить других. К нему тянулись, к его слову прислушивались, его совета искали не только ученики, но и их родители. И Соня Потехина в отчаянии бросилась звонить среди ночи не кому-то, а ему!

Сейчас Аркадий Кириллович сидел в кухне, подпер кулаком тяжелую голову. За стеной, в нескольких шагах, лежал рослый мужчина, с черепом, развороченным выстрелом из ружья. Его ученик убил своего отца! Его ученик... Один из тех, кто вызывал в нем горделивую веру.

Что это?

Случайная гримаса судьбы или же жестокое наказание за допущенную ошибку?

Если и сумеет тут кто-то подсказать, то только он — Коля Корякин. Если сумеет...

Тишина кругом. Аркадий Кириллович уже собирался подняться, чтоб идти вниз, как вдруг услышал крадущиеся шаги. Он вздрогнул, распрямился и... увидел в дверях кухни все того же Василия Потехина в натянутой на лоб беретке, в широкой дошке с меховым воротником.

— Не вытерпел. Пришел спросить: увидели?.. Ну и как?..

Прежнее необъяснимое недружелюбие в голосе и настроенная неприязнь в глазах.

Лицо Василия Петровича всегда поражало несогласованностью — крупный подбородок и под беретом обширный лоб мыслителя, а между ними суетно-невыразительные черты, вздернутый, вдавленный в переносье нос, дряблая бескостность на месте скул, маленький аккуратный женский рот, почти неприличный над крутым подбородком. Похоже, Господь Бог замыслил вылепить человека и умным и волевым, но сплеховал, измельчил, напутал, так и выпустил в свет недоделанным.

— Коля у вас? — спросил Аркадий Кириллович. — Я хочу его видеть.

— А зачем?

— Василий Петрович, что с вами?

— Прозрел.

— В чем?

— В том, какой вы опасный.

— Не очень-то удобно выяснять сейчас отношения, но уж раз начали — договаривайте.

— Все умиляются на вас, и я тоже, как все... — Василий Петрович качнул беретом в сторону комнаты, где лежал убитый. — Охладило. А вам... Позвольте вас спросить: вам ничего?.. Вас совесть не грызет?

Неужели этот человек разглядел со стороны то, что мучило смутными подозрениями? Аркадий Кириллович почувствовал зябкость в спине. Но волнения не выдал, спросил спокойно:

— Вы считаете — между убийством и мной есть прямая связь?

— Прямая? Да нет, кривенькая, с загибчиками...

— Докажите.

— Не смей мириться с плохим — требовали от ребят?

— Требовал.

— И будь хорошим без никаких уступочек — тоже требовали?

— Тоже.

— Так что ж выходит: поперек жизни становись, ребятки. Вникните — страшно же это! Малая щепка реку не запрудит.

— Считаете, что я как-то настроил Колю Корякина?

— Считаю — подвели мальчишку, как меня в свое время.

— Вас?..

Василия Петровича всего передернуло, даже голос у него сразу стал тоньше:

— А то нет! Был человек человеком, растущим инженером считали. Так стукнуло меня к вам сунуться — справедливости великой, видите ли, захотелось. А вы известный специалист по справедливости, апостол святой! И полез я с вашей святостью, как Иван-дурак с плачем на свадьбу, другим настроение испортил, а сам с помятыми боками за дверь оказался. Кто я теперь?.. Наряды выписываю на починку газовых плиток. К большому делу не подпускают — людей подвел.

— Так я виноват в том, что не отказал вам в помощи?

Василий Петрович резко подался вперед, словно сломался в поясище — разлившиеся зрачки, задраный нос, кривящиеся губы:

— Не помогайте! Просить будут — никогда не помогайте! Отказывайте! — С жарким дыханием, шепотом: — Хуже людям сделаете.

И этот выпад, горячее до ненависти убеждение наконец-то возмутили Аркадия Кирилловича.

— Мне пятьдесят четыре года, — сказал он жестко и холодно. — За свою жизнь я многим помог, благодарностей слышал достаточно, а вот такие упреки — только от вас.

Василий Петрович откачнулся, сразу потускнел, стал просто хмур.

— И я благодарил, если помните... Теперь вот опомнился, — проворчал он в сторону. — Да во мне



ли дело? В Соньке... Дочь мне родная, боюсь за нее. Доучите вы ее — тоже на рога ползет... Ну-у нет! Не хочу! Переведу из школы...

В это время за темным окном, внизу, со дна ночной ямы, послышался шум моторов, скрип тормозов, хлопанье дверей, смутные голоса. Василий Петрович передернул плечами, подобрался:

— Милиция подкатила. Наконец-то!

Он боком двинулся к двери, но в дверях задержался, обернулся к Аркадию Кирилловичу, бросил:

— А Гордин-то прав! Во всем прав!

Бесшумно исчез.

Гордин?.. В свое время Потехин постоянно произносил эту фамилию, и каждый раз с выстраданным проклятием. Даже для Аркадия Кирилловича неведомый Гордин стал олицетворением нечистоплотности, лживости, безудержного корыстолюбия. Пока не забылся.

А по лестнице прибойной волной стали нарастать шаги. Чем ближе, тем, казалось, больше становилось идущих, словно на каждом этаже распахивались двери, присоединялись люди, росла толпа.

Аркадий Кириллович опоздал к Коле Корякину, сейчас милиция возьмет его под свою опеку, придется просить разрешения свидеться.

Аркадий Кириллович поднялся, чтоб встретить надвигающуюся процессию.

## 7

Невысокий человек с фатоватой выправочкой, в ладно сидящем темном плаще, в глянцеватой от дождя легкомысленной кожаной кепочке с намеком на козырек, лицо скуластенькое, несолидные усики и быстрые, цепкие черные глаза.

— Я инспектор уголовного розыска Сулимов, а вы кто? — спросил он чеканно. За начальственной строгостью пряталась молодая простодушная задиристость.

— Я учитель Памятнов Аркадий Кириллович.

— И что вы здесь делаете?

— Пока ничего. Только переживаю.

— Гм...

Инспектор Сулимов оживленно ощупывал блестящими смородиновыми глазками, явно оценивал столь неуместного возле преступления пожилого, представительного учителя с внушительным, иссеченным крупными складчатыми морщинами лицом.

— Это мой ученик... — выдавил Аркадий Кириллович.

— Вы здесь живете? Как вы сюда попали раньше нас?

— Здесь живет еще одна моя ученица. Она звала меня по телефону.

— И часто вас так... среди ночи?

— Впервые.

— Все-таки что же вы намереваетесь тут делать?

— Вот собирался встретиться с ним. И не успел.

— С преступником?

— Он для вас преступник, для меня — ученик.

— Надеетесь чем-то ему помочь?

— А вы считаете, что он не нуждается в помощи?

— Нет, не считаю.

— Ну так если кто-то и сможет помочь ему, то, думается, только я. Его матери самой, наверное, нужна помощь.

— Однако вы самонадеянны. Уж не думаете ли, что способны снять с него вину?

— Его виной займетесь вы. Я — им самим.

— Что это значит?

— Это значит, что он не случайно сорвался на столь ужасный поступок — заставило что-то страшное. И нетрудно представить, в каком состоянии он теперь находится. Кто-то должен понять его, кто-то, кому он может довериться. А мне он всегда доверял.

Сулимов задумался, отвел в сторону взгляд. Из комнаты, где лежал убитый, доносились озабоченные голоса, там уже действовали его помощники.

— А он нормален? — осторожный вопрос.

— Вполне.

— Тем хуже, — нахмурился Сулимов.

— Так вы разрешите мне сейчас поговорить с ним? — попросил Аркадий Кириллович.

— Аркадий Кириллович!.. — торжественно уставился прямо в глаза Сулимов, всем своим видом показывая, что не упустил из разговора ни одного слова, даже имя-отчество с лета запомнил. — Аркадий Кириллович, не лучше ли нам поговорить с ним вместе? Вы нам поможете что-то открыть, мы — вам.

— Я даже не уверен, товарищ Сулимов, что он распахнется и передо мной одним, а уж при вас, скорей всего, совсем замкнется.

— Я не могу допустить вас к нему, пока сам не допросил. Вообще до окончания следствия свидания не разрешены.

Аркадий Кириллович надолго подавленно замолчал, Сулимов пытливо косил на него острым взглядом, наконец заговорил:

— Ему же будет легче, если первый допрос пройдет в присутствии учителя, которому привык верить. На меня он невольно станет глядеть — враг перед ним, и беспощадный. А если окажетесь рядом вы, значит, поймет — имеет дело не с врагами. Не лишайте его поддержки.

Аркадий Кириллович помедлил, навесив брови, деревеняя тяжелыми складками, неуверенно согласился:

— Что ж... Выбора у меня нет. Пусть будет так. Мне прикажете ждать?.. И долго?..

Появился озабоченный офицер милиции, хмуро доложил Сулимову:

— Наповал... А ружья вот нигде не найдем.

— Не думаю, что долго, — ответил Сулимов Аркадию Кирилловичу. — Дело, по всему видать, ясное, петельки распутывать не придется... Пошли, Тищенко.

Аркадий Кириллович снова остался один в кухне.

За стеной часы, висящие над убитым, хрипло пробили четыре раза — мрачный благовест.

Сулимов, однако, исчез надолго.

Вокруг шла непонятная толкотня. Появлялись и исчезали новые люди — некто, увешанный фотоаппаратами; растерянная и перепуганная пара: женщина в рабочем ватнике и небритый мужчина в коробом сидевшей кожмитовой куртке (должно быть, дворники); санитары в белых халатах о чем-то шумно заспорили с милицией, оставили после себя в прихожей громоздкие носилки. Мелькание людей, хлопанье дверей, душно и жарко, а перед глазами — под яростной люстрой рослый детина, прилипший соломенной головой к черной луже...

Все дико, чуждо, все нереально — не верится, что за окном в сырой тьме стоит знакомый город, что через несколько часов для всех начнется обычный день, люди проснутся, сядут завтракать, побегут на работу. Кошмарный сон...

Самым невнятным из всего, вызывающим сосущую тревогу был недавний разговор с Василием Петровичем Потехиным. Теперь, на досуге, Аркадий Кириллович с подозрительной придирчивостью перебирал все, что случилось прежде между ними.

А случилось в общем-то самое обычное. Однажды в школе после родительского собрания Потехин подошел к Аркадию Кирилловичу, глядя кроличьими глазами, стал рассказывать: работает в самом крупном СМУ города, руководит там газовым хозяйством, укладывает газовые трубы, когда дома уже стоят, а дворы и подъездные пути залиты асфальтом, пробивает через этажи дымоходы, когда стены оштукатурены, покрашены, полы покрыты паркетом, рабочие постоянно простаивают, чтоб их задобрить, приходится приписывать им взятую с потолка работу — словом, на стройке разнузданный шабаш, обходящийся государству во многие сотни тысяч рублей. Василий Потехин просил совета. Какой мог дать еще совет Аркадий Кириллович — терпи, участвуй и дальше в расхитительстве? Да, он настроил Василия Петровича, да, помог ему связаться и с

обкомом, и с городскими курирующими организациями...

То ли Василий Петрович Потехин оказался жидок для крупной войны, то ли слишком могущественным был его противник — некий Гордин, ворочавший СМУ, но волна прошла, поднятая шумиха утихла, и Василий Потехин оказался не у дел.

Он и потом жаловался Аркадию Кирилловичу, строил перед ним планы возмездия — Гордин, баснословный растратчик, Гордин, бесстыдный очковтиратель, Гордин, мастер всучивать взятки и крутить интриги, Гордин должен быть упрятан в тюрьму, на меньшее Василий Петрович не соглашался. Но очень скоро смирился, притих и уже не встречался с Аркадием Кирилловичем. Эпопея забылась, у Аркадия Кирилловича хватало своих забот.

И вот сейчас Потехин снова вспомнил... Можно, пожалуй, как-то объяснить его обиду на советчика — на лихое толкнул! Но чем объяснить его признание — Гордин прав?..

Далекий Гордин вдруг странным образом связался с непоправимым поступком близкого Коли Корякина. В другое бы время Аркадий Кириллович отмахнулся: какая там связь — воспаленный бред! Но в эту ночь все странно, все чудовищно неправдоподобно, ничего не понятно, приходится с придирчивостью вглядываться и в то, что кажется бредовым.

Уже не раз из комнаты покойника раздавался сильный бой часов, всегда пугающе неожиданный, заставляющий вздрагивать, а Сулимов не появлялся.

## 9

Он вошел в кухню, но не один, за ним ввалилась рослая старуха в подпоясанном пузырящемся пальто, тепло укутанная платком. Позади старухи маячила милицейская фуражка.

— Не проси лучше, бабушка, — терпеливо убеждал старуху Сулимов. — Не для глаз матери картинка.

За время отсутствия он, видать, бурно действовал — плащ скинут, кепочка сбита на затылок, лицо

запаренное, не утратившее энергичности, в щеголеватом, полуспортивного покроя костюме некая разлаженность, и галстук сполз в сторону, и сорочка под ним расстегнута на одну пуговицу.

— Я, милый, к страшному-то привыкла, — обрезала сурово старуха. — Не жалей меня.

— К такому не привыкают, мать. И потом, там сейчас работа...

— А я не уйду, покуда его не увижу. Сын же он мне, сын родной, бесчувственные вы!

— Что ж, жди. Будут выносить — позовем.

— На улицу не пойду. Здесь останусь. Не молоденькая, чтоб на ногах...

— Усадите ее где-нибудь, — распорядился Сулимов.

Милиционер, маячивший за спиной старухи, выступил вперед, бережно взял за локоть:

— Я тебе, бабка, стульчик вынесу, у дверей подежуришь. А здесь не положено. Никак!

— Ну все. Ради бога простите, — обратился Сулимов к Аркадию Кирилловичу. — Сейчас мы поедem в управление.

За стеной вдруг раздался вой, хриплый, нечленораздельный, удушливый. Сулимов дернулся с места, но выскочить не успел — в дверях вырос смущенный Тищенко:

— Старуха эта вырвалась, перехватить не успели. Откуда только и резвость взялась.

— Голо-овуш-ка-а горька-ая-а! Жи-ызнь моя-а распрокля-а-та-ая-а! — Хриплый вой обрел членораздельность.

— Упала на труп, вцепилась — не отдерешь! — Тищенко крутанул фуражкой. — Ага! Подняли... Ишь ты, на ногах не стоит, на ручках неси... Посадите на лестнице, пусть поостынет.

У Сулимова оцетинились усики, блеснули под ними мелкие зубы:

— Тищенко! Ты чем думаешь? Мать убитого сына увидела!.. Сюда ее! И повежливей!

— Будет вам морока — нанячнитесь! — проворчал Тищенко, однако поспешно скрылся.

— Го-о-оспо-оди-и! За что невзлюбил?! Прежде дал бы мне-е помереть! На старости-то лет ви-идеть та-кое!..

Старуха вместе с сопровождающими втиснулась в кухню. Платок сполз у нее с головы, открыл седые неопрятные космы, изрубленное морщинами лицо слепо, открыт только провальное-черный, без зубов рот. На минуту в кухне стало до духоты тесно.

Аркадий Кириллович вскочил с табуретки, усадил старуху. Она упала лицом на стол, стала кататься седой головой по клеенке с веселыми цветочками.

— Перед смертью-то уви-идеть такое!.. Гос-по-ди-и!..

Тищенко, пугливо оглядываясь, молчком выдавил из кухни сопровождавших, прикрыл старательно стеклянную дверь.

Сулимов морщился от крика, крутил головой в кепочке, словно повторял движения седой головы старухи. Аркадий Кириллович, в расстегнутом плаще, в свесившемся кашне, в косо сидящей шляпе, нависал над старухой своим крупным, пропаханным глубокими складками лицом.

— Чем я так не угодила, Гос-по-ди-и?! За что про-о-кля-та?! Устал-ла-а! Устал-ла-а! Моченьки нет! И пожаловаться кому?! Кто услышит?!

— Мы слышим, мать, — обронил в седой затылок Аркадий Кириллович.

И старуха притихла, оторвалась от стола, все еще не разогнувшись до конца, сгорбленная, судорожно пошарила рукой на груди, горестно высморкалась в конец платка и всхлипнула с содроганием, как всхлипывают успокаивающиеся дети. И это детское странно выглядело у седой дряхлой женщины с измятым, опухшим, столь тяжелым лицом, что его не смогло одухотворить даже и горе.

— Вы-то слышите, да что вам мое-то, — выдавила она.

Аркадий Кириллович опустил рядом с ней.

— Раз уж мы здесь, то, значит, есть дело и нам до твоей беды.





Старуха тупо взирала остановившимися глазами на цветочки, рассыпанные по клеенке, на запавшем виске под седым клоком билась толстая вена, пыталась выползти на морщинистый лоб, в такт ей еле приметно содрогались концы вздыбленных волос, отсчитывая натужные удары старого сердца. И снова вздох, но уже не детский, не со всхлипом, не прерывистый, а тягучий, сдавленный, вздох человека, изнемогающего от жизни.

— В беде родился, бедой и кончил... — тихо и внятно произнесла старуха, замолчала.

Слышно было, как поскрипывали ботинки переминающегося над ней Сулимова.

— И пока жил, все-то времечко от него к другим беда шла... Только беда.

— А его самого к беде никто не толкал? — спросил Аркадий Кириллович.

Старуха впервые подняла на него тусклые глаза, должно, вопрос чем-то поразил ее.

— Бог толкал, никто больше, — ответила с твердым убеждением.

— Ты его в детстве часто била?

— Не... В сердцах когда, покуда не подрос и совсем от рук не отбился.

— А любила ты его сильно?

Старуха грузно зашевелилась, выдавила стон:

— Он же мне жизнь вывернул. Малой, на руках был, а уж из родной деревни погнал, это в голодные-то годы!.. И никто уж больше не сватался, никому из-за него не нужна была. Бобылкой так век и прожила. Некуды было от него спрятаться. И теперя вот... не спрячешься! По ночам блазниться будет...

По изрытым щекам старухи потекли слезы, скрюченные пальцы то сжимались, то разжимались на веселой, в цветочках, клеенке. Сулимов достал пачку из-под сигарет, в сердцах скомкал, бросил — пуста! — сказал:

— Говорил же — не для тебя картинка. Не послушалась.

— Сатана толкнул... Как захватило за душеньку, так и не пускает, дай, думаю, одним глазком на непуг-

тевого... Всем-то он жизнь портил, всех-то он наказывал, за это его Бог и наказал!.. А он и тута... Он и мертвый-то, мертвый пуще живого страшон!.. Люди добрые! Не дайте ему других губить! Он всему виноват, как перед Господом говорю! О-он! О-он! Сатаной клейменный! В позорище зачала, в стыде выносила, в горестях вынянчила! До того еще, как на свет появился, бедой был. Со свету сгинул — добрых людей наказывает! Да кто же о-он, кого родила-а?!

Старуха сорвалась на кликушеский рецитатив, морщины стянулись, глаза закатывались, губы прыгали, выбрасывая мятые слова. Сулимов ошарашенно стоял посреди кухни — кепочка на затылке, глаза навывкате со смятенным мерцанием, подрагивают несолидные усики. Аркадий Кириллович сидел возле старухи, устало распустив складки на лице, не шевелясь, пряча угрюмый взгляд под бровями.

Скрюченные пальцы старухи царапали клеенку, ее ломало — вот-вот свалится на пол, забьется в истерике.

Аркадий Кириллович тряхнул ее за плечо:

— Хватит, старая! — Обернулся к инспектору: — Распорядитесь, чтоб отвезли ее домой.

Сулимов очнулся от столбняка:

— Счас!

Сверкнул на трясущуюся старуху глазом, кинулся в прихожую.

## 10

Наконец-то они двинулись к выходу — Сулимов напористо впереди, Аркадий Кириллович поспевал за ним, Тищенко сзади.

Лестничная площадка сейчас была густо населена. В стороне от величавого, затянутого в шинельное сукно и ремни милиционера тесно сбились полуодетые перепуганные жильцы соседних квартир. И этажом ниже вперемишку — застегнутые на все пуговицы пальто и мятые пижамы, бледные лица, всклокоченные прически, вопрошающие немотно глаза. Дом проснулся, дом растревожен.

У плотно прикрытой двери своей квартиры стоял Василий Потехин в расхлябанной дошке, с бодливо выставленным на спускающегося Аркадия Кирилловича лбом: ну да, с начальством ходишь, никому невдомек, каков ты есть, один я насквозь тебя вижу!

Они вышли из подъезда, их встретило низкое, до безразличия спокойное небо, подпираемое дымчатыми домами. Аркадий Кириллович с наслаждением захлебнулся влажным воздухом, чувствуя, как тает в нем скопившаяся отравка, яснеет голова.

Но он опустил взгляд с неба на землю и вздрогнул — перед ним стояла толпа угрожающе сбитая, выжидательно молчащая, угрюмо-неподвижная. И желтые с голубым милицейские машины, и фургон «скорой помощи» с тревожно-красными крестами, и сумеречные шинели милиции, сдерживающей толпу. Под сглаженно-равнодушным небом, под морозящим освежающим дождичком, обычным утром, средь обычной улицы — странное людское скопление. Город, не успев начать день, прервал его, забыв о делах и заботах, сбежался, с настороженной праздностью замер перед сторонним бедствием, доказывая своим вниманием — не мелочь, масштабное событие!

Сулимов кивком указал на канареечную машину: туда! Возле машины все остановилось, стали закуривать неспешно, сосредоточенно, словно исполняя необходимый ритуал. Аркадию Кирилловичу тоже протянули надорванную пачку. Он бросил курить лет десять назад, но сейчас взял сигарету, поспешно прикурил, осторожно затянулся, вместе с другими принялся разглядывать толпу.

В упор толпа выглядела иной — не слитной, не неподвижной, не угрожающей. В ней происходило робкое, подавленно-суетное шевеление — задние протискивались вперед, передние недовольно теснились, с беспокойством и опаской оглядывались на сдерживающую милицию. Выныривали и исчезали лица, мужские и женские, старые и молодые — разные, но с одинаковой оскорбительной озабоченностью, как бы не пропустить чего, утолить любопытство. Ар-

кадий Кириллович почувствовал — сотни жадных глаз ощупывают и его, он участник действия, таинственный мрачный жрец преступности, потому в нем все интригуется: шляпа, натянутая на лоб, небрежно выбившееся кашне, поношенный плащ, сигарета в руке, сумрачное лицо, более сумрачное, должно быть, чем у тех, кто стоит рядом. Сулимов и его товарищи, верно, привыкли к такому вниманию, скучающе глядели на толпу, курили, молчали, чего-то ждали.

Неожиданно толпа вздрогнула, качнулась вперед и замерла. Аркадий Кириллович, повинувшись направленного мимо него взглядам, обернулся и увидел Колю Корякина. Массивный милиционер, что стоял на верхней лестничной площадке, вел Колю за локоть, красная лапша касалась бережно, с медвежьей лаской, шаг твердый, решительный, на всю ступню. Рядом с этим плотски грубым, туго налитым, багрово-жарким, стянутым ремнями милиционером Коля выглядел немочным до призрачности, не человек, а видимость — бескровное, с бескровными губами узкое лицо, гривка невнятно рыжих волос, рвущаяся вперед непрочно тонкая шея, короткое пальтишко нараспашку, нетвердая поступь нескладных ног в расклешенных джинсах — но убийца! И чем он беспомощнее, тем опаснее должен казаться толпе — зря, что ли, собрал столько милиции, и какая богатырская ручища держит его сейчас за локоть!

И все-таки Аркадий Кириллович с надеждой вглядывался в лица — мир не без добрых людей, не могут же совсем не сочувствовать, кто-то же охвачен жалостью. Но нет, всех оглушило samozабвенное — не пропусти момента, исчезнет, не повторится!

И лишь два лица выделялись из других, задержали на себе взгляд Аркадия Кирилловича. На них всеобщее «не пропусти!» утонуло в ужасе, смятенном, паническом, недоуменном. Он и она, к нему прижавшаяся. Она, ищущая у него спасения, верящая в его силу, в его надежность. Но она, прижавшаяся, не замечала того, что было хорошо видно издали Аркадию Кирилловичу: он вовсе не чувствовал сейчас себя сильным — поражен, сбит, растерян. И они

оба молоды, оба каждый по-своему красивы. В ее звучных тонких чертах изнеженность и врожденная ранимость. Он попроще скроен, крепче сшит, в нем та многообещающая грубоватость, которая обманчиво сулит самоуверенность, уравновешенность, всепобеждающую волю и никак не предполагает уязвленности. А именно он, плечистый, грубовато-сильный, сейчас поражен явно больше ее. Он и она — наглядно завидные представители рода человеческого. Он и она — убедительный образец доверчивости друг к другу. Если не им, то кому еще на земле доступно счастье? При виде их, молодых, обласканных природой, спянных чужим несчастьем, невольно испытываешь исцеляющую гордость — не столь уж плохи живущие рядом с тобой люди!

Но они-то чего страшатся? Какое им дело, что рядом случилось непоправимое — сын убил отца?! Их не заденет, пройдет мимо, они любят друг друга, будут любить детей, дети станут отвечать им любовью. Ничего не грозит.

Ой ли?.. Несчастье заразно. Люди так перепутаны между собой, что, если рвется в одном месте, расплзается и в другом. Кто может разобраться в этом таинственном хитросплетении? Нет таких, но каждый чувствует его роковую ненадежность. Эта пара — тоже.

Забыв о том, что в десяти шагах медвежеватый милиционер усаживал в милицейскую машину Колю Корякина, Аркадий Кириллович любовался затерянными в толпе — им и ею. В жизни не только свары, грязь, кровь, есть, есть иное, восхищающее, обнадёживающее. За эту надежду он, отравленный, испытывал сейчас пронзительную благодарность, готов был мысленно произносить заклятие: не сотворишь бессмыслица, не обрушешься на этих двоих ни нужда, ни болезнь, ни сторонняя злоба, не пробегут между ними черная кошка, не помешай любить!.. Аркадий Кириллович, забыв обо всем, любовался...

Не она, тонкая и ранимая, а он, грубый, почувствовал его пристальный взгляд, перехватил его. Глаза их встретились. И на смело вырубленном лице

его появилась смятенная тревога, почти испуг. Нет, все-таки этот парень не был еще настолько чуток, чтоб уловить — внимание незнакомого человека не таит вражды. Он не поверил Аркадию Кирилловичу, его тайную восторженность, его любование встретил смущением и неприязнью. На всякий случай — спроста ли пристальность? что за ней? Чужая душа — потемки! Остерегаться ближнего — в крови человеческой.

— Аркадий Кириллович! Товарищ Памятнов!..

Сулимов сидел уже в машине, приглашал садиться его.

Аркадий Кириллович отбросил потухшую сигарету. Его проводил беспокойный, недоверчивый взгляд из толпы.

Взвыла сирена, толпа зашевелилась, начала тесниться, расступаясь перед машиной.

## 11

Милицейская машина, не задерживаясь у светофоров, визжа скатами на поворотах, за двадцать минут доставила к дому старуху Корякину. За дорогу та успокоилась — «такая уж судьба Рафашке, против Бога не попрешь», — вошла к себе с лицом измятым, хмурым, но таящим значительность: узнала такое, что другим неведомо.

На полу по-прежнему валялось ружье. Анна, лежащая на койке, со стоном подняла навстречу голову с упавшими на лицо спутанными волосами.

— Ну?! — с нетерпеливой дрожью, блестя лихорадочным взглядом сквозь волосы.

— Чего — ну? — огрызнулась старуха. — Уж не ждешь ли, что обрадую чем?

— Кольку видела?

— Кольку теперя от людей сторожат... А Рафаила... Ох, лучше бы и не видеть. Го-ос-по-ди! За все грехи свои сполна ответил!

Анна судорожно передернулась.

Старуха начала медленно разоблачаться, раскручивала шаль, угрюмо бубнила:

— Вот ведь — родился нечаянно и умер невзначай, отца не знал, от сына погиб... Жизнь!

— Что с Колюхой сделают?

— Аль догадаться трудно? Судить будут, не без того... Парня жаль — тоже косо жизнь начинается.

Анна сбросила с койки босые ноги.

— Мать! А откуда кому известно, что это он?..

Старуха с подозрением покосилась:

— То-то что на другого не свалишь.

У Анны на бледном лице кривился темный рот, глубоко запавшие глаза — в суетливом горячечном мерцании, острые плечи напряженно приподняты, тонкие руки вкогтились в одеяло.

— Я, а не он в Рафаила-то из ружья... Откуда кому известно? Может, Колька наговаривает на себя, меня спасает?..

Долгим пасмурным взглядом старуха обвела невестку, с горькой пренебрежительностью ответила:

— Полно-ко, кого оманешь... Ни себя не морочь, ни других. Хоть бы похитрей была, спросят — на первом же слове запутаешься... Ты? Из ружья?.. Да ты на мышь не замахивалась.

— А вот довел, довел! Восемнадцать лет мучал, каждый вечер от него смерти ждала. Одно спасение — ружье! Не Кольку пусть судят — меня!

— Не тебе, голубушка, врать, не им слушать.

— А ты подтверди: мол, я не раз страдала — одно мне остается... Подтверди, спасем Кольку. Самой же парня жалко.

Старуха потерянно махнула узловатой рукой:

— Не блажи. На старости нелепицу плести, срамоту на себя брать...

Анна соскочила с койки, настрuppenно вытянулась, казалось, стала куда выше ростом, дрожащая, в жеваном халате, ведьмачьи патлатая, в синеву бледная, с одичалым бегающим взглядом.

— Кто-то должен ответить за Рафашку. Так — я! Я! Не он! Пробьюсь к кому нужно... Сейчас же! И заставлю, заставлю поверить! Ружье принесу... Из этого ружья — своими руками... Я! Я! А не он!..

— Иди, — сказала старуха. — В тюрьму, поди, не посадят, а в дурдом как раз попадешь.

— Достань мне пальто какое и на ноги обувку...

— Ты мои наряды знаешь, в любое влезай.

— У соседей попроси.

— Не путай, девка, хуже будет. Издалека даже на виновницу не похожа, а уж ковырнут чуть — и совсем поймут, из чьих рук ружье стрелило.

— Виновница?.. А кого еще и винить, как не меня! Уж Колюхи-то я куда виновней!

— Во-во! Еще чуток — и сама поверишь.

— Нет, виновна я, виновна кругом! Не я бы — жил Рафашка. Другая баба, вроде Милки хотя бы, давно бы скрутила его в бараний рог или бросила к чертям собачьим. А я терпела... И как терпела! Видела же, видела, что добром не кончится, а цеплялась. Зачем? Кто должен был Колюку оберечь? Кто как не я? В аду парнишка варился. Рафашка на пьяные глаза понять не мог, я-то всегда трезвой была. Я мать, потому сделай, освободи себя и сына. Нет! Нет! Ничего! Палец о палец не ударила, только терпела и еще муки свои сыну навязывала. Не вина ли это? Да неужель не поймут, что судить меня, меня нужно, не мальчишку!.. Докажу!.. Евдокия, мне надо идти! Сейчас!

— Поостынь, успеется.

— Евдокия, Милка же, верно, ничего не знает. Позвони ей, она и одежду привезет... Пуховым позвони, а я тут умоюсь, причешусь... Ради Колюки прошу, Евдокия!

И старуха испугалась неистовости в голосе Анны.

— Ошалела, девка. Вот уж воистину — в тихом омуте черти водятся. Да ладно, ладно, не стони. Мне-то что, позову Милку, пусть она нянчится.

Тряся сокрушенно головой, ворча, Евдокия стала натягивать пальто. Телефона во флигеле не было, при нужде звонить бегали через двор, в подъезд соседнего дома.

Прошло едва ли более получаса, как темно-зеленые «жигули» резко затормозили прямо перед окном. Приехала Людмила Пухова, подруга Анны еще



с девических времен. Вызвав немотное удивление старичков и старушек, жильцов флигеля, она энергичной и решительной поступью проследовала к Евдокии Корякиной. Если Анна всегда выглядела потерянно и забито — стертое лицо, худа, болезненна, мала ростом, — то Людмила, где бы ни появлялась, привлекала к себе внимание. В последние годы она сильно располнела, но не утратила прежней горделивой осанки, двигалась с напором, с достоинством неся пышную грудь и гладкое бровастое лицо, смущала взглядом сквозь приспущенные ресницы, поражала шальной модностью своих нарядов. И сейчас, сорвавшаяся впопыхах по звонку, она явилась с подведенными глазами, распространяя крепкий запах духов, но белые щеки ее дрожали, а губы кривились. Она накинулась на Анну, прижала ее голову к груди, по-бабьи, в голос запричитала:

— Страдалица ты моя-а! Довел-таки бешеный, не остерегла я тебя!.. Горемычная моя!..

Попричитав, резко отстранилась, всхлипнула, платочком промокнула глаза, села попрочней, деловито сказала:

— Давай думать, что сделать можно.

— Уже придумала, — подсказала старуха, — вину на себя брать хочет.

— Зачем? — без удивления, скорей заинтересованно спросила Людмила.

— Поди знай.

— Так разве ж не виновата я? — слабо произнесла Анна.

— Ты?! Какая, к лешему, ты виновница! — Людмила Пухова когда-то, как и Анна, была простой барачной девкой, не стеснялась сильных выражений. — Ежели и виноват кто, так я, дура. Кто толкнул тебя к Рафашке? Я же! Думалось — тиха да покладиста, не посмеет обидеть такую, сживетесь куда с добром. Ой, ошиблась! Всю жизнь клянусь себя.

— Чего уж давнее ворошить, — поеживаясь, как от озноба, возразила Анна. — Все ошибались, все! А за наши ошибки один Колюха ответит. По-че-му?! По-че-му он, а не я? Справедливость-то где?!

— Разберутся. Не убивайся зря-то. Я Коле адвоката хорошего найду, сама его настрою, все выложу, что было. Возле закона тоже, поди, люди сидят — поймут.

Но решимость старой подруги не успокоила Анну:

— А мне что — сидеть да ждать? С ума же сойду!

— Не жди, сходи поговори — вреда не будет. Узнаешь, что к чему, нам расскажешь, — согласилась Людмила, с затаенным страданием разглядывая Анну.

— Одежку-то мне привезла?

— Не знаю, подойдет ли. На скорую руку похватила.

— Лишь бы срамоту прикрыть. Вот оденусь и пойду сейчас.

— А куда? К кому — знаешь?

— Не, — растерялась Анна.

— Э-эх! Простота! — Людмила резко встала. — Одевайся, а я узнаю к кому... Где телефон-то тут? Евдокия, идем со мной, одежду захватишь, в машине она.

И только сейчас, когда двинулась к выходу, Людмила заметила лежащее на полу ружье, споткнулась, оглянулась на Анну. Та подавленно кивнула: из него.

— Обеспамятела — выхватила у парня и ну-ко сюда притащила, — пояснила старуха.

Только теперь, при виде лоснящегося черными стволами ружья, Людмила, должно быть, зримо представила картину убийства: свалили Рафаила Корякина, здорового мужика, страшного в пьяном озверении! Бешеного Рафку, которого она, Людмила, знала с девичества!

— Анька... — обессиленно, с хрипотой произнесла, и лицо ее сразу увяло, на гладких щеках проступили вмятины. — Анька, молчишь, тихая? Да крикни же, прокляни — я сосватала, я! С моего слова началось... Выругай — все мне легче.

Анна вяло отмахнулась:

— Своего ума не достало, что уж других корить.

И нарядная, пахнущая духами Людмила грубо, по-мужицки выругалась, перешагнула через ружье, вышла.

Через пятнадцать минут Анна, одетая в слишком просторное, отливающее лягушачьей зеленью пальто из жатой кожи, в берете с кокетливыми вишенками, слушала Людмилу.

— Вот записала для памяти: Су-ли-мов... Старший лейтенант Сулимов, пятьдесят первая комната. Колькино дело ведет. Я тебя довезу до управления, а там уж сама действуй.

Анна сунула бумажку в карман, поднялась, взяла с пола ружье.

— С ружьем на свидание, — криво усмехнулась Людмила.

— Снесу. Поди, ищут его.

Старуха напомнила:

— Скажи ей, чтоб себя зазря не оговаривала.

— Не сумеет, — хмуро обронила Людмила. — Для этого уметь врать надо.

Они ушли. Старая Евдокия осталась одна, села на помятую койку, сложила на коленях мослаковатые руки и задумалась.

## 12

Необжито-чистый кабинет с несолидным письменным столом, солидным сейфом в углу и неистребимым канцелярским запахом эдакой легкой бумажной залежалости. Прочно усевшись за стол, Сулимов деловито разложил перед собой листы бумаги, бланки, блокнот, ручку, пачку сигарет и закурил.

— Так! — сказал он удовлетворенно. — Думаю, лучше без всякой подготовочки — сейчас и приступим.

— К чему? — не понял Аркадий Кириллович.

— К допросу Николая Корякина.

— В моем присутствии?..

— Процессуальный кодекс предусматривает присутствие педагога. Имеете право задавать вопросы, высказывать свое мнение, отказаться подписать протокол, если не согласны. Словом, вы, так сказать, законный участник.

Аркадий Кириллович, нахмурясь, задумался — выпирающий лоб, свалывшиеся, с проседью волосы,

тяжелые опущенные веки, резкие складки от носа к углам решительно сжатого рта.

— Предупреждаю, — сказал он хмуро. — Я буду пристрастным.

— Вот и хорошо, — согласился Сулимов. — Значит, мне придется быть беспристрастным вдвойне. — Он снял с телефона трубку: — Приведите Корякина.

Ожидание показалось Аркадию Кирилловичу долгим и неловким — молчали, старались даже не глядеть друг на друга, словно боялись, как бы по нечаянности не возникло ощущение сговоренности.

Наконец дверь раскрылась, милиционер, молодой, с наивно-старательным выражением суровости на добродушно-губастой физиономии, впустил впереди себя Колю Корякина, солидно козырнул Сулимову, вышел.

Он встал перед ними, нескладно-долговязый, оцепеневший, ноги, не успевшие сделать рассчитанный шаг, в неловком неустойчивом положении, и чувствуется — мешают повисшие руки. Поразили Аркадия Кирилловича светлые, широко распахнутые глаза, ни мысли в них, ни страха, никакого живого чувства, глядят прямо и, должно быть, ничего не видят. Своего учителя тоже.

— Садитесь, — пригласил Сулимов, указывая на стул.

С послушанием робота Коля шагнул вперед, сел на краешек стула, вцепился пальцами в острые коленки и снова замер — тонкая шея доверчиво вытянута, острый подбородок задран, и под ним натужно пульсирует нежная ямка.

— Эй, мальчик, очнись! — окликнул Сулимов. — Не к людоодам в гости пришел. Даже знакомых не узнаешь.

Коля вздрогнул, взглянул на Аркадия Кирилловича, и в его сквозно-прозрачных глазах появилось смятение, в бескровных сплюснутых губах — кривой судорожный изгиб.

— Корякин Николай Рафаилович... Учащийся... Родился когда? — начал Сулимов допрос.

— В пятьдесят восьмом... Второго ноября, — тихо, с сипотцой ответил Коля.

— Еще нет и шестнадцати?

— Нет.

Сулимов бросил взгляд на Аркадия Кирилловича. Тот сидел прямой, неподвижный, из-под тяжелых век разглядывал неловко пристроившегося на кончике стула Колю, крупные складки на лице набрякли, обвисли. Нет еще и шестнадцати парню! Не вырос, несамостоятелен, за таких всегда кто-то отвечает. А он сам решил взять ответственность за родителей... Вытянутая шея, острый подбородок, бледная невнятная гримаса и сведенные пальцы на острых коленках. Некому отвечать за него, кроме учителя. Изрытое, неподвижное, темное лицо Аркадия Кирилловича... Сулимов невольно поежился.

— Скажи, давно ли твой отец стал приходить домой пьяным? — спросил он.

— Всегда приходил.

— То есть ты не помнишь, когда он начал пить?

— Он всегда пил.

— Но бывал же он когда-нибудь и трезвым?

— Утром... Пьяный только вечером.

— Так-таки каждый вечер?

Коля замялся, взволнованный, еле приметный румянец просочился на скулах.

— Я... Я, кажется, не так сказал... Неточно. Не всегда. Нет! Бывали вечера, когда трезвый, совсем трезвый... Даже много вечеров бывало. Иной раз неделями и даже месяцами в рот не брал. И тогда все хорошо. Потом снова, еще хуже, тогда уж каждый вечер... Да!

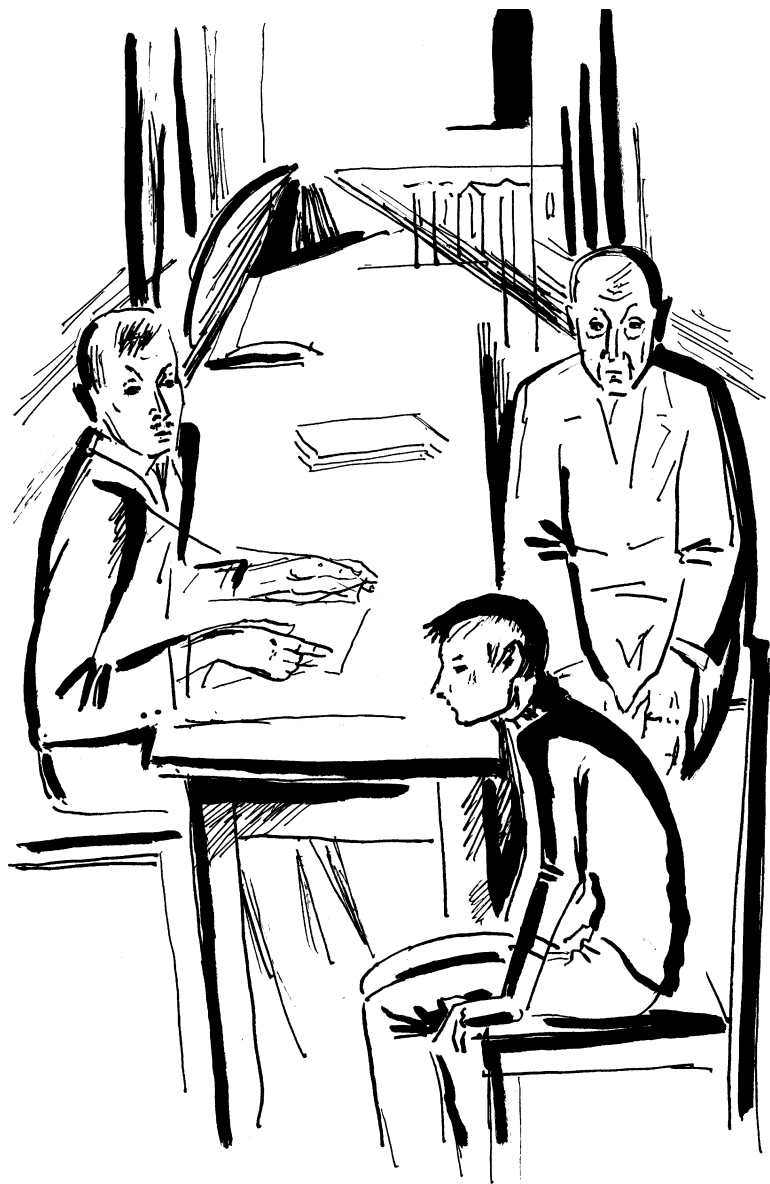
— Приходил пьяным и бил тебя?

— Меня — нет. Не бил он меня. Он мамку бил... и посуду.

— Если даже под горячую руку ты подворачивался, ни разу не ударил?

— Когда я на него сам кидался, тогда ударял или за дверь выталкивал, чтоб не мешал. Но не бил... так, как мамку.

— Ты кидался на него?



— Маленьким был — боялся, очень боялся, сам убегал... К соседям. К Потехиным чаще всего... А потом... потом ненавидеть стал. Что ему мать сделала? Как вечер подходит, она сама не своя. И не ругала его. Нет. А он все равно накидывался. Он же здоровый, никто из мужиков с ним не связывался, любого бы поколотил. Мамка совсем слабая... Здоровый и бешеный. Он бы все равно ее убил. Мне смотреть и ничего не делать? Не мог же! Не мог! — Колин голос из тусклого, глухого до шепота стал тонким и звонким. — Я ему честно, в глаза — не тронь, убью! Но по-че-му?! По-че-му он не слушал?!

— Ты его предупреждал?

— Да. Только он плевал на мои слова.

— И что ты ему говорил?

— То и говорил...

— Какие слова?

Коля склонил голову, с трудом выдавил:

— Что убью... если мать тронет.

— И сколько раз ты его так предупреждал?

— Много. Он и не слышал словно...

Сулимов помолчал. Аркадий Кириллович сидел по-прежнему прямой и неподвижный.

— Мы не нашли ружье. Где оно? — оборвал молчание Сулимов.

— Мать выхватила. Когда... когда уже все... И убежала с ним.

— Но ты ведь не знал, что ружье было заряжено?

— Знал.

Сулимов, до сих пор участливо-сдержанный, неожиданно рассердился:

— Слушай, дружок, не бросайся так легко словами. Здесь каждое неосторожное слово подвести может. И сильно! Откуда ты мог знать, что висящее на стене ружье заряжено?

— Так я же его сам и заряжал. Мать разряжала, а я снова...

— Выходит, она знала, что ты собираешься убить отца?

— Так я же при ней ему говорил — слышала.

- И верила?
- Не знаю... Но ружье-то разряжала...
- А почему она не спрятала его от тебя?
- Отец не давал.
- Что-о?
- Пусть, говорит, висит где висело, не смей трогать.
- Но сам-то отец почему же тогда его не спрятал?

Коля впервые вскинул на следователя глаза, обдал его родниковым всплеском:

- Он... он, наверно, хотел...
- Чего?
- Чтоб я его... убил, — тихо, с усилием и убежденно.

Сулимов и Аркадий Кириллович ошеломленно поглядели друг на друга.

— Что за чушь, Коля, — выдавил Аркадий Кириллович.

— Он же сам себя... не любил. Я знаю.

Слышно было, как за стенами кабинета живет большой населенный дом — где-то хлопали двери, бубнили далекие голоса, раздавались приглушенные телефонные звонки. Два взрослых человека, недоуменные и пришибленные, почти со страхом разглядывали мальчика.

— Себя не любил?.. — В голосе Сулимова настоятельная подозрительность. — Он что, говорил тебе об этом?

- Никогда не говорил.
- Так откуда ты взял такое?

Коля тоскливо поежился.

— Видел...

— Что именно?

— Как он утром ненавидит.

— Ну знаешь!

— Просыпается и ни на кого не смотрит и всегда уйти торопится. И пил он от этого. И мать бил потому, что себя-то нельзя избить. И часто пьяным ревел... Я бы тоже себя ненавидел на его месте... Он раз в ванной повеситься хотел... Не получилось —



за вытяжную решетку веревку зацепил, а та вывалилась. И у открытого окна еще стоять любил, говорил — высота тянет. Умереть он хотел!

Коля неожиданно вытянулся на стуле, дрожа подбородком, едва справляясь с непослушными кривящимися губами, закричал вибрирующе и надтреснуто:

— Но зачем?! Зачем ему, чтоб я?.. Я!.. Тогда бы уж — сам! Не жди, чтоб я это сделал!.. — И захлебнулся, обмяк, похоже, испугался своего крамольного откровения.

Аркадий Кириллович подался всем телом:

— Ты лжешь, Коля! Выставляешь себя преднамеренным убийцей — готовился заранее, заряжал ружье на отца! Не лги!

— Заряжал! Заряжал! Да!

— Ты для того заряжал, чтоб отец видел, как ты его ненавидишь, а сам наверняка рассчитывал — мать разрядит, до убийства не допустит. Или не так?.. И в этот раз ты думал, что ружье разряжено.

Коля, выгнув спину, сцепив челюсти, глядел в сторону, ответил не сразу, с трудом:

— Я его зарядил за полчаса перед отцом...

— Не верю! — упрямо мотнул головой Аркадий Кириллович.

— Я знал... Да! Почти знал, что случится... Да! Готовился!

Сулимов беспомощно развел руками.

— Коля! Ты бредишь! — воскликнул Аркадий Кириллович.

— Я ждал отца... Каждый вечер мы с матерью ждали... Мать как полоумная из угла в угол начинала тыкаться. Легко ли видеть — спрятаться хочет, а некуда. Глядишь — и все внутри переворачивается. Каждый вечер... А тут — нет его и нет, мать совсем уж места себе не находит, я в углу с ума схожу. За полночь перевалило давно... И ясно же, ясно обоим — чем позднее приползет, тем хуже. После поздних пьянок мать неделями отлеживалась... Ждем — его нет и нет. Да сколько можно?.. Сколько можно грозить отцу и ничего не делать?.. Тряп-

ка я... Мать в кухню ушла, ну я — к ружью... Разряжено. А патроны у меня припасены, сунул в оба ствола, закрыл, повесил... Даже на душе легче стало... Я знал, Аркадий Кириллович, знал! Готовился! Не надо меня спасать.

Аркадий Кириллович ссутулился, слепым лицом оставился в пол.

— Не надо спасать... — сказал он. — Легко нам это слышать! Нам, взрослым и умудренным, которые не научили тебя, зеленого, как справиться с бедой — с крутой бедой, Коля! Твоя вина — наша вина!

— А что вы могли? — глухо возразил Коля. — Отца бы мне нового подарили?

— Что-то бы смогли... Да-а... Знали, что у тебя творится. Но издалека... Издалека-то не обжигает, а близко ты никого не подпускал.

Коля вскинул взгляд на учителя, секунду молчал, вздрагивая губами, и снова вибрирующим, рвущимся голосом стал выкрикивать:

— Вы же, вы, Аркадий Кириллович! Вы учили... Воюй с подлостью — учили! Не жди, учили, чтоб кто-то за тебя справился!.. Неужели не помните? А я вот запомнил! Ваши слова в последнее время у меня в голове стучали — воюй, воюй, не жди! А я ждал, ждал, тряпкой себя считал, медузой — мать спасти не могу!..

— Спас! — с досадой не выдержал Сулимов. — Куда как хорошо теперь матери будет — ни сына, ни мужа, одна как перст на белом свете.

— Зна-а-ю-у! Зна-ю-у! — вскинулся Коля. — Всех вас лучше знаю! Она тоже видела на полу его кровь, тоже всю жизнь это помнить будет... А мне как? Как мне, Аркадий Кириллович?! Он, если хотите, даже любил меня! Да! Да! Я себя не жалею, и вы — не надо! Никто не смейте! И на суде так скажу — не жалейте!!

На тонкой вытянутой шее набухли вены, плечи дергались...

Сгорбившийся Аркадий Кириллович поднял веки, остро глянул на Сулимова, чуть приметно кивнул. Сулимов поспешно потянулся к телефону...

Дверь за Колей Корякиным закрылась. На скуластом лице Сулимова дернулись несолидные усики.

— Все-таки папино наследство сказывается! Папа, похоже, лез на смерть, сын рвется на наказание.

Нахохленный Аркадий Кириллович обронил в пол:

— Мое наследство сказывается.

— То есть? — насторожился Сулимов.

— Один из соседей Корякиных этой ночью мне бросил в лицо — ты виноват! Я вот уже четверть века внушаю детям: сейте разумное, доброе, вечное! Мне они верили... Верил и он, сами слышали — воюй с подлостью! Мои слова в его голове стучали, толкали к действию... И толкнули.

Сулимов кривенько усмехнулся:

— Уж не прикажете ли внести в дело как чисто-сердечное признание?

— А разве вы имеете право пренебречь чьим-либо признанием?

— Имею. Если оно носит характер явного самоговора.

— Да только ли самоговор? Мой ученик, оказавшийся в роли преступника, при вас же объявил это.

— При мне, а потому могу со всей ответственностью заявить: мотив недостаточный, чтоб подозревать вас в каком-либо касательстве к случившемуся преступлению.

— А не допускаете, что другие тут могут с вами и не согласиться?

У Аркадия Кирилловича на тяжелом лице хмурое бесстрашие. Сулимов иронически косил на него птичьим черным глазом.

— Многие не согласятся. Мно-огие-е! — почти торжественно возвестил он. — Нам предстоит еще выслушать полный джентльменский набор разных доморощенных обвинений. Будут обвинять соседей — не урезонили пьяницу, непосредственное начальство Корякина — не сделали его добродетельным, участковому влетит по первое число — не бдителен, не обезвредил заранее; ну и школе, то есть вам, Аркадий

Кириллович, достанется — не воспитали. Всем сестрам по серьгам. И что же, нам всех привлекать к ответственности как неких соучастников?.. Простите, но это обычное словоблудие, за которым скрывается ханжество... Принесите, товарищ Памятнов, себя в жертву этому ханжеству. Похвально! Даже ведь капиталец можно заработать — совестливый, страдающая душа.

Аркадий Кириллович все с тем же рублено-деревянным лицом, лишь с трудом приподняв веки, уставясь на Сулимова исподлобья, заговорил медленно и веско:

— Готов бы, Сулимов, склонить голову перед вашей мудростью. Готов, ежели б уверен был — знаете корень зла, не пребываете в общем невежестве. Но вы же несколько не проницательнее других. Даже мне, непосвященному, заранее известно, как поступите: мальчик убил своего отца — очевидный факт, значит, виноват мальчик, и никто больше. Конечно, вы учтете и молодость, и смягчающие вину обстоятельства, я же видел, как вам хотелось, чтоб ружье самозарядилось... Нет, Сулимов, вы не желаете мальчику зла, но тем не менее не постесняетесь выставить его единственным виновником этого тяжелого случая. Ищите статью кодекса. А потому — отметай все подряд, даже признания тех, кто чувствует свою ответственность за преступление.

Сулимов вскочил из-за стола, пробежался по тесному кабинету, навис над Аркадием Кирилловичем, спросил:

— Вы ждете, чтоб я выкопал корень зла?

— Наивно, не правда ли?

— Да, детски-наивно, Аркадий Кириллович! Злые корни ой глубоко сидят, до них не докопались академии педагогических и общественных наук, институты социологии, психологии и разные там... Да высокособые ученые всего мира роются и никак не докоплются до причин зла. А я-то всего-навсего рядовой работник милиции. Ну не смешно ли с меня требовать — спаси, старший лейтенант Сулимов! Что? Да человечество, не меньше! Пас, Аркадий Кириллович!

Признаюсь и не краснею — пас!.. А того, кто меня станет уверять — мол, знаю корень, — сочту за хвастуна. Пожалуй, даже вредного. В заблуждение вводит, воображаемое за действительное выдает, мутную водичку еще больше мутит. Так что уж не обессудьте — мне придется действовать как предписано.

— То есть выставить пятнадцатилетнего Колю Корякина ответственным за гримасы, которые нам корчит жизнь?

— Конечно, я же бездушный милиционер, за ребрами у меня холодный пар, могу ли я жалеть мальчишку?..

— Не надо скоморошничать, — оборвал Аркадий Кириллович. — Я видел, как вам хотелось получить козырь в руки в виде не заряженного руками Коли ружья. Жалели его, но это не помешает обвинить его.

— Вы сами сказали: мальчик убил — очевидный факт. Не станете же вы от меня требовать, чтоб я его скрыл или выгодно извратил.

— Хотел бы, чтоб за этим очевидным фактом вы постарались увидеть не столь наглядно очевидное: мальчик — жертва каких-то скрытых сил.

— Одна из таких сил — вы?

— Не исключено.

— Ну так есть и более влиятельная сила — какое сравнение с вами! — растленный отец мальчишки! Вот его обещаю вам не упустить из виду, постараюсь вызнать о нем что смогу и выставить во всей красе. Если я этого не сделаю в дознании, всплывет в предварительном следствии.

— Всплывет, — согласился Аркадий Кириллович. — Только с мертвого взятки гладки.

Сулимов вздохнул:

— То-то и оно — на скамью подсудимых в качестве ответчика не посадишь, но смягчающим вину обстоятельством послужит. Только смягчающим! И даже не столь сильным, как неведение мальчишки о заряженности ружья.

Вздохнул и Аркадий Кириллович:

— Я вам нужен еще?

— Несколько слов о мальчике: как учился, как вел себя в школе, скрытен, застенчив, общителен, с кем дружил?..

Снова нахохлившись, уставившись в угол, Аркадий Кириллович стал не торопясь рассказывать: Коля Корякин был трудным учеником, неожиданно для всех изменился, причина не совсем обычная, даже сентиментально-лирическая — полюбил девочку...

Сулимов записывал.

Внизу, возвращая дежурному отмеченный пропуск, Аркадий Кириллович мельком увидел женщину в пузырящемся дорогом кожаном пальто, с легкомысленными вишенками на берете. Он так и не узнал в ней мать Коли Корякина...

Низкое небо придавило город, моросил дождь, по черным мостовым напористо шли машины — звероподобно громадные грузовики и самосвалы, мокро сверкающие легковые. Люди втискивались в автобусы, роево теснились возле дверей магазинов, скучивались у переходов. Город, как всегда, озабоченно жил, не обращал внимания ни на небо, ни на дождь, ни на страдания и радости тех, кто его населяет. И уж конечно, событие, случившееся этой ночью в доме шесть по улице Менделеева, никак не отразилось на суетном ритме большого города. Стало меньше одним жителем, стало больше одним преступником — ничтожна утрата, несущественно приобретение.

## 14

Кто не бредил в детстве подвигами Ната Пинкертона и Шерлока Холмса? Григорий Сулимов после окончания института сам напросился, чтоб его направили в органы дознания. Шерлоки Холмсы и комиссары Мегрэ, романтические гении-одиночки криминального сыска, не совмещались с будничной, суетной работой городского угрозыска. Но и тут по-прежнему остаешься разведчиком преступлений, раньше всех определяешь их характер, пробуешь найти ключ к раскрытию — первооткрыватель в своем роде!

Сулимов выводил на чистую воду мошенников, отыскивал набезобразивших хулиганов, имел даже на своем счету одно раскрытое и довольно запутанное убийство — шофер сбил машиной забеременевшую от него девицу, сменил скаты, чтоб не уличили по следу... Сулимова еще пока считали «подающим надежды», отзывались снисходительно: «Грамотен, но верхним чутьем не берет». Верхним чутьем брали те, кто институтов не кончал, но проработал в уголовном розыске не один десяток лет.

И раньше Сулимову случалось наткаться — нарушение закона налицо, но нарушителю невольно сочувствуешь: попал человек в клещи, лихое заставило. Однако его, Сулимова, долг — защита закона от любых нарушений. Что будет, если такие, как он, станут руководствоваться личными симпатиями и антипатиями? Оправдывающих мотивов он старался не проглядеть, но чувства свои всегда держал в узде. Вот и сейчас он рассчитывал на одно — мальчишка схватился за ружье сгоряча, не знал, что оно заряжено. Расчет не оправдался... Этот учитель Памятнов предлагает переложить тяжелую вину мальчишка на плечи других, в том числе и на свои собственные. Пристегнуть к преступлению неповинных людей — противозаконно да и бессовестно. Нет уж, что случилось, то случилось — мальчишка совершил убийство! Его жаль? Да! Твое личное, не впутывай это в службу, где не принадлежишь сам себе!

Единственное, что было в силах Сулимова, — раз узнать, по возможности, подробнее о темной жизни убитого отца — Корякина. Чем темнее окажется эта жизнь, тем оправданней будет поступок сына...

Больше всех может порассказать о покойном Рафаиле Корякине его мать, та самая страховидная старуха, что кликушествовала на исходе ночи перед ним и учителем Памятновым. Сулимов уже потянулся к трубке, чтоб узнать адрес старухи, как телефон сам зазвонил... Снизу сообщали — явилась мать Николая Корякина, принесла ружье, слезно просит принять ее сейчас.

Его неприятно поразил ее наряд — дорогое неуклюжее пальто и претенциозные вишенки на берете, — но усохшее, изможденное лицо, стянутое мелкими тусклыми морщинками, запавшие воспаленные глаза с истощенным мерцанием и просящее беззащитное выражение сразу заставили поверить: замученная, искренняя, ни капли наигрыша.

Корякина Анна Васильевна, 1937 года рождения, домохозяйка... Ей всего тридцать семь лет, но глядится уже старухой.

— Собиралась соврать вам... — Ловящий, с мольбой взгляд, голос виноватый, срывающийся, пальцы нервно теребят пуговицы. — Спешила к вам и думала: скажу, что я... я, а не Колька из ружья-то... Да ведь все равно же не поверите. Не научилась врать, хотелось бы — ох хотелось! — да не смогу... Может, покойный Рафаил еще и меня виноватее, но о нем-то чего теперь толковать... Ну а после него — я! Я к этой беде привела, не сын!

— Расскажите, как было.

— Как?.. — Она вся сжалась в просторном пальто, по сморщенному лицу пробежала судорога. — Госпо-ди! Просто ли рассказать... Ведь это давно у нас началось, еще до Коленькиного рождения, можно сказать, сразу после свадьбы. Первый раз он побил меня на другой же день как расписались.

— И после шли постоянные пьяные побои?

— Может, и случался когда передых, но потом-то он всегда добирал свое.

— И в этот раз он ввалился пьяным... В каком часу?

— Поздно. Поди, в час, а то и в начале второго... Но не спали. Где там уснуть, когда шаги выслушиваешь... Ох-ох, всю-то жизнь я вечерами слушала да обмирала! Не любя женился, ненавдя жил...

— Да как же так, не любя, и поженились?

— Сама все время гадала, как это случилось. Он по Милке Краснухиной с ума сходил, а та от себя его оттолкнула да в мою сторону указала — вот, мол, кто тебе пара. Я, дура, согласилась. Молода была, девятнадцать только исполнилось. И одна как перст,



даже в деревне родных не осталось... Первая моя дурусть, да если б последняя... Все на моей глупости и замешалось.

— Он что — по этой Краснухиной тосковал?

— Прежде, может, и тосковал, да за двадцать-то лет прошло. Людмила в ту же пору замуж вышла, из Краснухиной Пуховой стала. Не-ет, просто ему втемяшилось — нелюба, а он такой: кого невзлюбит — жизни не даст. Другие-то от него посторониться могут, а то и постоять за себя. Я всегда у него под рукой, и характеру у меня никакого — вот и вытворял. Я всяко пыталась — ублажала, сапоги с пьяного стаскивала. Только от покорности моей он еще пуще лютовал. Бесила покорность. А коли возражу, ну тогда и совсем: «Ты, тварь, дышать не смей, не только голос подымать!» Тварь — это еще ласково...

— Н-да, рисуночек.

— А в эту ночь он стол толкнул, на нем ваза стояла... Хорошая ваза, сам покупал. Не думайте, что он недомовит был. Даже пьяный о доме вспоминал, если, конечно, не шибко пьян, что-то купит, принесет... Ну а потом осатанеет — бьет. Да и то, пожалуйста, с расчетом — тарелки смахнуть ничего не стоит, а вот телевизор ни разу не тронул...

— Так что с этой вазой?

— Столкнул он ее, а я ойкнула, не удержалась. «Ах, жаль тебе!..» И набросился, а тут Колька... Колюха давно уже стал встревать промеж нами...

— Он стращал отца, что убьет?

Анна не ответила, уставилась в пол, мертвенная бледность отчетливой означила морщинки на усохшем лице.

— Говорите все как есть, — строго приказал Сулимов.

— Стращал.

— Вы этому верили?

— Да кто такому в полную-то силу поверит?

— Хорошо, продолжайте.

— И продолжать нечего. Колька кричит, он рычит, Кольку отталкивает, ко мне рвется. Ударил он меня так, что с ног... Пока очухалась, вдруг слышу...

Вскочила я, смотрю — он валится, да плашмя, на пол. А Колька в руках ружье держит, из стволов то дым идет, и вонь от этого дыма по всей комнате. Лицо Коли словно из мела, одни глазищи... Дальше уж не помню, как из рук его ружье вырвала. Опомнилась — бегу с этим ружьем по городу...

— Так в чем же вы тут себя считаете виновной?

— Все из-за меня. Не я б, ружье это никогда не выстрелило.

— Да разве вы толкали сына к ружью? Не хотели того, не выдумывайте!

— Хотела не хотела, а все делала, чтобы сын отца убил.

Анна Корякина сказала это столь твердо, что даже на ее лице проступила ожесточенность.

— Все делали? Что именно?

— Ужас берет, когда теперь оглядываюсь... Не замечала прежде — была злодейкой, право. Да чего же добивалась я, дура тупоумная! Чтоб сын вместе со мной страдал! Стонала не переставая, слезы лила, из кожи лезла себя несчастной показать... И видела, видела — жалеет, весь исстрадался парень, не вмоготу ему, а мне все мало, мне от него большей жалости хочется, никак не уймусь, разжигаю... Зачем, спросите? Оно понятно зачем. После мордобоев да ругани изо дня-то в день кому не захочется утешиться. От чужих людей утешение дешево, стороннее оно, а вот от сына родного — вроде живой воды. Муж лютует — сын весь исходит, а мне приятно, сладко так, не насытюсь, еще, еще!.. Даже, поверите ли, ждала — о-о! — даже с нетерпением, чтоб Рафашка зверем ввалился да набросился. Он избьет, а сын показнится за мать родную... Радовалась тишком, что ненавидит Колька отца лютой ненавистью. Раз его ненавидит, значит, меня любит! Радо-ва-лась! Ну не подлая ли?..

— Кто упрекнет вас за это, — выдавил из себя Сулимов.

— Кто-о? Да вы! Да неужель понять не в силах, кто в смерти повинен? Неужель не видно, кто подстроил убийство? Что из того, что Колька ружье в

руках держал, — всунула-то ему его я! Я его руками курки спустила! Я! Не смейте не верить! И думаете, не чуяла, что к дурному идет? Чуяла! Иной раз опомнюсь — и дух захватит, а откажется уже не могла. Как Рафашка без водки, так и я без Колюхиных страданий не жилища! Отравилась вконец, ими только и держалась. День пройдет спокойно, а мне уже и не по себе — умираю... О-о-о! — Анна застонала. — Тащила, подлая, своими руками родного сына к погибели тащила! И по совести и по закону — кругом виновата!

— Ваш сын сказал, что вы боялись беды, разряжали ружье.

— Разряжала. Конечно, разряжала. Но думаете, из страха одного — непоправимое случится? Не-ет, мне показать было нужно Коле, какая хорошая у него мать, даже извергу мужу зла не желает, спасти, видите ли, хочет...

Сулимов наконец не выдержал, вознегодовал:

— Да хватит вам на себя наговаривать! Нужно быть холодной сволочью, чтоб столь тонкий и осознанный расчет иметь — сделаю-де благородный жест, чтоб сын заметил и умилился. Не было того! Не уверяйте! Не могли вы быть такой расчетливо-холодной. Для этого нужно сына или совсем не любить, или же любить так себе, много меньше, чем себя. А вы почему-то сейчас себя подсовываете вместо него! Так что не плетите мне хитрых басенок!

Снова Анна залилась бледностью, снова на измученном лице проступила ожесточенность.

— Правду говорю, не плету! — Упрямая убежденность в ее голосе и никакого негодования. — Не признавала я. И расчета в мыслях тоже, должно быть, не было. Но нравилось, нравилось хорошей глядеться. Так это-то «нравилось» и заставляло ружье разряжать, а не страх... Страх, может, и был... Как не быть! Только жила-то одним — перед сыном показаться. Ну неужель не понятно?!

— Н-да!..

— Ага! Верите, деться некуда. Тогда пораскиньте — кого судить? Его, глупого, горячего, мать лю-

бящего? Или меня, взрослую, тоже ведь любящую, даже очень, ужас как, но бестолково? Кто из нас больше виноват? Кто убийца-то? Я! Но только его руками! На мне кровь, не на Кольке!

— Честно ответьте: могли бы вы предотвратить убийство, если б захотели?

— Да как же не могла! — негодуяюще всполошилась Анна. — Поди, и вам самим тут догадаться нетрудно. Ну кто мешал мне развестись со зверем?

— Почему не сделали?

— А страх брал — как я жить с Колькой стану? Разведись, а нам присудят с его зарплаты рублей тридцать, от силы сорок в месяц. Зарплатишка-то у Рафаила всегда была тощенькая, только он на одну зарплату никогда и не жил. В нем все нуждались, у кого машина, большие деньги платили — лишь бы руки приложил. Он сам деньгами сорил и нам отсыпал. Колька ни в чем нужды не знал, а после развода тяни взрослого парня на тридцатку. Боялась... Да что там развод, без него могла бы вести себя поумней — не разжигать, а тушить Кольку. Вон Людмила Пухова, бездетная, как она меня уговаривала: «Пусть Колька у нас поживет, оторви от отца». Согласилась я? Нет! Как же я без страданий Колькиных одна глаз на глаз с сатаной мужем останусь? Могла многое сделать, да не сделала! Гос-по-ди-и! Тош-но! Самой от себя тошно! Если есть правда у вас, то схватите меня, злодейку, отпустите его. Почему о-он за меня отвечать должен?! Спа-си-те его! Спа-си-те! Милости прошу — меня-а, меня-а судите!..

Анна затряслась в рыданиях.

Сулимов сидел перед нею, не смел даже успокаивать — подавленный, растерянный, расстроенный. Странно, но он в эту минуту верил в ее вину.

## 15

Занятия в школе уже начались. Аркадий Кириллович прямо в плаще поднялся на четвертый этаж, мимо Зюечки Голубцовой, школьного делопроизво-

дителя и одновременно секретарши директора, прошел прямо в кабинет.

Директор Евгений Максимович, сравнительно молодой еще человек, начавший уже понемногу лысеть и полнеть, удивленно уставился:

— Вы не на уроке, Аркадий Кириллович?

— Я из угрозыска, Евгений Максимович. — Аркадий Кириллович опустил на стул.

— Случилось? Что?

— Убийство. И я, похоже, стал его невольным пособником.

У директора округлились глаза...

Девятый «А», где должен был проходить урок Аркадия Кирилловича, не дождавшись преподавателя, разбил в кабинете литературы на три группы.

Одни сгрудились у доски, пытались «надышаться» перед контрольной по физике, которая должна быть сегодня на последнем уроке. Славка Кушелев, по прозвищу Штанина Пифагора (или просто Славка Штанина), писал формулы и объяснял, как он любил выражаться, «методом Козьмы Пруткова, доступным для идиотов».

Девочки плотно обсели Люсю Воронцову, принесшую с собой иностранный журнал мод, и спорили о том, сохранились ли теперь мини-юбки или только остались миди и макси. Журнал был старый и на этот вопрос не отвечал, рекламировал только мини. Среди девочек затесался Васька Перевощиков, его интересовали не юбки, а ножки, благодаря моде мини показанные с откровенной щедростью.

Под портретом изможденного нравственными страданиями Достоевского, прямо на столах громоздилось «третье сословие», внутри которого Жорка Циканевич, по прозвищу Дарданеллы, «размешивал бодягу», то есть под сдерживаемое похотывание плел свою очередную небылицу.

Только двое из класса забыто сидели сами по себе — взлохмаченный очкарик Стасик Бочков, многолетний староста класса, влипший в какой-то толстый роман, и Соня Потехина, гнувшаяся к столу на своем месте. Дома она сегодня оставаться не могла,

в школу же идти боялась, но иной дороги из дома как в школу не знала — сидела сейчас в стороне от всех.

Здесь еще никто ничего не слышал, а Соня молчала. Не могла же она объявить просто: «Ребята, Колька Корякин отца убил!» Но рано или поздно страшная новость влетит в класс. Что ж, тогда-то она уж молчать не станет, тогда-то скажет свое слово!

Подавленная своей страшной тайной, Соня сейчас поражалась тому обычному, что происходило вокруг.

Девчонок интересуется, остались ли в моде мини-юбки. Ребята слушают чепуху Жорки Дарданеллы, хохочут себе. А Славка Штанина натаскивает к контрольной...

И что будет, если они услышат новость?.. Да ничего. Девчонки поахают, а от Васьки Перевощикова и того не услышишь, тому все трын-трава. Жорка Дарданеллы даже сострить может, с дурака сбудется. Но Славка Штанина... Вот кого опасалась Соня! Никогда заранее не известно, что придет в ученую Славкину голову. Он может сказать дурное о Коле, может! И все поверят ему, не Соне...

Соня всегда со всеми ладила и уж ни к кому никогда не испытывала ненависти. Сейчас же чувствовала: класс и она по разные стороны, весь класс — и она вместе с Колей Корякиным, который сам себя защитит не может.

В эти минуты рождалась заступница, заранее не доверяющая всем, готовая ненавидеть любого, кто посмеет думать иначе.

— Я проскочил сейчас мимо девятого «А». Не смею предстать перед учениками. Не знаю, что им сказать. Ничем не вооружен. Все, что за два десятилетия приобрел, во что веровал, чем, казалось, побеждал, — выбито из рук...

Аркадий Кириллович говорил, и директор зябко пожевывался. Он появился в школе четыре года назад — утвержден в горно на место старого директора, ушедшего на пенсию. А уже тогда в школе

усилиями Аркадия Кирилловича давно шло соревнование за личное достоинство, за благородство поступков. Соревнование, похожее на игру. Никто не сомневался, что такая игра полезна. Не мог сомневаться и новый директор. Он включился в нее не сразу, осмотрительно, зато основательно — наладил обмен опытом, заставлял отчитываться, сам где только мог — на городских и межгородских семинарах учителей, на областных конференциях, в начальственных кабинетах — настойчиво доказывал: добились успехов не в чем-нибудь, а в нравственном воспитании!

Только при нем, директоре Евгении Максимовиче Смирновском, Аркадий Кириллович перестал быть кустарем-одиночкой — не просто оригинал, увлеченный благородной, украшающей школу причудой, а общественный деятель. И, слаб человек, сладкий хмель довольства собой кружил голову, и впереди мнились новые победы, растущее почтительное удивление, как знать, возможно, и слава. Они, нет, не были друзьями, не ходили в гости друг к другу, не изменяли вежливому «вы» даже в минуты признательной откровенности. Их связывало большее, чем дружба, — необходимость опоры, один без другого уже не чувствовал себя устойчивым в жизни.

И вот сейчас, когда произошел обвал, все зашаталось, затрепало, Аркадий Кириллович кинулся не к друзьям — хотя бы к старой, верной Августе Федоровне, — а к нему, более молодому, наверняка менее искусственному и опытному. Кинулся, не скрывая своей растерянности, не замечая, что срывается на беспомощную жалобу: не знаю, что сказать, ничем не вооружен... выбито из рук... подставь плечо, поддержи!

Евгений Максимович все еще поеживался, однако первое ошеломление, похоже, у него прошло.

— Стыдно! — оборвал он сердито. — Паника! У вас? Глазам не верю.

Он говорил как старший. И Аркадий Кириллович почувствовал досаду на себя, стал угрюмо оправдываться:

— Не паника, нечто противоположное — отрезвление. Мои высокоморальные наставления толкнули на убийство! Страшно? Да. Но от этого страшного не собираюсь прятаться.

— И все-таки врача не хоронят вместе с тем, кого он не сумел вылечить.

— Плох тот врач, который заранее рассчитывает на снисхождение к себе.

— Я убежден, Аркадий Кириллович, — то, что, увы, не помогло Николаю Корякину, вовсе не бесполезно было для других.

— А вот мне кажется иначе: раз вредно подействовало на одного, где гарантия, что не повредит другим?

— Послушайте, — примиряюще сказал директор, — самое бессмысленное — это затевать нам спор: вы будете уверять — брито, я — стрижено. Тем более что вы не можете сейчас с ходу предложить новый спасительный рецептик. Нет его у вас за душой.

— Признаем пока, что старое лекарство опасно, потом уж будем думать о новом.

— Сколько думать? — вкрадчиво спросил директор. — Над старым вы думали, если не соврать, чуть ли не всю свою педагогическую жизнь.

Голос был вкрадчивым, а взгляд убегающим.

И этот убегающий взгляд вдруг устыдил Аркадия Кирилловича — подставь плечо, поддержи! Он — его?.. Ой ли? Он сейчас в худшем положении. Не учитель Памятнов, а он ходил по начальственным кабинетам, славил успехи. Его голос слышали, его напористость видели, его, директора сто двадцать пятой школы, считали глашатаем нравственного обновления. Громовой удар Аркадия Кирилловича может и миновать, но на Евгения Максимовича обрушится непременно. Ждал поддержки от обреченного. Нет! Сам подставь ему плечо. Нуждается.

— Евгений Максимович, — с обретенной твердостью заговорил Аркадий Кириллович, — уж не думаете ли вы, что я собираюсь выбросить все, что добыто? При всем желании ни вы, ни я этого уже не сумеем сделать. Что пройдено, то пройдено, но от-



крылось — заблудились. Оказывается, ой как далеко до желанной цели. Давайте это признаем. Необходимо.

И директор опять ушел глазами в сторону, холодно согласился:

— Признавайтесь... Только про себя.

— Как так?

— А так — не выплескивайте наружу. На нас и без того навалятся со всех сторон, без того нарушится нормальная жизнь. А если еще увидят, что мы сами в себя не верим, признаемся в панике — заблудились, мол, — ну тогда уж разгром! Нет, нет, не только вами построенного, но и того, что сколачивали другие. Учителя физики изменяют программам, преподают сверх положенного — пресечь! Под химическую лабораторию заняли подвал — прикрыть! Вместо уроков физкультуры походы — запретить! И пойдет карусель... Себя вы можете кинуть под колеса, но поберегите других, Аркадий Кириллович...

В этот момент в дверь просунулась смазливая физиономия секретарши Зюечки с широко распахнутыми подведенными глазами:

— Ой, Евгений Максимович! Возьмите скорей трубку. Отец Потехиной Сони из девятого «А» звонит. Он такое говорит, такое!..

Директор снял трубку.

Даже мелкие секретки не давали спокойно жить Зюечке Голубцовой — мгновенно избавлялась от них, — а уж большие новости она и совсем держать в себе не могла. Едва притворив дверь директорского кабинета, она сломя голову ринулась к девятому «А», выманила в коридор Стасика Бочкова, первого, кто попался ей на глаза...

...Стасик Бочков, взлохмаченный, бледный, без нужды поправляя на носу очки, встал посреди кабинета, возле учительского стола.

— Ребята! Колька Корякин... сегодня ночью... убил своего отца!

Срывающимся голосом ту самую фразу, которую не могла заставить себя произнести Соня Потехина.

Не все сразу ее расслышали, не до всех дошло:

— Что?.. Что?..

— Колька Корякин ночью убил отца! — отчетливо повторил Стасик.

И наступила тишина. И в этой тишине всплеснулся истерический девичий голос:

— Уж-жас! Он за моей спиной сидел!

Соня вскочила — пришла ее минута защищать Колю.

— Восхищаться надо — не ужасаться! — с над-рывом выкрикнула она.

Снова недоуменное «что? что?» с разных сторон. Стасик Бочков первым вразумительно изумился:

— Восхищаться? Убийством?

Весь класс озадаченно и недоверчиво глядел на Соню, вот-вот недоверчивость сменится враждой.

Растолкав столпившихся у доски ребят, двинулся к ней пружинящей походкой Славка Кушелев, тот, кого Соня боялась больше всех. Крупная голова покоится на узких разведенных плечиках, руки в карманах, на лбу жесткая прядь, мелкие, широко расставленные глазки нацелены прямо в зрачки.

— Ты знала? — спросил он.

— Да! — с вызовом.

— И молчала — почему?

— Потому что Стаське это сказать легко, а мне — нет!

Славка помедлил, удовлетворенно произнес:

— Ясно. Но восхищаться?.. Простить — еще понятно. Но почему мы должны восхищаться?

— Простить? А за что простить? За то, что он мать спасал от зверя?

— Да, но не слишком ли дорого за спасение?..

— Если у тебя на глазах твою мать станут бить до смерти, ты что, гадать станешь — дорого или недорого?

И глаза Славки не выдержали, вильнули в сторону от Сониных зрачков.

— Все-таки убить... И кого?..

— Убить, чтоб жить было можно!

Славка долго молчал.

— Убить, чтоб жить... — повторил он. — Пожалуй.

И отступил.

Соня поняла — победила, теперь класс на ее стороне. После Славки никто не посмеет сказать против.

Директор положил трубку:

— М-да-а. Началось... Грозится, что переведет свою дочь в другую школу.

И торопливо принялся рассовывать бумаги по ящикам стола.

— Так вот, Аркадий Кириллович, сидеть сложа руки нам нельзя. Я сейчас еду в гороно. Так сказать, иду на вы! Буду доказывать — да, да, с пеной на губах! — что к семейной трагедии Корякиных наша школа прямого отношения не имеет. И буду защищать вас, Аркадий Кириллович, постараюсь прикрыть своей неширокой грудью. И ваших рассуждений о том, что моральные наставления, видите ли, толкнули, не слышал. И очень надеюсь — оч-чень! — никто больше их от вас не услышит.

Аркадий Кириллович вглядывался в директора исподлобья. По обычным житейским меркам он должен быть благодарен этому человеку за отзывчивость, за участие. За чрезмерное участие, за безоглядную отзывчивость! Даже сейчас не собирается бросать на произвол судьбы: «Постараюсь прикрыть своей неширокой грудью...» И ведь постарается, насколько хватит сил.

Директор, с грохотом задвинув последний ящик, вышел из-за стола, встал перед учителем, невелик, но плотен, плечики разведены, колено бойцовски выставлено, вид заносчив.

— И вам я тоже долго заниматься переживани-ями не позволю. Я буду действовать там, вы — здесь, в школе... Не сегодня, не сегодня. Понимаю, сейчас вы травмированы — идите домой, приходите в себя. Но завтра... завтра вы встретитесь с учениками, в первую очередь с девятым «А».

Аркадий Кириллович продолжал молча вглядываться. А, собственно, какое он имеет право упре-

кать его, более молодого человека, менее опытного педагога? А разве он сам, Аркадий Кириллович, не верил два дня назад в свою исключительность, не тщеславился в душе — творит-де необыкновенное? Было! Было! Незачем притворяться перед собой святым. Отрезвила пролитая кровь. Но только отрезвила; что, к чему — пока по-прежнему непонятно. Почему этот человек должен понимать лучше тебя?

А директор, выставив бойцовски колени, скользя взглядом мимо виска Аркадия Кирилловича, напористо говорил:

— Мы не можем допустить, чтоб ученики самостоятельно принялись переваривать убийство. Народ незрелый, горячий, с вывихами, без руля и без ветрил. Мы и сами-то сейчас теряемся в оценках, ну а они такого нагородят друг перед другом, что потом как бы сами кидаться не стали на родителей, на прохожих, на нас с вами. Скрыть, что произошло, не в наших силах, но в русло вогнать мы обязаны. И лучше, чем кто-либо, это можете сделать вы, Аркадий Кириллович. Только вы! У вас огромный авторитет среди учеников.

Слова, слова, слова... Ох, сколько их еще выплеснется, беспомощных слов! Аркадий Кириллович поднялся.

— Да, — выдавил он. — Да... Скрыть не в силах и скрывать не следует. Хорошо, Евгений Максимович, завтра встречусь, а сегодня мне нужно кое-что уяснить.

— Ну а мне уяснять некогда, иначе все уяснят без меня. — Директор уже снимал с вешалки плащ.

Острый на язык учитель химии Горюнов однажды сказал про директора: «Мужик с пружинкой, когда не трогают — тих, когда надавят — чертик выскочит».

Лет шесть назад на шоссе, огибающем стороной город, была возведена гостиница, названная по-новомодному мотелем, вместе с большой бензоапра-

вочной станцией и корпусами авторемонтных мастерских. Этот служебный поселок считался частью города, подчинялся городским организациям — не одной, а нескольким, — но жил своей, обособленной жизнью. Он — место паломничества тех, кого носили по дорогам колеса. Здесь можно было встретить кавказцев в неумеренно больших кепках, прозванных аэродромами, узбеков в расшитых тибетейках, неухоженно-джинсовую молодежь западной закваски и районно-командированный народец в поношенных плащах и кирзовых сапогах, с неизбытым терпением на физиономиях. Караван-сарай кочевников XX века! Здешние горожане, попавшие сюда, чувствовали себя как на чужбине, гостями.

Как всегда ночью, в разные часы, с разных концов сюда прибывали «запорожцы», «жигули», «москвичи», несущие на себе увечья — помятые крылья, продавленные дверцы, покореженные багажники. Они выстраивались в глубине авторемонтных мастерских, у маленького корпуса на отшибе, где размещался арматурно-покрасочный цех.

Когда в сумерки уже начала вливаться утренняя свинцовость, подкатил измызганный, сельского вида грузовичок, притянувший на тресе еще одни несчастные «жигули», с продавленной крышей, выбитыми стеклами и незадачливым владельцем, научным сотрудником крупного НИИ.

В восемь утра начался рабочий день, выстроилась очередь в регистратуре, ожили мастерские, открыл свои ворота и покрасочный цех.

В начале десятого возле цеха объявились две фигуры. Один низкорослый, тщедушный, чрезвычайно вертлявый, в потасканной лыжной кепке с наушниками, выступающим козырьком и еще более выступающим ассирийским носом. Второй костляво-долговязый, в пузырящейся, необмятой, почти новой шляпе над деревянным, плоско стесанным лицом. Это были подсобные рабочие по профессии, по призванию же — ханыги. Однако оба были довольно известны среди автолюбителей города. Они не только работали на подхвате у мастера-арматурщика Рафаила Корякина, а счи-

тались его близкими приятелями. Именно к Рафаилу-то Корякину и сбегались в ночь-заполночь со всей округи изувеченные машины, спешили занять очередь: золотые руки у мужика! Слава Корякина падала и на ханыг. Наиболее образованные из владельцев звали их не без претенциозности — Самсон и Далила, хотя имя первого не Самсон, а Соломон, второго же — Данила. Соломон и Данила, Рабинович и Клоповин, в обиходе Даня Клоп. Шерочка с машерочкой для тех, кто не блистал ветхозаветной эрудицией.

Вчера вечером шерочка с машерочкой в компании Бешеного Рафы сильно перегрузились, а потому сейчас чувствовали себя крайне паскудно. Во-первых, они проспали и опоздали, что им обычно не проходило безнаказанно. Во-вторых, жизнь вообще не мила, если не удастся «поправиться».

Но Соломон, более чуткий, чем его товарищ, вдруг повел носом и не без воодушевления объявил:

— Клоп! Кеб не стоит на месте! Клоп! Мое истрадавшееся сердце чует — денек нынче будет кейфовый.

Для этой тесной парочки все дни делились на кейфовые и стервовые. Первым же признаком кейфового дня было отсутствие под стеной, возле двери «Посторонним вход воспрещен», темно-зеленых вылизанных «жигулей» начальника покрасочного цеха Пухова. «Кеб не стоит», значит, Пухов, которого остерегается даже Бешеный Рафа, с утра «не пропашет» и день пойдет вперевалочку. Во всяком случае, взыскивать с Соломона и Данилы за опоздание некому, можно даже позволить себе «поправиться».

И Соломон, не тратя время на переживания, решительно направился к разбитым «жигулям», притащенным сельским грузовичком. «жигули», казалось, строили устрашающие гримасы, а их хозяин всем своим не утратившим былой респектабельности видом выражал смиренную безнадежность. Соломон, запустив руки в карманы, минуты три с суровым глубокомыслием изучал тяжкие увечья. За ним, как сумеречная тень, возвышался Данила Клоп. Наконец Соломон позволил себе изречь:

— Вы, молодой человек, конечно, хотите попасть к «доктору»?

— Да, хотел бы к Корякину... — робко обронил владелец.

— «Доктор» очень занят.

— Я понимаю... Я готов...

— Мы можем обещать вам одно — мы попробуем, мы только попробуем!

— Я буду вам чрезвычайно благодарен.

— Что ж, пожалуй... Мы не прочь убедиться.

— Простите, в чем?

— За поллитрой топай! — без ухищрений пояснил сгорающий от нетерпения Клоп.

То нехитрое, что совершалось в эту минуту, не раз вызывало революционные — не меньше! — потрясения в образцово-показательных для города авторемонтных мастерских: летело с насиженных мест начальство, новые метлы беспощадно выметали старый сор, пропалывались сорняки, наводилась идеальная чистота, но... Кто мог повлиять на неиссякаемую реку клиентуры, которая перла на этот единственный во всем большом округе автосервис, кому было под силу очистить ее воды? Река не мелела и несла сор. Революционные потрясения вспыхивали и гасли, снова вспыхивали...

И вот сейчас желающий попасть к «доктору» владелец оплошавших «жигулей», сам пользующийся известностью доктор наук, послушно потопал за поллитрой в гостиницу к некоему легендарному дяде Паше, не веря, что поллитра поможет, отдавая себе отчет, что имеет дело с «тоскующими алкашами», но тем не менее обманывая себя зыбкой надеждой — а вдруг да чем черт не шутит!

Шерочка с машерочкой не успели убраться в сторонку — перед ними внезапно вырос их начальник цеха Пухов, в мокром плащике, в мятой шляпе, натянутой на глаза, с потасканной папочкой под мышкой. Видно было, что сегодня он добирался из города не на своем темно-зеленом «кебе», а на перекладных, как Соломон с Данилой.

— Вчера вы сильно?.. — Вопрос с разгона, ни «здравствуйте», ни выговора за то, что еще не переоделись, не приступили к работе.

В авторемонтных мастерских грехом считались не вечерние попойки, а утренние поправки. А так как поправка еще только планировалась, то совесть шерочки с машерочкой была чиста. Соломон позволил себе игриво ответить:

— О чем звук, Илья Афанасьевич? Ха! Нормально!

— Вы вчера ничего за ним не заметили?

— Вы имеете в виду Рафу, Илья Афанасьевич?

— А кого же еще?

— Надо сказать откровенно: он был немножечко весел, извиняюсь, даже дал Данечке по морде.

— Немножечко — значит, сильно?

— Ой, мое сердце чует — что-то случилось!

— Корякин убит... Ночью. Сыном.

Пухов резко повернулся, пошел к двери «Посторонним вход воспрещен».

Моросил дождь. Мокрые, покалеченные «жигули» мученически стояли перед приятелями.

— Нас ждут большие перемены, Клоп... — наконец сдавленно произнес Соломон.

— Попрет! — Даня Клоп мог порой быть куда красноречивее своего велеречивого друга с помощью одного лишь слова, а иногда просто междометия.

— Без Рафы мы здесь никому не нужны, Клоп, а больше всех Пухову. — Неожиданно Соломон воодушевился: — Но он нас не попрет! Нет! Мы сами уйдем, Клоп! Но только хлопнув дверью. Громко хлопнув, чтоб наш родной Илья Афанасьевич вздрогнул от испуга.

Клоп неопределенно хмыкнул.

— Разве это справедливо, Клоп, что все будут думать — бедного Рафу убил мальчик?..

— Липа.

— Ты трижды прав, мудрое насекомое! Липа! И нам это нужно кой-кому объяснить.

— Хы! — удивился Даня Клоп.

— Докажем, Клоп, что мы все-таки люди... Лично твоему другу Соломону еще не выпадал случай доказать, что он человек.



Через полчаса они сидели в котельной мотеля за отобранной у доктора наук поллитрой. Соломон при молчаливом одобрении верного Данилы выработывал план: первое — сегодня не надираться, чтоб — второе — завтра не тянуло на опохмелку, ибо надлежит быть «прозрачными до полного доверия».

— Кло-оп! — со стоном захлебывался Соломон. — Я прокляну себя, если все это кончится пьяным трепом!

Клоп мычал в знак согласия.

## 17

Тихая, забитая Анна взбунтовалась: «Виновата во всем я!» И самое странное, что Людмила Пухова ничуть не удивилась сумасшествию подруги, — так и надо. Евдокия вдруг испытала зависть к невестке: хоть бы раз такое пережить, тогда б можно оглядываться назад — не пусто, есть что вспомнить, не зря жила.

Старуха не удивилась внезапному появлению Сулимова, а обрадовалась.

— Это Бог послал мне тебя, — сказала она сурово, подымаясь с койки. — Сама-то я вроде каменной стала — никак не сдвинешь... Спасибо, что вспомнил обо мне.

Седые патлы, незастегнутая кофта, открывающая заношенную нательную рубаху, из-под нее выглядывает не женски могучая ключица, морщинистое, бескровно-желтое лицо с массивным подбородком и в утопленных мелких глазках — странно! — страдальческая влага.

— Сядешь иль поведешь куда? — спросила она.

Сулимов оглядывался. Комната старухи казалась даже просторной из-за необставленности — стол, два стула, железная койка и ничего более. Суровая нищета подчеркивалась перекошенностью дряхлого здания — единственное окно в еле уловимой гримасе, неровные массивные половицы покато уходят к одной стене, а серый потолок косо подымается, все сдвинуто, шатко, вот-вот затрещит, начнет заваливаться.

— Сяду, — ответил Сулимов, пристраиваясь к столу, вынимая блокнот. — Не краснó, мать, живешь. Сын-то, видать, не щедро помогал.

— Просила бы — помог, — нехотя ответила старуха, снова опускаясь на койку.

— Не хотела просить. Из гордости?

— Боялась.

— Чего же?

— Рафашка мог рубаху последнюю скинуть — бери, только опосля жди — кожу сдерет. Уж такой...

— Вот ты ночью в горячке нам накричала: «Самой страшно, кого родила. В позорище зачала. В горестях вынянчила...» Как это понять? Объясни.

Старуха провела по лицу жесткой ладонью, словно старалась стереть воспоминания, избавиться от них.

— Незаконный он у меня, прижитой...

Сулимов выжидательно молчал, не подгонял вопросами.

— Не так уж и далеке отсюда наша деревня, а напроць ее забыла. Цела ли она теперь — и того не знаю... Тятки своего я не помню, в первую еще войну ушел и не вернулся, а мать померла, когда мне шестнадцать стукнуло. Куда деться-то?.. Вот и поманили меня Клевые. Справней их в нашей деревне никто не жил — четыре лошади, три коровы, а еще и маслодавильня, жмыхом свиной кормили. Возле свиной-то и пристроили меня, работки хватало. Тут и начал притираться ко мне Ванька, из сыновей старика Клевого младший и самый балованный. В сатиновой рубашечке, поясок шелковый с кистями, сапожки хромовые, да чета ли он мне, девке навозной. Ну и шуганула я его от греха. А он отказу в жизни не терпел — раз не далось, то позарез нужно. Сильничать пробовал, да я крепкой была, понял — не уломать, коль сама не схочу, стал ластиться, такие сказки сказывать, что уши слушают, а душа тает. И жениться обещал. Да-а... «Нынче, — говорит, — Дуська, порядки новые — бедняки-то в чести, а наше богатство на лычке висит». Да-а...

Евдокия загляделась в серое, окропленное дождем окно, молчала, помаргивала, сжимала в оборочку блеклые губы.

— Вот так-то, — оборвала она молчание, — меня ульстил и себе накаркал. Мне бы, дуре, к бабке Марфидке толкнуться, ан нет, в голову втемяшилось — ребеночком-то Ваньку свяжу, не отрекется...

Сулимов спросил:

— Клевые — фамилия или прозвище?

— По-уличному это. Отец — Семен Клевый, ну а он — Ванька Клевый. По бумагам — Истомины.

— Значит, Рафаил отцовскую фамилию не получил?

— Эва, не расписаны были. Да потом так обернулось, что уж лучше забыть отцовскую-то фамилию.

— Раскулачили Клевых?

— Умирать буду — вспомню, как он с котомочкой на плечах, в суконном зипунчике, в сапожках хромовых за подвой пошел да на меня оглянулся... Я даже повить, как бабе положено, не посмела. Кто я ему? Ни жена, ни суженая, пожалей — сраму не оберешься. Хотя срам-от под сердцем носила... Да-а... Он же раньше меня бросил — приелась. Зло на него должна бы держать. Нету! Я в жизни потом уж не слыхивала ласкового слова ни от кого! От него только. За то спасибо большое!

Глубокие глазницы старухи налились тоской.

— Из деревни тогда ушла или позже? — поинтересовался Сулимов.

— А как мне было жить в родной деревне? Рафашка еще не родился, а уж все потешались, в глаза мне его подкулачником называли. На свет еще не выполз, а уж нутко — подкулачник... Смешочки, хоть вешайся со сраму... — Старуха вдруг зашевелилась, заволновалась: — Да не о том, не о том я тебе говорю! Себя выгораживаю, на людей сваливаю — недобрые люди-де все подстроили, сама ничуть не виновата... Ан нет, я же его, Рафашку, еще в утробе невлюбила и потом всю жизнь как взгляну на свое дитя, так душа переворачивается — за что, мол, мне Бог такое наказание послал? Рази я не баба, рази не хочу, как все, мужа иметь? А кому нужна с привеском-то? Мое лютое — мо-ое! — на него перешло!..

— Не наговаривай! — перебил Сулимов. — Бывали же и у тебя материнские минуты. Наверняка чувствовала когда-нибудь, что он сын родной. Ласкала же, не без того.

Старуха задумалась, ответила не сразу:

— Знать, единова только... На новый манер бабы тогда стали рожать — в больнице. Вот из больницы-то я вышла: солнышко светит, лист в силу вошел, но не выцвел ишо, зеленый-презеленый, за душу берет. И вспомнилось, что решилась уже — в деревню не вернуться, укачу на сторону, в город на стройку, стыдиться мне там будет некого, и такая свободоушка нашла, все казалось легко и просто... Тут-то вот и увидала на рученьках его ноготки малюсенькие, а сам он на солнышко жмурится, улыбается вроде. Сердце тогда зашло, думаю — сама помру, а его, безногого, вытащу... А больше... Больше нет, не любилось. И некогда любить было. Время крутое — голодуха кругом, на вокзалах народ лежмя лежит, подняться не могут. К месту прибилась, кирпичи ворочала, придешь в барак — важная косточка кричмя кричит, одново хочется — свалиться да уснуть, а его обиходь, корми, подмывай, постирай. Еще и соседки на тебя шипят — от криков покою нету... Люби тут? Ой, не в силушку. Усохла моя любовь в росточке самом...

— Ну а он-то, Рафаил, любил в жизни кого-нибудь?

— Уж не меня только.

— Себя! — подсказал Сулимов.

— Не-ет! — решительно возразила старуха. — Вот уж не-ет! Он и себе-то нисколько не нравился.

— За всю жизнь — никого никогда? Да может ли быть такой человек на свете? — усомнился Сулимов.

— Людку Краснуху любил, но уж больно люто, резать ее стращал... И еще... Вот того и вправду, поди, любил нешуточно.

— Кого? — встрепенулся Сулимов.

— Пиратку.

— Какую Пиратку?

— Собаку.

— Рассказывай, — потребовал Сулимов.

— Чего рассказывать-то — пустое... Собачонка была, щенок улишний, кто как его кликал, взрослые — Кабыздошкой, ребятишки — Пираткой, к каждому ластился. Однажды лапу ему повредили, и сильно... У Рафашки никак не угадаешь, что наплывет: то такой сатаной взыграет, то вдруг найдет — без уему добр... Вот и Пиратку пожалел, в дом притащил, стал с лапой возиться да хлебом прикармливать. Война тогда по второму году шла, хлеба то уже самим не хватало... Выходил он Пиратку, лапа срослась, такой веселый да игривый обернулся, спасу нет. Ребятня из наших барачков, кто пошустрей, на товарной станции день-деньской отиралась, шабашили, значит... Рафашка тоже от них не отставал. Удалось ему как-то, притащил домой кус добрый сала свиного — военным-де ящики к машинам подтаскивал, за работу отвалили. Может, и так, военные снабженцы — народ щедровитый, не от своего пайка отрывали. А для нас, работяг, сало — диковинка, на карточки по мясным талонам одну селедку давали. «Схорони, — говорит, — мамка, день рождения у меня скоро, ни разу в жизни не поспраживали». Оно и верно, жили, а праздников не знали. Рафашке как раз должно стукнуть одиннадцать, что ли, лет... Господи! Господи! Вот времечко было — кус сала в доме завелся, так уж богатеем себя считаешь. И он и я, дура большая, нет-нет, да заглянем тишком в шкафчик, порадуемся — лежит в блюде...

Я с работы добиралась, Рафашка заскочил с улицы домой — обычным манером Пиратку своего разлюбленного проведать. А Пиратка, стервец, на полу лежит — шкафчик раскрыт, блюдо опрокинуто. Лежит Пиратка и наше сало догрызает... Да-а, тут и тихой бы осерчал, ну а Рафашка и от малого стервенился — глаза эдак побелеют, нос острый, с лица спадает. Да-а... Накинул на своего Пиратку веревку да волоком по улице к пруду. Грязный у нас пруд, мусорный, но глубокий, однако... Привязал Рафашка кирпич да с кирпичом-то Пиратку в воду... Да-а...

Ну, я как раз домой подоспела. Рафашка аж черный: «Пиратка сало съел!» Поняла сразу, не стала и спрашивать, где этот шкодливый Пиратка. И мне, правду сказать, тоже досада великая — сало жаль, столько о нем думалось. Рафашке попеняла: мол, следи, коли в дом привел... Он то сядет, то вскочит, то на меня круглым глазом зыркнет. «Пошли, — говорит, — к Фроське Грубовой штаны новы мерить!» Несет его... У меня кусок пилотажу был, так я уж ко дню рождения Рафашке штаны огоревать решила, Фроська с Запрудной улицы взялась шить. И вправду в тот вечер уговорились примерку сделать.

Бышли из дому: солнышко запало уже, смеркаться начало, кто-то гармошку от скуки иль от голодухи мучает, полувременье вечернее, все с работы пришли, по домам возятся, пусто на улице. И глянь, по пустой-то улице катится навстречь... Рафашка как в землю врос: он, Пиратка! Я-то не знала еще, что он с кирпичом на шею в пруд ушел. Да-а... Сорвался, выходит, кирпич, выплыла собака, трусит себе обратно. А Рафашка — глаза белые, нехорошие — эдак бочком, бочком пошел, сейчас прыгнет, вкогтится. Вот тут-то и случилось... Пиратка, паршивец, вместо того чтоб от Рафашки во все ноги, нет, прямо к нему — заповизгивает, на брюхо припадает, хвостом виляет. Эх-хе-хе! Проста животина... Рафашка, словно журавленок, на одной ноге стоит, а Пиратка в него тычется, и радуется, и жалуется, и прощения, видать, просит... Подкосило вдруг Рафашку, упал плашмя, схватил Пиратку, ревя заревел, целует, а тот визжит, лицо ему лижет. Смех и грех, право. Ну так вот, после этого не разлей вода оне — милуются. Не упомяну, чтоб Рафашка ударил Пиратку когда, чудно, в шутку даже не замахивался, сам недоедал, а собаку кормил. А та за ним как привязанная, врозь никогда не увидишь. Чем не любовь? И тянулась эта любовь года, поди, четыре, коли не больше. Рафашка жердястый стал, рожа ошпаренная, глаза цвелые, в кого — не понять. И чем больше рос, тем смурней делался. Пиратка тот и совсем вымахал — эдакая, прости Господи, зверина, шерсть

свалялась, ноги длинные и пасть до ушей. Характеру, должно быть, у хозяина понабрался, чуть что — в рык и зубы показывает. Добро бы просто показывал. Рафашке стоило на кого пальцем ткнуть — куси, Пиратка! — тот рад стараться, мужиков с ног валил, отбиться не могли. Сам-то Рафашка еще жидок был, не выматерел, а уж по поселку ходил — кум царю, уступай дорогу. И просто так натравливать любил, забавы ради, чтоб чувствовали и боялись. Парочка — гусь да гагарочка, наказание для поселка. А поселок наш на что уж бедовый — милиция сторонкой обходила. Да-а... Ох, глупы люди да непроворны. Сколько хвалилось, что Пиратку пристукнут, заодно и Рафашку пришьют, — нет, острострой все и кончилось, пока один тихонький молодец не нашелся. И всего-то за порванные новые штаны... колбаски бросил. Откинул лапы Пиратка. Ну, мой-то недели две в кармане ножик носил на тихонького... И поди, ума бы хватило пустить кровушку, да только не на того попал. Встретились, потолковали, дружками стали — не разлей вода...

Евдокия замолчала.

— Так все-таки были у него друзья не только среди собак? — нарушил молчание Сулимов.

— Да ведь волков диких и тех приручают.

— Вот как! Даже приручил дикого Рафаила. Кто же такой и долго ли они дружили?

— Всю жизнь, — не задумываясь ответила старуха. — Илья Пухов — не слышал? При нем до последнего дня Рафашка работал.

— Муж той Людмилы?

— Он самый. Хват. Людку-то он у Рафашки вырвал и дружбу сохранил. Ох и ловок — любого обкрутит.

— Водкой действовал?

— Того не скажу. Не-ет! Сам Пухов в рот не берет, навряд ли других понуждает.

Сулимов начал делать пометки в блокноте.

Евдокия недружелюбно разглядывала его, чего-то ждала.

— Все выпытал? — спросила она.

— Много. А что еще набезит, снова на свидание приду. И вот протокол оформлю — прочитать тебе его придется и подписать.

— А может, скажешь мне прежде?.. — Требовательный взгляд запавших глаз, недосказанность.

— Что именно?

— Бестолков ты, видать: пытал, пытал меня, слушал, слушал, а ведь так ничего и не понял. Пухов, видишь ли, его интересует, а я — ничуть... От Пухова ли беда пошла, не от меня ли?

Сулимов кривенько усмехнулся:

— Везет мне сейчас. В других делах — из кожи вон лезешь, виновников ищешь, а тут сами напрашиваются.

— Ты подумай-ко, покрепче подумай: от двух человек беда эта началась. От Ваньки Клевого и от меня. Ваньку-то что ворошить, поди знай, где его кости лежат. Да и не так уж виноват Ванька — сучка не схочет, кобелек не вскочит. Не был он при сыне, в глаза его не видывал. А я всю жизнь рядом. Иль мать за родного сына не ответчица?

— Ответчица. Готов попрекнуть тебя. Только зачем? Сама без меня все осознала.

— Я-то сознала, а вот ты совсем непонятлив. Сына худого вырастила — это еще не вся моя вина. Я и в другом круто виновата: знала ведь, ой как хорошо знала, что страшен людям мой сынок. Так не молчи, остерегай людей, спасти пробуй, стучись куда нужно. Не делала, смотрела себе со сторонки и чуяла, чуяла — стрясется, ой стрясется рано ли, поздно! Вот и скажи: можно ли за такое простить?

Сулимов пожал плечами:

— Наказывают людей, мать, за дурные действия, а за бездействие как накажешь?

— Вот оно! Вот! — вознегодовала старуха. — Веришь же, что Кольку нужда злая заставила! Как не верить — и слепому видно! Мальчишка глупый, не по своей воле — дес-твие! Его ли это дес-твие? Лихо сневолило! А уж ваш закон тут как тут. А то, что всю-то жизнь свою я это злое лихо выныачивала, — пусть?! Вы, поди, многих так наказываете — безвин-



ных в тюрьму, а виновных милуете! И ничего, совесть не точит? Ась?

— Совесть меня, может, и точит, мать, да ее к делу никак не пришьешь.

— То-то! То-то, что без совести дела творите! Не нужна она вам, совесть, выходит. Вот она я! Хороша? Сама ж признаюсь открыто — несправедно жила, уroda добрым людям сотворила. Простите меня за это, пускай и другие не боятся растить уродов на беду всем. На беду! На погибель! Пусть порча по свету идет! Да одумайся, милушко, — неужели тебе не страшно в таком несправедном мире самому-то жить? Ведь молод еще, жизнь-то пока вся впереди. Не страшно, что такие сидячие, меня вроде, без всяких дес-твиев жизнью тебе испакостят? Себя бы хоть пожалел, парень!

Сулимову вдруг стало не по себе: в который раз за сегодняшний день от совершенно разных людей он слышит одно и то же.

## 19

В это время в девятом «А» классе шел урок истории. Он неожиданно захватил всех.

Борис Георгиевич, щеголевато-подтянутый молодой учитель — всего лишь два года со студенческой скамьи, — как всегда, бойко, напористо, сам увлекаясь, рассказывал о «Народной воле», о «Северном союзе русских рабочих».

...Тихого нрава и трезвого поведения столяр Степан Халтурин совершил взрыв в Зимнем дворце: убито пятьдесят солдат Финляндского полка, а царь вместе с семьей остался цел и невредим, вспучило лишь пол в зале да попадали конверты с обеденного стола, накрытого в честь приема принца Гессенского... На следующий год бомба, брошенная двадцатипятилетним Игнатием Гриневицким, прикончила царя. И самого Гриневицкого тоже...

Убить, чтобы жить!.. — слушали затаив дыхание.

Борис Георгиевич с тем же напором доказывал: путь террора ничего не принес для освобождения России, вместо убитого царя стал царь новый, и...

В те годы дальние, глухие  
В сердцах царили сон и мгла:  
Победоносцев над Россией  
Простер совиные крыла...

Борис Георгиевич любил украсить урок стихами. С вниманием слушали и это, но... герои остаются героями даже тогда, когда их постигает неудача.

## 20

До сих пор в городе ходит легенда, связанная со строительством химкомбината. Один из ведущих инженеров предложил внести некоторые изменения при монтаже оборудования — упрощает работы, экономятся затраты. Инженер проявил напористость, пробил свое предложение, сам руководил монтажом. И уже когда испытания прошли благополучно, был подписан акт о приемке, инженера что-то насторожило. Он снова засел за расчеты и с ужасом убедился, что допустил просчет столь мелкий, что на него никто не обратил внимания. Однако эта мелочь при полной нагрузке в любой момент может привести к катастрофе — взрыв, выброс ядовитых газов, человеческие жертвы и выход из строя всего комбината! Ничего не оставалось как признаться в своей ошибке, пока не поздно, обвинить самого себя. Но не тут-то было — компетентные комиссии приняли работу, отчеты посланы, сроки выдержаны, экономия получена, премиальные выплачены, благодарности объявлены. Ломать снова, начинать все заново по старым схемам — нет, об этом и слышать не хотели. Инженер обвинял сам себя, готов был нести наказание, но ему не верили, его оправдывали. А комбинат готовился к пуску. И тогда инженер решился на отчаянный шаг: в кабинете начальника, курирующего строительство, он положил на стол заявление, вынул из кармана ампулу: «Здесь цианистый калий, не подпишете — приму на ваших глазах, вынесут отсюда труп. Лучше я, чем по моей глупости погибнут многие».

Возможно, эта история раздута изустной молвой, разукрашена небывальщиной, но до Аркадия Кирилловича докатилась в таком виде. Теперь он чувствовал себя в положении самообличающего инженера. Одна разница — тот знал, в чем его ошибка, Аркадий Кириллович пока что свою ошибку смутно ощущает: есть, допущена, грозный факт оповестил о ней, но в чем она заключается и как ее исправить — неясно.

Директор саморазоблачаться не собирается: «К семейной трагедии Корякиных школа отношения не имеет!» И постарается прикрыть грудью того, с кем вместе ошибался. Но ведь одна катастрофа уже разразилась, не последуют ли за ней другие?..

Только один Василий Потехин сейчас убежден: учитель Памятнов повинен в случившемся. Вдуматься — странно: не проницательный педагог, никак не человек семи пядей во лбу, явно недалекий, а почему-то он, не кто другой. Ссылается на свой горький опыт, полученный от Аркадия Кирилловича. Не совсем понятно, в чем этот опыт заключается, толково не сумел рассказать. Да и сам Аркадий Кириллович не был готов тогда его выслушать. Что-то заметили за тобой, не отмахивайся, дознайся, что именно. Любые сведения, даже бредовые, в данный момент важны.

И Аркадий Кириллович решительно направился на улицу Менделеева.

Снова тот же подъезд, та же лестница, и наверху, в квартире на пятом этаже, наверняка еще не смыта с паркета кровь. Но возле подъезда беззаботно играют детишки и сидят на скамеечке бабушки, а лестничные пролеты по-будничному скучны, тянет щами из-за какой-то двери. Сама по себе жизнь оскорбительно забывчива, следы трагедий в ней затягиваются, как в болоте, дольше всего они держатся в душах людей. Кто укажет, где та комната, в которой Иван Грозный убил посохом своего сына, а память об этом до сих пор не стерлась.

Аркадий Кириллович рассчитывал только узнать адрес работы Василия Потехина, но неожиданно тот оказался дома — взял отгул, чтоб справиться с потрясением.

Потехин поставил стул напротив, прочно уместился на нем, прямой, с нацеленным подбородком, с капризно-брюзгливым выражением на лице.

— Если уговаривать пришли, то напрасный труд, — заявил он сварливо.

— В чем вас должен уговаривать? — удивился Аркадий Кириллович.

— А разве вы не затем прибежали, чтоб я дочку из школы не забирал?

— Нет, Василий Петрович, хочу от вас снова услышать то, что вы говорили мне ночью.

— Может, ждете — днем ласковой буду?

— Мне сейчас не ласка нужна, а горькая правда. Так что не стесняйтесь — стерплю.

— Я теперь вот понял, почему раньше попов не любили.

— Похож на попа?

— Вылитый, красивыми побасенками о хорошем поведении людей портите.

— Вот это-то мне и растолкуйте.

Василия Петровича едва приметно повело от слов Аркадия Кирилловича, уж и так сидел прям и горделив, сейчас совсем выгнуло и расперло: ладони в колени, локти в стороны, глаза неживые, глядят сквозь, в вечность — памятник, а не человек, ну держись, оглушит сейчас истиной!

— Слышали: прямая линия короче кривой — геометрия! И все верят в это, понять не хотят — в жизни-то геометрия совсем иная, там кривые пути всегда прямых короче.

— Это вы сами открыли или подсказал кто? — поинтересовался Аркадий Кириллович.

— Подсказал! — отрезал Василий Петрович. — Подсказал и наказал!

— Гордин?

— Он. Святой мученик, виноват перед ним.

— Но вы говорили прежде — очковтиратель. Ошибались?

— Нет, так и есть.

— Ловчило?

— Тоже.

- Приспособленец, если память не изменяет?
- Можно сказать и это.
- И святой?
- Мир на таких стоит!
- Чем же он вас так убедил?
- Правдой!
- Не будьте так скупы, Василий Петрович, поделитесь со мной пощедрее.

Василий Петрович внял и чуточку пообмяк в своей монументальной посадке.

— Умный Потехин учил глупого Гордина, — говорил он сварливо в сторону. — Нельзя тянуть газовые трубы по окрашенным стенам, пробивать их сквозь паркетные полы, чтоб снова-здорово крась, крой, заделывай, бросай денежки. Давай, мол, товарищ Гордин, действовать по порядочку, пряменько. А труб-то нет и неизвестно, когда будут. Жди их, не считайся с тем, что рабочие бездельничают, что строительство в планы не укладывается, прогрессивку и премиальные не получают. Увидит рабочий класс, что свой рубль теряет, и мотнется в другое место, где и прогрессивочку и премиальные ему поднесут. Текучка начнется! Слыхали такое слово? Страшное оно. Квалифицированные рабочие разбежались, нанимай с улицы пьяню разную, отбросы, которых из других мест выкинули, запарывай строительство, приноси убытки, но уже не грошковые, каких умный Потехин боялся, а миллионные. Зато строго по прямой, геометрии придерживайся. А невежды Гордины, этой геометрии не желающие знать, ловчат, когда нужно очки втирают, приспособабливаются как могут, а миллионы спасают... Спасибо Гординым, без них прямолинейные умники мир бы набок завалили!

— Я, по-вашему, из них, из прямолинейных умников? — спросил Аркадий Кириллович.

— Самых опасных, не мне чета.

— И как же мне исправиться? Учить детей — не ходите прямо, ищите в жизни кривые дорожки?

— Только не по линейке, только не по геометрии из книжки!

— Похоже, я и не делаю этого.

Василий Петрович возмущенно подскочил:

— Не делаете!.. А чему же вы учите?

— Русской литературе хотя бы. А она тем и знаменита, что лучше других разбирается в запутанной жизни. Да, в запутанной, да, в сложной!

— Вы учите — будь только честным и никак по-другому?

— Уччу.

— И зла никому не делай — учите?

— Уччу.

— И сильного не бойся, слабому помогай, от себя оторви — тоже учите?

— Тоже.

— А-а! — восторжествовал Василий Петрович. — И это не по линейчке жить называется! Не геометрию из книжек преподаете! Запутанно, сложно, а прямолинейненько-то поступай!

— А вам бы хотелось, чтоб я учил — будь бесчестным, подличай, изворачивайся, не упускай случая сделать зло, перед сильным пасуй, слабому не помогай... Неужели, Василий Петрович, вам хочется такой вот свою дочь видеть?

— Я хочу... — Василий Петрович даже задохнулся от негодующего волнения. — Одного хочу — чтоб Сонька моя счастливой была, приспособленной! Чтоб загодя знала, что и горы крутые, и пропасти в жизни встретятся, пряменько никак не протопаешь, огибай постоянно. Ежели можно быть честной, то будь, а коль нельзя — ловчи, не походи на своего отца, который лез напролом да лоб расшиб. Хочу, чтоб поняла, и крепко поняла, что для всех добра и любя не станешь и любви большой и доброты особо от других не жди. Хочу, чтоб не кидалась на тех, кто сильнее, кто легко хребет сломать может, а осторожничала, иной раз от большой нужды и поклониться могла. Хочу, чтоб душой наивной не оказалась. Вот чего хочу! Ясно ли?

— А ясен ли вам, Василий Петрович, смысл половицы — как крикнется, так и аукнется?

— Я-асен! Ох я-асен теперь! Уж, верно, больше, чем вам... Кричи да остерегайся, где нужно — ше-

потком, а где и рыкнуть можно, расчетец имей, чтоб не аукнулось. Вот если б этой сноровистой науке вы мою Соньку научили, я бы первый вам в ножки поклонился.

— Всех этому научить или только одну вашу дочь?

— Всех, всех, чтоб вислоухими не были!

— Так что ж получится, Василий Петрович, — все науку воспримут, не вислоухие, ловкачи, будут стараться обманывать друг друга, хребет ломать тем, кто послабей... В дурном же мире Соне жить придется. Не пугает вас?

— А что ж делать-то, когда он, мир, таков и есть, доброго слова не стоит? И сменять его на другой какой, получше, нельзя — один всего. Выхода нет — приспособляйся к нему.

— Сменять наш мир на другой нельзя, а вот попробовать как-то исправить его...

— Исправить! — подскочил Василий Петрович. — Да не дай-то бог! Исправители еще хуже его покалечат. Я сам пробовал исправить и дров наломал. А Колька Корякин вон как жизнь исправил — нравится?.. Ой, не учите Колек, Сонек мир исправлять! Ой, не надо! Так исправят мир, что хоть в космос с него беги!.. Да зачем я остерегаю — уже научили, научили, все мало вам. Дальше учить собираетесь!.. Таких учителей не мешкая хватать надо да под семь замков прятать, чтоб их никто не мог видеть и они чтоб никого...

— Плохо учу, не тому учу — возможно, — согласился Аркадий Кириллович. — Но вдумайтесь, что вы предлагаете: приспособляться учи, себя спасать, других не жалеть!.. Тут уж всякую надежду, что мир, пусть не сейчас, пусть когда-то, лучше станет, оставь. И бежать в космос с такого гнусного мира смысла нет, изворотливое ловкачество, безжалостность друг к другу привычкой станут, в натуру войдут, их уже не сбросишь, как старое платье, с собой увезешь. И куда бы ни сбежал, всюду будет ждать отравленная жизнь.

У Василия Петровича между объемистым лысеющим лбом и волевым подбородком прошла судорога,

глаза спрятались, рот повело, и голос бабий, тонкий, срывающийся на визг:

— Да что мне весь мир! Могу я с ним, со всем миром, справиться? Иль надеяться могу, что справится Сонька? С ума еще не сошел — ни себя, ни ее Наполеоном великим или Марксом там не считаю! Я маленький человек, и она в крупную не вырастет. Нужно мне совсем мало — чтоб дочь родная счастливо жила. А остальные уж пусть сами как-нибудь без меня устраиваются... А вы!.. Вы одного попутали, мою дочь попутать можете — выкинет такое, жизнь пополам... Вы... вы враг мне!

Аркадий Кириллович разглядывал Василия Петровича. Он знал, никак не открытие — этот человек испытывает к нему вражду. Потому-то и пришел — враг может видеть то, чего сам не в силах заметить. Враг? Он?.. Да смешно — ожесточившийся заяц.

— Похоже, спорить нам дальше бесполезно. — Аркадий Кириллович поднялся. — До свидания.

Прежняя тревога и прежняя растерянность.

## 21

Оказывается, куда поместить Колю Корякина, решить было не так-то просто. В статье 393 Уголовно-процессуального кодекса указывалось: «Несовершеннолетние, подвергнутые задержанию или предварительному заключению, должны содержаться отдельно от взрослых и осужденных несовершеннолетних». То есть следовало подыскать для Николая Корякина такую камеру, где находятся еще не осужденные подростки.

Но из таких, пока еще не осужденных, сидели сейчас только двое — некто Копытин и Осенко. Один, семнадцатилетний верзила, заманивал к своей пятнадцатилетней сестре сильно подгулявших командированных и обирал их. Другой, болезненный, слабосильный Осенко, известный по кличке Валька Глаз, поздними вечерами выходил ловить прохожих, выбирал наиболее степенных и видных, задирали их.



Когда те, выведенные из себя, решались наконец проучить нахального мальчика, тот улучал момент, лезвием бритвы полосовал по лицу, стараясь задеть глаза, и скрывался. И делал он это не для того, чтобы ограбить, — просто так доказывал свое превосходство.

Совать к ним Колю Корякина вместе с его трагедией неразумно да и жестоко. Как эти двое повлияют на мальчишку, предусмотреть нельзя. Но, с другой стороны, заключать в одиночку, оставлять его наедине со своей крошечной бедой, тоже опасно. Подростки, замечено, вообще тяжело переносят одиночество, через несколько суток даже у самых здоровых, как правило, начинаются психические фокусы.

И все-таки пусть лучше побудет один. Пока. Через день, два Сулимов рассчитывал выпустить его до суда под личное поручительство, скажем, матери и того же учителя Памятнова. Ясно же — парнишка не из тех, которые пытаются убежать от наказания.

Комната, куда привели Колю Корякина, не походила на те тюремные камеры, которые он видел в кино и по телевидению, — темные, каменные, с зарешеченным оконцем под высоким потолком. Здесь было большое окно, только стекло в нем толстое, шашечками, непрозрачное, как доньшки бутылок, — свет пропускает, а ничего сквозь не видно. Не понять, вечерет ли за ним или день в полном разгаре, идет ли дождь или просто пасмурно. Койки, как полки в поезде, одна притянута к стене, другая опущена, накрыта серым байковым одеялом. Узенький столик посередине и в углу возле двери унитаза.

Наконец-то никто не мешал Коле. Теперь ему можно было остаться наедине... со своим отцом.

Отец... Прыгнувшее в руках ружье, удар приклада в плечо. Медленно, медленно, казалось, до бесконечности он падает на него, на ствол выставленного ружья... И вывернутая рука с согнутыми пальцами, неутоленная, не успевшая схватить, и спутанные, давно не стриженные кудельные отцовские

волосы, и черная вязкая струйка крови по паркету... Отец!..

Ненавидеть его Коля теперь уже не мог. За все, что отец сделал плохого, он расплатился полностью — черная струйка крови по паркету! Ненавидеть нельзя, заставить же себя совсем не думать о нем, забыть — Коле не под силу.

Он вспоминал отца и теперь, когда никто не отвлекал, начинал испытывать жалость, режущую, нестерпимую, к нему, лежащему с вывернутой рукой. Нет спасения от жалости, от раскаяния и от... ненависти к себе.

Коля попытался вызвать мать, несчастную мать, забитую пьяным отцом. Но вывернутая рука, давно не стриженные кудельные волосы — разве несчастье матери сравнишь теперь с отцовским! Мать мелькала, расплывалась, исчезала, все заполнял отец.

Уже несколько раз в течение дня приходила простенькая мысль: «Он же не всегда был плохим...»

Пришла она и сейчас, и память сразу охотно на нее отозвалось. Стали всплывать тихие случаи, совсем, казалось бы, пустячные, не навещавшие прежде Колю даже во сне. Они обступили, закрыли страшное, стало успокаивающе больно...

Едва ли тогда ему исполнилось шесть лет, во всяком случае он еще не ходил в школу. За окном в городе шла весна, только что пролил короткий напористо-звонкий дождь, на стекле еще висели светлые капли, с синего неба над крышами бежало прочь замешкавшееся облако. И в открытую форточку пахло распуштившимися тополями.

А в неприбранной комнате было неуютно и молчаливо. Мать пряталась на кухне, оттуда доносился звон посуды, негромкий, унылый. Только что проснувшийся отец грузно сидел на смятой постели, лицо не красное, а серое, жеваное, с упавшими веками, безглазое, большие босые ноги спущены на пол, они какие-то бескостные, бессильные, даже не верится, что отец сможет встать на них, ходить, как все люди. Вчера вечером он был страшен, Колька с матерью

бежали от него к соседям. Сегодня его нечего бояться, он болен и, должно, сам себе противен.

Вдруг в распахнутой форточке метнулась тень, комната заполнилась упругим фырчащим шумом трепещущих крыльев. Полупрозрачный сгусток кипящего воздуха — от серого потолка к Колькиной голове, от одной стены к другой. Мелкая птица, неожиданная гостя. Она, должно быть, поняла, как грубо ошиблась, ворвавшись в этот тесный, душный, угрожающе-молчаливый угол мира. Совершив пляску, она ринулась обратно на простор, к синему, напоенному солнцем, обмытому дождем небу, навстречу тополиному запаху. И налетела на стекло с такой силой, что упала, оглушенная, на подоконник. Колька кинулся к ней...

Ясно-желтая грудка, пепельная спинка, в перышках крыла голубой торжествующий отлив, глаз мертвенно задернут, но сквозь мягкий пух пальцы уловили суматошное биение крохотного сердца. Над ухом раздалось тяжелое дыхание. Колька обернулся — растерзанный отец стоял над ним, на его помятом лице непривычная робость и на губах виноватая мученическая улыбка.

— Князек заскочил, гляди-ко, — сказал он.

— Живой.

— Небось оклемается... Князек в городе, надо ж!..

— Я ему гнездо устрою.

Отец несмело улыбался, под набрякшими веками, под жесткими светлыми ресницами влажные болеющие глаза.

— Он чего ест?.. Ой, ожил!

У князька открылся бисерный блестящий глаз, Колькина ладошка сжалась.

— Не тискай, задавишь еще... Слышь, Колька, отпусти его. Князек — птица лесная, вольная, взаперти сдохнет. — И мученическая улыбка, и голос непривычно просящий. — Я тебе канарейку с клеткой куплю, петь будет.

Кольке почему-то вдруг стало жаль, хоть плач, только неизвестно кого — птичку, попавшую в беду, или похмельного, встрепанного, мучающегося отца.

Он даже не решился накормить гостю. Отец помог ему вскарабкаться на подоконник, он дотянулся до открытой форточки и разжал руку. Князек мелькнул ясно-желтой грудкой и мгновенно растаял в синеве, обнявшей лежащий внизу город.

В тот вечер отец пришел чистый, трезвый, тая в глазах весеннюю голубизну, а в губах ухмылочку. Он поставил на стол легкий объемистый пакет, завернутый в серую шершавую бумагу. Осторожно, стараясь, чтоб не шуршала, отец снял бумагу, и под ней оказалась круглая проволочная клетка с деревянным низом, выдвигающимся ящиком. Внутри на палочке сидела ржавенькая птичка, чуть побольше князька, быть может, не столь красивая, однако с широким бордовым галстуком.

Кенар ел конопляное семя, запрокидывая смешно голову, пил воду из блюдечка. Он очень скоро прижился и стал петь — дробно, с россыпью, с прищелкиванием, с нежным присвистом. Отец радовался не меньше Кольки, считал коленца... А у матери с лица не сходило испуганное удивление.

Неделю, а может и больше, отец приходил по вечерам рано, и чай пить садились теперь не на кухне, а в большой комнате за круглым столом, накрывали его глаженной скатертью. Кенар пел, и каждый вечер походил на праздник...

Сначала отец пришел лишь чуть подвыпивший, веселый, добрый, разговорчивый. И мать сразу увяла, сжавшись, молчала весь вечер. Но чай был, и кенар пел...

На другой день отец толкнул мать на шкаф, клетка с кенаром, накрытая от света платком, свалилась со шкафа на пол. Нет, кенар не разбился, остался жив, только после этого совсем перестал петь, сидел нахохлившись, ничего не ел. И лишь по вечерам, когда пьяный отец начинал громко ругаться, швырять стулья, на кенара стало находить сумасшествие, он метался в клетке, бился грудью о прутья...

Он скоро сдох, и Колька похоронил его в углу двора, за трансформаторной будкой, положил сверху два кирпича — вместо памятника и еще чтоб не



выкопали и не сожрали кошки. Никогда уже больше не пили чай за круглым столом, покрытым белой скатертью...

Отец любил собак и птиц. На рыбалке однажды чайка схватила наживленного на перемет пескаря, сама попалась на крючок. У этой чайки были жесткие крылья, столь белые, что Колькины загорелые руки казались черными, как у негра. И голова чайки — маленькая, злая, с ненавидящим острым глазом. Отец и тогда приказал выпустить чайку.

Отец... О нем можно думать. Его даже можно любить.

Не надо только додумывать до конца. Не надо!

.....

Скупой отмеренный день поздней осени угас. Он был тусклый и мокрый, похожий на вчерашний и позавчерашний. Как всегда, многочисленные проходные комбинатов, заводов, фабрик — гигантских, всесоюзно прославленных и неприметно-мелких, местного значения — выпустили рабочих, закрылись до утра, до нового рабочего дня. Но закрылись далеко не все, многие пропустили через себя ночные смены. Город лишь замирал, но не переставал жить уже не наружной, не суетливо-шумной, а потаенной жизнью. Какие-то станки не остановились, раздутые печи не погасли, дежурные краны продолжали вращаться, крутились роторы электростанций, гнали по проводам электричество, совершалось ежесуточное чудодейство — грязная руда превращалась в чистый металл, мертвый металл в живые машины, сырье становилось продукцией, а время овеществлялось даже тогда, когда большинство жителей засыпало, забывая о неумолимости времени.

Кончился день, для всего города очередной, в общем, самый обычный. В этом тесном людском скоплении, где течение бытия мощно завихряется, всегда выплескивается наружу что-то гнилостное, оскверняющее существование. Где кипение, там и пена.

Кончился день, сам город ничем особым не отличал его от других дней. И только у какого-нибудь десятка людей сегодня круто перевернулась судьба.

## Часть вторая

### 1

С утра Сулимов решил свозить Колю Корякина на экспертизу. Без медицинской экспертизы в таком деле обойтись нельзя. Сулимов мог бы перепоручить эту процедуру и другим, но вдруг да потребуется что-то уточнить, пояснить, дополнить — уж лучше сам.

Больница, куда он вместе с Колей и сопровождающим милиционером подкатил на спецмашине, когда-то стояла за городом. Теперь город со всех сторон обошел ее — несколько потемневших кирпичных корпусов, окруженных худосочным парком. Еще в конце прошлого века эту больницу основал известный в России психиатр, теперь она носила его имя, но в просторечии издавна звалась непочтительно кошатником или дурдомом.

Уже не столь известный по стране психиатр, однако все же нынешняя местная знаменитость, доктор медицинских наук, заведующий отделением, к чьим услугам следственные органы осмеливались прибегать только в особо важных случаях, оторвался от своих больных, от организационных забот, от конфликтов вверенного ему медперсонала, уединился с Сулимовым в кабинете, полистал бумаги, задал несколько незначительных вопросов, произнес:

— Что ж, давайте сюда вашего соловья-разбойничка.

«Соловей-разбойничек» выглядел жалко — сиюшное, до хрупкости исхудавшее лицо, затравленные светлые глаза со вздрагивающими зрачками, тонкая, напряженно тянущаяся из просторного воротника шея...

Местная знаменитость, лысый, с лепным черепом, массивный мужчина, державшийся с Сулимовым грубовато-добродушно, при появлении Корякина изменился мгновенно и разительно — не только физиономия, но и все его плотно сбитое тело стало выражать приветливое участие. Он посадил Колю так, что острые Колины коленки упирались в его тугие,

полные колени, начал расспрашивать заботливо и не напористо — хочешь отвечай, хочешь не отвечай, твоя воля: занимался ли спортом, страдал ли головными болями, хорошо ли спал по ночам, какие книги больше нравилось читать... Прерывал вопросы, просил перекинуть ногу на ногу, обстукивал молоточком, заставлял следить за толстым пальцем, нацеленным в потолок, снова и снова спрашивал бархатно стелющимся голосом, втягивал в необязательную беседу. Коля отвечал коротко и ясно, не спуская беспокойного взгляда с врача. Беспокойного, но вовсе не недоверчивого.

— Ну иди, дружочек, — наконец ласково отпустил доктор к сопровождающему милиционеру, ждавшему за дверью. И когда Коля вышел, местная знаменитость ворчливо заметил: — Как пациент он не представляет для меня ни малейшего интереса.

— Нормален? — спросил Сулимов.

— Нормальных людей на свете нет!

Психиатр плотно уселся за свой стол и с профессиональной быстротой врача, которого ждут многочисленные больные, приходится дорожить каждой минутой, написал следующее заключение: «Николай Рафаилович Корякин душевным заболеванием не страдает. Обнаруживает признаки эмоциональной неустойчивости. В период, предшествующий инкриминируемому деянию, он находился в состоянии естественной подавленности, связанной с длительной психогенно-травматизирующей ситуацией, но не носившей болезненно-психотического характера. В момент, относящийся к совершению правонарушения, признаков какого-либо временного болезненного расстройства душевной деятельности не обнаруживал. Как видно из материалов дела и настоящего психиатрического обследования, у него в тот момент отмечалось состояние эмоциональной напряженности, связанной все с той же ситуацией, не сопровождающейся психотической симптоматикой (бредом, галлюцинациям, искаженным восприятием окружающего). Поэтому в отношении инкриминируемого деяния Н. Р. Корякина следует считать вменяемым».



Сулимов пробежал бумагу, спрятал ее.

— Еще один вопрос, доктор... Так сложилось, что мы сейчас вынуждены держать его одного. Не преподнесет ли он нам какой-нибудь сюрприз?

— И долго ли вы его собираетесь изолировать?

— Вот это-то и хотелось бы нам от вас услышать — сколько суток выдержит безболезненно?

— Не могу поручиться, что такой субъект не завтра, так послезавтра не выдаст неожиданный симптом. Правда, ничего такого не случится, чтоб мы потом вынуждены были изменить заключение, посчитать невменяемым.

Но, уже выпроваживая Сулимова из кабинета, доктор на прощание все же бросил:

— Все-таки я бы на вашем месте постарался его не травмировать — крайне неустойчив, не защищен толстой шкурой...

И Сулимов понял: этот выдавший виды человек, изо дня в день влезавший в чужие несчастья, со всех сторон окруженный изломанными людьми, бесхитростно, по-бабьи жалеет паренька. Почему-то вдруг Сулимов ощутил за собой неясную вину, словно что-то не сделал, не выполнил какого-то важного обещания. Но ничего никому он не обещал и честно делает все что может, сам жалеет непутевого преступничка, чист совестью. Чист, а поди ж ты, вина не проходила...

Он и раньше намеревался прямо из больницы завести его к себе — собственно, допрашивать уже не о чем, во всем признался, надо лишь подписать протокол допроса. Подпись Коли Корякина нужна была сейчас для двух операций. Во-первых, вчера, расставаясь с его матерью, Сулимов обещал ей устроить свидание. И это можно проверить сразу же, как только он предъявит оформленный протокол. Ну а во-вторых, есть основание рассчитывать, что и вовсе мальчишку отпустят на поруки.

Теперь Сулимову захотелось еще как-то поддержать парня: да, сорвался, да, натворил — самому и другим жутко, только не считай, такой-сякой, что жизнь твоя уже совсем кончена, испукать вину ни-

когда не поздно, а мир не без добрых людей — и поймут и помогут, встанешь на ноги.

Однако когда Коля Корякин опустился на стул в кабинете — судорожно сведенные челюсти, прозрачные, опустошенные тоской глаза направлены куда-то мимо, сквозь стену, в беспросветную даль, — самого Сулимова охватила безнадежность, и произносить тут слова с бодренькими интонациями стало просто невозможно. Да и в протоколе, который он подготовил для подписи, ничего обнадеживающего не содержалось — не мог же он не внести туда признания о заранее заряженном ружье. Посочувствуешь и подсунешь — подпишишь, убийство-то совершил не случайное, а преднамеренное!

Подавленный Сулимов предложил Коле внимательно перечитать написанное.

— Возрази, если не согласен, готов любое учесть.

Но Коля с явным нежеланием, насилуя себя, проглядел, нетвердой рукой вывел фамилию. Сообщение о свидании с матерью он выслушал равнодушно, казалось даже, пропустил мимо ушей, а вот обещание — попытаемся выпустить тебя на поруки — вызвало волнение:

— А куда денуть?.. Дома жить, где кровь пролил, — нет!.. И от людей же прятаться придется — убийца... Не надо!

Это рассердило Сулимова:

— Нам лучше знать, что надо, а что не надо. Держим под арестом тех, кто опасен или собирается скрыться. Тебе верим — ничего больше не натворишь и в бега не сорвешься. А где жить?.. Приютили же твою мать люди и тебе место найдут.

Все-таки вроде бы ободрил. Но Коля замкнулся — сцепленные челюсти и взгляд в далекое.

На том у них все и кончилось — вызвал милиционера, попросил увести.

Надо было доложить обо всем начальству, связаться с прокуратурой, побывать на месте работы покойного Рафаила Корякина — дел невпроворот, — а он сидел над раскрытой папкой и не мог заставить себя подняться.

Нельзя сказать, что Сулимов жил бездумно, работа такая, что постоянно ставит запутанные задачи — шевели мозгами! И шевелил, но всегда применительно к чему-то конкретному, к практическому. А отвлеченные рассуждения с душевными переливами — нет, и характер не тот, да и делу помеха. Должен быть собран, решителен, всегда ясно представлять, что к чему, не колебаться, не путаться и не раскисать в сомнениях.

Сейчас же вдруг набежало... Не то чтобы засомневался, а мысли улетали черт-те куда — к незнакомой деревеньке начала тридцатых годов, к Ваньке Клевому, кулацкому сынку, соблазнившему девку-батрачку, к ребенку, который еще не успел родиться, но уже получил прозвище «подкулачник». Должно быть, злое по тем временам прозвище...

Вон она где еще завязалась, крутая веревочка! Через голодные годы, через барачный поселок первой пятилетки, через войну потянулась она на улицу Менделеева, к прошлой ночи.

Телефонный звонок заставил его очнуться. Звонили из проходной.

— Тут сразу двое к вам просят. Близкие знакомые убитого Корякина. Хотят что-то сообщить, говорят — важное.

— Откуда они?

— Работали вместе с Корякиным.

— Есть ли среди них Пухов?

— Никак нет. Рабинович и Клоповин их фамилии.

## 2

Они появились перед ним. Впереди низенький, с петушиной осаночкой, прыгающими глазами и наигранной бравадой явно робеющего, но решившегося на подвижничество человека. За ним, шаг отступя, громоздко-длинный, связанно шевелящийся тип, неподвижная физиономия которого выражала лишь извечную сонливость. Не нужно было быть особенно проницательным, чтоб понять: этот из тех, для кого все желания сводятся к одному неутоляемому —

к водке. Такие обычно старательно обходят далеко стороной любые официальные учреждения, избегают наблюдающих за порядком. И то, что они вдруг решились по своему желанию проникнуть сквозь дверь, охраняемую дежурным милиционером, вызвано, должно быть, какими-то исключительными мотивами. Но еще неизвестно, по своему ли желанию здесь, не по чужой ли воле. В любом случае они достойны пристального внимания.

— Чем могу служить? — с подчеркнутой вежливостью, намеренно холодно, стараясь показать, что ничуть не удивлен и не очень заинтересован, спросил Сулимов.

Первый, с петушиной осаночкой, доблестно преодолел свою робость, ответил почти вызывающе:

— Спросите нас, кто мы такие, и вам станет понятно, что мы имеем кой-что сообщить товарищу начальнику.

— И кто же вы?

Посетитель с петушиной осаночкой еще сильнее выпятил узкую грудь, повел носом в сторону своего до древесности равнодушного приятеля и воодушевленно объявил:

— Мы близкие друзья безвременно погибшего Рафаила Корякина!

— Для полного знакомства неплохо, чтоб вы еще и назвали себя.

— Ах, вас интересуют наши незначительные персоны!.. Соломон... И учтите — это мое настоящее имя... Соломон Борисович, увы, Рабинович. Да, еврей. Да, с двадцать пятого года рождения. И нет, нет! Под судом и следствием Соломон Рабинович никогда не был!

— Ну а вы? — Сулимов обратился ко второму.

— Клоповин я, Данила Васильевич, — объявил тот угрюмо.

— Достойнейший человек! — горячо воскликнул Соломон.

— То есть тоже не был под судом и следствием?

— Был, — с суровой простотой признался Клоповин.

— Даня, объясни! Даня, у товарища начальника может создаться нехорошее о тебе мнение!

— А что — был... В деревне из-под молотилки шапку зерна унес... С голодухи... Под указ попал, пять лет дали.

— И все! И все! Разве вы посчитаете это виной? — волновался Соломон.

Сулимов смотрел на этих людей и решал — выслушать их по одному или же не следует разбивать парочку? Если они явились с какими-то откровениями, то очень важно, чтоб не чувствовали себя связанными. Явно долго сговаривались, поодиночке навряд ли решились бы прийти сюда, разъедини — утратят чувство плеча, вместе с ним и запал. Соломон, может, что-то еще и выдаст, а из его дружка тогда слова не выдавишь. И, кроме того, они пока не свидетели, которых статья 158 Уголовно-процессуального кодекса обязывает допрашивать порознь, от предстоящего разговора зависит, станут ли ими. Нет, нельзя разбивать парочку, лучше потолковать в компании.

— Садитесь, — пригласил Сулимов. — Итак, вы оба были друзьями Рафаила Корякина?

— Первейшими! — отозвался Соломон.

— То есть собутыльниками? Вы такую дружбу имеете в виду?

Соломон скорбно вздохнул:

— Если хотите — да! Иных друзей покойный Рафа, скажу вам, не признавал. Но мы с Даней и сейчас, когда он ушел от нас навсегда, храним ему верность. Хотя Рафочка имел несдержанный характер и часто был груб с нами, мы с Даней ему все прощаем. Правда, Даня?

Даня выдавил из себя: «О чем звук!» — утробным баском.

— Так что же вы хотели мне сообщить?

Соломон набрал в грудь воздуха, на минуту замер, поводя выкаченными глазами.

— Вы, конечно, себе думаете, — заговорил он, — что, если б несчастный мальчик не убил своего папу, папа был жив. Так мы с Даней вам скажем: мальчик поспешил, папу и без него бы убили.

— Это догадки или у вас есть факты?

— Факт тот, что вы видите перед собой подручных... Да, как ни прискорбно, подручных убийцы! — возвестил Соломон. — Но, учтите, невольных, только сейчас понявших свою ужасную роль...

— Заявление, прямо сказать, оглушающее, — произнес Сулимов.

— А легко ли нам его сделать? Нет! Отнюдь! Но мы желаем остаться честными людьми. Правда, Даня?..

— Давайте по порядку.

— Два года назад нас с Даней наняли в покрасочный цех. Почему? Ни я, ни Даня в жизни никогда не правили и не красили машины. Но мы... мы, каемся, пристрастны к зелью! Да! К «зеленому змию». Сами скорбим, но... пьем! Вот за это-то нас и оформили...

— За пьянство?

— Именно! Чтоб были всегда под рукой у Рафаила Корякина! До нас возле него держали тоже двоих — Пашку Козла и Веньку Кривого, один не выдержал тяжелых обязанностей и отвалил, а другой доблестно сгорел на боевом посту. Нам так и было сказано: «Возьмете зверя на себя». Напрямую, товарищ начальник, напрямую!

— Пухов?

— Ах, вам уже известна эта фамилия? Тем лучше, тем лучше!.. Кому еще выгодно, чтоб Рафа Корякин не переставал пить! Если он завяжет, не станет брать в рот ни капли, то, скажите на милость, зачем ему тогда вкалывать и тянуть длинный рубль? Он не был сребролюбцем, наш покойный Рафочка. Но он любил больше нас с Даней трижды проклятое и трижды прекрасное состояние подогретости. Каждый из нас за него готов продать душу! За наши души, мою и Дани, ничего не дают. Зато душа Рафы — ой!.. Душа мастера, скажу вам, кое-чего стоит!

— Вы, кажется, забыли, что начали с того, что Пухову не выгодно, если Корякин бросит пить, — напомнил Сулимов.

— Хе! Да ясно же — Рафа тогда освободится от Пухова, Пухов лишится курочки, несущей золотые яички. Даня! Разве я не прав?

Даня нечленораздельно буркнул в знак согласия.

— Так что же, Пухов хотел убить курочку, несущую золотые яички? Не вяжется, Соломон!

— А что вы называете убийством? — подпрыгнул на стуле Соломон. — Кровососание, по-вашему, не убийство?

— Но желал Пухов смерти Корякина или не желал?

— Не желал! — с широким жестом возвестил Соломон. — Но понимал, что убивает!

— Он что, заставлял пить Корякина?

— Он? Сам? Ах, что вы, не надо нас смешить! Заставлять — фи... Нет, надо умно организовать, надо создать все условия, чтоб Рафа не просыхал, но только в свободное время. Если Рафочка выполняет срочный заказ (а несрочных у Рафочки не было) — все закрыто! Над ним строгий контроль, нас, изнемогающих, теснят в сторону: не время, когда освободится... Освободится! Вот свободы-то он и не получал — прыгай сразу в угар. Нет денег — бери в долг. Нужны хорошие застольные друзья — пожалуйста. Они специально для этого и наняты. Им строго наказывается — не набирайтесь, сукины дети, на стороне, берегите себя для Рафочки! И если даже они заняты на работе — освободить их... Все условия, чтоб Рафочка не мог даже чуть-чуть задуматься. О-о! Даже о семье Рафиной за Рафочку думает сам Пухов, чтоб большой нужды не знала. Ни о чем не тревожся, дорогой Рафа, прожигай деньги, чтоб их заработать, зарабатывай, чтоб сразу прожигать, не смей застопорить, не то Пухову перестанет капать. Системка... И как она вам нравится, товарищ начальник?

— Вы оба эту систему понимали, а Корякин — нет? Уж настолько он был глуп? — спросил Сулимов.

И снова привел в трепетное состояние Соломона:

— Наоборот! Как раз наоборот! Он понимал, а мы с Даней не допирали. Он как доходил до накала, то на чем свет стоит ругательски клял Пухова. И что же? Шел к Пухову, чтобы снова добыть денег и прожечь их!

— Когда же вам открылось все?

Соломон в волнении вспорхнул со стула.

— Чувствовали давно — да! Но всю глубину не осознавали — тоже да! Но с глаз спала пелена, как только услышали от него же, от Пухова, что мальчик — папу... Кто мы? Помощники! По слепоте, по глупости, по слабости характеров, но помощники!..

— Сты-ыд! — прохрипел друг Даня.

— Именно! Именно! Мы с Даней почувствовали стыд! Все можно залить водкой — смерть родной мамы, любое горе, — но стыд... Один стыд не заливается этим снадобьем. От водки, скажу вам, он еще сильнее разгорается... Мы вчера чуть-чуть прикоснулись за помин души Рафы Корякина. И как мы расстроились, как расстроились!.. Даня, сказал я, мы проклянем себя, если не откроем правду! Даня, говорил я, мы на час, на один только час должны стать мессией! Вы знаете, что такое мессия, товарищ начальник?

— Знаю! — обрезал Сулимов. — Не знаю одного — чем вы чище Пухова, на которого все взваливаете? Он корякинскими деньгами корыстовался, вы — водкой! Два сапога — пара.

Обвисшие щечки Соломона дрогнули, нос одервенел.

— Да-ня-а! — с неподдельной горестью. — Мы с тобой по-благородному, мы очиститься, а нас припечатывают!.. К кому?!

— Хватит скоморошничать, Соломон! Объясните лучше разницу между вами и Пуховым.

Перекосившийся, с вознесенным носом Соломон напоминал в эту минуту умирающую экзотическую птицу.

— Объясню. Только попрошу — взгляните в нас...

— Да уж вижу.

— Некрасивы?.. Вы правы, вы правы — мы с Даней, да, безобразны! Но не спешите презирать нас. Мы — санитары. Если Пуховы извергают навоз, то мы им питаемся. Ой, что было бы, если б Рафа Корякин гулял без нас, со случайными! Один Бог это



знает, что было бы!.. Ах, как он мог обижать, когда напивался, — пересказать нельзя, это надо видеть и слышать! Какими гнусными словами он нас обзывал, а особенно меня. Пьяный Рафочка всегда вспоминал, что я еврей. И он не только нас обзывал очень нехорошими словами, он еще бил нас. Смеею вас уверить — у Рафочки были ой тяжелые кулаки. Кто бы стерпел это, кроме нас с Даней?.. Бедная жена Рафочки еще не знает, что ее немножечко спасали... Да, да, мы с Даней. Не мы бы, она имела совсем, совсем не то, что получала. Чутьочку больше! Ха! Конечно же Рафочка был богатой натурой, после нас у него оставалось и на жену, и на несчастного сына... И Пухова мы тоже спасали, хотя он нас и презирал, но с этой целью — да, да — держал возле Рафочки. Поэтому прошу, очень прошу, не путайте нас с Пуховым. От него — грязь, после нас — крошечка чистоты. Конечно, навозные жуки плохо пахнут. От нас воротят нос, Даня! Скажи, Клоп, что мы к этому привыкли...

— Так какого же лешего вы стонете о Рафочке, сдается, не только жалеете, а даже готовы его любить?

Друг Даня издал горлом сложную руладу, а Соломон весь сморщился, отвел в сторону затравленные рыжие глаза.

— Вы счастливый человек, — сказал он. — Вас любили папа и мама, когда вы еще лежали в коляске. И вы не сможете понять нас с Даней, которых никто никогда не любил, а все отворачивались и говорили: пфе! Так вот что я вам скажу, счастливый человек: нас любил он! Да, он, этот злой, этот страшный Рафа, которого все боялись. И сам Пухов тоже его боялся... Да, Рафочка издевался над нами, оскорблял нас и бил даже... Но он не брезговал нами, мы были ему нужны... Ему! Да! А скажите мне: кому еще на свете нужен Соломон Рабинович, сорок девять лет назад нечаянно родившийся в местечке Выгода под Одессой? А кому нужен Даня Клоп, спившийся мужик из деревни Шишиха? Ужаснитесь, пожалуйста, за нас. Не можете?.. Я так и знал. А мы с Даней не можем

забыть, что кому-то были нужны. И мы с Даней плачем, что снова — никому, никому...

Беспокойные, затравленные глаза Соломона и тяжелый взгляд Дани Клопа. Сулимов сидел перед ними, навалившись на стол.

— Вот оно как, — наконец выдал он, — даже Рафаила Корякина кто-то оплакивает.

— Чистыми слезами! Учтите — чистыми! — тенористо воскликнул Соломон.

### 3

В природе приспособиться — значит выжить. Но человек никогда не удовлетворялся лишь одной возможностью выжить, сохранить себя и потомство. Наскальный рисунок первобытного художника не сулил выживания, тем не менее он тратил на него время и силы, отрывая их от добывания пищи насущной. И современные астрономы, изучая умопомрачительно далекие квазары, меньше всего думают, какое жизненно практическое применение найдут их открытия.

Человек ли тот, кто замкнулся на самосохранении — выжить и больше ничего? Да и возможно ли жить, отгородившись от того безбрежного, что окружает? Жизнь безжалостна к несведущим.

Василий Петрович Потехин (не хочу ничего знать, кроме своего!) — сейчас выписывает наряды на ремонт кухонных плиток, а недавно руководил большим газовым хозяйством — идет ко дну, намерен тащить за собой дочь.

Такие вот Василии Потехины чем пришибленнее, тем усерднее готовы вершить суровый суд: ты ошибаешься, а я теперь — нет. Что верно, то верно: Василий Петрович ошибок совершать уже больше не будет потому только, что не будет совершать и каких-либо поступков. И глядящим со стороны он станет казаться всегда правым.

Случилось убийство. Как хочется от него отодвинуться подальше и как это в общем-то просто сделать. Достаточно не признаться себе — совершил

ошибку, тем более что она так смутна, так неощутима. Кто посмеет тебя подозревать, кому придет в голову тебя обвинить?..

И появится на свете еще один Василий Петрович Потехин — замкнут на себя, всегда и во всем правый, медленно опускающийся, лишенный уважения к себе и другим.

Нет! Нет! Ищи ошибку, уличай себя!

Жизнь безжалостна к несведущим... Но что знает любой из учеников о той большой жизни, с которой он сразу столкнется, как только выйдет из школы? Аркадий Кириллович преподавал литературу, да, фокусированно отражающую жизнь. Но какую жизнь? Чаще всего далекую от сегодняшней — жизнь графа Безухова и князя Мышкина, Ваньки Жукова и Алеши Пешкова. Даже жизнь более близких по времени Григория Мелехова и Василия Теркина разительно не похожа на нынешнюю.

Аркадий Кириллович вместе с другими учителями старался оберегать своих учеников от скверны мира. Пьянство, поножовщина, мошенничество, корыстолюбие — нет этого, есть трудовые подвиги, растущая сознательность, благородные поступки, праведные отношения. Хотя ученики не были слепы и глухи, некоторые росли в крайне неблагополучных семьях, знали улицу с изнанки, видели пьяных, сталкивались с хулиганством, бесстыдной корыстью, унижающей несправедливостью, но школа старалась сделать все, чтоб они забыли об этом. Из любви к ученику!

Нетребовательная любовь, любовь неразумная, ревниво оберегающая от всего дурного, питающая стерильной житейской кашницей, вместо того чтоб приучить к грубой подножной пище, — сколько матерей испортили ею своих детей, вырастив из них анемичных уродцев или махровых эгоистов-захребетников, не приспособленных к общежитию, отравляющих себе и другим существование. Что непростительно любящим матерям, должно ли прощаться любвеобильным педагогам?

Нередко можно услышать беспечное: зачем, собственно, учить жизни, она, жизнь, сама здорово учит.

Учит — да! Но чему? Она может научить не только стойкости и благородству, но и отвечать на жестокость жестокостью, на оскорбление оскорблением, на подлость подлостью. Жизнь — стихия, и крайне неразумно надеяться, что слепая стихия способна подменить собой педагога.

Коля Корякин еще до выхода из школы применил в жизни науку любящего Аркадия Кирилловича...

А эту науку не менее старательно усваивали и другие.

Урок Аркадия Кирилловича в девятом «А» классе по расписанию был третьим...

#### 4

До Коли не сразу дошло — он увидит мать!.. Осознал это, когда уже вышел от Сулимова. Нет, он не забывал о ее существовании, но она оставалась для него там, в прошлом, далеко и утерянном. Мать и отец — трудно представить более разных людей, но Коля также не мог представить себе их и поодиночке. Отца теперь нет, а мать скоро явится к нему. Умом понимал — странного тут ничего нет: мать жива, мать должна искать с ним встречи; но видеть ее и мириться, что нет отца, — противоестественно!

Всю миновавшую ночь он страдал за отца, любил его. Да, любил! Чем еще оправдать ему себя, как не любовью? Мать тут присутствовала где-то рядом, на нее уже не хватало у Коли ни страдания, ни любви. Наверное, в глубине души, в темном осадке, который он боялся потревожить — захлебнешься мутью! — даже пряталась досада на мать: из-за нее же он схватился за ружье.

Из-за нее... Но думать открыто он об этом не смел. Мать и ружье?.. Если кто и страшился ружья, то только она. И уж благодарить сына за то, что случилось, мать не станет, представить немислимо. А вот упрекать — да! А как раз это-то и нужно сейчас — не оправдание, а упрек! Любящий упрек! Никто на свете на такое не способен, только она, мама!

Конечно, она и простит, можно не сомневаться. Но простит она не только его — отца тоже. Как ей не простить, когда отец так страшно наказан. Как ей тоже не чувствовать сейчас себя виновной перед отцом, как не жалеть ей его. Мама! Мама! Какое счастье, что ты есть на свете! Мама, одинаково с ним думающая, одинаково чувствующая, все понимающая гораздо лучше, чем он. Скоро увидятся! Они будут плакать вместе. Вместе — не один, значит, не так уж все страшно, значит, можно даже жить. Мама! Мама!..

Детский крик о помощи. Мама! — звук, с которого у человека начинаются самые первые отношения с родом людским. Мама! — извечное прибежище бессильных в несчастье. Изначальное для каждого существо, жизнь подарившая — мама!..

Еще не встретившись с матерью, Коля Корякин ощутил уже себя и не потерянным и не одиноким.

Перед ним распахнули дверь, и он переступил в неудобно-голую комнату с длинным столом посередине. Там замороженно сидела незнакомая женщина в зеленом кожаном пальто коробом, в нелепом берете, украшенном вишенками. Недоуменная тревога — зачем привели сюда? — еще не успела вспыхнуть, как Коля почувствовал на себе взгляд. Из чужой одежды смотрела мать, непохожая на саму себя — тускло-серое, усохшее лицо, обморочно неподвижные глаза. Она сидела и не шевелилась... Так вот, оказывается, как она выглядит без отца — бездомная, пришибленная, кем-то нелепо одетая. И Колю захлестнуло: — Ма!..

Она качнулась вперед и не встала, так и осталась сидеть, подавшись всем телом, глядя снизу вверх, и взгляд ее ничего не выражал, кроме простенькой вины — вот встать не могу, ноги отказывают.

Он нагнулся, она порывисто обхватила, притянула его к себе. Замерли оба на минуту, он неловко согнувшись, она вытянувшись, прижавшись теплой мягкой щекой к его лицу, сотрясаясь от мелкой дрожи.

— Ма...

Руки матери обмякли. Натыкаясь то на стол, то на материны колени, он нащупал стул, сел напротив.

У нее в бескровных губах беспомощная, невнятная складочка, какая появлялась всегда, когда ждала возвращения отца, но в воспаленных глазах столь лютая боль, что нельзя терпеть — вот-вот закричишь.

— Ма... я не узнал тебя.

Она жалко улыбнулась, и тут наконец-то выступили тяжелые слезы, смягчили взгляд. Она поспешно наклонилась, засутилась, отыскивая платочек, нашла и всем телом содрогнулась под просторным пальто, всхлипнула:

— Меня Пуховы к себе забрали... Людмила-то ласковая баба. А то куда мне деваться? У Евдокии жить из милости — пронеси Господи.

Наступило угрожающее молчание. Коля лихорадочно искал, что сказать матери — что-то обычное, пустяковое, — для большого разговора, где каждое слово понималось бы еще не родившись, каждое слово и ранило и исцеляло, нужен был разгон. Пустяковых слов не находилось, а молчание ширилось, как трещина на весенней льдине, того и гляди, разнесет в разные стороны.

— Мам... выругай меня, — попросил он.

Жалкая и глупая просьба срывающимся на стон голосом, нет, она не поняла, что счастье услышать сейчас материнские упреки, чем сердитей они, тем желанней.

— Я себя, себя, золотко, клянусь. Мне прощения нет — не тебе! Ежели на свете теперь и остался виновный, то я только, — с жаром, похожим на безумие, заставившим Колю сжаться от страха.

— Ты что, мам? Это же я! Я!

— Ты-ы? Не-ет! Другие — пусть, а ты сам не смей, не смей казнить себя. Другим-то где понять. Хватит того, что на тебя возведут. Не возводи сам...

— Да ты что, мам?

— И не за что тебе себя прощать. Он довел, а я, выходит, ему помогала.

Коля задохнулся:

— О-он...

Раньше времени в еще толком не начавшийся разговор ворвался он — отец!

— Не надо о нем, Колюшка, — передернулась мать.

Она уже жалела, что нечаянно обмолвилась. И выражение ее лица было откровенным: не то что неприятно вспоминать о нем, даже не то что страшно, а хуже — противно. У Коли похолодело внутри — мать не захочет разговаривать об отце, а он только об этом и мечтает. Только о нем и только с ней, в мире нет другого человека, с которым он мог бы поговорить об отце!

— Мам! — Голос его неестественно взвился. — Он много, мам, много нам плохого сделал. Но я ему — больше!

— Гос-по-ди! Зачем?.. — Она даже выгнулась от отчаяния. — Зачем его вспоминать? Забудь!

— Разве можно, мам?

— Что уж локти кусать... Река вспять не течет. Я себя перед тобой клянчу, а перед ним — нет! Совесть чиста. Сам лез и напоролся.

— Мам! На него теперь... Нам... Стыдно же!

— На него-о... То-то и оно что он снова не виноват. Мы с тобой его виноватее. И всегда так получалось.

— Мам, уж сейчас-то нам его не простить?.. Да можно ли?..

— Колюшка, ты меня за другое попрекни — за то, что тебя не уберегла. А за него попрекать нечего. Он и мне и тебе, любушке, жизнь измолол. И захочешь забыть, да не получится.

— Но он же не всегда плохим был!

— Не помню хорошим.

— А канарейку помнишь?

— Какую канарейку, роденький?

— В клетке пела. Отец же принес.

По взбежавшим на лоб морщинам, по собравшемуся взгляду было видно — мать не притворялась, честно пыталась вспомнить, признавала эту канарейку важной и нужной для сына.

— Из прежнего, Коленька, помню страх один да колотушки, — с обреченным вздохом.

— Мам!.. — Коля говорил, сцепив зубы, сдерживая внутреннюю дрожь. — Мам!.. — Он сейчас решался на страшный вопрос, от которого, казалось ему, нельзя отмахнуться и нельзя увильнуть. — А он меня, мам... он разве совсем меня не любил?

Коля ждал, что мать содрогнется, а она лишь отвела взгляд и на минуту задумалась.

— Может, и любил, — просто, с какой-то усталостью призналась она. — Только бешеный любит — беги.

— Но он же любил! Лю-бил! — срывающееся прокричал Коля.

— Вся и беда-то, милушка, что от евонной любви бежать тебе было некуда. Мне бы надо лаз в огороде сделать, а я, дура, все крепила огород-то.

— Он любил меня... Так и я его, мам... Я — его!.. Только теперь понял, что вот люблю, и все тут!

Анна подняла на сына глаза, и лицо ее стало медленно, медленно заливаться ужасом. Только теперь она начала понимать, что творилось внутри у сына. До сих пор думала: сын казнится раскаянием, раскаивалась она и сама — рада бы повернуть все назад, да река-то вспять не течет. Только сейчас открылось — убийца любит убитого, это уже не раскаяние, это уже мука, считай, смертная, сильный и разумный не выдержит, а ребенок и подавно.

Онемение Анны длилось долго. Коля сидел и подергивался перед нею. Наконец мать пришла в себя, заметалась, закричала в голос:

— Будь он проклят! Будь он трижды проклят! Уж ладно, ладно, что я от него в жизни терпела! Меня — пусть! Но он же тебя до злодейства довел! Не сам же ты — он, о-он!! Сына родного на страшное толкнул! И все ему мало, он и после смерти измывается пуще прежнего! Лю-би-ил?! Да любовь-то его черная, на ненависти да на отраве замешена! Уж лучше бы просто ненавидел. От такой-то любви люди гибнут с муками мученическими! О-он лю-би-ил! Так любил, что ты за ружье схватился! Так почему после ружья за



эту любовь цепляешься? Одумайся, Коленька! Выжги в себе отраву! Будь он проклят! Были ли на земле злодеи хуже его, чтоб и после смерти жить не давали?! Будь трижды он проклят!..

— Кричать не положено! — в приоткрытую дверь веско произнес сержант, приведший Колю на свидание.

Анна замолчала, ее колотила дрожь, щеки и лоб стали землистыми, веки опустились, губы дергались. Коля со сдвинутым лицом смотрел на мать тлеющими глазами, молчал.

— Ко-оля-а, — придушенно выдавила Анна, — одного прошу — не давай себе воли, не думай о нем, проклятом... Угар-то пройдет — все затянется. Не думай и не растравляй себя.

— Мам, я кровь видел... — тихо сказал Коля. — Его кровь...

— Ты сломаешься, и я не выживу. Себя не жалеешь, меня хоть пожалей. Одна я у тебя, и ты у меня один.

Коля замялся и вдруг сморщился:

— Нету, мам, нету!.. Ни к тебе нету, ни к себе... Только одного теперь я могу жалеть. Кровь его видел — как забыть?..

Анна обронила руки на колени, обмякла. Она сказала самое убедительное — издала материнский стон: «Пожалей меня!» И сын слышал его, но не внял. Другого сказать ему она уже не могла.

Они долго сидели друг против друга, избегая смотреть в глаза. Анна с усилием пошевелилась, попыталась подняться:

— Ноги чтой-то не держат... Одна надежда, Колюшка, — забудется. А ежели нет, то и жить зачем?

## 5

Мама! Мама! Какое счастье, что ты есть на свете! Мама, одинаково с ним думающая.

Нет ее. Она плакала, но не вместе с ним. Она ничего не смогла понять. А понять надо очень простое и очень важное: он теперь не враг отцу, теперь, когда отца нет, его уже не за что ненавидеть. Ненавидеть

нужно Коле себя. Чем еще искупить страшную вину перед отцом, непоправимую вину, как не ненавистью к себе, как не любовью к нему?.. Но что толку, если он станет и любить и ненавидеть про себя, втихомолку, никто не заметит, никто не будет знать, никому не будет до этого дела. Он, Коля, должен доказать и себе и другим — не такой уж бесчувственный, а значит, и не совсем пропащий, его мог бы простить сам отец... Кто еще поймет, если не мать? И нет... Тогда можно ли ждать, что поймут другие? Мама! Мама!.. Не услышала.

Но был еще человек, который верил Коле, быть может, верил даже больше матери, — Соня Потехина.

Они знали друг друга всегда, всю жизнь. В глубокое, глубоко детстве, в запредельно для Коли далекие времена они встретились. Мать, спасаясь по вечерам от буйствующего отца, хватала сына и бежала к соседям, чаще всего вниз, к Потехиным. Матери жаловались друг другу, плакали, утешали, а маленький Коля с маленькой Соней играли на полу в куклы, иногда ссорились.

Потом эти набеги прекратились, то ли Коля подрос, его уже труднее было схватить в охапку и бежать, то ли скандалы стали так часты, что матери уже неловко стало постоянно беспокоить соседей. И Коля с Соней встречались только нечаянно на лестнице или во дворе, не разговаривали, даже не догадывались здороваться. Все в доме жалели Колю, мать Сони — тоже. Должно быть, тогда же начала его жалеть и сама Соня.

Они в один год пошли в школу, оказались в одном классе, но к этому времени уже стали совершенно чужие — просто мальчишка и девчонка, случайно живущие в одном доме. Да Коля вообще ни с кем не сходил. Он постоянно помнил, что все знают о скандалах в их квартире, считают его страдальцем. Он не похож на других — хуже, несчастнее! Если иногда и забывал об этом, то быстро напоминали... жальостью: «Горемычный ты, горемычный! Уж лучше бы тебя в детдом забрали, чем с таким извергом жить!» Коля завидовал всем и всех ненавидел. В школе

он плохо учился, еле-еле перебирался из класса в класс, учителям грубил, от ребят сторонился, а временами с ним случались приступы бешенства, набрасываясь на самых сильных. Чаще перед ним отступали — ненормальный! — иногда били.

А он испытывал мстительное наслаждение оттого, что плохой, что с ним не могут справиться учителя. Наверное, таким бы и остался на всю жизнь — завидующим, ненавидящим, наслаждающимся своим несчастьем. Но случилось неожиданное...

Был летний поход школьников шестых — седьмых классов по лесной речке Крапивнице, впадающей в большую реку. Такие походы сколачивал учитель физкультуры Андрей Михайлович — уходили на несколько дней, жгли костры, ночевали в шалашах, ловили рыбу, объедались ягодами. Но в тот раз случилось несчастье, не столь уж и большое, но досадное. Соня Потехина, перебираясь через овраг, сорвалась и повредила ногу — вспухла щиколотка, нельзя ступить. Прервать поход? Сделать носилки и всем по очереди нести Соню по тропе через лес и болота до пристани? Кто-то вспомнил о байдарке — тащили с собой, чтоб поплавать на озере. Почему бы не спустить Соню вниз по реке на байдарке?..

Хороших байдарочников было всего трое — Игорь Шуляев, Коля Корякин и, разумеется, сам Андрей Михайлович. Но Андрей Михайлович не мог бросить ребят одних среди леса. С кем из двоих плыть, решили предоставить Соне. И она назвала Колю. Трех мальчишек послали по берегу на всякий случай, если понадобится какая-то помощь. Но берега Крапивницы были болотисты, и ребята шли стороной, весь путь Коля и Соня оставались вдвоем.

То был самый счастливый день в жизни Коли Корякина. День, перевернувший все.

На черной воде лежали согретые солнцем, глянцевиые листья кувшинок, над ними висели голубые стрекозы. Эти стрекозы внезапно возникали из чистого воздуха и так же внезапно исчезали — по капризу, словно каждая имела по крохотной шапке-невидимке: были да нет, не были, и — нате вам — мы

тут. Она сидела впереди, ее голова туго охвачена цветной косынкой, из-под косынки тонкая натянутая шея, золотистые завитки волос на ней.

Он как бы проснулся. До сих пор жил, и казалось, долго жил, но не по-настоящему, в дреме, все вроде видел и все пропускал мимо, если не досаждало, не мешало, не раздражало. В тот день все кругом вдруг вспыхнуло для него — вода в реке бездонно-темна, небо над головой глубинно-синее, распирающее грудь, даже воздух, прозрачный воздух, которого никогда не замечал, стал ощутим, чувствуешь его вкус, опьяняюще свежий, настоящий на речной влаге, на одурманивающих запахах можжевельных кустов. И в густой траве на берегу полыхали лиловым пламенем кулиги лесной герани. И эти нарядно-голубые стрекозы, готовые раствориться в любую секунду. Тихий мир стал буйным, радостно вопил вокруг, а Коля пребывал в изумленном испуге — исчезнет же, не может длиться долго.

Но догадывался — она! Пока рядом она, дреме не быть, цветы не слиняют, воздух не замутится. Она сама выбрала его — не Игоря Шуляева. Впервые Коля одержал над кем-то победу. Оторви сейчас руку от весла, протяни ее вперед — коснешься золотистых завитков на шее. Рядом...

Однако ж рано ли, поздно ли — кончится эта река, обнимающая байдарку, ее и его. Кончится река, кончится чудо, все станет по-прежнему. Он еще не представлял, как извилиста и длинна речка Крапивница, сколько неожиданного она ему подарит.

— Хорошо-то как! Век бы плыла и плыла...

Первый подарок — ей хорошо, не только ему.

А потом уткнулись в завал, и ему пришлось помогать ей выбраться из байдарки на берег. Второй подарок — она обняла его за шею не колеблясь, доверчиво. На речке Крапивнице и такое было возможно, позднее она его уже никогда не обнимала — стеснялись друг друга.

Они доплыли до большой реки, до пристани, но к тому времени Коля уже понял — их путь не кончен, может, даже никогда не кончится.

Но тогда-то и появился страх. Кто он и кто Соня? Опомнится и отвернется, зачем ей терпеть того, кого одни считают испорченным, другие жалким, несчастным? С ним никто не может дружить, с какой стати ей водить дружбу? Страх этот угнездился и не проходил. Всегда жило сомнение — стоит ли он внимания Сони? Коля навсегда заразился недовольством собой.

После путешествия по Крапивнице он день ото дня все больше привыкал к тому, что она рядом. Каждое утро начиналось с радости — сегодня опять увидит ее. Она его тоже увидит, он должен выглядеть красивым, без изъяна. Он старался быть к себе строг, ни в чем не давал уступок. Он стал хорошо учиться, набросился на книги, вспышки бешенства прекратились сами собой, учителя начали ставить его в пример, даже одевался он с придирчивостью, даже за походкой своей следил и боялся солгать по нечаянности хоть в малом — делал над собой все, лишь бы Соня не подумала о нем плохо. Она рядом, за это он перед ней в вечном долгу. Жить — значит нравиться ей.

Единственно, что было ему не под силу, — прекратить гнусные скандалы, в которых варился, о которых не переставая злословили все кругом. А Соня-то слышала... При встречах стыдно глядеть ей в глаза. И стал страдать за мать, и росла ненависть к отцу...

Ненависть к отцу и долг перед Соней — несомненное, раздирающее. Не будь Сони, он бы терпел, никогда не осмелился бы схватиться за ружье. Но вот кровь на паркете, и стало уже не до Сони...

Он не вспоминал Соню, думал лишь об отце.

Вспомнил только теперь, после встречи с матерью. Не поняла мать, так могут ли понять другие? А Соня?..

Соня никогда не походила на других. Соня поняла его тогда, когда он еще и сам себя не понимал. Соня — его совесть, Соня — вершина, до которой он мечтал дорасти. Как он смеет сомневаться в ней!

Но ему нужно убедиться в одном — Соня по-прежнему не отвернулась от него. Если он попросит о встрече, придет она на свидание или не придет?..

А Соня переживала перерождение...

С детства она была незаметной, за все девять лет в школе никогда и ничем не выделилась. Учителя не ставили ее в пример и, похоже, ни разу ни в чем не упрекнули. В любой девичьей компании она не была лишней, но если почему-либо не появлялась — не обижались, не упрекали потом: «Почему не пришла?» Ребята относились к ней по-товарищески, но без особого повышенного внимания — девчонка как девчонка, плохого не скажешь, не хуже других. Все знали, что к ней равнодушен Коля Корякин, но и это ни у кого не вызывало особенного удивления — обычное, все к кому-то равнодушно; к Соне Потехиной — что ж, вполне может нравиться. Поудивлялись в свое время на Колю — изменился парень, — но скоро привыкли. А Соня и тогда оставалась в стороне — не лезущая в глаза, добрая, покладистая, не хватающая звезд с неба.

И вот она стала героем класса. Славка Кушелев, ничему не верящий, во всем сомневающийся, первый признал ее.

Она права — ни на минуту не приходило сомнение. Соня сомневалась в другом — все ли признавали ее выстраданную правоту? Наверняка кто-то тайком с ней не согласен, кто-то колеблется, кому-то не по нутру ее неуступчивая решительность, недаром же от нее прячут глаза и поеживаются. Соня всех подозревала, со всеми держалась взведенно, в любом готова была видеть врага, наброситься на него — истовый вождь, не сомневающийся только в самом себе.

Класс с затаенным нетерпением ждал урока Аркадия Кирилловича, и он начался.

Знакомая фигура на привычном месте — потертый мешковатый костюм, неизменный галстучек, неизменная сутуловатость, пасмурно-спокойное лицо, уверенно-медлительные движения. Аркадий Кириллович был невысок ростом, но всегда вызывал ощущение крупноты, надежной прочности. И сегодня он выглядел как всегда.

За всеми учителями числились какие-то слабости, чаще безобидные, простительные, но тем не менее вызывавшие чувство снисходительности. Преподаватель истории Борис Георгиевич любил покрасоваться, и это выглядело иногда смешно. Добрая старенькая математичка Августа Федоровна была наивно-доверчива, легко покупалась на трогательные истории Жорки Дарданеллы, не успевшего сделать домашнее задание. Физика Ивана Робертовича Коха за суровую требовательность звали за глаза Ваней Грозным... И пожалуй, только за одним Аркадием Кирилловичем никаких слабостей не числилось. Случалось, подтрунивали, но не над ним, а над чрезмерно обожающими его девочками.

Соня к таким чрезмерно обожающим не относилась, никогда не заходила шумным восторгом — ах-ох, какой человек! Она просто была убеждена — Аркадий Кириллович самый справедливый, самый умный из всех, кого она знает. Никто лучше тебя не поймет — сама не уловишь, что чувствуешь, а он уже находит для тебя точные слова, — никто не даст столь толкового совета, никто из учителей так не обеспокоен за тебя, как он. Соня носила это в себе, не выплескивала наружу.

Но сейчас, увидев перед классом Аркадия Кирилловича, обычного, ничуть не изменившегося, Соня ощутила поднимающийся по спине холодок. Она боялась Славки Кушелева, но Аркадий Кириллович есть Аркадий Кириллович, Славка перед ним — моська перед слоном. И почему Аркадий Кириллович должен думать в точности так, как она? Да и вообще, можно ли представить, чтоб он объявил: Коля Корякин поступил правильно! Нет, нет, глупо надеяться, чтоб Аркадий Кириллович стал оправдывать Колю. А с ним не поспоришь, его, как Славку, двумя фразами не собьешь.

Соня никому не верила, не могла теперь верить и Аркадию Кирилловичу. Он еще не начал говорить, а Соня уже считала его своим врагом.

— У нас беда... — произнес негромко Аркадий Кириллович.

Соня напряглась до боли в затылке и замерла. Похоже, и весь класс напрягся и замер. Под кем-то простонал стул, с какого-то стола с грохотом упала ручка — и тишина, провальная тишина, заполненная далеким шумом города и невнятно-въедливым голосом учительницы биологии из соседнего кабинета.

— У нас с вами, не на стороне... Хочу спросить: кто ждал, что беда стряется?

Класс молчал, класс глядел, класс не шевелился. А Соня холодела — сейчас повернется к ней и спросит: ты-то ведь ждала, и что же?.. Да, ждала, понадеялась — все кончится само собой, по-хорошему.

Аркадий Кириллович не повернулся к Соне, не вспомнил о ней.

— Не ждали? Совсем ничего не подозревали?..

Молчал класс, глядел класс.

— Нет! Зачем притворяться перед собой — кой-что мы знали о жизни Коли Корякина, кой-какие подозрения у нас были!..

Класс молчал.

— Были. И что же?.. Да ничего. Совсем ничего? Ни тревоги, ни малейшей даже взволнованности — покой! Почему?..

Аркадий Кириллович стоял перед классом, чуть подавшись вперед, чуть-чуть сутулясь — громоздко-нескладный, неподвижный и настороженный, чего-то ждущий; лицо с резко прорубленными складками обманчиво устало, запавшие глаза выдают — тревожны, ищущи, требовательны. Каждый, на кого падал их взгляд, смущенно опускал голову.

Соню же этот тяжелый взгляд обходил, она даже пыталась его поймать, вызываяще тянула шею. Ее корбило: знали? Да! А что могли сделать? Она, Соня, была всех ближе Коле. Всех! Всех! Но даже она ничего не могла, а уж другие-то и подавно.

— Почему?.. — повторил Аркадий Кириллович. — Ничем тут не объяснишь, как только — этот человек был для нас чужим. А зачем влезать в чужое? В чужое даже нескромно вглядываться... Разве не так?



Соня уже напряжинилась, чтоб вскочить: «Не чужой! Нет! Уж мне-то не чужой! А что я могла?..» Но Аркадий Кириллович продолжал:

— Но, может, к Коле Корякину вы почему-то относились хуже, чем к другим? Он для всех чужой, все остальные друг другу — свои?..

На этот раз не дал крикнуть Соне Стасик Бочков. Многолетний староста класса, он считал своим святым долгом защищать свой класс, всегда это делал.

— К нему, как ко всем, ничуть не хуже, — внушительно произнес он.

— Ага! — подхватил Аркадий Кириллович. — Ко всем относились, как к Коле Корякину. Выходит, все чужие среди чужих?

И Стасик Бочков не ответил, только поежился под взглядом Аркадия Кирилловича.

— Случись несчастье — не пожалеют, нужна помощь — не отзовутся. Чужие кругом! Неуютная жизнь...

Из Сони рвалось готовое возражение: «Да разве не бывает, когда и свой своему не поможет?!» Но снова она промедлила, раздался вкрадчиво-вежливый голос Славки Кушелева:

— Можно вопрос, Аркадий Кириллович?

— Нужно.

— А вы, Аркадий Кириллович... вы ничего не знали о том, как живет Корякин Коля?

— Знал, Слава.

— Тогда почему вы...

По классу пробежал нервический шорох.

— ...почему вы сами, когда еще не поздно было?..

Славка Кушелев не договорил, а шорох пробежал и смолк — ясен вопрос.

Аркадий Кириллович с трудом выпрямился, оглядел притихший класс.

— Потому, Слава Кушелев, — заговорил он спокойно, с угрюмо-спокойным лицом, — что я оказался не более чутким, чем вы. Да!.. И сужу себя сейчас сильнее, чем вас.

Похоже, что за все девять лет учебы никто из сидящих перед Аркадием Кирилловичем учеников не

слышал, чтоб учитель открыто обвинял сам себя. Класс подавленно молчал, класс не шевелился. Даже Соня забыла в эту минуту о своей настороженной враждебности, испытывала сочувствие, почти жалость.

— Я сужу себя за то, — жестко продолжал Аркадий Кириллович, — что много говорил вам о Наташах Ростовых, Раскольниковых, Чичиковых и Собакевичах и забывал сказать о вас самих... Я сужу себя за то, что верил красивым и обманчивым правилам, невольно обманывал ими вас!..

— Вы? Обманывали?! — удивился Слава Кушелев.

— Получается, что так.

— В чем, Аркадий Кириллович?

— Помните, я вам говорил: будьте непримиримы ко всякой подлости и не ждите, что кто-то разделается с ней за вас?.. Красивые слова, не правда ли? Благородные...

— Они — обман?! — Едва ли не гнев в голосе Славы Кушелева.

— Благостный, Слава, оттого опасный.

— Но почему? Поч-чему?!

— Потому что действуй сам и не жди ни от кого помощи — значит, действуй в одиночку. А человек, Слава Кушелев, в одиночку слаб, подлости не осилит.

И тут наконец-то Соня вскочила с места.

— А я не хочу, не хочу каждого считать своим! — с режущим звоном в голосе.

## 7

Аркадий Кириллович, подавшись вперед тяжелым изборожденным лбом, вглядывался в Соню.

— То есть не каждый тебе нравится? — спросил он.

— А вам — каждый? Да неправда же это, Аркадий Кириллович! И вы подлецов ненавидите! И я! И Славка! И все другие! Только все мы слабы — тряпки! Решиться не можем!

— Не можем решиться на что, Соня?

— На справедливость!

— Как Коля Корякин?..

— А как еще избавиться от подлецов?! Перевоспитывать?.. Мог ли Коля перевоспитать своего отца? А мы, если б плечо к плечу, перевоспитали бы? От пьянства его отучили бы, бешеный характер ласковым сделали? Да смешно это, Аркадий Кириллович! Чужие среди чужих. Нет! Нет! Не чужой мне был Коля! И вы об этом знаете... Не чужой, а вот помочь ему не могла. И никто бы не помог. А уж кучей-то и подавно. Перепугались бы все, перетрусил, повисли бы на руках Коли, обсуждать начали... А отца-подлеца, который в могилу Колину мать вгонял, оставили бы — живи, зверствуй дальше! Нет, верно, верно вы нам говорили: нельзя рассчитывать на других, сам войю с подлостью! Только вот как до настоящей войны дошло — перепугались вы, теперь от своих же слов отрекаетесь: не надо было браться за оружие! Сдаваться надо?.. Стыд-но! Стыд-но!..

Чуть сутулясь, по-прежнему пасмурно-спокойный, Аркадий Кириллович разглядывал исподлобья Соню, только тяжелей обвисали складки на лице.

— Продолжай, — попросил он.

— Я все сказала!

— Нет не все. После твоих слов напрашивается вывод: поступайте по примеру Коли Корякина, убивайте своих отцов, братьев, если вдруг по какой-то причине их станет трудно терпеть. Ничего себе призыв.

Соня вызывающе дернула подбородком:

— Гоголь призывал, Аркадий Кириллович. Почему же вы его никогда не осуждали?

— Гоголь?!

— Как он показал — Тарас Бульба сына убил. За что? Своим изменил. А отец Коли не изменил? Он человеческому изменил! Он хуже Андрея, какое сравнение! Тарас Бульба — герой, Коля Корякин — преступник?!

Аркадий Кириллович молчал, а класс затаенно шевелился — все пригибались к столам, жадно по-

водили глазами то в сторону Сони, то на учителя. Темные и светлые шевелюры, свежие лица и общее выражение напряженной затаенности — столкнулись с таким, чего еще никогда не случилось в их короткой жизни, о чем приходилось только читать в книгах. Тарас Бульба, убивший сына, — такое далекое, неправдоподобное, почти сказка, и вдруг сейчас!..

— Случайно ли, Соня, — заговорил Аркадий Кириллович, — никто в жизни не повторил подвига Тараса Бульбы? Что было, если б такое вошло у людей в привычку?..

— Значит, Бульба не прав? Значит, он должен был простить сыну предательство? Предай свой народ ради сына?! — негодующий звон в голосе Сони.

— Народ... Один защищал народ, другой — все-таки много меньше — себя да мать. А за то и за другое — человеческая жизнь. Оправданно ли, Соня?

— Если б можно... Да стал бы он отца... Другого выхода нет — значит, смирись, пусть сбесившийся алкаш мать родную на твоих глазах в гроб... Подонку удовольствие, а — счастье двоих людей отдай! Это оправданно, Аркадий Кириллович?

— Ты считаешь, что Коля спас и свое счастье, и матери?

Разгоряченная Соня впервые споткнулась, ничего не ответила.

— Спас мать?.. Остается одна-одинешенька с веселыми воспоминаниями о пролитой крови. А самого что ждет? Вот оно — счастье ценой убийства...

Аркадий Кириллович говорил и понимал — нет, молчание Сони не отказ от убеждений, лишь легкое замешательство. Она воспалена, она сейчас безумна. Эх, если б безумие могло внимать словам!.. Аркадий Кириллович рассчитывал, что его постараются понять другие, кто меньше воспален, сохранил способность слушать.

И снова раздался голос Славы Кушелева:

— Аркадий Кириллович! Вы считаете, что счастье убийством — никогда, ни при каких случаях?

— Считаю. Счастье и убийство несовместимы.

— Вот для меня, как для всех, самое большое счастье — это жить на свете. А на меня вдруг в темном углу какая-нибудь, простите, сволочь с ножом... Так не отдам ему жизнь, нет! Постараюсь его... Если мне придется его пристукнуть, что же вы мне скажете: не имел права — убийством?

— Право убивать не имели ни он и ни ты. Он его нарушил, а ты защищал право на свою жизнь. Ты защитник жизни, если даже и прикончишь бандита.

И Слава бурно восторжествовал:

— Аркадий Кириллович! Вы очень, оч-чень хорошо сказали: можно убить и стать защитником жизни! Так это же и Колька сделал — убил ради жизни!

Аркадий Кириллович прицельно прищурился на Славу.

— Убить ради жизни... — повторил он. — Простая формула, м-да-а... Обещает простое решение. Опасно это, Кушелев.

— В любой точной науке разные неупорядоченные явления сводятся к простым формулам. Чем проще, тем лучше, наука только выигрывает, Аркадий Кириллович. Почему нужно бояться формул в обычной жизни?

— То, что ты называешь обычной жизнью, Слава, — многосторонней и сложнее любой науки. Эта жизнь всегда наваливается на человека всем своим запутанным содержимым, где далекое неразрывно с близким, большое с малым, частное с общим. Простая формула не охватит всего. Тысячи лет религия подсовывала людям простые формулы — и много ли пользы?

— Но эта-то формула не религиозная! — возмутился Слава.

— Верно, религия подсовывала формулу — не убий, ты — убивай. Неужели лучше?

Слава вдруг подобрался, его широкое скуластое лицо посуровело.

— Аркадий Кириллович! — Он даже задохнулся от торжественности. — Это формула не моя. Ею — да, убить ради жизни, ради лучшей жизни! — пользовались Желябов, Перовская, Степан Халтурин! Теперь о них пишут книги, изучают на уроках истории...

— А книги и уроки истории тебе разве не говорили, Слава, что их исходные формулы были ошибочны, а путь безрезультатным?

— Совсем безрезультатным? — Слава еще более посуловел. — Ну нет, Аркадий Кириллович! Что-то они все-таки сделали. Все-таки история считает их героями, а не преступниками. История, Аркадий Кириллович! Есть ли справедливей судья?

Аркадий Кириллович распрямился, казалось, вот сейчас-то он и скажет свое — решающее, опрокинет Славу Кушелева, поставит точку. Но Аркадий Кириллович разглядывал Славу и молчал. А класс ждал, началось нетерпеливое ерзание, покашливание. Слава Кушелев выдерживал тяжелый взгляд учителя, не опускал глаз. А в стороне, над классом, забыто стояла Соня Потехина и тоже жадно вглядывалась в Аркадия Кирилловича.

Неожиданно обрушился звонок. Аркадий Кириллович опустил глаза и ссутулился. Класс зашевелился смелее, еще более нетерпеливо, но никто не вскочил с места, продолжали глядеть на Аркадия Кирилловича, ждали от него ответа.

За стеной, в коридоре, захлопали двери, школа сразу заполнилась бодрым водопадным шумом начавшейся перемены. И только тогда, не подымая глаз, Аркадий Кириллович заговорил:

— Если этот случай с Колей Корякиным пройдет сейчас мимо вас, никак не изменит, то вы — нет!.. вы не будете по-настоящему счастливы в жизни. Плохо жить чужим среди чужих. А если вы, несчастные, еще броситесь добывать себе счастье... убийством, плохо будет не только вам — всему миру... Можете идти. Вы свободны.

Все шумно поднялись над столами, но только один Вася Перевощиков ринулся было к двери и замер на полдороге. Класс стоял и глядел на Аркадия Кирилловича. Он, казалось, сейчас стал меньше ростом, не крупный, не массивно-прочный — сгорбленный, и руки суетно застегивают замок портфеля... Он вышел, не прикрыв за собой дверь.

— Ты его победил, старик, — подавленно бросил Славке Стасик Бочков.

— Похоже, что так, — ответил Славка Кушелев озадаченно и тревожно.

Все разом зашевелились, заговорили...

У Сони Потехиной все еще цвели пятнами щеки, а глаза недобро, зелено тлели.

## 8

Соломон и Данила вышли от Сулимова в полном убеждении: глаза не открыли, отклика не нашли, слава богу, что сами дешево отделались — не накричал, не прицепился.

Но они сильно ошибались. Сулимова после их ухода охватило приподнятое беспокойство — похоже, запахло жареным!

Многие люди в течение нескольких десятилетий громоздили поступочек на поступочек, сооружали преступление. Кто-то из этих людей давно исчез и забыт, но кто-то и до сих пор жив-здоров, даже признается и раскаивается в невольном участии. И ни одного из этих людей нельзя поставить перед лицом правосудия — не ведали, что творили. Обвинять их так же нелепо, как обвинять молнию, спалившую дом, ураган, потопивший корабль, снежную лавину, похоронившую под собой путников, — явление столь же стихийного порядка. Приходится обвинять лишь несчастного мальчишку — отвечай за всех!

И вот в цепочке безвинно виноватых проступает фигура ни на кого не похожая, настораживающая.

Никто из одобрявших преступление не делал это ради собственной корысти. Илья же Пухов наливался, как присосавшийся клещ, и, как клещ, распространял заразу.

Никто не ведал, что творит. Илья Пухов не мог не сознавать, что его опека растлевет Рафаила Корякина. И надо быть полным идиотом, чтобы совсем не подозревать об опасных последствиях.

Ничью вину не подведешь ни под какую статью уголовного кодекса, а вина Пухова осязаема, вполне доказуема, обвинению подлежит.

Если перед судом предстанет один мальчик, то вряд ли суд станет вникать глубоко, в самые корни. А вот если рядом окажется зрелый, опытный, корыстолюбивый человек, сам лично преступления не совершивший, но способствовавший ему, то уж придется рыть в глубину, вскрывать незримое.

При вскрытии же потаенных корней часть вины с мальчишки снимется.

Пухов именно тот, кто нужен и обвинению и защите. Если, конечно, в сведениях Соломона и Данилы есть какая-то доля правды. Если Пухов и в самом деле сознательно спаивал Корякина. Если он при этом имел корыстные цели.

Если... Множество «если», которые Сулимову необходимо самым придирчивым и беспристрастным образом проверить и перепроверить, не доверяясь весьма непочтенным свидетелям.

«Запахло жареным», но этот запах может быть и наваждением. Однако Сулимов воспрянул: надо действовать, и немедленно! Очень, например, интересно узнать, потрясен ли Пухов неожиданной смертью столь давнего друга. Позднее этого уже не узнаешь.

Сулимов решил свалиться на Пухова.

Он примерно таким себе его и представлял. У этого человека было все умеренно, приглаженно, ничто не бросалось в глаза — полноват без дородства, прост лицом, лысоват со лба, добродушен, но не угодлив, взгляд мягкий, не увиливающий и не прилипчивый, голос приглушенный, с легким, неназойливым достоинством. Такие люди вызывают уважение, но не западают в душу, не запоминаются. Они не взлетают высоко, однако, угнездившись где-то, устраиваются прочно и обстоятельно.

Сидели в маленьком кабинетике — чистый закуток со столом, и даже второго стула для посетителя не было, чтоб усадить нежданного гостя, хозяин притащил откуда-то складное легкое креслице.



— Вы давно знали Рафаила Корякина?

— С молодых лет. — Ответ без спешки и без раздумий, без настороженности.

Сулимов решил его озадачить:

— С того времени, как его собака порвала ваши штаны?

Пухов действительно был озадачен, своего удивления скрывать не стал:

— Откуда вам это известно? Даже я сам забыл.

— Вы в самом деле отравили его собаку?

Сокрушенное покачивание головой.

— Странно, — сказал Пухов, — поселка самого давно нет, люди, которые в нем жили, или вымерли, или разъехались, а вот сплетни остались.

— Вам их легко опровергнуть. Готов поверить на слово.

— Если так важно, отвечу — да, сделал. Кто-то же должен был от этой злой твари поселок избавить.

— Вы так и объяснили тогда Рафаилу Корякину?

Пухов туманно усмехнулся.

— Что вы, разве можно! Тогда этот сопливый мальчишка с ножом же в кармане ко мне пришел. Ну а я все сделал, чтоб он этот нож не выдернул... Правда, потом все двадцать восемь лет ждал — все же выдернет, того гляди. Такой уж человек.

— Почти тридцать лет ножа ждали и дружили?

— Чего не было, того не было. Знакомы близко — да, а дружить — ой ли.

— И тем не менее всю жизнь вместе. Куда вас переводили, там сразу оказывался и он. Преследовал вас, что ли? Отделаться от него не могли?

— Мог бы...

— И что же мешало?

— Я же в нем талант открыл. Можно сказать, мастер Корякин — мое произведение.

— Из любви к таланту держали его возле себя?

— Вы наш механический завод знаете? Теперь уже считается старым заводом, а с него моя биография началась. Эвакуировали его сюда в сорок втором, поставили станки под чистым небом, вокруг стали фундаменты рыть, стены возводить. Вы думаете, только

на фронте тогда гибли люди, — и здесь умирали от холода, голода, от натужной работы. Особенно те, кто не выматерел, — шестнадцатилетние. Ну а я уже чуть постарше был, выдюжил, в бригады попал. Сразу после войны мы крыши новых цехов железом крыли и красили. Тут-то и столкнулся с Рафаилом, к себе затащил, метил в подсобники, но увидел — у дурного парня ловкие руки. Так вот я первый ему удивился, первый его оценил. Признаюсь, самого Корякина никогда не любил, зато его талант — да, всегда...

— Любили, и бескорыстно? — подкинул Сулимов. Пухов снова понимающе усмехнулся:

— Часто ли без корысти любят? Даже от бабы всегда ждут — награди за любовь. А ведь я человек практичный, и бригадиром был, и прорабом, всегда в пиковом положении, всегда с чем-то зашиваешься — возле должны быть молодцы, на которых закрыв глаза положиться можно. А Корякин, ежели половчей толкнуть, за десятерых мог сделать. Корыстовался от него.

— Но за такую корыстную любовь он, верно, требовал свою корысть?

— Само собой.

— Какую?

— Давал ему хорошо заработать.

— Левыми путями?

— И левыми, — спокойно согласился Пухов. — Не судите строго. Мы же все тогда на карточках сидели, пайка хлеба да столовская баланда — ноги протянешь. Не упускали случая прихватить работенку на стороне. Да и теперь ею не брезгуем. Корякину, видите ли, мало быть сыту, еще пьян быть должен, без того никак не мог.

— Когда он начал пить?

— Право, не знаю.

— Не с той ли поллитровки, которую вы поставили перед ним за отравленную собаку?

— Эх-хе-хе! Да он ко мне явился уже зарядившись, в самом, что называется, боевом настроении был.

— И все же не кто другой, а вы помогали Корякину не только быть сыту, но и пьяну тоже?.. Все двадцать восемь лет знакомства!

— Хотите сказать — все эти годы я его спаивал?

— Буду рад услышать, что это не так.

Прямой взгляд в зрачки Сулимову, прямой и обиженный:

— Поразмыслите: зачем мне его спаивать? Разве с трезвым и вменяемым не легче иметь дело? Разве не известно вам — коль Корякин пьян, то и буен без удержу? И не зря же я боялся, что нож выхватит. Все двадцать восемь лет он пил, все двадцать восемь лет приходилось быть начеку. Для меня было бы счастье великое, если б он забыл про водку. Спаивать его можно только во вред себе.

— А давайте иначе взглянем, товарищ Пухов. Вы любили талант мастера Корякина, как сами признались, любили не бескорыстно. Но этот нужный талант мог принадлежать вам лишь тогда, когда Корякин находится в полной от вас зависимости. И чем больше Корякин пьет, тем больше он нуждается в деньгах, а значит, и в выгодных заказах, которые, увы, без вас достать не умеет. Выгодные заказы для Корякина явно выгодны и вам, Пухов. Так ведь выглядит реализация корыстной любви к его таланту. В ваших прямых интересах, чтоб Рафаил Корякин пил. Конечно, сами вы его не поили, но условия создали и боялись, что перестанет. Как вам нравится такая логика, Пухов?

Пухов невозмутимо потянулся к папке на столе, вытянул из нее несколько скрепленных листов.

— А как вам понравятся эти бумаги? — спросил он, протягивая их Сулимову. — Вглядитесь — Корякина только вчера не стало, а я уже оформляю человека на его место. Давно был на примете. И, учитите, непьющий.

Сулимов повертел перед собой бумаги.

— То есть Корякин легкозаменим?

— Вот именно, а потому ваша логика, простите, построена на песочке. Спаивать мне Корякина, чтоб удержать при себе, нянчиться с буйствующим ради выгоды — не слишком ли хлопотно? Да неужели за

тридцать-то без малого лет я не мог подыскать себе не менее хорошего и выгодного мастера, зато более покладистого? Уж по крайней мере, без ножа в кармане?

На лице Пухова ни затаенного торжества (вот как вас опрокинул!), ни насмешки с издевочкой (что, укусил?), лишь вежливое терпение наставника, доказывающего азбучное. «Или чист, или умеет здорово линять», — подумал Сулимов.

— Вам знакомы некто Пашка, по прозвищу Козел, и Венька Кривой? — спросил он.

— Знакомы, — слегка насторожился Пухов.

— Что это за люди?

— Ничего хорошего, опустившиеся алкаши.

— Однако они работали у вас.

— Да, пока один совсем не спился, не был увезен в больницу.

— А какого склада люди, ныне работающие у вас, — Соломон Рабинович и Данила Клоповин?

— Примерно такого же.

— Они были приняты вами вместо спившихся Пашки и Веньки. Вместо алкашей — алкаши. Почему именно с прежними изъянами?

— Приходилось специально подыскивать таких.

— Чтобы могли исполнить обязанности собутыльников для Рафаила Корякина?

— Именно.

— И после этого вы пытаетесь уверить — не спаивали Корякина, не в ваших интересах!

— Скажите, — впервые резко обратился Пухов к Сулимову, — мог ли я прекратить пьянство Корякина? Медицина не справляется с такими! От пьянства избавить его не в силах моих, зато оберечь от неприятностей хоть и трудно, но в моих! Беды не оберешься, если б Корякин стал пить с кем попало, драки, поножовщина, всякая шваль, постоянно крутящаяся возле цеха в ожидании выпивки. Было такое, пока меры не принял, — пусть пьет с теми, кто на скандалы Корякина не ответит и от набегов со стороны цех оградит. Спаивать я не спаивал, а мириться с пьянкой Корякина — да, приходилось.

- До чего же неудобен для вас был Корякин.
- Еще тот пряник медовый.
- И заменить его было можно.
- Можно-то можно, да кой-что и останавливало.
- Что же?

Пухов насупился, отвел глаза.

— Одна мысль: оторвись он от меня — совсем сойдет с круга.

— Так вам все же жаль его было?

— Как-никак почти тридцать лет знакомы. А потом — семья у него... И так уж старался семье помогать, с моей помощью половина денег шла мимо Корякина в семью.

— Тяготились Корякиным, а добрые чувства испытывали?

— Вам это кажется невозможным?

— Я-то готов поверить в такую возможность, но поверят ли в прокуратуре? Они ведь тоже задумаются, что держало Корякина возле вас. И в ответ услышат: добрые чувства. Поставьте себя на их место — как поверить столь прекрасному ответу?

Пухов устался в стол, долго молчал.

— Да... Да... — заговорил он. — Поверить трудно... Но, пожалуй, другого-то ответа у меня не найдется. Не любил его — тяжел, отделаться хотел, а не решался... Уж очень отчетливо видел, что будет после... Призадумайтесь — кровь стынет.

— А того, что случилось, не ожидали?

— Этого — нет, но знал: рано ли поздно что-то стрясется... страшенькое.

Сулимов больше ничего не выдавил из Пухова. А это настораживало — так ловко выворачивался до сих пор и вдруг застопорил. Какая-то странность...

## 9

Аркадий Кириллович, нахохленный, темнолицый, разглядывал всех запавшими, потаенно тлеющими глазами. Он только что скупое, в жестких выражениях изложил свое поражение в девятом «А».

— М-да-а... — промычал директор. — Самокритика...

— Есть болгарская поговорка, — медлительно произнес Аркадий Кириллович. — Плохой человек не тот, кто не читал ни одной книги; плохой человек тот, кто прочитал всего одну книгу. Опасны не полные неучи, опасны недоучки. Мы прочитали ребятам даже не книгу о нравственности, всего-навсего первую страницу из нее. И вот натыкаемся...

— М-да-а... — изрек директор и прочно замолчал.

В директорском кабинете пять человек. Завуч старших классов Эмилия Викторовна, иссушенная экспансивностью, еще не очень старая, но уже безнадежная дева, фанатически преданная школе. Физик Иван Робертович Кох, парадный мужчина с атлетическими плечами, с густыми, сросшимися над переносицей бровями. Преподавательница математики, старенькая, улыбочивая Августа Федоровна. Аркадий Кириллович. И сам директор Евгений Максимович, жмурящийся в пространство, поигрывающий сложенными на животе пальцами.

Такие узкие совещания у директора, которые решали вопросы до педсовета и помимо педсовета, в шутку назывались «Могучей кучкой». Чем меньше «кучку» собирал вокруг себя Евгений Максимович, тем конфиденциальней совещание. Сегодня собрались внезапно и в малом числе, меньше не бывало.

Как и следовало ожидать, взорвалась Эмилия Викторовна:

— Аркадий Кириллович! Зачем?! Себя же топчете! И с ожесточением!.. Себя и нас заодно!

— Вы считаете, нам следует петь аллилуйю? — проворчал Аркадий Кириллович.

— Не дадим! Да, да, вас не дадим в обиду! Защитим вас от... вас же самих!

У Эмилии Викторовны не было никого и ничего, кроме школы, а потому она всегда находилась в состоянии ревнивой настороженности — как бы кто не согрешил против родной школы, даже в помыслах. И если врагов у школы не было, она их изоб-

ретала. Аркадий же Кириллович для нее давно стал нервом школы, ее совестью, ее становым хребтом. Эмилия Викторовна его уважала куда больше, чем директора, человека нового, свалившегося на готовенькое. Аркадий Кириллович нападал на школу — это выглядело черным предательством.

— Откуда вдруг у вас эта уничижительная теория: создаем — о Господи! — нравственных недомыслов?! Впрочем, понятно — от прискорбного случая она!.. Одумайтесь, мы-то тут при чем? Что мы могли сделать? Папу Корякина исправить? Да смешно же, смешно! Применять педагогическое влияние прикажете... на того, кого давно бы должна прибрать милиция! Преступный элемент не в компетенции школы. Случайно, совершенно случайно в нашей школе оказался ученик несчастной судьбы, с таким же успехом он мог учиться в любой другой школе города!

— А признание его поступка нормальным и даже полезным всем классом — всем! — тоже случайность? — спросил Аркадий Кириллович.

Эмилия Викторовна всплеснула руками:

— Да разве вы, Аркадий Кириллович, по-своему не оправдываете несчастного мальчика? А у нас у всех разве не сжимается сердце от сочувствия к нему? Ну а товарищи по классу разве бесчувственны?.. Потому и оправдывают его поступок, защищают как могут. Нравственное уродство в этом видите?.. Ну не-ет, Аркадий Кириллович, никакого уродства — нормальные дети! Может быть, только с молодыми скачками. Слава Кушелев — потенциальный убийца?! А Соня Потехина?! Бог ты мой! Опамятуйтесь, Аркадий Кириллович! Не смешите нас. Больное это. Достоевщина. Откуда она в вас? Не замечалось раньше.

— Эмилия Викторовна, вы когда-нибудь сомневались в себе? — поинтересовался Аркадий Кириллович.

— В себе — да. Но в вас, в вас, Аркадий Кириллович!.. Нет, никогда не позволяла себе!

— Сейчас самое время.

— Не могу! Пришлось бы сомневаться в школе. Для меня школа — это вы.

— Вот и я предлагаю — спасем школу.

— Спасем, Аркадий Кириллович, наше прошлое, наш многолетний труд, наши признанные успехи! Или их у нас совсем нет?

— Успехи — в чем?

— Словно вы сами не знаете.

— Знаю — нас славят за нравственное воспитание.

— И случай с Колей Корякиным не перечеркнет их! Нет и нет, Аркадий Кириллович!

— Случай — убийство! Отвернемся от него и от того, что класс это убийство оправдывает, будем же и дальше втолковывать красивые нравственные понятия. Не чудовищная ли это безнравственность, Эмилия Викторовна?

— Вы... вы считаете меня?..

— Считаю, — отрезал Аркадий Кириллович, — что вывод напрашивается сам собой.

Эмилия Викторовна обвела всех изумленно-горестным взглядом. Все неловко молчали, лишь директор Евгений Максимович по-прежнему жмурился, как ухоженный ленивый кот, которому приходится присутствовать при семейной ссоре.

— Нет слов! — изрекла Эмилия Викторовна и отвернулась.

— У меня к вам вопрос... — Иван Робертович сосредоточенно слушал, сосредоточенно посапывал, усиленно хмурил грозные брови. — Вы недовольны своим прежним методом воспитания. Не так ли?

— Недоволен.

— Что же, хотите совсем отказаться от него?

Если Эмилия Викторовна была всегда горячей сторонницей Аркадия Кирилловича, поддерживала, помогала, шумно его славил, то Иван Робертович Кох относился с полным бесстрашием, оставался в стороне. Он со страстью верил лишь в одно — в физику. Она сейчас пробивается к основам основ мироздания, к тому первичному, из чего складывается все — атом, молекула, мертвый минерал, живая



клетка, организм и столь странный человеческий орган — мозг, заключающий в себе интеллект. Физика — это наука наук, все остальные уходят корнями в нее, она начало начал пестрых и путаных человеческих представлений, в ней истоки бытия. А потому Иван Робертович просто не обращал внимания на «суетную возню Аркадия Кирилловича вокруг примерного поведения», считал важным для себя раскрыть тех, кто способен стать новыми жрецами всеохватной науки. Славе Кушелеву он не колеблясь мог простить все за то только, что тот обещает быть жрецом незаурядным. Никто не ждал, что Иван Робертович заговорит, думали — как всегда, останется в стороне, отмолчится.

— Так хотите отказаться от прежнего? — повторил он.

— Совсем — нет, — ответил Аркадий Кириллович. — Но этого теперь крайне недостаточно.

— И у вас есть что-либо предложить? Что-то конкретное, хотя бы прикидочно, в виде гипотезы?

— Ничего, кроме убеждения, что нельзя удовлетворяться прежним, надо искать новый выход.

Иван Робертович густо крякнул:

— Не хотите отказаться от старого, не предлагаете ничего нового. Тогда, простите, что же, собственно, вы имеете? Чему мы все должны верить?

— Одному, — твердо произнес Аркадий Кириллович. — Предостерегающим фактам.

— Положим, я в них поверил — и что же?..

— Если поверите, что убийство Коли Корякина не простая случайность, значит, не сможете существовать спокойно, станете искать, в чем причина.

— А если причина окажется... гм!.. скажем, не школьных размеров, нам не по зубам, что делать тогда дальше?

— Давайте сначала ее найдем, а уж потом будем думать, что дальше.

Иван Робертович поиграл бровями, удовлетворенно кивнул:

— Логично.

Он только в том и хотел убедиться — нет ли про-

счета в логике? А потому снова замкнулся в бесстрастном молчании, не выражая желания обречь себя на беспокойное существование, искать роковую причину, которая, может статься, будет еще «не по зубам».

С усилием разогнулась Августа Федоровна, уставилась кротким старушечьим взором в Аркадия Кирилловича.

— Аркашенька, — протянула она сокрушенно, — ты сколько лет до этого искал?..

Старый, старый друг. Четверть века назад она, еще не седая, не сутулая, встретила бывшего капитана Памятнова и заговорила с ним, как будто была знакома всю жизнь. И капитан запаса, еще не закончивший тогда пединститута, почувствовал сразу себя в школе своим человеком. С тех пор его постоянно грела ее ненавязчивая доброжелательность. Впрочем, возле Августы Федоровны грелись многие, и каждый наверняка про себя думал — получает больше других.

— Наверяд ли, голубчик, теперь отыщется быстрее. За это время сколько мимо нас учеников пройдет! Для каких-то будущих придется стараться. А они, будущие, кто знает, какими окажутся, может, и воспитывать-то их не придется. Разбег у тебя долгий, да прыжок будет ли?

— Так что, Федоровна, — ничего не делать?

— То-то и оно, хотя знаю — тебе не понравится. Забыть надо историю Коли Корякина. И поскорей. Перемелется...

Аркадий Кириллович шумно пошевелился на стуле.

— Да ты не вскакивай, не кипятись, — остановила его Августа Федоровна. — Опасность, если она и в самом деле есть, мы уже не отведем. Считай, злая беда стряслась, после драки кулаками не машут. Толку никакого не добьемся, а порядок в школе разстрясем. Зачем?

— Верно! Верно! — снова взмыла Эмилия Викторовна.

— Ах, верно! — Аркадий Кириллович вскочил с места.

Августа Федоровна безнадежно вздохнула:

— Эх-хе-хе! Ретивое взыграло.

— Забыть историю Коли Корякина! Забыть! Спрятать! Не было ее! Не удастся, Августа! От учеников уже не отнимешь ее, не запретишь им судить и рядить на свой лад. А вы слышали — извращенно судят, убийством усовершенствовать жизнь собираются. Так начнем с простого: объясним им, что извращение это!..

— Не заваривай кашу, Аркашенька, всем коллективом потом ее не расхлебаем.

— Августа... Чуткая, добрая Августа, что с тобой? Все силы ребятам отдаешь, всю жизнь для них — и не расхлебаем, пусть остаются духовно горбатыми.

— Не дави чирей, Аркадий, — по всему телу пойдет. Молодой организм сам справится — зарастет без следа.

И Аркадий Кириллович растерянно оглянулся:

— Педа-го-ги! На что надеетесь? Бог не выдаст, свинья не съест, само собой зарастет? Так зачем же вы тогда нужны, педа-го-ги?

— Ого! — пробасил Иван Робертович.

— Все получили, не только я! — восторжествовала Эмилия Викторовна.

Августа Федоровна страдальчески сморщилась:

— Не верю я в твои страсти-мордасти. Не верю, Аркадий! Из нашей школы ничуть не хуже других люди выйдут.

Только один директор молчал, сидел откинувшись, поигрывал на животе пальчиками.

## 10

Но вот он пошевелился, расправился, всем корпусом повернулся к Аркадию Кирилловичу:

— Вы слышали — не верим! Не убедили! Может, вы приведете более веские доказательства, чтоб мы разделили ваш ужас?

— Какие доказательства, когда вас не убеждает отцеубийство? — удивился Аркадий Кириллович.

— Приведите хотя бы еще один пример, столь же вопиющий.

— Такое часто не повторяется, Евгений Максимович.

— А раз не повторяется часто, то зачем поднимать панику? Значит, имеем дело с явлением исключительным, не характерным. Для нашей жизни не характерным, для нашей с вами деятельности, Аркадий Кириллович. Не от нас пошло, от каких-то обстоятельств, случайно сложившихся помимо нас с вами.

— Всего однажды атомные бомбы разорвались над людьми, но тем не менее этот единичный случай дал повод для весьма реальной тревоги.

Евгений Максимович развел недоуменно руками:

— Коля Корякин — и атомная бомба! Ничего не скажешь — сокрушительный параллелизм... И все-таки даже он не доказывает, что школа подтолкнула своего ученика на отцеубийство. Это по-прежнему остается плодом вашего воспаленного воображения.

— Чувствую: вы тогда только мне поверите, когда снова и снова повторится нечто подобное. Но как раз этого-то я и не хочу допустить.

— Аркадий Кириллович, дорогой, — Евгений Максимович бережно дотронулся до его колена, — вы перевозбуждены, вы сильно потрясены, вам следует прийти в себя, отвлекься, немного отдохнуть, чтоб потом на все иметь возможность глядеть трезвыми глазами. Мой совет, Аркадий Кириллович, — возьмите отпуск, поезжайте в санаторий, путевкой я вас обеспечу.

— В санаторий?.. — хмыкнул Аркадий Кириллович. — С таким большим воображением. Не лучше ли вам меня упрятать в сумасшедший дом?

Евгений Максимович посуровел:

— Ну что ж... Будем называть все своими именами. Вы становитесь врагом, Аркадий Кириллович. Пока враждебность только к нам, здесь сидящим, — к Эмили Викторовне, с которой прекрасно ладили многие годы, к Ивану Робертовичу, ничего не сделавшему вам плохого, к Августе Федоровне... Даже к ней, прошедшей с вами бок о бок через жизнь. Все мы для вас не педагоги, не гуманисты — некие зло-

деи, извращающие сознание детей! Сегодня вы нам, завтра это же бросите всему коллективу учителей, вызовете к себе враждебность. Хуже того — найдете себе каких-то сторонников, внесете раскол, разброд, нетерпимость.

— А вы хотите, чтоб я убеждал и не рассчитывал на сторонников?

— Я хочу, чтоб школа нормально работала, а не вела междоусобную войну.

— Но в том-то и беда — школа работает ненормально.

— Это вам одному кажется. Пока только одному!

— А вы собираетесь ждать до тех пор, когда это станет настолько очевидным, что все увидят в упор? Будет поздно что-либо предпринимать.

— Какое самомнение! Вы считаете себя единственно прозорливым, остальные слепы и непроницательны.

— Проницательней ли я других, нет ли, но случилось — я увидел опасность. Значит, из ложной скромности, чтобы не выделяться, я должен притворяться слепым?

На круглом лице директора проступила брезгливая гримаса.

— Ну так вот, — сказал он решительно, — школа не может взять на себя вину за Николая Корякина. Это был бы самоубийственный для нас шаг. Вы на него толкаете, мы станем от вас защищаться. И не думайте, что защита окажется трудной. Большинство учителей не пожелает поступиться добрым именем своей школы, возможностью покойно, без осложнений работать. Неужели вы надеетесь, что они с легкостью перечеркнут все прошлое, сломя голову ринутся за вами? Рассудите-ка.

Аркадий Кириллович на минуту задумался и согласился:

— Пожалуй что так... Если меня здесь не поняли... даже старые друзья, то почему должны понять остальные?

— И тем не менее это вас не останавливает?

— Вижу нависшую над учениками опасность и молчу... Нет! Не могу.

— Тогда не лучше ли вам сразу уйти из школы? Добиться вы ничего не добьетесь, а рано ли, поздно все равно кончится этим.

— Чем такая покорность лучше прежней?

— На что же вы все-таки рассчитываете?

— На то, что капля по капле камень точит. Ну а кроме того, буду искать себе союзников за пределами школы, создавать общественное мнение.

Директор невесело усмехнулся:

— Ну, в этом-то вы уж никак не преуспеете, могу вам гарантировать. Не кто иной, как вы в свое время сделали все, чтоб убедить общественное мнение — неоценимо важным делом занимается наша школа. Горono постоянно ставил нашу деятельность в пример другим школам, на семинарах и конференциях проводились восторженные обсуждения, газеты хвалили нас взахлеб. А теперь по вашему слову поверни вспять, признайся во всеуслышание, что были доверчивыми дураками... Не наивничайте, Аркадий Кириллович.

— А вы, похоже, успели уже прощупать обстановку? — поинтересовался Аркадий Кириллович.

— Да, — просто признался Евгений Максимович. — Нигде не сомневаются, что преступление Николая Корякина ни прямо, ни косвенно со школой не связано. Вы с таким же успехом можете агитировать в свою пользу прохожих на улице.

Опираясь локтями в колени, навесив над полом тяжелую голову, Аркадий Кириллович долго смотрел вниз, не двигался. На него все глядели сейчас с сочувствием, даже не остывшая от негодования Эмилия Викторовна, даже невозмутимый Иван Робертович.

— Ладно, — разогнулся Аркадий Кириллович. — Думается, я все-таки найду себе трибуну.

Евгений Максимович безразлично пожал плечами. Все зашевелились. Тесное совещание «Могучей кучки» закончилось.

Он часто провожал Августу Федоровну до дома и сейчас шел рядом, придерживая легкий старуше-

чий локоть, оберегая от слишком напористых прохожих.

Она говорила с привычной укоризной и непривычными нотками тревожной обеспокоенности в голосе:

— Несовершенен человек... Сколько тысячелетий вопят, Аркаша, и какими трубными голосами. И сколько крови пролито ради — совершенствуйся! А разрешима ли в принципе эта задачка? Может, терзаются над некой нравственной квадратурой круга...

— Хочешь сказать мне, Августа, и ты туда же, со свиным рылом в калашный ряд?

— Не совсем то, Аркашенька. Педагог должен совершенствовать людей, тех, кого поручили ему, — конкретных Колю, Славу, Соню, Ваню, а не вообще всех оптом, не какого-то абстрактного общечеловека.

— А я что делаю? Не о Славе Кушелеве, не о Соне Потехиной обмираю, не их сейчас предостеречь хочу, а вообще, безадресно?..

— Обмираешь, голубчик, да, над Соней, над Славой. Но метишь-то найти такое, чтоб и Соню, и Славу, и любого-каждого, ближнего и дальнего, спасало от безнравственных поступочков. Вообще хочется универсальную для всех панацею! Именно то, чего стародавние пророки найти не могли.

— Есть одна-единственная на все случаи жизни панацея, Августа, — учитывай опыт, не отмахивайся, мотай на ус. Только опыт, другого лекарства нет! И за кровь, пролитую Колей Корякиным, за его безумие, его несчастье, которое мы не смогли предупредить, возможно только одно оправдание — пусть послужит всем, Соне и Славе, ближним и дальним. А ты желаешь, Августа, забыть поскорее, остаться прежними, то есть вновь повторить, что было. Значит, ты враг Соне, Славе и всем прочим.

— Хе-хе! Если б опыт исцелял людей, Аркаша, то давным-давно на свете исчезли бы войны. Каждая война — это потоки пролитой крови, это вопиющее несчастье. Но ведь войны-то, Аркашенька, сменялись войнами, их опыт, увы, ни на кого не действовал. Наивный! Ты рассчитываешь облагородить будущее

лучей крови. Опыт... Я заранее знаю, что́ из такого опыта получится. Всполошишь, заставишь помнить и думать о пролитой крови, и школа превратится в шабаш. Да, Аркашенька, да, каждый начнет оценивать пролитую лужу на свой лад, делать свои выводы: гадко — справедливо, уголовник — герой, возмущаться — сочувствовать. Опыт учит: где свары и путаница в мозгах, там накаленность друг против друга.

— Но разве есть, Августа, другой путь к согласию, как не через выяснение мнений? Охотно тебе верю, что оно, это выяснение, может дойти до свар, до накаленности. Не осмеливаться на такое — значит прятаться друг от друга. А уж тогда-то и вовсе о взаимопонимании мечтать не смей.

— Взаимопонимание... Ох-хо-хонюшки! Да это же и есть та самая проклятая квадратура круга. Тысячелетия доказывают — неразрешимо! А вот снова находится простачок, которому это — что козлу нотация: не лазь в огород. Лезешь! Упряма по-козлиному!

— Пусть даже квадратура круга. Разве эта заклятая задача не двинула вперед геометрию?..

Августа Федоровна обреченно махнула сухонькой ручкой и замолчала.

А мимо них с громыханием и моторным рыком двигалась улица, начинался вечерний час пик: тупоносые самосвалы; зверообразные неуклюжие автокраны с угрожающе поднятыми стрелами; тяжкие, как только земля носит, панелевозы, груженные стенами домов; сияющие мокрым стеклом автобусы; суетные легковые разных расцветок; укутанные в громоздкие плащи мотоциклисты, отважно ныряющие между скаотов и напирющих радиаторов; теснящиеся к стенам домов прохожие... — вновь ежесуточный парад человечества, не знающего покоя, терзающегося противоречиями, жаждущего согласия, отвергающего его. Мимо с привычным неудержимым напором, куда-то в неведомое!..



Соня пришла из школы и застала дома переполошенную мать. Звонили из управления милиции: Коля просит свидания с Соней, разрешение дано, надо куда-то явиться, к кому-то обратиться, но мать все перепутала и перезабыла — куда, к кому...

Коля вспомнил о ней. Она ему нужна!

В последние годы Соня просыпалась по утрам с одной мыслью: Коля ждет ее, хочет увидеть и порадовать. Коля, которого когда-то все сторонились, кого жалели и на кого обреченно махали рукой, стал не похож на себя потому лишь, что она была рядом, ему нужно было нравиться ей. Она чувствовала, как плохое, пугающее гаснет в нем возле нее, хорошее разгорается. И это переполняло Соню тайной гордостью. Никому, никому ее не показывала, глубоко прятала, даже от матери. Оказывается, она способна совершить такое, чего другим не под силу. Вот живет она себе ровно и покойно, девчонка как другие девчонки, а сам собой, без особых усилий происходит подвиг — меняет человека, делает его красивым. И сама им любит. И хотя она много, много думала — все мысли были заняты Колей, только им, — но толком никогда не понимала, что, собственно, происходит. Передать это словами не смогла бы никому. Просто жила и радовалась своему редкому счастью.

Иногда ее охватывала и тревога без всякой причины — а вдруг да... Девичья тревога — а вдруг да Коля ее разлюбит...

Случилось вдруг и вовсе не то...

Но она и теперь по-прежнему нужна ему — помнит, зовет из-за стен!

Он еще не знает, что она, Соня, сейчас куда больше его любит — не страшится, ни в чем не попрекает, а гордится им!

Не только она одна, большинство ребят в классе считают — ради жизни, по-иному поступить было нельзя.

Понимает ли это сам Коля?

Поймет! Она все ему расскажет, откроет глаза на то, чего из-за стен видеть нельзя, сама им гордится, его заставит гордиться собой!

Он узнает, какой она верный товарищ. В самом большом несчастье преданна до конца, до костра! Ничто на свете не разлучит, ничто на свете не испугает, ничто на свете ее не остановит.

Даже другие сейчас верят в ее силу. Поверит и он.

Соня бросилась из дому, оставив переполошенную мать, чтоб дознаться — куда, к кому, пройти сквозь замки и стены, видеть его, слышать его, открыть ему великое!

Свидания... Еще недавно это были лучшие минуты в короткой жизни каждого из них. Свидания, на которые они ни у кого не спрашивали разрешения.

Соня долго ждала в неуютной пустой комнате с длинным узким столом, пока наконец не раздалась шаги и сумрачный сержант с надвинутым на глаза козырьком фуражки не ввел его...

У нее перехватило дыхание — с исхудавшего до незнакомости лица глядели затравленные, просящие глаза. Она считала его подвижником, невольно сложилось представление — гордый, страдающий, верящий в свою правоту, замкнутый в себе. Совсем выкинула из памяти того Колю, раздавленного и невменяемого, который среди ночи, словно лунатик, оказался под их дверью. Сейчас — затравленный взгляд, немотная просьба, измученность. И пронзительная жалость к нему, и пугающее ощущение непоправимости...

И он, похоже, смутился, так как тоже ожидал встретить ту Соню, какую знал, — кроткую, любящую, пугливую. А перед ним стояла — острый подбородок вздернут, наструенно-прямая, вызывающая, казалась, даже ростом выше, и глаза, опаляющие жаркой зеленью.

В тех частых свиданиях, какие были у них в неправдоподобно прекрасном раньше, они так и не научились обниматься, не обнялись и сейчас, а, боязливо сблизившись, протянули руки, сцепились пальцами. Она глядела на него плавающимися гла-

зами, а у него мелко дрожал подбородок. Не расцепляя рук, опустили на скамью, всматривались, молчали, дышали.

— Ко-ля... — выдохнула она, совершила труднейшее — сломала молчание. — Коля, никому так не верю, как тебе!

И он затравленно метнулся зрачками в сторону, с усилием выдавил страдальческое:

— Не надо, Соня.

— Что — не надо? — удивилась она.

— Говорить мне такое.

Соня обомлела, ничего не ответила.

— Стыдиться меня нужно и... ненавидеть.

— Коля! Тебя? Ненавидеть?

— Я сам себя ненавижу, Соня, — с тихой, какой-то бесцветной убежденностью.

И наконец она пришла в себя, она вознегодовала:

— Да как ты смеешь! Такое — к себе! Не-на-вижу! За что?! За то, что мать спасал! За то, что против взбесившегося поднялся, кто для всех страшен... И не струсил! И за это — нен-на-виж-жу?

Он слушал покорно, с пугающим равнодушием.

— Ты ничего не знаешь, — обронил он.

— Как?! Я — ничего? Все знают, а я — ничего?..

— Ты только слышала, а не видела. Тебя же не пустили туда... А там... — Он весь передернулся и закончил: — Кровь... Лицом в крови...

Не спотыкающиеся слова, а это брезгливое передергивание заставило ее поверить — испытывает отвращение к себе, как к чужой гнойной болячке. И Соня заметалась:

— Коля! Опомнись! Он палачом был! Ты не человека, нет!.. Ты палача, Коля-а!

— Палач — я, Соня, — негромко и твердо, но убегая зрачками.

— Т-ты!.. Т-ты забыл! Неужели?.. Как можно забыть все! Вспомни! Вспомни, как ты совсем маленький в глаза людям глядеть стыдился. Его стыдился! А теперь?.. Теперь — себя! Он вдруг хорошим стал, а ты — плохой! Кол-ля! Зачем?!

— Я теперь хуже его, какое сравнение.

— Он когда-нибудь был справедливым? Добрым был?.. Ни-ког-да!.. Ты страшное сделал. Да! Страшное, но справедливое! Ради добра, Коля. Ради того, чтобы маму спасти. Ты гордиться собой должен, что зверя... да, зверя опасного поборол!

Но Коля упрямо сказал в пол:

— Он человек, Соня, не зверь.

— Зверь! Зверь! Не обманывай себя!

— Он не совсем плохим был, Соня.

— Ка-ак не совсем?!

— Совсем плохих людей не бывает на свете. Я это только сейчас вот понял.

— Не бывает плохих?.. Может, и Гитлера на свете не было?

Он снова поморщился:

— Не о том ты...

— О том! О том! О гитлерах вспомни!

— Гитлер — не человек, а вождь. Мы не о плохих вождях говорим — о людях...

— Неужели плохих людей нет?

— Есть. Много. Но чтоб совсем — нет. Мой отец любил меня, Соня. Да...

— Любил и жить не давал!

На этот раз Коля не ответил с ходу, словно задремал. И она уставилась на него с торжеством: ага, молчит, возразить не может, еще чуть-чуть — и победа!

Но он пошевелился и обреченно вздохнул:

— Так бывает.

— Что — бывает?

— Любят и жить не дают. Наверно, часто бывает.

— Глупости говоришь! — запальчиво, почти с гневом.

Теперь он и совсем не ответил, сидел понуро, смотрел себе под ноги. Но ее уже не радовало его молчание, а пугало и оскорбляло — не хочет возражать, несерьезное выкрикнула, пустое. И Соня заговорила с дрожью, едва сдерживая рвущуюся обиду:

— Все ребята в классе считают — ты правильно сделал. Никто не смеет против тебя словечко сказать. Они все понимают, а ты... ты вдруг — нет. Почему?

— Потому что они дураки, Соня. И я таким был.

— Пусть я дура, пусть! Но ведь и Славка Кушелев за тебя! Он что, тоже дурак?

— Славка математику знает да физику... Я и до этого, как случилось, знал больше Славки. Меня отец много учил.

— Пусть Славка дурак. Пусть все мы дураки. Но, может, ты и тех, кого история показывает, дураками назовешь? В истории постоянно ради справедливости убивали, их героями считают. Не верь истории, верь тебе? Да смешно, Коля! Ты правильно сделал, ты гордиться собой должен. Слышишь — гордиться!

Коля поднял голову, вздрагивающими светлыми глазами стал разглядывать Соню со странным вниманием, словно видел ее впервые. Она, вытянувшись, вздернув плечи, выставив острый подбородок, стойко, не смигнув, выдержала его взгляд.

— Какая ты... — удивился он.

— Плохая? Тебя защищаю.

— Нет, ты хорошая, добрая...

— И верю, верю в тебя! Больше, чем ты сам.

— Честней тебя никого нет. Светлой всегда казалась. И всегда я... ты знаешь, всегда тобой любился. Исподтишка. И все никак досыта насмотреться на тебя не мог... Вдруг ты — за убийство! Ты! Соня!..

До сих пор он был какой-то вялый, погруженный в себя, далекий от нее, теперь впервые в его голосе проступило страдание. Бессильное и безнадежное страдание по той Соне, что была когда-то. Ее нет больше — умерла, лишь след в памяти. Сидящая рядом — другая, чужая ему и далекая.

И Соню охватил ужас, она закричала:

— Нет! Нет! Не соглашусь! Не дожدهшься! Буду тебя спасать, буду! От тебя самого! Ты враг, враг себе!

Он равнодушно согласился:

— Враг. А как же...

— О-о! Ну тогда и я враг тебе! Тебе, которому на себя наплевать! Враг! Враг! Не жди, не примирюсь! Убил — и правильно сделал! Надо было убить, надо! Жалею, что в стороне была, что не помогла тебе!

Снова он содрогнулся от отвращения:

— Жуть!

Но она уже не могла себя удержать, ее понесло, чувствовала, что вырываются жестокие слова, безобразные, но остановить их уже не по силам:

— Жуть? Конечно! Пришлось, да, убить! Пришлось, не сам захотел! А потом перепугался, скис, засомневался — зря, понапрасну. Вот это жуть! А я-то бежала к тебе — кто жизнь защищал, жизнь смертью! — чтоб сказать: с тобой вместе, не покину никогда! Прибежала и встретила... слизняка! Жуть!

Колю повело набок от ее слов, он оперся о стол, попытался удержаться, не получилось — сел, бросил глухо:

— Уходи.

— Ты!.. Ты — гонишь?!

— Уходи, Соня.

Она, еще кипевшая, еще не выплеснувшая всего из себя, вскочила.

Он сидел, низко согнувшись, выставив макушку в спутанных волосах. И ее гнев ушел, как вода в песок.

— Коля-а!

Он не ответил.

Она постояла, подождала, не подымет ли голову, и оскорбилась: да как он смеет ее гнать, ее, верную, любящую, готовую для него на все, даже на смерть! Как смеет не откликаться, когда она зовет! Соня резко повернулась, пошла к двери. У дверей задержалась на минутку — вдруг да опомнится. Он не позвал. Тогда она толкнула дверь и вышла.

## 12

Мама! Мама!.. Нет, несколько не странно, что мама не поняла его. Мама всегда жила в четырех стенах, угорала от вечного страха. Соня всегда все понимала раньше его. Он еще не успевал подумать, а она уже открывала ему глаза — удивись и прими! Удивись не на что-нибудь — на самого себя.

Уходи... И она ушла. Голубые стрекозы речки Крапивницы — неужели они были?..

Уходи... Он прогнал ее.

Мама! Мама! Ты не догадывалась, что на свете могут быть голубые стрекозы, если и слышала о таком, то принимала за сказку. Соня уводила подальше от отца и от матери — за собой, в мир, где летают стрекозы...

Когда ты, Соня, стала бесчувственной?

Звала: будем ненавидеть вместе! А он так устал ненавидеть.

И уж совсем, совсем дикое: жалею, что не помогла тебе!..

Уходи...

Никого кругом, вот теперь-то совсем никого, ждать некого, желать нечего — пусто. Зачем он живет, зачем появился на свет? Только для одного — чтоб совершить ужасное. И ненужное! Зря, понапрасну! Да, лучше никому на свете не стало, а хуже — всем. Даже ей, Соне. Странно, что она этого не может понять. Такого простого.

Лучше бы совсем не знать Сони, никогда не видеть голубых стрекоз. Тогда не пришлось бы произносить: «Уходи». И, не будь Сони, он, наверное, не так страдал бы от отца, не решился бы схватиться за ружье. Зачем, когда некому доказывать, что хочешь быть красивым, красивой жизнью жить?

Он даже не сказал Соне о канарейке. Нет, не забыл, не мог — удивилась бы, приняла за помешанного. Канарейка — к чему? При такой-то встрече. Даже о голубых стрекозах не вспомнили. Тоже — к чему?..

Вот если б отец сам пришел к нему на свидание... Уж он-то бы наверняка вспомнил канарейку. И как просто было бы с ним говорить.

Странно, но они никогда в жизни толком не разговаривали, так, перебрасывались словами... или ругались. А как просто было бы: «Пап, помнишь — птичка влетела в форточку?» — «Князек-то? А как же». — «И помнишь — весна, и небо синее, и окно в каплях? Только что дождь прошел». — «Князек — птица лес-

ная, сынок, в городе не живет...» Задушевный разговор. И о самом важном.

Коле вдруг стало спокойно: совсем один, ан нет! Стоит только ему захотеть — и придет отец. И можно с ним досыта наговориться. И поймет, и простит, и вместе порадуются, как никогда еще не радовались. До чего хорошо...

### 13

Сулимов разложил на столе бумаги. Он собирался плотно посидеть над ними весь вечер, как сам любил выражаться: «Пора подбить бабки». Дельце с сюрпризами — не Сулимов двигает им, а оно гонит его черт-те куда. Вот вылез на свет божий Илья Пухов, незарывающийся наживала. На нем, как на гнилом пне, рос поганый гриб. Заурядно-умеренная страстишка к наживе, освещенная взорвавшимся преступлением, может выглядеть уже зловеще.

И только Сулимов углубился в свои заметки, стал фраза по фразе восстанавливать разговор с Пуховым, как строптивное дело выкинуло новое коленце.

Зазвонил телефон. Под самый конец рабочего дня могло звонить только бодрствующее начальство, обеспокоенное каким-нибудь очередным чепе.

— Сулимов слушает! — голосом, дающим понять, что мы здесь тоже не дремлем.

Но в трубке слышался не начальственный давящий басок, а женское сопрано с еле уловимой взволнованной колоратурцей:

— Очень извиняюсь, что беспокою поздно. Но только что узнала о вашем разговоре с моим мужем. Это Пухова говорит, Людмила Михайловна Пухова... Сейчас, наверное, уже поздно, не могли бы вы назначить мне время на завтра?

Завтра утром Сулимов намеревался доложить о сложившейся картине. Но нетерпение — не отложила звонок на утро — и переливы в голосе... Сулимов верхним чутьем уловил — что-то преподнесет. И тогда, может статься, вся сложившаяся картина снова замельтешит, словно экран испорченного телевизора.



- Откуда звоните? — спросил он.
- Из дому.
- За сколько времени сюда можете добраться?
- За полчаса.
- Приезжайте, — согласился он.

Ровно через полчаса Пухова явилась. Дородная, с осанкой ушедшей со сцены драматической актрисы, она вплыла в тесный, непрезентабельно-казенный кабинетик Сулимова. На ярких, воистину соболиных бровях, помимо сознания собственного достоинства, Пухова внесла (и это сразу уловил Сулимов) некую нешуточную решимость — была не была! «Броская баба, — удивился про себя, стараясь представить ее рядом с повылинявшим, невзрачно-рыхловатым Пуховым. — Еще та парочка — гусь да гагарочка...» Но пока она усаживалась, справлялась с волнением, впечатление поражающей броскости прошло. Сулимов заметил, что правильному, яркому лицу не хватает тонкости — грубовато, с вульгаринкой, а руки ее излишне крупны, неженственны, в свое время явно знали тяжелую работу.

— С чего и начать, не знаю, — со вздохом сказала она. — Спутано все.

— Говорите сразу главное, — посоветовал Сулимов. — А уж там мы путаницу как-нибудь распутаем.

— Главное-то — советь, — объявила она. — Грызет, не спрячешься.

— Перед кем же совестно?

— Перед Анной, женой Корякина. Перед мальчишкой, конечно... Ну а больше всего перед собой.

— И эту совесть, простите, разумеется, разделяет с вами ваш муж?

Пухова равнодушно отмахнулась:

— Кто его знает. Тоже, поди, не в себе. Но ему-то перед собой оправдаться легче — не он все наладил, а я.

Напустив на себя вежливое безразличие, Сулимов вглядывался в цветущее лицо Пуховой: «Хитрит? Беду от мужа отвести хочет? Или, черт возьми, еще одна каючаяся Магдалина?...» Но на белом лице Пуховой хитрость не прочитывалась — лишь удру-

ченность и все та же упрямая решительность: была не была!

— Вы наладили? Что именно?

Тяжкий вздох, ответ не сразу:

— Да это самое...

— Не убийство ли Корякина сыном?

— Выходит, что так.

— И вы рассчитываете доказать мне это?

— Отчего Рафаил убит? Да оттого, что над женой измывался. Он, поди, с первого дня ее не любил люто. Ну а Рафаилу-то Анну я подсунула. Я! Можно сказать, откупились ею.

— И как это было?

— Как?.. Занесла меня кривая в ваш барачный поселок Сочи. Из эвакуации я возвращалась с матерью обратно в Ростов, да на станции Мамлютка маму мою из вагона вынесли — тиф. Пятнадцати лет мне не исполнилось — одна на всем свете. Судомойкой работала, в лесу топором махала, чуть замуж не выскочила за человека на тридцать лет старше, а когда сюда занесло, была уже тертая, голой рукой не хватай. Кочка в кочку возле меня девчонка из деревни — тихая да робкая, какмышь. Я ей вместо старшей сестры, за мой подол держалась...

Пухова по-бабьи пригорюнилась, темные глаза подернулись паволокой, брови горестно стыли на белом лбу. Сулимов терпеливо ждал.

— Хоть и трепало меня в жизни, да, видать, не истрепало — в самом соку была, ну а возраст-то под зарубочку, когда ждать дольше опасно, девичье на убыйль пойдет. Подъезжали ко мне многие, но пуще всех Илья и Рафаил. Они уже давно приятельствовали, с конца войны считай, — тихий да буйный, дельный да беспутный, а как-то ладили, только вот на мне у них заколодило.

— А что же свело их, таких разных?

— Известно что — выгода. После войны все обживаться начали, строиться, ремонтировать — нужда в рабочих руках большая. У Рафаила руки есть, а как их лучше приспособить — головы не хватает. Илья руками не очень силен, зато головой

раскинуть может. Вот и держались друг за дружку, пока я промеж ними не выросла.

— Но и после вас их дружба, однако, продолжалась.

— Дружба, да уж не та. Тут их уже не выгода крепилась — я старалась.

— Зачем вам было нужно их крепить?

— А вот о том и речь веду. Слушайте... Значит, наострились они на меня. Рафашка, тот разлетелся с разгона: хочу — проглочу, хочу — в крупу истолчу! Ну, не на таковскую напал, быстренько отшила. Шальные-то сразу голову теряют, пугать не в шутку стал — или со мной, мол, или никому, жизни лишу и тебя и того, кто к тебе сунется... — На гладком лице Пуховой проступил смущенный румянец, почти девичий, ясный. И решительное движение бровей: — Что скрывать, Илья Пухов не очень уж мне и нравился — выглаженный, без морщиночки и волосики прилизывал на косой пробор. Чудным казалось, что такой вот тихоня в нашем отчаянном поселке уживается. Не покрикивал, за грудки не хватал, ножа в кармане не прятал, а по струнке ходить заставлял поножовщиков вроде Рафочки Корякина... Вот и запала мне в голову мысль — ведь надежен!.. — Снова Пухова на минутку закручинилась, распрямилась, тяжело вздохнула: — Да-а, судьба!.. Ох, устала я к тому времени от жизни дерганой. Покою хотелось, чтоб день походил на день, чтоб каждый чистенький, чтоб наперед знать — ничего не собьется, не спутается, надежно. С Рафаилом какая надежность, жди сплошную войну. И даже знать ежели — ту войну выиграешь, то все одно накладно, измотаешься...

— Пухов. Понятно.

— Другого надежного рядом не было.

— И не ошиблись в выборе?

— Не ошиблась, — с какой-то горечью ответила Пухова. — День на день теперь походит, не отличишь.

— Так почему же все-таки связь Пухова с Корякиным не порвалась?

— Ждали все того, ждали — порвется и кровь прольется. Илья ждал, уговаривал меня — уедем. Но ведь ошалевший за нами бы бросился!.. Вот и решилась я... Никому не сказала, одна пошла к Рафочке. А у того рожа черная со вчерашнего перепоя, глаза волчьи прячет. «Просить пришла?» — спрашивает. «А что, — говорю, — ты дать можешь, что у тебя есть?» — «Иль показать?» — «Покажи, — отвечаю, — если думаешь, что за это полюблю». Знала, знала, что сломается, скулить начнет. Так оно и вышло: «Помани — иным обернусь, пить брошу!..» — «Так уж сразу и обернешься? Терпеть долго придется, а похожа я на терпеливую?» Вот тогда-то я и назвала ему: «Есть терпеливая, как раз такая, что тебе нужно, не пропусти, иначе под забором сдохнешь!»

— Анну?

Пухова низко наклонила голову:

— Да.

Оба помолчали.

— Вы и в самом деле специально это... чтоб откупиться? — осторожно спросил Сулимов.

И она вскинула на него распахнутые, провальные глаза:

— Верила! Верила! Хорошо получится! Я к Анне всегда как к сестре младшей... Ее спросите — под моим крылышком жила. Думалось: одна-то пропадет, а тут парень бедовый, золотые руки имеет. Ну а то, что с норовом, — Анна перетерпит, дров в огонь не подкинет. С кем Рафашке дикому еще и сжиться, как не с такой тихой. И виделось, виделось — я с Ильей, она с Рафашкой поплывем на разных лодках, но в одну сторону. У меня родни нет, у Анны тоже. В мыслях не мелькало тогда — откуплюсь! Повернулось так. Да! Но поняла, раньше всех поняла — неладное получилось. Даже Анна еще на что-то надеялась, а я уже знала — ох злая ошибка случилась. И жгло, жгло меня! всю жизнь грех свой замаливала. Илье, думаете, хотелось вожжаться с Корякиным? Как же! Еще до знакомства со мной он уже подумывал, как бы Рафочку дорогого от себя оторвать. Глупости говорят, что на Рафке ехал. Рано ли, поздно — с та-

ким конем умаешься. А в последнее время и совсем сбесился, норовил без пути, без дороги...

— И все-таки мне непонятно, почему не расстался, почему терпел ваш муж?

— Да ужель теперь-то не ясно почему? Я не давала! Оттолкни Илья от себя Рафаила, как бы тот под откос покатился, совсем бы тогда спился, семью в нищету загнал — Анне вешайся! Так и настроила я Илью: случится это — брошу! Он и сам понимал. Держал возле себя Рафаила. Да! Совсем выправить его никому не по силам, но какой-никакой догляд за ним был — пить в рабочее время не смел, от совсем уж дурной компании оттирали. А я сама следила, чтоб деньги в семью шли, — сыты, обуты, ничуть не хуже других...

Вот оно — сезам, откройся! Не этот ли секрет умолчал тогда Пухов? Не хотел вмешивать жену. А может, не надеялся, что поверят, — секрет тесной, почти тридцатилетней связи столь несхожих людей так прост и сентиментален. Сулимов не мог поверить в него сейчас, выискивал в порозовевшем от волнения лице Людмилы Пуховой неискренний наигрыш, хотя бы намек на него, глухой, сомнительный отеночек. Та сидела перед ним подавленная и... непроницаемая.

— Значит, причина связи Пухова — Корякина в том лишь, что вы себя считали в долгу перед Анной?

— В долгу?! — возмутилась Пухова. — Слово-то какое... купеческое. О долгах ли я думала — жить не могла!

— Уж так-таки жить не могли. Не преувеличивайте.

— А вы поставьте себя на мое место. Живу, как и хотела, тихо. Так тихо, что глохнешь. Все наперед знаешь, что завтра у тебя будет, что через неделю, через месяц... Ни о чем думать не надо и не о чем тебе заботиться — все есть: квартира, тряпки, машина... Вот только детей нету, обижены. Да ведь живая же я, не мертвая, ни о чем не думать не могу, и без забот пусто. Так пусто, что терпенья нет, хочешь не хочешь, а любой на моем месте заглядывался бы по сторонам, искать стал — о ком бы поза-

ботиться? Ну а мне особо оглядываться и выискивать не надо — рядом у старых знакомых ад крошечный. Расписывать мне их жизнь или сами знаете?.. А коль знаете, так и спросите себя — могла я забыть, что по моему наущению такая дикая жизнь тянется? И как мне не страдать, совестью не мучиться? Да и о ком мне еще страдать? А потом, если вдуматься, спасибо Анне... Дикому Рафе тоже. Не они бы, я, поди, и живой-то себя не чувствовала, давно бы каменной бабой стала... Долг?.. Какое там. Тут себя бы спасти. И вовсе не от доброты сердечной заставляла мужа держать возле себя дорогого Рафочку. Перед собой не притворялась доброй и перед вами не хочу!

Сулимов озадаченно молчал. Как ни старался он расшевелить в себе недоверие, но Пухова разбивала его — уже не сомневался в ее искренности.

— М-да-а... — протянул он. — Неожиданная история.

— Да нет, скучная, — устало возразила она. — Глупая баба себя сама обманула. Покою ей хотелось — захлебнись им. До сих пор хоть за Анну тревога была, нынче и это кончилось. Совсем будет пусто. Покатятся похожие денечки, а куда, а зачем? К чему я на свете?.. Хотите верьте, хотите нет, а жалею, что тогда за Рафаила не вышла.

— Ну уж! — возмутился Сулимов.

Глаза Пуховой обдали его темным сполохом.

— С ним-то я уж покою не знала бы. Я не Анна, я бы воевала и, думается, осилила. Да!.. Как знать, может, даже и гордиться теперь пришлось бы: вот он, мой перекроенный, не бросовой, человек, как и все, даже лучше других. Было бы что вспоминать на старости лет. А теперь что?.. Да ничего.

Пухова хлюпнула, достала платочек и с откровенной горестностью шумно высморкалась.

## 14

Соня брела под дождем нога за ногу. Куда? Не знала сама.

Она не сразу ужаснулась тому, что случилось.

«Уходи...» Она ушла, унося обиду, только обиду. Но вот шаг за шагом по темному, сырому, неуютному городу, дальше от стен, где остался запертый, охраняемый Коля, и стало расти, расти, расpirать до — не могу!

За что?! За то, что любит его!

Однажды она спешила из магазина с набитой авоськой и впереди среди прохожих увидела его, тоже спешащего домой. На этот раз она его не нагнала, а шла следом, глядела и не могла наглядеться. У него был порывистый, решительный шаг. У него вызывающе запрокинута голова, мягкие волосы лежали на воротнике пиджака. В узкой спине у него какая-то напряженность, весь он легкий, подобранный, летящий над тротуаром сквозь прохожих. Он несколько не походил на того скованного, угловатого, каким был при встречах с ней. Сам собой он еще лучше, неожиданней... И она захлебнулась от счастья — оттого, что они скоро встретятся, оттого, что снова он станет скованным, застенчивым, оттого просто, что есть он на свете, есть! Она торопилась за ним и едва сдерживала счастливые слезы.

Любит...

А плеск весла за спиной, когда они плыли по Крапивнице. Плеск весла, толкающий их вперед, вперед! И что там, впереди?.. Обмирало сердце.

Любит! Как никогда не любила отца, пожалуй, даже и мать, а уж себя-то и давно.

Любит! За это — уходи!

Если б можно его несчастье взять на себя... Взять бы! С радостью! Не задумываясь! Не дрогнув! Умереть, чтоб жил он, да, да! Может, позавчера, пока не знала беды, и не осмелилась бы сказать такое себе, не была еще до конца уверена — любит, но до последней ли точки? — то теперь, да, да, не сомневается, теперь убеждена!

За это — уходи. Не нужна!

Готова сама умереть, себя — не жаль! Так почему должна жалеть других? А уж таких-то, как его

отец, — ненавижу, нен-на-вижу!! Потому что — люблю!..

Коля! Ты самый решительный, самый справедливый, самый честный из всех на свете! И не соглашаешься с этим, и оскорбляешься, и гонишь прочь... Не вмещается в голове — чудовищно!

Нога за ногу по мокрым улицам, таща в себе распирающую необъяснимость. Не могло такого случиться, а случилось, не пригрезилось. Звучит в ушах — уходи! И не находилось другого объяснения, как: не герой, а трус, не выдержал до конца, скис, предал себя и ее, Соню, вместе с собой! Выходит, что она ошибалась в нем.

Нога за ногу...

Но Соне пришлось посторониться — взявшись за руки, шли парни и девушки, должно быть студентки, возвращающиеся с вечеринки.

В этот поздний промозглый час, когда город неуютно-мокр и черен, когда фонари вверху окутаны дымчатой изморосью, воздух липкий, а поредевшие прохожие, втянув головы в плечи, поодиночке, словно наказанные, торопились дорваться до своих подъездов, до комнатного тепла, разгоряченная, занявшая всю мостовую компания дружно шагала в едином стремительном наклоне, подставив морозящему дождю веселые лица. Распахнутые плащи, стук высоких девичьих каблучков по асфальту... И напористый, мужественный парнишечий басок, бравируя — все трын-трава! — выжимал:

Ваш-ше благородие  
Госпожа Удач-ча,  
Для кого ты добрая,  
А ком-му инач-че...

За ним не слишком слаженно, но воодушевленно подхватывали остальные:

Девять граммов в сердце,  
Постой — не зови...  
Не везет мне в смерти,  
Повезет в любви!..



Звенел в хоре беспечный девичий альт.

У Сони вдруг поплыли перед глазами желтые круги, ошпарила ненависть к ним, неуместно счастливым в этот гнилой, беспросветный вечер, к ним, беспечно — трын-трава — заигрывавшим с госпожой Удачей, бездумно верящим, что повезет в любви.

Поющая, шумно шуршащая мокрыми плащами компания, оттеснив Соню, прошла мимо. А она стояла и глядела им вслед, пока не растворились в затканном дождем мраке. Но и из мрака, из далекого, вознес на прощание все тот же мужественный басок уже иное, торжествующее:

Поднявший меч на наш союз  
Достоин будет худшей кары-ы!..

«Господи! Им весело!..» Изумление до кругов в глазах, до слабости во всем теле. Им весело, им ни до чего нет дела. Что бы ни случилось на свете, такие все равно станут горланить: «Не везет мне в смерти, повезет в любви!» А что они знают о смерти? И что — о любви?..

Упрятанная в плащ-накидку женщина вывела на поводке лохматую собачонку. Собачонка задержалась под фонарем, подняла ногу... И к ним тоже взбурлила буйная неприязнь — к лохматой коротконогой собачонке, к незнакомой женщине, даже к фонарному столбу. И противен город, противен траурно-черный, насквозь промозглый мир...

Но невыносимость всего, что окружало, была так сильна, что разбудила Соню: «Что это я?..»

В эти дни она тайно, неудержимо ненавидела всех. На любого из класса глядела с замороженной подозрительностью — враг, может стать им! Даже Славке Кушелеву, который сразу перешел на ее сторону, даже ему не могла себя заставить верить...

И Аркадию Кирилловичу тоже...

И теперь куда-то бредет, подальше от дома. Ненавистен дом. Он самое проклятое место в городе!

А мать, добрая мать, какими жалобными, раскисшими глазами станет смотреть... А отца-то Соня



уж и вовсе терпеть не в силах — против Коли, озлобленно против всего святого, невмоготу с ним!

Ко всем ненависть, потому что все кругом в любую минуту могут повернуться против Коли! Никому он не дорог, никто так не любит его, как она, никто, как она, за него не страдает. Ради него готова на войну со всем миром!

И вот сейчас... Да, сейчас она сама ненавидит Колю — уходи, вовсе, оказывается, не герой, а трус, скис, предал...

Война со всем миром?.. Нет, просто ничего и никого кругом — ни любви, ни благородного гнева, одна бессильная ненависть.

Висело над фонарями тяжелое, набухшее от сырости небо, дыбились черные дома со светящимися чужими окнами. За каждым окном — люди. Много людей на свете, тесно от них, и нет такого, кто любит, кому можно ответить любовью. И на ненависть ее никто не обращает внимания — равнодушны. Не нужна.

Похоже, она ничего не принесла Коле, кроме этой ненависти ко всем, даже к тем, кто ни в чем и не мог провиниться. А он, Коля, уже перестал ненавидеть убитого им за злобность отца: «Совсем плохих людей не бывает на свете».

Эти слова теперь не вызвали у Сони негодования — устала негодовать, обреченно задумалась. И сразу же наткнулась на простую и ясную мысль: Коля с отцом прожил всю свою жизнь; можно ли представить, что за всю жизнь, за многие, многие дни его отец был только плохим, только зверем? В конце концов, наверное, и от озверения устают.

За первой мыслью явилась другая, столь же оглушительно простая и очевидная, — вместе с плохим отцом он, выходит, убил и хорошего!..

А она от него требовала — гордись собой!

И все вдруг перевернулось, все потекло в обратную сторону — от ненавидь, от убий. Соня увидела себя глазами Коли, любящими глазами: «Хорошая, добрая, светлой всегда казалась...» И эта добрая, эта светлая с пеной у рта — гордись, что убийца!..

Погас фонарь над мостовой. Вечер кончился, город на ночь гасил часть уличных огней. Темнота, висевшая где-то над крышами, свалилась ниже. Город словно съезжился, оцепенел. Лишь дождь продолжал шуршать в потемках, вкрадчиво жил.

Соня стояла под дождем на пещерно-темной, чужой улице, раздавленная открытием самой себя, — до чего же безобразна, как можно такую терпеть другим, как встречаться с людьми, глядеть им в глаза...

Если б теперь вернуться к Коле, вымолить прощение. Но Коля за стенами и замками... И то, что сделано, выбросить прочь уже нельзя, как нельзя повернуть назад время.

## 15

По коридору за дверью перестали ходить, жизнь кругом замерла, и таинственное здание тюрьмы заполнила тугая тишина.

Коля лежал на койке, сам перед собой притворялся — дремлет, раздавлен, равнодушен ко всему, но, затаившись, ждал, ждал, что Он снова к нему придет. И верил — будет, не обманет! И боялся спугнуть.

Он бесшумно вошел и сел в его ногах на кровати, настолько высокий и плечистый, что стало тесно в камере. И лампочка с потолка освещала Его спутанные кудельные волосы, и лицо Его было в тени. Но Коля знал — лицо у Него есть, несколько не изучено, знакомо, хоть плачь. И от Него тянуло приветливой прохладой, как в знойный день из еловой чащи.

— Я боялся, что ты не придешь.

— Ты теперь ничего не бойся — все прошло.

— С тобой не боюсь, а без тебя всех, даже мамы...

Это было не совсем так: Коля немного боялся Его — вдруг да скажет о маме плохое, тогда и с Ним станет так же трудно разговаривать. Жутко подумать — если и с Ним!.. Но Он сразу почувствовал страх и сказал то, что Коля хотел слышать:

— Не бойся мамы, а жалеяй ее.

- А можно мне тебя жалеть?
- Нет, нельзя.
- Почему? Мне очень хочется!
- Ты видишь, как мне с тобой хорошо.
- Давай вспомним что-нибудь.
- Ты не забыл нашу самую первую рыбалку?
- Я был тогда совсем еще маленький и помню... траву очень холодную и мокрую.
- Это роса.
- И реку помню — черная, страшная и дымилась.
- Это туман.
- А потом птицы летели, низко, низко, над самой рекой, даже крыльями воду задевали.
- Это утки.
- Но больше всего я люблю вспоминать князька.
- Люби все — и росу, и туман, и уток, всех других птиц и зверей. Ведь это так просто — взять да любить. Вот ты меня полюбил, и тебе стало хорошо.
- Хорошо... — как эхо отозвался Коля, чувствуя, что плачет от счастья.

Раздались шаги в глубине коридора, и Он исчез не протрившись. На Колином лице сохли счастливые слезы...

## 16

Людмила Пухова засиделась у Сулимова. Он еще долго ее расспрашивал, но так и не поймал на противоречиях, все, в общем, совпадало с показаниями и старой Евдокии, и Анны Корякиной, и даже страстотерпца Соломона, «чистыми слезами» оплакивавшего Рафаила Корякина. Сулимов составил протокол. Она оказалась дотошной, вчитывалась не торопясь и вновь все переживала, шумно вздыхала:

— Что было, то было. Выгораживать себя не хочу.

Похоже, она не собиралась выгораживать и мужа: вставленное Сулимовым замечание — Пухов действовал на пару с Корякиным не без выгоды для себя — никаких возражений у нее не вызвало. Она поставила свою подпись, и он расстался с ней.

Итак, Илья Пухов виноват не более других. Крупней всех вина Рафаила Корякина — делал все возможное и невозможное для своей безобразной смерти. Но с него-то теперь взятки гладки. Отвечать придется только сыну, который и без того в своей куцей жизни достаточно натерпелся за грехи, допущенные в разное время разными людьми.

Был уже поздний вечер. Большое, деятельное днем здание управления сейчас замерло, только на нижнем этаже продолжали бодрствовать те, кому и ночью надлежит следить за порядком в городе. Да еще, наверное, в каком-нибудь кабинете, зарывшись в бумаги, «подбивает бабки» страдалец вроде него, Сулимова. И лежала на столе под лампой раскрытая папка, начатое дело...

Выходит, Сулимов сделал круг и оказался на прежнем месте. Свидетельства, собранные за столь короткое время, ничего, собственно, не дали. Мальчик убил своего отца — только и всего, вопиющая очевидность!

Неудачи случались и раньше — нащупанный преступник, как налим, порой ускользал из-под рук. Чувствовал досаду, сердился на себя — неловок, не с того конца ухватил, — самолюбиво переживал упреки начальства. Сейчас никто не упрекнет, никто не выразит недовольства, и досадовать на себя, казалось бы, нет повода — любой другой на его месте сделал бы не больше. А вот поди ж ты, не отпускает — так и хочется кому-то поплакаться, раскаянно саморазоблачиться, как разоблачали себя перед ним мать, бабушка мальчишки, та же Людмила Пухова. С кем поведешься, от того и наберешься — в эпидемию попал.

Сосредоточься, разберись в себе: почему недоволен, почему не отпускает чувство вины? Мальчишку жалко, помочь не в состоянии? Но ведь ты и прежде жалел каких-то простаков, влипших сдуру или по нечаянности в грязные делишки. Жалел, но вины-то за собой не чувствовал.

Отчего сейчас вина? Не оттого ли, что видит око, да зуб неймет? Прошлое не притянешь к ответу, будут судить одного мальчишку, отправят в колонию

для малолетних преступников. Малолетних, но уже испорченных. Николай Корякин окажется среди тех, от кого общество постаралось избавиться. Да, там есть воспитатели, но они не чудотворцы и даже не Макаренки — чаще всего обычные люди. Не обязательно их влияние будет больше, чем влияние юных воров, хулиганов-садистов и патологических циников, с которыми придется жить бок о бок. Парнишка с отравленным детством, травмированный собственным поступком, пройдет выучку в колонии и может оказаться хуже своего отца. Какие подарки преподнесет он в будущем?

Вполне возможно, через много лет такой же вот следователь, разбирая опасное преступление, взглянется попристальней в прошлое и увидит там его, Сулимова. Не хотел, а наследил в будущем.

А ты не Ванька Клевый, не темная Евдокия Корякина, ты уже видел на их горьком опыте, из каких безобидных оплошностей возникают трагедии. Видеть — и допустить! Как тут не чувствовать вины?..

Загремевший телефон заставил Сулимова очнуться. Кто там еще? Скорей всего, где-то случилось новое преступление, нуждаются в нем. Но с такой путаницей в голове, с сомнениями в себе ехать на новое дело? И вообще, сумеет ли он теперь избавиться от неуверенности, сможет ли работать как работал?

— Сулимов слушает!

— Не удивляйтесь, говорит Памятнов. Учитель Памятнов, Аркадий Кириллович. Надеюсь, не успели еще меня забыть?

— Вы?!

— Я справлялся у дежурного, когда вас можно поймать завтра. Он сообщил, что вы и сейчас здесь. И вот... не обессудьте.

— Слушайте! — неожиданно для себя закричал Сулимов. — Вы-то мне и нужны!

— Вы мне тоже.

— Тону, Аркадий Кириллович, спасите!

— Увы, сам пузыри пускаю.

— Так давайте сейчас друг за друга подержимся. К берегу, может, прибьемся.

Короткая заминка на том конце провода, наконец решительное:

— Приезжайте. Жена будет уже спать, но кофе вам обещаю.

## 17

Жена Аркадия Кирилловича работала в оптической лаборатории ОКБ, расположенной на самой окраине города, вставала в шесть утра. Чтоб не мешать ей, они пристроились на кухне.

На столе чашки с обещанным кофе, над столом на стене большой художественный календарь, каждый месяц на нем — красочный пейзаж. Календарь показывал золотую солнечную осень, а в окно настойчиво барабанил дождь. Время от времени оживал холодильник, начинал сердито бормотать, словно выговаривал неожиданному гостю за вторжение.

Сулимов встрепан, сверкает бешеным оскальцем из-под усиков, рассказывает с захлебцем, залпами — выпалит и умолкнет, мучительно морщится, стараясь разобраться в запутанных мыслях. У Аркадия Кирилловича на темном лице набрякшие складки, устал, погружен в себя.

— Я вижу, вижу, что в одну цепочку становлюсь с Ванькой Клевым, старой Евдокией, Пуховым — нового Рафаила Корякина, того гляди, миру подарю... И если б кто меня толкал к этому, принуждал... Не взбунтуешься, войну не подымешь — нет противника! Рад бы сразиться, да пустота перед тобой! — очередной горячий залп Сулимова.

Аркадий Кириллович поднял веки, встретил его ищущие глаза, усмехнулся:

— Ошибаетесь — сражение идет, и отчаянное.

— У меня? С кем?

— С самим собой.

Сулимов с досадой крикнул:

— То-то и оно, как глупый щенок, кручусь, свой хвост кусаю и рычу оттого, что больно.



— Вы считаете, что за преступление непременно кто-то должен ответить? — спросил Аркадий Кириллович.

— Убийство же! Не несчастный случай, не стихийное бедствие — продукт, так сказать, человеческих действий. Значит, не Господь Бог повинен, а кто-то из людей. Непременно!

— А виновника не находите. Больше того, себя чувствуете виноватым. Себя, к убийству совсем не причастного. Что-то вы противоречите... сам себе. Чем это не война? Внутренняя.

Озадаченное сопение, блуждающий взгляд. Наконец Сулимов хмуро поинтересовался:

— Так в каком же случае я прав?

— Правы в обоих случаях, — невозмутимо ответил Аркадий Кириллович.

— Ну, так не бывает.

— Так бывает всегда и всюду. О единстве противоположностей, надеюсь, слышали?

— Слышал, преподавали — почку губит распускающийся цветочек.

— Вот у вас тоже распускается цветочек.

— Какой именно?

— Чувство ответственности за других, прошу прощения за избитость выражения.

— Эва! — удивился Сулимов. — А раньше, выходит, ответственности у меня не было, без нее жил.

— Всем нам за него — расплата...

— Всем нам — расплата... — повторил Сулимов. — М-да-а... Это что же, я и дальше буду чувствовать... расплату? За каждого прохвоста?... Бежать тогда мне надо из угрозыска — свихнусь.

— А разве острее чувствовать, глубже понимать противопоказано для вашей работы?

— Наша работа зауми не терпит — держись закона, отсебятины не допускай, помни о том, что преступник — враг общества, а значит, и твой враг. А у тебя к этому врагу эдакое личное... Опасно.

— Не клеветайте на себя.

Сулимов уставился в чашку с остывшим кофе.

Аркадий Кириллович сочувственно к нему приглядывался.

— Ладно! — встряхнулся Сулимов. — Обо мне хватит. Вы попросить что-то у меня хотели, надеюсь, что не противозаконное.

— Предоставьте мне трибуну, — произнес Аркадий Кириллович.

— Что-о? — опешил Сулимов.

— Как вы считаете: должен случай с Колей Корякиным послужить уроком для учителей и для учеников?

— Уж если такое ничему не научит, то считай себя деревом, не человеком, — проворчал Сулимов.

— А вот наша школа собирается сделать вид — это нас не касается.

Сулимов замаялся:

— Странно... Вчера бы я за это не особенно осуждал — на рожон лезть добровольно. Зачем?

— А сегодня? — спросил Аркадий Кириллович.

— А сегодня... что ж, может, вы и правы...

— Меня пытаются связать, требуют молчания. И не могу я говорить ученикам одно, когда остальные учителя — другое. Ералаш в головах учеников получится, а среди учителей разногласие, разброд, склоки. Действовать в одиночку?.. Нет! Должен убедить.

— Легкое занятие!

— Трудно еще и потому, что общественное мнение на стороне школы. Горono всячески превозносил нас, газеты нас славили, родители гордились, что их дети у нас учатся. Пока не удастся перевернуть общественное мнение, уроки из случившегося скорей всего будут нежелательные. Уже сейчас Колю Корякина в классе считают чуть ли не героем.

— Та-ак! — сердито выдал Сулимов. — Чем же я вам могу быть полезен?

— Вытащите меня на суд свидетелем. А уж обвиняемым я и сам стану.

— Трибуна?..

— Почему бы и нет? К такому процессу со всех сторон будет усиленное внимание.

Сулимов разглядывал учителя беспокойно поблескивающими глазами.

— Внимание будет... — согласился он.

— И не бесстрастное, — добавил Аркадий Кириллович.

— Да уж, сыр-бор разгорится.

— Ну а при таком пожаре у моих коллег-учителей вспыхнет совесть. Неужели вы думаете, что они останутся холодными, когда вокруг будут бушевать страсти?

— Гм... Положим.

— Положим?.. Вам этого кажется мало, Сулимов? Ой нет, люди с опаленной совестью способны на многое.

— На что?! — воскликнул Сулимов. — На то, чтобы спасти ребят от пьяных отцов, от мошенников, от шкурников, которые непременно начнут наставлять — гребни все к себе, что плохо лежит?.. Для этого надо жизнь вычистить до блеска! Под силу это вам?

— Жизнь вычистить нам не под силу, Сулимов, но под силу будет показать, что такое хорошо, что такое плохо в этой еще не вычищенной до блеска жизни.

— А раньше вы разве этого не показывали?

— То-то и оно, что не все показывали, стеснялись показывать жизнь, какой она есть — нечищенной, неумытой.

— Но знали же и без вас ребята, что в семье Корякиных творится. Наружу лезло! Знали — и что?..

— А то, что тактично отворачивались — мол, не замечаем. Ложный стыд перед правдой и к ученикам перешел.

— Отворачивайся не отворачивайся, а беда все равно стряслась бы.

Аркадий Кириллович ответил не сразу, сидел, навесив голову над столом.

— А вы попробуйте представить Колю, — начал он. — Да, Колю Корякина, который делится всем, что происходит в семье, с товарищами, не стыдится, а рассчитывает на отзывчивость, не боится, что вызовет злорадный смех за спиной.

— Трудно представить.

— Трудно. В том-то и дело — герой уголовного романа, всех чуждающийся одиночка. Как вы считаете — он от природы такой нелюдим?

— Н-не думаю.

— Обстоятельства сделали?

— Скорей всего.

— Ну а если б в иные обстоятельства он попал, в нашей школе хотя бы, — каждый день сталкивался бы с сочувствием к себе, твердо знал, что может рассчитывать на отзывчивость... Скажите, могла бы ему прийти тогда в голову мысль — убью ненавистного отца?..

Сулимов, подобравшись, сидел, озадаченно помигивал. Аркадий Кириллович решительно ответил за него:

— Любая другая, но только не эта!

— М-да-а... — протянул Сулимов.

И наступило долгое молчание. Со стены улыбочиво сияла календарная золотая осень, за неприятно-черным окном монотонно и суетно трудился непрерывающийся дождь. У Аркадия Кирилловича вновь свинцово обвисли складки лица. Сулимов пошевелился.

— Пора мне и честь знать... Но еще вопросик, если позволите, на прощание: ту игру, о какой вы мне рассказывали... кончите или как?

— Игру нашу закончил Коля Корякин.

— Охоту отбил, что ли?

— Перед необходимостью поставил — ищите путь друг к другу. А это уже не игра, это серьезное.

Аркадий Кириллович устало смотрел на свои руки, крупные, отдыхающе лежащие на столе.

— Ну и суд же будет... — вздохнул Сулимов. — Свидетели станут брать на себя вину за преступление, защитник окажется в положении обвинителя, а обвинению ничего не останется как только взять на себя роль защиты...

В прихожей раздался короткий, как всхлип, звонок. Тяжелые складки на лице Аркадия Кирилловича тронулись в недоумении, он поднялся, поспешил к двери.



За дверью стояла Соня — обвалившиеся плечи и руки, слипшиеся от дождя прямые волосы, стертое лицо.

Аркадий Кириллович посторонился, молча кивнул — заходи.

Она перешагнула за порог, беспомощно остановилась, бескостная, спеленатая мокрым плащом, с усилием держащаяся на ногах. Губы ее неподатливо пошевелились, но звука не выдавили.

— Раздевайся, Соня, — попросил Аркадий Кириллович.

Лицо ее вдруг свело судорогой, она зажмурилась, привалилась к косяку, выворачивая шею, пытается спрятать перекошенное лицо, издала надрывный стон, и плечи под плащом заходили от беззвучных рыданий.

Сулимов, появившийся за спиной Аркадия Кирилловича, должно быть, не узнал сейчас Соню, которую видел мельком в ночь убийства.

— Что случилось? — спросил он.

Соня, с выбившимися из-под вязаной шапочки мокрыми патлатыми волосами, измятая, одичавшая, прикусив губы, зажмурившись, давилась в рыданиях.

— Что?..

Аркадий Кириллович, пряча под насупленным лбом глаза, ответил:

— То же самое — всем нам расплата! Ей, пожалуй, больше, чем нам с вами.



## СОДЕРЖАНИЕ

*Е. Сидоров.* О прозе Владимира Тендрякова ..... 5

### Повести

Весенние перевертыши .....	15
Ночь после выпуска .....	112
Шестьдесят свечей .....	202
Расплата .....	342

### СЕРИЯ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

*Литературно-художественное издание*

Для старшего школьного возраста

*Тендряков Владимир Федорович*

### НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

#### Повести

Ответственный редактор *Г. Е. Комракова*

Художественный редактор *Е. М. Ларская*

Технический редактор *Т. А. Евтихевич*

Корректор *О. И. Голева*

Компьютерный дизайн *Е. Г. Валерьянова, Т. А. Яковлева*

Компьютерная верстка *В. И. Тушева*

ИД № 04982 от 04.06.01

Сдано в набор 19.09.05. Подписано в печать 25.05.06. Формат 84x108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумага офсетная № 1. Шрифт «Школьный». Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,88.  
Уч.-изд. л. 19,66. Тираж 5000 экз. Заказ .

Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов  
издательство «Детская литература» Федерального агентства по печати  
и массовым коммуникациям.

109012, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1  
www.detlit.ru